

ISSN 2073-6681

2024

ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.
РОССИЙСКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ФИЛОЛОГИЯ

Том 16. Выпуск 3



ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

PERM STATE UNIVERSITY

Volume 16. Issue 3

PERM UNIVERSITY HERALD
RUSSIAN AND FOREIGN PHILOLOGY

Учредитель: Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Пермский государственный национальный исследовательский университет»

Редакционный совет

Александрова О. В., д. филол. н., проф. (Россия, Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова)
Березович Е. Л., д. филол. н., проф. (Россия, УрФУ им. первого Президента России Б. Н. Ельцина)
Богданова-Бегларян Н. В., д. филол. н., проф. (Россия, Санкт-Петербургский государственный университет)
Буле О., д-р, доц. (Нидерланды, ун-т Лейдена)
Вендина Т. И., д. филол. н., проф. (Россия, Москва, Институт славяноведения РАН)
Войтак М., д-р, проф. (Польша, Люблинский ун-т)
Джумайло О. А., д. филол. н., проф. (Россия, Ростов-на-Дону, Южный Федеральный университет)
Ерофеева Т. И., д. филол. н., проф. (Россия, Пермский государственный национальный исследовательский университет)
Котельников В. А., д. филол. н., проф. (Россия, Санкт-Петербург, Институт русской литературы (Пушкинский дом) РАН)
Мызников С. А., д. филол. н., проф. (Россия, Санкт-Петербург, Институт лингвистических исследований РАН)
Поссамаи Д., д-р, проф. (Италия, Падуанский университет)
Рут М. Э., д. филол. н., проф. (Россия, УрФУ им. первого Президента России Б. Н. Ельцина)
Савкина И., д-р, проф. (Финляндия, ун-т Тампере)
Саксена Р., д-р, проф. (Индия, ун-т Дели)
Ушакова О. М., д. филол. н., доц. (Россия, Тюмень)
Фэвр-Дюпэгр А., д-р, доц. (Франция, ун-т Пуатье)
Чернявская В. Е., д. филол. н., проф. (Россия, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого)

Редакционная коллегия

<i>Новокрещенных И. А.</i> (гл. ред.), к. филол. н., доц. (Россия, ПГНИУ)	<i>Ерофеева Е. В.</i> , д. филол. н., проф. (Россия, ПГНИУ)
<i>Русинова И. И.</i> (зам. гл. ред.), д. филол. н., доц. (Россия, ПГНИУ)	<i>Кондаков Б. В.</i> , д. филол. н., проф. (Россия, ПГНИУ)
<i>Шутёмова Н. В.</i> (зам. гл. ред.), д. филол. н., доц. (Россия, СПбГУ)	<i>Кочкарева И. В.</i> , к. филол. н., доц. (Россия, ПГНИУ)
<i>Абашев В. В.</i> , д. филол. н., проф. (Россия, ПГНИУ)	<i>Кушнина Л. В.</i> , д. филол. н., проф. (Россия, ПНИПУ)
<i>Абашева М. П.</i> , д. филол. н., проф. (Россия, ПГПГУ)	<i>Мишланов В. А.</i> , д. филол. н., проф. (Россия, ПГНИУ)
<i>Алексеева Л. М.</i> , д. филол. н., проф. (Россия, ПГНИУ)	<i>Мишланова С. Л.</i> , д. филол. н., проф. (Россия, ПГНИУ)
<i>Арустамова А. А.</i> , д. филол. н., доц. (Россия, ПГНИУ)	<i>Нестерова Н. М.</i> , д. филол. н., проф. (Россия, ПНИПУ)
<i>Баженова Е. А.</i> , д. филол. н., доц. (Россия, ПГНИУ)	<i>Подюков И. А.</i> , д. филол. н., проф. (Россия, ПГПГУ)
<i>Боронникова Н. В.</i> , к. филол. н., доц. (Россия, ПГНИУ)	<i>Похаленков О. Е.</i> , д. филол. н., доц. (Россия, КГУ им. К. Э. Циолковского)
<i>Братухин А. Ю.</i> , д. филол. н., доц. (Россия, ПГНИУ)	<i>Проскурнин Б. М.</i> , д. филол. н., проф. (Россия, ПГНИУ)
<i>Бурдина С. В.</i> , д. филол. н., доц. (Россия, ПГНИУ)	<i>Серова Т. С.</i> , д. филол. н., проф. (Россия, ПНИПУ)
<i>Данилевская Н. В.</i> , д. филол. н., доц. (Россия, ПГНИУ)	<i>Сидорова О. Г.</i> , д. филол. н., проф. (Россия, УрФУ им. первого Президента России Б. Н. Ельцина)
<i>Дусаева Л. Р.</i> , д. филол. н., проф. (Россия, СПбГУ)	<i>Шляхова С. С.</i> , д. филол. н., проф. (Россия, ПНИПУ)

Адрес учредителя и издателя: 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15.

Адрес редакции: 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15 (Факультет современных иностранных языков и литератур, Филологический факультет). E-mail: langlit2009@mail.ru.

Сайт журнала: <http://press.psu.ru/index.php/philology>. Администратор сайта А. В. Пустовалов, контент-редактор англоязычной версии сайта В. А. Бячкова.

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации: ПИ № ФС 77-66482 от 14.07.2016 г.

Издание включено в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук: с 01.02.2022 – 5.9.3. Теория литературы (филологические науки), 5.9.4. Фольклористика (филологические науки), 5.9.7. Классическая, византийская и новогреческая филология (филологические науки); с 21.02.2023 – 5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации (филологические науки), 5.9.2. Литературы народов мира (филологические науки), 5.9.5. Русский язык. Языки народов России (филологические науки), 5.9.6. Языки народов зарубежных стран (с указанием конкретного языка или группы языков) (филологические науки), 5.9.8. Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика (филологические науки), 5.9.9. Медиакоммуникации и журналистика (филологические науки), 5.12.3. Междисциплинарные исследования языка (филологические науки), 5.12.3. Междисциплинарные исследования языка (философские науки)

Founder: Perm State University

Editorial Council

Olga Aleksandrova (Russia, Moscow State University)
Elena Berezovich (Russia, Ural Federal University named after the First President of Russia B. N. Yeltsin)
Natalya Bogdanova-Beglarian (Russia, Saint Petersburg State University)
Otto Boele (Netherlands, Leiden University)
Tatyana Vendina (Russian Academy of Sciences, Moscow, Institute of Slavic Studies)
Maria Voytak (Poland, Lublin University)
Olga Dzhumaylo (Russia, Rostov-on-Don, Southern Federal University)
Tamara Erofeeva (Russia, Perm State University)
Vladimir Kotelnikov (Russian Academy of Sciences, Saint Petersburg, Institute of Russian Literature)
Sergey Myznikov (Russian Academy of Sciences, Saint Petersburg, Institute of Linguistic Studies)
Donatella Possamai (Italy, University of Padua)
Mary Rut (Russia, Ural Federal University named after the First President of Russia B. N. Yeltsin)
Ranjana Saxena (India, University of Delhi)
Irina Savkina (Finland, University of Tampere)
Olga Ushakova (Russia, Tyumen)
Anne Faivre Dupaigre (France, University of Poitiers)
Valeriya Chernyavskaya (Russia, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University)

Editorial Board

<i>Irina Novokreshchennyykh</i> – Editor-in-Chief (Perm State University)	<i>Irina Kochkareva</i> (Perm State University)
<i>Irina Rusinova</i> – Associate Editor (Perm State University)	<i>Ludmila Kushnina</i> (Perm National Research Polytechnic University)
<i>Natalya Shutemova</i> – Associate Editor (Saint Petersburg State University)	<i>Valeriy Mishlanov</i> (Perm State University)
<i>Vladimir Abashev</i> (Perm State University)	<i>Svetlana Mishlanova</i> (Perm State University)
<i>Marina Abasheva</i> (Perm State Humanitarian-Pedagogical University)	<i>Natalya Nesterova</i> (Perm National Research Polytechnic University)
<i>Larissa Alekseeva</i> (Perm State University)	<i>Ivan Podyukov</i> (Perm State Humanitarian- Pedagogical University)
<i>Anna Arustamova</i> (Perm State University)	<i>Oleg Pohalenkov</i> (Kaluga State University named after K. E. Tsiolkovski)
<i>Elena Bazhenova</i> (Perm State University)	<i>Boris Proskurnin</i> (Perm State University)
<i>Natalya Boronnikova</i> (Perm State University)	<i>Tamara Serova</i> (Perm National Research Polytechnic University)
<i>Alexandr Bratukhin</i> (Perm State University)	<i>Olga Sidorova</i> (Ural Federal University named after the First President of Russia B. N. Yeltsin)
<i>Svetlana Burdina</i> (Perm State University)	<i>Svetlana Shlyakhova</i> (Perm National Research Polytechnic University)
<i>Natalya Danilevskaya</i> (Perm State University)	
<i>Liliya Duskaeva</i> (Saint Petersburg State University)	
<i>Elena Erofeeva</i> (Perm State University)	
<i>Boris Kondakov</i> (Perm State University)	

Address of the founder and publisher: 15, Bukireva st., Perm, 614068, Perm Krai

Address of the editorial office: 15, Bukireva st., Perm, 614068, Perm Krai
(Faculty of Modern Languages and Literatures, Faculty of Philology). E-mail: langlit2009@mail.ru

Web-site of the journal: <http://press.psu.ru/index.php/philology>

Site administrator A. V. Pustovalov, content editor of the English version of the site V. A. Byachkova

СОДЕРЖАНИЕ

ЯЗЫК, КУЛЬТУРА, ОБЩЕСТВО	5
Горностаева Ю. А. Испанская конкиста как культурная травма: легитимация травмирующего события в испанской прессе	5
Гранова М. А. Общие названия сорной травы в русских говорах Пермского края: мотивационный аспект (на материале диалектных словарей)	15
Дуань Цзиньчжи. Сопоставительный анализ геоконцептов «Пекин» и «Шанхай» в «наивной» географии Китая	24
Духнова М. А., Ерофеева Е. В. Функции лексем тематической группы «вода» в лирике Мандельштама	35
Запольских Е. В. Южноприкамская традиция имянаречения у пермских старообрядцев и единоверцев второй половины XIX – первой трети XX века	50
Ли Юнню, Ерофеева Т. И. Ценностный аспект значения лексической единицы в языковом сознании китайских студентов (на примере лексемы «вежливость»)	62
Лифанов К. В. «Правила словацкого правописания» (1940) и стабилизация норм словацкого литературного языка	74
Приходько Е. В. Традиционное цитирование Гомера как способ идентификации в надписях южной Малой Азии	81
Сюй Лили, Чжу Цзиньсюань. Концептуализация и категоризация события «повреждение» в русском языке: фреймовое моделирование лексико-семантической группы глаголов	91
Штырова В. Э., Дубинин С. И. Топонимы в заглавиях современных немецкоязычных романов	100
ЛИТЕРАТУРА В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРЫ	111
Абашева М. П., Киосе О. А. «По образованию я историк...». История в научном, публицистическом и художественном дискурсах Владимира Шарова	111
Алякринская М. А. Иносказание и текстовые аллюзии в сказке М. Е. Салтыкова-Щедрина «Вяленая вобла»	120
Дроздова А. О. Художник-шпион в рассказе В. Набокова «Ассистент режиссера»: репрезентация сенсорного и эстетического опыта	130
Никулина А. К. Философские идеи С. Кьеркегора и Г. Марселя в романе Уокера Перси «Любитель кино»	138
Семёнов В. Б. Как победить дракона, или Медицинские источники лапидарно-гербарных мотивов в рыцарском романе Дж. Метэма «Аморий и Клеопа» (1449)	147
Симонова Л. А. Пьеса на исторический сюжет «Кризанта» (1639) Ж. де Ротру: поиск новой трагедийности	158
Сыромятников О. И. «Слово Даниила Заточника»: проблемы изучения и пути их решения	169
Яценко М. В. Имплицитный автор в древнеанглийских поэмах «школы Кэдмона» и «школы Кюневульфа»	179

CONTENTS

LANGUAGE, CULTURE, SOCIETY	5
Gornostaeva Yu. A. Spanish Colonization as a Cultural Trauma: Legitimation of the Traumatic Event in the Spanish Press	5
Granova M. A. General Designations of Weeds in Russian Dialects of the Perm Region: A Motivational Aspect (based on dialect dictionaries)	15
Duan Jinzhi. Comparative Analysis of the Geoconcepts ‘Beijing’ and ‘Shanghai’ in the ‘Naïve’ Geography of China	24
Dukhnova M. A., Erofeeva E. V. The Functions of the Tokens of the Thematic Group ‘Water’ in the Lyrics of Mandelstam	35
Zapolskikh E. V. South Prikamye Name-Giving Tradition Among Perm Old Believers and Edinoverstys of the Second Half of the 19th – First Third of the 20th Centuries	50
Li Yongnuo, Erofeeva T. I. The Value Aspect of the Meaning of a Lexical Unit in the Language Consciousness of Chinese Students (with the lexeme ‘courtesy’ as an example)	62
Lifanov K. V. ‘Slovak Spelling Rules’ of 1940 and the Stabilization of the Slovak Literary Language Norms	74
Prikhodko E. V. The Tradition of Quoting Homer as a Way of Identification in the Inscriptions of Southern Asia Minor	81
Xu Lili, Zhu Jinxuan. Conceptualization and Categorization of the Event ‘damage’ in the Russian Language: Frame Modeling of the Lexico-Semantic Group of Verbs	91
Shtyrova V. E., Dubinin S. I. Toponyms in the Titles of Modern German-Language Novels	100
LITERATURE IN THE CULTURAL CONTEXT	111
Abasheva M. P., Kiose O. A. ‘I’m a historian by training...’. History in the Scientific, Journalistic and Literary Discourses of Vladimir Sharov	111
Alyakrinskaya M. A. Allegory and Allusion in the Fairy Tale ‘Dried Vobla’ by Mikhail Saltykov-Shchedrin	120
Drozdova A. O. The Artist-Spy in V. Nabokov’s Short Story ‘The Assistant Producer’: the Representation of Sensorial and Aesthetic Experience	130
Nikulina A. K. The Philosophical Ideas of Søren Kierkegaard and Gabriel Marcel in Walker Percy’s Novel ‘The Moviegoer’	138
Semyonov V. B. How to Defeat a Dragon, or Medical Sources of Lapidary and Herbarium Motifs in J. Metham’s Chivalric Romance ‘Amoryus and Cleopes’ (1449)	147
Simonova L. A. ‘Crisante’ (1639) by J. de Rotrou, a Play Based on a Historical Plot: The Search for a New Tragedy	158
Syromyatnikov O. I. ‘The Word of Daniil Zatochnik’: Problems of Studying and Ways to Solve Them	169
Yatsenko M. V. The Implied Author in the Old English Poems of the ‘School of Caedmon’ and the ‘School of Cynewulf’	179

ЯЗЫК, КУЛЬТУРА, ОБЩЕСТВО

УДК 81'33:070(460)
doi 10.17072/2073-6681-2024-3-5-14
<https://elibrary.ru/vmlokv>

EDN VMLOKV



Испанская конкиста как культурная травма: легитимация травмирующего события в испанской прессе

Горностаева Юлия Андреевна

к. филол. н., доцент кафедры теории германских
и романских языков и прикладной лингвистики

Сибирский федеральный университет

660041, Россия, г. Красноярск, просп. Свободный, 82. yulyatald@yandex.ru

SPIN-код: 8680-9639

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6233-4995>

Статья поступила в редакцию 10.11.2023

Одобрена после рецензирования 22.02.2024

Принята к публикации 10.03.2024

Информация для цитирования

Горностаева Ю. А. Испанская конкиста как культурная травма: легитимация травмирующего события в испанской прессе // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2024. Т. 16, вып. 3. С. 5–14. doi 10.17072/2073-6681-2024-3-5-14

Аннотация. В статье рассматривается процесс легитимации конкисты в испанском массмедийном политическом дискурсе. Усилившиеся в последнее время споры вокруг оправданности испанской колонизации, а также активно разворачивающийся процесс делегитимации данного исторического события в латиноамериканских СМИ обуславливают актуальность настоящего исследования. Научная новизна работы определяется анализом культурной травматизации и легитимации как взаимосвязанных социологических процессов, находящих свою языковую репрезентацию в испанском политическом дискурсе СМИ. Исследование выполнено на материале отрывков письменного и устного дискурса испанских политиков и общественных деятелей, легитимирующих данное травмирующее событие. Методология работы включает дискурсивный анализ стратегий легитимации, лексико-семантический анализ, контекстный и коммуникативный анализ. В ходе работы было установлено, что процесс легитимации конкисты ярче всего проявляется на стадии теоризации объекта легитимации с целью объективации ее адекватности и реализуется посредством стратегии моральной оценки и актуализирующей ее субстратегии аналогии: в красках описываются нелицеприятные факты империализма ацтеков, происходит отсылка к британскому, арабскому и голландскому завоеваниям, целесообразность которых не ставится обществом под сомнение. При рационализации конкисты с помощью субстратегии предсказания и субстратегии, ориентированной на результат, указываются потенциальные негативные последствия отсутствия испанского завоевания, а также перечисляются блага цивилизации, которые появились на завоеванной территории после прихода колонизаторов. На стадии продвижения реализуется стратегия апелляции к авторитету – приводятся мнения авторитетных политических и общественных деятелей и исторических фигур, легитимирующих конкисту, которые отрицают все обвинения и необходимость приносить извинения бывшим колониям. На стадии окончательного укоренения конкиста становится привычным социальным контекстом.

Ключевые слова: культурная травма; травмирующее событие; легитимация; медиарепрезентация; испанская конкиста.

Введение

Испанское завоевание оставило неизгладимый след в исторической памяти всех испаноязычных народов и по сей день вызывает споры и обсуждения в средствах массовой информации и в политическом дискурсе, представляя несомненный научный интерес для историков, политологов, социологов и лингвистов. Открытие Нового Света стало знаковым событием для всего человечества и повлекло за собой целый ряд кардинальных социальных изменений – как положительных, связанных с испанским языком и культурой, открытием университетов и больниц на завоеванных территориях, так и отрицательных, обусловленных желанием конкистадоров поработить местное население, разграбить природные ресурсы, обогатиться и во что бы то ни стало закрепить власть испанской короны в Латинской Америке. Исторически сложившиеся отношения между Испанией и бывшими колониями, несмотря на единство языка и многих культурных и социальных аспектов, нельзя назвать гладкими. Многие годы растет напряжение, новые наименования и смыслы приобретает традиционно отмечаемый 12 октября всеми испаноязычными странами День испанской нации, а латиноамериканскими политиками всё чаще поднимается вопрос о моральной стороне испанского завоевания, придании огласке жестоких и шокирующих фактов массового убийства коренного населения, его дискриминации и порабощения. Так, испанская конкиста имеет все следы травмирующего события, которое привело к формированию культурной травмы и стало активно делегитимироваться латиноамериканскими медиа в попытках призвать Испанию к ответственности и заставить принести извинения. В ответ на это в испанском политическом медиа опосредованном пространстве развернулся процесс легитимации колонизации и отрицания предъявляемых латиноамериканской правящей элитой обвинений.

Настоящее исследование реализовано в русле сразу двух научных концепций, разрабатываемых отечественными и зарубежными языковедами: теория культурной травмы и теория легитимации.

Новизна исследования обусловлена тем, что впервые культурная травматизация и легитимация исследуются как взаимосвязанные социологические процессы. Так, конкиста как травмирующее событие рассматривается в качестве объекта легитимации. **Объектом** исследования является языковая репрезентация культурной травмы в испанском политическом дискурсе

СМИ, разворачивающаяся в рамках легитимации травмирующего события, а **предметом** – стратегии и тактики легитимации конкисты и актуализирующие их языковые единицы.

Актуальность работы определяется, с одной стороны, развернувшимися в последнее время дебатами относительно того, должна ли Испания просить прощения у бывших колоний за конкисту, с другой – растущим числом научных исследований, связанных с изучением процесса языковой легитимации социальных феноменов и политических персоналий в СМИ.

Теоретическая значимость исследования обусловлена новым комплексным междисциплинарным подходом к интерпретации массмедийных текстов, который подразумевает использование методологического инструментария социологических и политологических наук – теорию культурной травмы и легитимацию. Так, становится возможным углубить имеющиеся знания в области механизмов речевого воздействия на массового адресата и разработать эффективные стратегии противостояния этому воздействию.

Материал и методы

Материал исследования включает фрагменты письменного (около 30 000 знаков из периодических изданий El País, El Mundo, France24, Proceso, Telemadrid) и устного (общей продолжительностью 5 ч 35 мин, интервью и выступления, извлеченные из видеохостинга YouTube) дискурса в СМИ известных представителей испаноязычной лингвокультуры, повествующих об испанском завоевании и легитимирующих данное травмирующее событие. Среди участников анализируемого дискурса – следующие персоналии: академик, аналитик, специалист по международным отношениям Марсело Гульо, король Испании Филипп VI, председатель правительства Испании Педро Санчес, вице-президент правительства Испании Кармен Кальво, философ, юрист и профессор Антонио Эскоотадо и др. Повествующие настаивают на том, что Испания не должна просить прощения у бывших колоний за конкисту, а также приводят множественные аргументы в пользу целесообразности и большой исторической значимости испанского завоевания для развития Латинской Америки.

Исследование реализовано посредством дискурсивного анализа стратегий легитимации, лексико-семантического анализа, контекстного и коммуникативного анализа, а также общенаучных методов систематизации и классификации.

Культурная травма и легитимация как взаимопроникаемые динамические процессы

Культурная травма и легитимация – это динамические процессы. Если культурная травма – это исторический опыт народа, испытавшего на себе последствия травмирующего события [Alexander 2004], представляющий собой травматическую динамично развивающуюся последовательность [Sztompka 2000], то легитимация является собой процесс конструирования альтернативной социальной реальности [Johnson, Dowd, Ridgeway 2006], удобной для правящей элиты, которая нередко может отличаться от реальности исторической.

О взаимопроникновении процессов легитимации и культурной травматизации уже писали социологи и лингвисты, разрабатывающие теорию культурной травмы. Так, П. Штомпка утверждал, что в процессе получения культурной травмы на этапе культурного шока происходит делегитимация фундаментальных ценностей культуры, основ идентичности и коллективной гордости [Sztompka 2000]. Историки, в свою очередь, говорят о том, что для легитимации доминирования испанской короны в европейском обществе было достаточно одного лишь факта открытия Америки и ее захвата, поскольку языческое коренное население с его диковинными обычаями и социальным строем воспринималось европейцами как нечто чужеродное, а значит – неправильное [Роблес Эррера, Малинко 2018: 95]. Таким образом, легитимировалось навязывание католической веры, испанского уклада жизни и языка, привезенного колонизаторами на захваченные территории.

В рамках настоящего исследования культурная травма определяется как «эмпирическая научная концепция, предполагающая новые значимые и причинно-следственные отношения между ранее не связанными событиями, структурами, восприятиями и действиями» [Alexander 2004: 12], агрессивное событие, разрушающее один или несколько важнейших компонентов культуры и общества [Smelser 2004]. Культурная травма неизбежно приводит к изменениям в социальной структуре сплоченной группы людей [Eyerman 2001], когда подрывается преобладающее чувство общности [Sztompka 2000], в случае с испанской конкистой – коренных народов завоеванных территорий.

Память о травмирующем событии является культурно значимой для народа. Это событие запоминается как чрезвычайно разрушительный и проблематичный коллективный опыт и, наряду со всеми сопутствующими негативными эмоци-

ями, является фактором формирования коллективной идентичности народа [Smelser 2004], которая служит каркасом для определения коллективной культуры, поэтому, как мы полагаем, представители латиноамериканских стран не идентифицируют себя с испанской нацией, ведь последствия культурной травмы и связанные с ними отрицательные переживания, скорее, определяют их особую (неиспанскую) коллективную идентичность как колонизированной социальной группы.

В настоящее время целесообразно также говорить о так называемой медиарепрезентации травматического процесса – опосредованном переживании событий через телевидение, интернет-издания, прессу, которые создают временную и пространственную дистанцию между событием и его переживанием [Eyerman 2001]. Так, в массмедийном пространстве травматический процесс всегда приобретает новые возможности языкового выражения, обрывает новыми смыслами, видоизменяется в соответствии с целью, которую преследуют СМИ. Открываются безграничные возможности для драматизации травмирующего события, его вольной интерпретации, что, в свою очередь, оказывает манипулятивное воздействие на широкую аудиторию, конкуренция за которую также во многом определяет градус накала и количество преувеличений и искажений в нарративах СМИ [Alexander 2004]. Массово-опосредованный опыт – это избирательное конструирование, зависящее от решения профессионалов [Eyerman 2001].

Мы полагаем, что подобное избирательное конструирование травмирующего события всегда обусловлено целью, которую преследуют журналисты и власть, оно реализуется в «нужном» для них направлении с намеренным искажением исторических фактов и подчеркиванием угодных правящей элите подробностей, очерняющих репутацию «чужих». Так, испанская конкиста как травмирующее событие, легитимность которого всё чаще ставится под сомнение, снова стала объектом легитимации в современном испанском массмедийном пространстве.

Легитимация традиционно рассматривается исследователями как «дискурсивная стратегия конструирования легитимности» [Vaara, Tienari 2008: 985; Колмогорова 2018: 34], процесс формирования положительного образа политика, социально значимого феномена или института в дискурсивном пространстве [Screti 2013: 212], в ходе которого происходит его принятие обществом [Deephhouse, Suchman 2008]. В процессе легитимации какой-либо социальный феномен становится приемлемым, начинает соответство-

вать ценностной системе общества [Suchman 1995: 573].

М. Вебер подчеркивает, что легитимность власти и других ключевых социальных феноменов обеспечивает стабильную внутривластную обстановку [Вебер 1990]. Испанская конкиста как культурная травма, напротив, приводит к дестабилизации социума, потере культурной идентичности, происходящей в силу утраты легитимности ключевых событий, обусловивших ход развития мировой истории, поэтому всё чаще становится объектом легитимации ведущих испанских историков, политиков и политологов, стремящихся заново вписать колонизацию в систему демократических и гуманных ценностей современного испанского общества.

В ходе исторического развития и пропаганды идей свободы и равенства этносов, неприкосновенности суверенитета всех государств испанская колонизация постепенно утрачивает свою когнитивную и моральную легитимность (в терминологии Марка Сачмана [Suchman 1995]). Таким образом, конкиста как объект легитимации (вторичной) вынуждена заново проходить все стадии установления легитимности: 1) стадию теоризации (распространение знаний о полезности, рентабельности, адекватности объекта легитимации для выхода из какой-либо сложной ситуации); 2) стадию продвижения (создание позитивного отношения к объекту легитимации за счет включения в ценностную картину мира социума посредством СМИ, государства, общественных институтов); 3) стадию окончательного укоренения (объект легитимации становится нормальной частью общего социального контекста) [Tolbert, Zucker 1996: 181].

Проблема легитимации политических персоналий и социальных институтов в испанских средствах массовой информации уже освещалась некоторыми учеными-лингвистами [Barrera 1994; Montero 2015; Zugasti 2006; Колмогорова, Горностаева 2021б]. Так, например, о легитимации испанского института монархии, утратившего свою легитимность в связи с неподобающим поведением экс-короля Испании Хуана Карлоса I, мы писали ранее [Колмогорова, Горностаева 2021а].

Легитимация испанской конкисты в испанском массмедийном пространстве: результаты и обсуждение

Процесс легитимации конкисты в испанских СМИ в основном разворачивается на первых двух стадиях установления легитимности. Так, мы уже писали ранее, что на стадии теоризации происходит легитимация адекватности объекта легитимации (конкисты) посредством огласки нелицеприятных фактов действительности, в ко-

торой жили завоеванные племена: описываются кровавые картины каннибализма, убийства детей, нападения одного племени на другое с целью использования его членов в качестве пищи. Конкиста позиционируется как освобождение подвергшихся нападению племен, спасение тысяч невинных жертв и выход из чудовищной ситуации.

Легитимация на стадии теоризации реализована посредством нескольких легитимирующих стратегий. Приведенные ниже примеры 1–5 репрезентируют актуализацию стратегии моральной оценки (в терминологии Т. ван Левена [Leeuwen 2008]), дискредитирующей уклад жизни коренных народов завоеванных территорий, на которых процветали каннибализм, насилие и массовые убийства. На языковом уровне стадия теоризации проявляется в виде лексических единиц, описывающих поедание человеческой плоти (*comerse la carne humana, carnicería*) и другие насильственные действия членов одного племени по отношению к членам другого племени или даже собственным детям (*capturar, hacer tener muchos hijos, matar, sacrificar, perseguir, exterminar, dominar, quitar*). Люди, проживающие на подвластных ацтекам территориях, сравниваются с домашним скотом (*como si fuera un cerdo, un pollo*), мясо которых используется в рационе, обрабатывается и консервируется – сушится или вялится, а из кожи производятся различные изделия (*tienen bolsos de piel de mujeres matadas*). Моральная оценка сложившегося уклада жизни ацтеков и их самих выражается посредством таких оценочных номинаций и словосочетаний, как: *el imperialismo feroz* (свиный империализм), *imperialismo más macabro de la historia de la humanidad* (самый жуткий империализм в истории человечества), *monstruos* (монстры), *sadismo* (садизм), *locos* (сумасшедшие), *lo que reinaba en América era el infierno* (у власти в Америке находились правители из ада), *la sociedad más monstruosa* (самое чудовищное общество).

Нередко употребляются словосочетания с лексемой *sangre* (кровь): *tienen las manos manchadas en sangre* (руки, испачканные в крови), *un baño de sangre* (кровавая ванна), *mancha de sangre* (пятно крови).

(1) *En Colombia había distintas naciones o tribus, una de estas naciones es pijao <...> estos buenos muchachos se dedicaban a atacar a un tribu chicha intentaban a matar a todos los hombres para comérselos. Su principal alimento fue la carne humana. No mataban a las mujeres menores de cuarenta años. A las mujeres las capturaban y hacían tener muchos hijos y cuando ese hijo cumplía doce años, el hijo de ellos mismos, ellos lo sacrificaban y lo comían como si fuera un cerdo,*

un pollo. На территории Колумбии жили разные народы и племена, один из таких – пихао. Эти «хорошие» ребята занимались тем, что **нападали** на племя чича, пытались **убить всех мужчин, чтобы съесть их**. Их основной пищей было **человеческое мясо**. Они не убивали женщин моложе сорока лет. Они **вылавливали их и заставляли рожать множество детей**, и когда ребенку – их собственному ребенку – исполнялось 12 лет, они **приносили его в жертву и съедали, как если бы он был свиной или курицей** (Marcelo Gullo: «Nada por lo que pedir perdón»).

(2) *La antropofagia y el canibalismo de los tupí. Persegúan a otras tribus también casi hasta exterminarlas*. Антропофагия и каннибализм тупи, которые тоже **преследовали** другие племена, почти полностью **истребив их** (Marcelo Gullo: «Nada por lo que pedir perdón»).

(3) *Es el imperialismo feroz, el imperialismo azteca que es el único estado en historia de la humanidad que se dedicó a dominar otros pueblos para quitarles sus seres queridos, sus padres, sus hijos, para llevarlo a un altar y comérselo y distribuir la carne en carnicería como si fuesen cerdos o pollos*. Это **свиный империализм**, империализм ацтеков, построивших единственное государство в истории человечества, целью которого было установление **доминирования над другими народами**, обусловленное желанием отобрать у них родных и близких, родителей и детей, **чтобы положить их на алтарь и съесть, отправить плоть убитых в мясные лавки**, будто бы они свиньи или куры (Marcelo Gullo: «Nada por lo que pedir perdón»).

(4) *¿Le gustaría una cultura como la azteca? ¿Deberíamos recordar al señor obrador que tenían 18 fiestas de guardar cada año con sacrificios humanos? ¿Deberíamos recordar al señor Obrador que Tlaloc, el dios de la lluvia, había que inmolarle criaturas con menos de un año? Los aztecas no solo se sacrificaban una mediana de 50.000 personas al año, sino que se los comían. La sociedad más monstruosa que los tiempos recuerdan. Con mucha diferencia, mucho peor que la espartana, es la azteca. Eso el señor López Obrador o no lo sabe o lo quiere ocultar. Me parece una miseria y una maldad*. Вы хотели бы культуру, подобную ацтекской? Стоит ли нам напомнить господину Обладору, что ежегодно ацтеки отмечали 18 праздников с **жертвоприношением**? Стоит ли нам напомнить господину Обладору, что богу дождя Тлалоку **приносили в жертву** существ возрастом младше одного года? Ацтеки не просто **приносили в жертву** в среднем 50000 человек в год, они **ели их**! Это было **самое чудовищное** общество за всю историю человечества! Ацтеки **намного хуже** спартанцев! Господин

Лопес Обладор либо не знает фактов, либо хочет их скрыть. Лично мне все это кажется **убогим и порочным!** (Antonio Escotado: «¿Debe España pedir perdón por la conquista de México?» 15.11.2022).

В подобной медиарепрезентации травмирующего события зашкаливает градус накала, удобные события еще больше драматизируются, а на их фоне объект легитимации обретает большую легитимность. Конкиста квалифицируется как национальная война за освобождение угнетенных ацтеками народов, призванная разрушить чудовищный империализм ацтеков (пример 5).

(5) *Es una guerra nacional de liberación de los pueblos oprimidos por los aztecas que marchan junto con Cortés para derrotar el imperialismo más macabro de la historia de la humanidad que era el imperialismo azteca*. Это **национальная война за освобождение угнетенных ацтеками народов**, которые объединились под командованием Кортеса, чтобы уничтожить **самый жуткий империализм** в истории человечества – империализм ацтеков (Marcelo Gullo: «Nada por lo que pedir perdón»).

Посредством субстратегии аналогии, актуализируемой в рамках стратегии моральной оценки, аргументируется целесообразность принятия объекта легитимации: приводятся некоторые его свойства, сходные с характеристиками другого – легитимного с точки зрения социума – объекта [Van Leeuwen 2008].

Проводятся аналогии с другими завоеваниями, целесообразность и необратимость которых не ставится под сомнение большей частью мирового сообщества – британское, арабское, голландское. При этом можно сказать, что легитимация испанского завоевания происходит через делегитимацию других исторических событий, что на языковом уровне актуализируется посредством лексических единиц, вербализующих жестокость, несправедливость и дискриминацию (примеры 6–8).

(6) *¿Quién critica en ensayos, en libros de divulgación la conquista árabe de Mesopotamia de lo que hoy es Irak por los ríos Éufrasis y Tigris donde los cronistas árabes dicen que esos ríos se cubrieron de sangre? <...> ¿Quién critica la conquista árabe musulmana de Alejandría donde aproximaron la ciudad y quemaron la biblioteca de Alejandría? ¿Quién critica la conquista musulmana otomana de Constantinopla donde cuando entraron a la ciudad les cortaron la cabeza al emperador y la emperatriz y las colgaron de la Muralla?* Почему никто в эссе и книгах не критикует **арабское завоевание Месопотамии** на территории современного Ирака в долине Тигра и Евфрата, кото-

рые, по словам арабских летописцев, **были залиты кровью?** <...> Почему никто не критикует завоевание арабами Александрии, которые подошли к городу и **сожгли Александрийскую библиотеку?** Почему никто не критикует османское завоевание Константинополя, когда мусульмане, войдя в город, **отрубили головы императору и императрице и повесили их на стене?** (Marcelo Gullo: «Nada por lo que pedir perdón»).

(7) *Hay papers como dicen los anglosajones o trabajos científicos o pequeños articulos pero ningún libro que critique a fondo la conquista holandesa de Indonesia. Es decir los holandeses fueron a Indonesia y fueron como Atila donde ellos se quedaron hasta después de la Segunda Guerra Mundial. No construyeron una escuela, una universidad, un hospital, ni un jardín de infantes, es decir sin embargo nadie critica de forma masiva con libros de difusión la conquista holandesa de Indonesia.* Англосаксы говорят, что есть документы, или научные труды, или малюсенькие статейки, в которых критикуется голландское завоевание Индонезии, но почему до сих пор не появилось ни одной книги об этом. Ведь голландцы подобно Атилe отправились в Индонезию и оставались там до окончания Второй мировой войны. Они не построили там ни одной школы, ни одного университета, ни одной больницы, ни одного детского сада, но почему-то никто массово не критикует в книгах голландское завоевание Индонезии (Marcelo Gullo: «Nada por lo que pedir perdón»).

(8) *Como nadie critica la conquista inglesa de Australia <...>, le pusieron tierra nulis, tierra sin habitantes. ¿Y por qué los pusieron dentro de la flora y fauna? Porque lo que querían en realidad era exterminarlos y de hecho en Tasmania cometieron el genocidio más grande de la historia de la humanidad porque en Tasmania del genocidio que hicieron los ingleses sólo sobrevivió una mujer, pero nadie critica esto.* Никто не критикует британское завоевание Австралии <...>, они дали им необитаемую землю. Зачем они поместили их в дикую флору и фауну? **Потому что на самом деле они хотели истребить их, фактически в Тасмании англичане устроили самый масштабный геноцид в истории человечества, после которого в живых осталась только одна женщина,** но никто не критикует это (Marcelo Gullo: «Nada por lo que pedir perdón»).

Нередко эксперты задаются вопросом, почему никто не требует извинений от Франции, Германии или Голландии.

На стадии продвижения реализуется стратегия апелляции к авторитету – влиятельным политическим фигурам, историкам и другим реле-

вантным персоналиям, легитимирующим испанское завоевание.

Так, испанские журналисты ссылаются на мнение представителей испанской политической элиты, цитаты которых включаются в испанский массмедийный политический дискурс и актуализируют идею о том, что Испании не за что просить прощения (примеры 9–10).

(9) «*El Rey no tiene que pedir perdón a ningún país*», **recalcó** la vicepresidenta del Gobierno, **Carмен Calvo**, a preguntas de los periodistas. «Король не должен просить прощения ни у одной страны», – **подчеркнула** вице-президент правительства **Кармен Кальво**, отвечая на вопросы журналистов (La Vanguardia, 26.03.2019).

(10) *Pedro Sánchez, además de lamentar que se haya hecho pública la carta, puntualizó en un comunicado que «la llegada, hace quinientos años, de los españoles a las actuales tierras mexicanas no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas».* **Педро Санчес** в своем заявлении выразил сожаление о том, что письмо было обнародовано, а также **добавил**, что факт прихода испанцев 500 лет назад на территорию современной Мексики не может оцениваться в парадигме современных ценностей (Diario del Alto Aragón, 27.03.2019).

Испанская конкиста категоризируется и концептуализируется посредством стратегии рационализации, которая актуализируется через субстратегию предсказания и субстратегию, ориентированную на результат.

Посредством субстратегии предсказания отсутствие конкисты как бы помещается в будущий негативный социальный контекст, предсказываются потенциальные пагубные последствия, которые могли бы иметь место быть, если бы Колумб не открыл Америку. Так, например, испанские СМИ пишут о потенциальном исчезновении племени чичу (пример 11).

(11) *Si España no hubiese llegado a Colombia, la nación chichu se hubiese distinguido.* Если бы Испания не вошла на территорию Колумбии, чичу исчезли бы с лица земли (Marcelo Gullo: «Nada por lo que pedir perdón»).

Субстратегия, ориентированная на результат, внутри стратегии рационализации может быть выражена формулой «Y – это результат X'a» (X – это объект легитимации, конкиста) и актуализируется посредством упоминания заслуг испанцев на латиноамериканской земле, которые были осуществлены во время колонизации. Так, король Испании Филипп VI говорит о заслугах испанской короны в эпоху колонизации, которые он категоризирует как культурное наследие (пример 12):

(12) *La fundación de estas ciudades implicó la creación de instituciones de gobierno, la construcción de universidades, escuelas, hospitales, imprentas. España trajo consigo su lengua, su cultura, su credo, y con todo ello aportó valores y principios como las bases del derecho internacional, o la concepción de los derechos humanos universales.* Основание этих городов повлекло за собой создание государственных учреждений, строительство университетов, школ, больниц и ти-

пографий. Испания принесла с собой свой язык, культуру, веру и при этом передала ценности и принципы международного права и концепцию универсальных прав человека (Libertad Digital, El Rey defiende el legado español en América en el 500 aniversario de San Juan de Puerto Rico, 26.01.2022).

Другие примеры вербализации субстратегии, ориентированной на результат, представлены в таблице.

Примеры вербализации субстратегии, ориентированной на результат, в рамках стратегии рационализации
Examples of verbalization of a result-oriented substrategy within the framework of a rationalization strategy

Пример на испанском	Перевод	Комментарий
<i>España fundó 33 universidades en América</i>	Испания основала 33 университета в Америке	Испания внесла значительный вклад в систему образования ЛА
<i>Hospitales gratuitos para pobres, ricos, indios, mestizos</i>	Бесплатные больницы для бедных, богатых, индейцев, метисов	Подчеркивается вклад Испании в создание системы бесплатного здравоохранения в ЛА посредством прилагательного <i>gratuito</i> , а также равенство всех слоев общества и национальностей с помощью перечисления этнонимов и антонимов <i>ricos-pobres</i>
<i>Mejores discípulos de Salamanca enseñaron a esos mestizos e indios</i>	Лучшие учителя Саламанки обучали метисов и индейцев	Посредством оценочного прилагательного в превосходной степени <i>mejores</i> подчеркивается квалификация педагогических кадров, отправленных в ЛА
<i>Tenía un sistema de becas fabuloso</i>	Там была великолепная стипендиальная система	Посредством оценочного прилагательного <i>fabuloso</i> описывается созданная испанцами стипендиальная система
<i>España les dio su ser, lo mejor que tenía</i>	Испания дала им всю себя, лучшее, что имела	Метафорическое выражение и прием олицетворения указывают на жертвенность колонизатора и желание поделиться лучшим с народами завоеванных территорий
<i>Cuando el Colegio de san Pablo tenía 5000 libros, Harvard tenía apenas 400</i>	Когда в колледже Сан-Пабло было насчитывалось 5000 книг, в Гарварде было всего 400	Посредством параллелизма обозначается превосходство созданной испанцами в ЛА материальной базы над ведущими образовательными учреждениями мира
<i>Creación de las repúblicas plurinacionales</i>	Создание многонациональных республик	Посредством прилагательного <i>plurinacionales</i> делается акцент на равенстве всех национальностей ЛА, которое было достигнуто в процессе колонизации

На стадии окончательного укоренения объект легитимации становится нормальной частью социального контекста. Так, в случае с испанским завоеванием данное событие в книгах и учебниках по истории позиционируется как величайшее географическое открытие, Христофор Колумб называется героем, ежегодно отмечается День испанской нации.

Выводы и заключение

Легитимация испанской колонизации в масмедийном испанском дискурсе преимущественно разворачивается на стадии теоризации с целью объективации ее адекватности и реализуется посредством стратегии моральной оценки и актуа-

лизирующей ее субстратегии аналогии. Так, благодаря реализации субстратегии моральной оценки конкиста позиционируется как война за освобождение народов, угнетенных ацтеками, жуткий уклад жизни которых в подробностях описывается в испанских СМИ: насилие по отношению к другим племенам, каннибализм, убийства детей и другие нелицеприятные факты империализма ацтеков. При актуализации субстратегии аналогии происходит отсылка к другим мировым завоеваниям, целесообразность которых обычно не ставится обществом под сомнение, что, в свою очередь, позволяет обосновать необходимость принятия испанского завоевания ввиду его сходства с британским, арабским и голландским.

Конкиста рационализируется с помощью субстратегии предсказания и субстратегии, ориентированной на результат. Так, в испанском политическом массмедийном пространстве приводятся потенциальные негативные последствия, которые могли бы возникнуть при отсутствии испанского завоевания. Среди них упоминается полное истребление некоторых племен, укрепление аморального с точки зрения современных прав и свобод образа жизни майя и ацтеков, отсутствие благ, которые испанцы привезли на территорию современной Латинской Америки. Субстратегия, ориентированная на результат, придает испанскому завоеванию законность, проигрывая формулу «Y – это результат X'a», где X – это конкиста: перечисляются блага цивилизации, которые появились на завоеванной территории после прихода колонизаторов.

В дальнейшем конкиста как объект легитимации проходит стадии продвижения и окончательного укоренения. На стадии продвижения реализуется стратегия апелляции к авторитету – приводятся мнения авторитетных политических и общественных деятелей, легитимирующих конкисту и отрицающих все обвинения и необходимость приносить извинения бывшим колониям.

Теория культурной травмы применима в рамках исследований, направленных на выявление негативных последствий, возникших в результате дезорганизации и несогласованности социокультурной системы общества, а исследование легитимации позволяет проанализировать процесс установления законности событий, ставших причиной данной социокультурной разобщенности.

Результаты работы могут быть использованы в рамках курсов по страноведению и истории Испании и Латинской Америки, а также в лингвистических исследованиях, направленных на изучение языковой репрезентации процесса культурной травматизации и легитимации какого-либо социокультурного феномена.

В качестве перспектив дальнейшей исследовательской работы можно отметить возможность изучения набирающего обороты обратного легитимации процесса – делигитимации конкисты – в современном латиноамериканском массмедийном пространстве.

Список литературы

Вебер М. Избранные произведения: пер. с нем. М.: Прогресс, 1990. 808 с.

Колмогорова А. В. Легитимация как социополитический феномен и объект дискурс-анализа // Политическая лингвистика. 2018. № 1. С. 33–40.

Колмогорова А. В., Горностаева Ю. А. Всё ли могут короли? или Стратегии легитимации испанской монархии в политическом медиадискур-

се СМИ // Политическая лингвистика. 2021б. № 1. С. 41–49. doi 10.12345/1999-2629_2021_01_04

Колмогорова А. В., Горностаева Ю. А. Дискурсивная специфика эмоциональной легитимации монархии в испанских СМИ // Вестник МГПУ. Серия «Филология. Теория языка. Языковое образование». 2021а. № 3. С. 79–94. doi 10.25688/2076-913X.2021.43.3.08

Роблес Эррера А., Малинко Д. А. Конкиста: влияние на развитие Латинской Америки // Актуальные проблемы экономики и управления. 2018. № 2(18). С. 93–99.

Alexander J. C. Toward a Theory of Cultural Trauma // A Cultural Trauma and Collective Identity. California: University of California Press, 2004. P. 1–30.

Alexander J. C. Culture trauma, morality and solidarity: The social construction of 'Holocaust' and other mass murders // Thesis Eleven: SAGE Journals. 2016. Vol. 132(1). P. 3–16.

Barrera C. La prensa española ante la designación de Don Juan Carlos como sucesor de Franco a título de rey // Communication & Society. 1994. Vol. 7. № 1. P. 93–109.

Deephouse D., Suchman M. Legitimacy in Organizational Institutionalism // Sage handbook of organizational institutionalism. London: Sage, 2008. P. 49–77.

Eyerman R. Cultural Trauma: Slavery and the Formation of African Identity. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. 316 p.

Johnson C., Dowd T. J., Ridgeway C. L. Legitimacy as a social process // Annual Review of Sociology. 2006. Vol. 32. P. 53–78.

Leeuwen T. Discourse and Practice: New Tools for Critical Discourse Analysis. Oxford: Oxford University Press, 2008. 184 p.

Montero L. El día más difícil del rey. Discursos de legitimación monárquica desde la ficción televisiva // Revista de Historia Actual. 2015. Vol. 12. P. 43–50.

Screti F. Defending Joy against the Popular Revolution: legitimization and delegitimation through songs // Critical Discourse Studies. 2013. Vol. 10(2). P. 205–222.

Smelser N. J. Psychological Trauma and Cultural Trauma // A Cultural Trauma and Collective Identity. California: University of California Press, 2004. P. 31–59.

Suchman M. C. Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches // Academy of Management Review. 1995. Vol. 20(3). P. 571–610.

Sztompka P. Cultural Trauma: The Other Face of Social Change // The European Journal of Social Theory. 2000. Vol. 3(4). P. 449–466.

Tolbert P. S., Zucker L. G. The institutionalization of institutional theory // Handbook of Organization Studies. 1996. P. 175–190.

Vaara E., Tienari J. A discursive perspective on legitimization strategies in multinational corporations // *Academy of Management Review*. 2008. Vol. 33. P. 985–993.

Zugasti R. La prensa de la transición como cómplice de Juan Carlos I: el ejemplo de la legitimidad franquista de la Monarquía // *Espacio, Tiempo y Forma. Serie V: Historia Contemporánea*. 2006. Vol. 18. P. 299–319.

References

Weber M. *Izbrannyye proizvedeniya* [Selected Works]. Transl. from German. Moscow, Progress Publ., 1990. 808 p. (In Russ.)

Kolmogorova A. V. *Legitimatsiya kak sotsiopoliticheskiy fenomen i ob"ekt diskurs-analiza* [Legitimation as a societal phenomenon and as an object of discourse analysis]. *Politicheskaya lingvistika* [Political Linguistics], 2018, issue 1, pp. 33–40. (In Russ.)

Kolmogorova A. V., Gornostaeva Yu. A. Vse li mogut koroли? ili Strategii legitimatsii ispanskoy monarkhii v politicheskoy mediadiskurse SMI [Legitimation of the Spanish Monarchy in the Political Media Discourse: The Strategy of Appeal to Authority and Polyphony of Voices]. *Politicheskaya lingvistika* [Political Linguistics], 2021b, issue 1, pp. 41–49. doi 10.12345/1999-2629_2021_01_04. (In Russ.)

Kolmogorova A. V., Gornostaeva Yu. A. Diskursivnaya spetsifika emotsional'noy legitimatsii monarkhii v ispanskikh SMI [Discursive specificity of the emotional legitimization of the monarchy in the Spanish media]. *Vestnik MGPU. Seriya 'Filologiya. Teoriya yazyka. Yazykovoe obrazovanie'*. [MCU Journal of Philology. Theory of Linguistics. Linguistic Education], 2021a, issue 3, pp. 79–94. (In Russ.)

Robles Herrera A., Malinko D. A. Konkista: vliyanie na razvitie Latinskoy Ameriki [The conquest of Latin America and its influence on the development of Latin America]. *Aktual'nye problemy ekonomiki i upravleniya* [Current Issues of Economics and Management], 2018, issue 2(18), pp. 93–99. (In Russ.)

Alexander J. C. Toward a theory of cultural trauma. *A Cultural Trauma and Collective Identity*. California, University of California Press, 2004, pp. 1–30. (In Eng.)

Alexander J. C. Culture trauma, morality and solidarity: The social construction of 'Holocaust' and

other mass murders. *Thesis Eleven: SAGE Journals*, 2016, vol. 132(1), pp. 3–16. (In Eng.)

Barrera C. La prensa española ante la designación de Don Juan Carlos como sucesor de Franco a título de rey. *Communication & Society*, 1994, vol. 7, issue 1, pp. 93–109. (In Sp.)

Deepphouse D., Suchman M. Legitimacy in organizational institutionalism. *Sage Handbook of Organizational Institutionalism*. London, Sage, 2008, pp. 49–77. (In Eng.)

Eyerman R. *Cultural Trauma: Slavery and the Formation of African Identity*. Cambridge, Cambridge University Press, 2001. 316 p. (In Eng.)

Johnson C., Dowd T. J., Ridgeway C. L. Legitimacy as a social process. *Annual Review of Sociology*, 2006, vol. 32, pp. 53–78. (In Eng.)

Leeuwen T. *Discourse and Practice: New Tools for Critical Discourse Analysis*. Oxford, Oxford University Press, 2008. 184 p. (In Eng.)

Montero L. El día más difícil del rey. Discursos de legitimación monárquica desde la ficción televisiva. *Revista de Historia Actual*, 2015, vol. 12, pp. 43–50. (In Sp.)

Screti F. Defending joy against the popular revolution: Legitimation and delegitimation through songs. *Critical Discourse Studies*, 2013, vol. 10(2), pp. 205–222. (In Eng.)

Smelser N. J. Psychological trauma and cultural trauma. *A Cultural Trauma and Collective Identity*. California, University of California Press, 2004, pp. 31–59. (In Eng.)

Suchman M. C. Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, 1995, vol. 20(3), pp. 571–610. (In Eng.)

Sztompka P. Cultural trauma: The other face of social change. *The European Journal of Social Theory*, 2000, vol. 3(4), pp. 449–466. (In Eng.)

Tolbert P. S., Zucker L. G. The institutionalization of institutional theory. *Handbook of Organization Studies*, 1996, pp. 175–190. (In Eng.)

Vaara E., Tienari J. A discursive perspective on legitimization strategies in multinational corporations. *Academy of Management Review*, 2008, vol. 33, pp. 985–993. (In Eng.)

Zugasti R. La prensa de la transición como cómplice de Juan Carlos I: el ejemplo de la legitimidad franquista de la Monarquía. *Espacio, Tiempo y Forma. Serie V: Historia Contemporánea*, 2006, vol. 18, pp. 299–319. (In Sp.)

Spanish Colonization as a Cultural Trauma: Legitimation of the Traumatic Event in the Spanish Press

Yulia A. Gornostaeva

Associate Professor in the Department of Germanic
and Romance Languages and Applied Linguistics

Siberian Federal University

82, prospekt Svobodny, Krasnoyarsk, 660041, Russian Federation. yulyatald@yandex.ru

SPIN-code: 8680-9639

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6233-4995>

Submitted 10 Nov 2023

Revised 22 Feb 2024

Accepted 10 Mar 2024

For citation

Gornostaeva Yu. A. Ispanskaya konkista kak kul'turnaya travma: legitimatsiya travmiruyushchego sobytiya v ispanskoy presse [Spanish Colonization as a Cultural Trauma: Legitimation of the Traumatic Event in the Spanish Press]. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2024, vol. 16, issue 3, pp. 5–14. doi 10.17072/2073-6681-2024-3-5-14 (In Russ.)

Abstract. The article examines the process of legitimation of the conquest in the Spanish mass media political discourse. The study appears to be relevant due to the recent intensification of controversy surrounding the justification of Spanish colonization, as well as the process of delegitimization of this historical event in the Latin American media. The scientific novelty of the paper lies in that it provides an analysis of cultural traumatization and legitimation as interconnected sociological processes that are linguistically represented in the Spanish political media discourse. The study is carried out on the basis of written and oral discourse of Spanish politicians and public figures legitimizing this traumatic event. In the course of the work, it was established that the process of legitimation of the conquest is most clearly manifested at the stage of theorization of the object of legitimation aiming to objectify its adequacy and is implemented through the strategy of moral assessment and the substrategy of analogy: the unpleasant facts of Aztec imperialism are described, there are references to the British, Arab and Dutch conquests, the expediency of which is not questioned by society. Where the Conquest is rationalized with the use of a predictive substrategy and a result-oriented substrategy, there are indicated potential negative consequences of the absence of Spanish conquest as well as the benefits of civilization that appeared in the conquered territory after the arrival of the colonizers. At the promotion stage, a strategy of appeal to authority is implemented – there are presented opinions of authoritative political and public figures and historical figures legitimizing the conquest and denying all accusations as well as the need to apologize to the former colonies. At the stage of final rooting, the conquest becomes a habitual social context.

Key words: cultural trauma; traumatic event; legitimation; media representation; Spanish colonization.

УДК 81'28(470.53)
doi 10.17072/2073-6681-2024-3-15-23
<https://elibrary.ru/mbagzn>

EDN MBAGZN



Общие названия сорной травы в русских говорах Пермского края: мотивационный аспект (на материале диалектных словарей)

Гранова Мария Андреевна

к. филол. н., доцент кафедры теоретического и прикладного языкознания

Пермский государственный национальный исследовательский университет

614068, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15. marjanaandreeva@mail.ru

SPIN-код: 3653-3938

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2577-6652>

ResearcherID: D-2785-2018

Статья поступила в редакцию 05.02.2024

Одобрена после рецензирования 15.07.2024

Принята к публикации 13.08.2024

Информация для цитирования

Гранова М. А. Общие названия сорной травы в русских говорах Пермского края: мотивационный аспект (на материале диалектных словарей) // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2024. Т. 16, вып. 3. С. 15–23. doi 10.17072/2073-6681-2024-3-15-23

Аннотация. В статье на материале диалектных словарей Пермского края рассматриваются лексические единицы, являющиеся общими обозначениями сорной травы в русских говорах региона. В ходе исследования выявлены мотивационные признаки, лежащие в основе общих названий сорной травы, построены мотивационные модели, по которым образуются эти единицы, определены общие принципы номинации сорной травы в пермских говорах. Обнаружено два основных принципа номинации – по объективным признакам самих растений и по их значению в хозяйственной деятельности человека. Доказано, что фитонимы в пермских говорах могут иметь множественную мотивацию. Рассмотрены представления русских жителей края о сорных растениях, отраженные в диалектных фитонимах. Ядро этих представлений – бесполезность сорной травы в хозяйстве (*пустая трава, сорняк, сорная трава, сор, хлам, дудора, шелобонь, батарма, чаща, дурнина, дурнотравье, дурняк, дурман*; развитие семантики в данном случае чаще всего происходит по модели ‘отходы, мусор, хлам’ → ‘сорняки’; это наиболее частотная семантико-мотивационная модель в рассматриваемой группе лексик); номинации, отражающие объективные признаки растений (особенности строения стебля и листьев (*дубинник, батожье, дудка*), свойства сорной травы (*дерюга, деряга, деряжка, липучая трава, сувололка, суволока*)), менее частотны на исследуемой территории и носят конкретный характер (стелиться по земле, липнуть к другим предметам и т. д.); в единичном случае в названии сорной травы отразились представления о качестве человека, приводящем к ее появлению (*бабья лень*). Полученные выводы свидетельствуют в пользу антропоцентрического, оценочного, конкретно-чувственного характера картины мира диалектоносителей.

Ключевые слова: этноботаника; сорные растения; фитоним; семантико-мотивационный анализ; пермские говоры.

Введение

Известно, что условия проживания определенного социального коллектива – экономические отношения, политическая ситуация, а также

природные факторы – формируют его менталитет, влияют на его образ жизни. Для сельского коллектива особую роль, безусловно, играют природные условия, в том числе флора. «Одной

из древнейших лексических микросистем, в которой закреплён опыт практического и культурно-мифологического освоения мира растений как части окружающей человека природы» [Коновалова 2000: 4], является народная фитонимия, поэтому ее изучение сегодня продолжает оставаться одним из важных направлений диалектологических исследований. Рост интереса диалектологов к рассмотрению фитонимов во многом обусловлен работой над первым томом «Лексического атласа русских народных говоров», посвященного теме «Растительный мир» [ЛАРНГ 1]: сбор, систематизация, картографирование диалектных названий растений позволили ученым обратиться к теоретическому рассмотрению этой лексики в различных аспектах: изучается словообразование фитонимов (см., например: [Вендина 1998]), их этимология (см., например: [Меркулова 1967]), отражение в ней межъязыкового взаимодействия (см., например: [Бродский 2010]); создаются словари фитонимической лексики (см., например [Коновалова 2000]).

Настоящая работа посвящена анализу процессов мотивации в народной фитонимии, что является актуальным, поскольку выявление мотивационных признаков, лежащих в основе названий растений, позволяет раскрыть представления о растительном мире, функционирующие в сознании современных диалектоносителей – жителей сельской местности, для которых растениеводство по-прежнему остается важной частью хозяйственной деятельности.

Однако исследования процессов мотивации в народной фитонимии носят фрагментарный характер, проводятся на материале номинаций отдельных растений (см., например, работы, посвященные номинациям лопуха, репейника [Красовская 2012], крапивы [Зорина 2016], конопли [Колокольцева, Кудряшова 2007]) или групп растений, в том числе номинаций трав (см., например: [Вендина 2016; Колосова 2011; 2015; Меркулова 1965; 1967]).

Имеются исследования мотивации фитонимов, выполненные на материале говоров отдельных территорий (см.: [Алёшина 2014; Занозина, Ларина 2000]). Что касается русской фитонимии Пермского края, то к настоящему времени в мотивационном ключе рассмотрены лишь ее отдельные группы: названия травы душицы [Русинова 2011], ягодных растений [Боброва 2017], грибов [Пермякова 2010], номинации деревьев в говоре одного населенного пункта [Русинова, Ямлиханова 2006], названия молодых шишек хвойных деревьев [Зверева 2023]; ряд работ посвящен группе номинаций травянистых растений (см.: [Бакланова 2014; Русинова, Богачева 2003]).

Объектом настоящего исследования стали названия сорной травы, функционирующие в русских говорах Пермского края. **Цель** работы – изучение мотивационной семантики лексических единиц, обозначающих эти растения, то есть рассмотрение того, как народные представления о сорняках отразились в диалектном языке. Как указывает С. М. Толстая, отношения «левой» (внутренней) и «правой» (внешней) мотивации для слова не симметричны: одни слова имеют развитую систему внутренних мотивационных моделей и менее развитую сеть семантической деривации (таковы, например, имена лиц, регулярно называемых по характерному действию, функции, разного рода признакам и т. п.); другие единицы, являющиеся немотивированными или «слабо мотивированными», могут активно развивать собственную семантическую деривацию (то есть имеют сильную «правую» область мотивации) [Толстая 2002: 116–117]. В настоящей работе будет рассмотрена «левая» мотивация фитонимов.

В **задачи** исследования входит: 1) анализ словарных статей диалектных словарей Пермского края и отбор из них лексических единиц, являющихся общими названиями сорной травы; 2) поиск мотивирующих единиц для этих слов и построение мотивационных моделей для образования данных фитонимов; 3) выявление мотивационных признаков, лежащих в основе исследуемых названий, и общих принципов номинации сорных растений в пермских говорах; 4) описание представлений русского населения края о сорной траве, нашедших отражение в ее номинациях, как части картины мира носителей традиции.

Источниками материала для нашей работы послужили статьи диалектных словарей Пермского края (АС; СПГ; СРГСПК; СРГЮП), из которых отбирались именно общие номинации; видовые обозначения сорных растений (*крапива*, *аржанник* ‘щетинник сизый’, *восот* ‘осот’ и т. д.) в настоящей работе не рассматриваются.

Отметим, что в ботанике сорными называются растения, нежелательные на территориях, используемых человеком в хозяйственной деятельности; они ухудшают условия произрастания культивируемых растений, создают благоприятную среду для размножения вредителей; выходя сорняки вызывают полегание сельскохозяйственных растений, высокостебельные – забивают рабочие органы уборочных машин; зерно с примесью семян ядовитых сорных растений может быть причиной отравления людей и животных; для уничтожения сорных растений используется комплекс специальных агротехнических приемов [Конечная 2016].

Диалектными словарями Пермского края зафиксировано 24 общих названия сорной травы, в основе которых лежат различные признаки этих растений. Количество номинаций указывает на важность таких растений для диалектоносителей, поскольку выбор самих маркируемых предметов и явлений внешнего мира и их признаков, объективируемых в их языковых номинациях, «не является случайным <...>, а носит системный характер, давая представление о мировидении всех членов этноса» [Вендина 2016: 124–125], и чем чаще маркируется в языке та или иная реалья, тем большую значимость она имеет в жизни и в картине мира носителей диалекта.

Общие номинации сорной травы в русских говорах Пермского края и мотивационные признаки, лежащие в их основе

Перейдем к анализу нашего материала. В первых, в диалектных словарях Пермского края встретились, номинации сорной травы *дерюга*, *деряга*, *деряжка*: *Так вы че, через дерюгу или че ли? (Кособаново Кунг.) (СПГ 1: 213); Вот ведь деряга какая, никак не отцепишь (Н. Звяга Караг.) (там же); Деряга, она как мох же будет, только длинный такой стебель, а на ней шишечки маленькие. Прямо по земле вьется (Харенки Сол.) (там же); Деряжка – трава зелёная. На ей растут тонкие листики, как иголки; а на их появляется пыльца, сдают ее, она ценная; между окнами деряжку-то и ложат, она не вянет (Аристова Сол.) (там же).* Все названия зафиксированы в значении ‘цепкая сорная трава’.

Представляется, что анализируемые единицы связаны с глаголом *драть* и могут развивать свои значения по модели: ‘то, что рвет, царапает, обдирает’ [РЭС 13: 262] → ‘сорная трава’. Таким образом, рассматриваемые номинации отражают способность сорной травы ранить людей и животных, причинять им физическую боль, что связано с жесткостью и шершавостью, возможно, колючестью стебля растения, который позволяет ему цепляться за другие растения, предметы или людей. Такой семантический переход логичен, если обратить внимание на то, что в пермских говорах единица *дерюга* обозначает грубую ткань, а *дерюжка* – верхнюю одежду из такой ткани [СПГ 1: 213; СРНГ 8: 27–29].

В пермских говорах отмечены такие названия сорной травы, как *дубинник* ‘жесткая, грубая трава’ (СПГ 1: 236) и *бато́жьё* ‘сухая колючая, с большими стеблями сорная трава’ (СРГЮП 1: 44): *Двор-от у меня весь дубинником зарос, а выдергать не проворю уж (Кленовка Больш.) (СПГ 1: 236); Ведь вот како колюче бато́жьё, все руки, девки, исколете (Рагузы Чайк.) (СРГЮП 1: 44).* Первую номинацию можно связать со сло-

вом *дубина*, известным в литературном языке в значении ‘толстая тяжелая палка’ [БАСРЯ 5: 409]. Вторая единица восходит к слову *батог* с литературным значением ‘палка или толстый прут, применявшийся в старину для телесных наказаний’, а также ‘палка, посох’ [БАСРЯ 1: 416]; в пермских говорах фиксируется схожая семантика – ‘палка, посох, трость, дубина’ (СПГ 1: 14). Можно предположить, что обе номинации указывают на жесткость, твердость стебля растения и его большую толщину; мотивационную модель можно представить как ‘твердый, жесткий, толстый, негнувшийся предмет’ → ‘сорная трава’.

Кроме того, название *дубинник* можно также связывать со словом *дуб*. Это высокое дерево (до 40 м) с толстым стволом (до 4 м в диаметре), древесина которого отличается твердостью, прочностью и зимостойкостью [Баландин 2016], поэтому единица *дубинник* может указывать не только на толщину стебля, но и на его высоту, а также на прочность и жесткость. Мотивационная модель: ‘дерево с высоким, толстым стволом и твердой корой’ → ‘сорная трава’.

Особенности строения стеблей сорной травы отразились и в номинации *дудка*: *У меня <...> весь огородец дудкой затянуло (Юрич Караг.) (СПГ 1: 237).* В пермских говорах единица обозначает ‘толстый, полый стебель растения’ (там же) и, как видно из приведенного примера, сорную траву с таким стеблем. Название отражает сходство формы стебля растения с формой «простейшего духового музыкального инструмента в виде полой деревянной трубки с отверстиями» [БАСРЯ 5: 418]. Мотивационная модель: ‘предмет, имеющий форму полой трубки’ → ‘толстый полый стебель растения’ → ‘сорное растение с таким стеблем’.

Со свойствами стебля сорных растений связаны номинации *су́волотка* *су́волока* и *липу́чая трава́*: *Покушать нечего, траву ели – суволотку (Бондюг Черд.) (СПГ 2: 415); Липучая трава всю картошку обтенёт (Вильва Сол.) (там же: 444).* Эти единицы указывают на способность стебля растения обвивать, «обволакивать» другие растения или предметы (ср. значение единиц с корнями *-волот/-волот-*: ‘Сорная трава <...>, цепляющаяся за ноги при ходьбе, мешающая идти’ (АС 5: 159)).

В пермских диалектных словарях отмечено также обозначение сорной травы *бурла́н*: *Вон какой бурлан нынче вырос – полоть пора (Кленовка Больш.) (СПГ 1: 66–67).* Единица родственна лексеме *бурьян*, функционирующей в литературном языке со значением ‘крупнотельная сорная трава (крапива, лопух и т. п.); высокая сорная трава’ [БАСРЯ 2: 270]. Как отмечает П. Я. Черных, название сорной травы *бурьян*

восходит к глаголу *бу́рить* ‘много и сильно лить’, а также ‘бунтовать, разорять, разрушать’ и родственно словам *бу́ря*, *бу́рлить* (в значении ‘шуметь, бушевать, буянить’), *буйный* [ИЭССРЯ 1: 126]. Следовательно, «растение-сорняк названо так <...> по быстрому и буйному его росту и разрушительному действию» [там же]. Таким образом, анализируемая номинация отражает способность сорной травы быстро разрастаться и причинять вред культурным растениям.

Еще одно название сорной травы в пермских говорах – *пустая трава*: *Картовну траву не дерьгат, а пусту-то траву выдергиват* (Акчим Краснов.) (АС 1: 167); *Траву-то пусту-то всё дергала. А леший с ей! Она вырастёт!* (Акчим Краснов.) (АС 2: 108); *Травы пустой много не продергано* (Акчим Краснов.) (АС 4: 144); *Этo мы пустую траву стяпывали, сорняки* (Акчим Краснов.) (АС 5: 159). Единица отражает идею отсутствия у сорной травы хозяйственной ценности, пользы для человека.

Сходные представления лежат в основе еще ряда номинаций сорной травы, зафиксированных в пермских говорах: *сорняк*, *сoрная трава*, *сор*, *хлам*, *дудора*, *шелобонь*, *батарма*, *чаща*: *Вот семена-то окрошатся осенью, шибко сорняков много будёт* (Кленовка Больш.) (СПГ 2: 41); *Посеяно – сорна трава может вытеснить* (Акчим Краснов.) (АС 1: 192); *Всякой сор нарастёт: молошник, восоть, мальда* (Шипицыно Гайн.) (СРГСПК 1: 277); *Я до чистичка все убрала, выполола, а сейчас вон снова хлам вырос* (Волково Киш.) (СРГЮП 1: 235); *Весь огород дудорой зарос, жжется* (Сильново Караг.) (СПГ 1: 237); *Трава шелобонь така, куда её деваешь* (Острожка Ох.) (СПГ 2: 549); *В прошлом году здесь некошено, так батармы воно сколько* (Фоки Чайк.) (СПГ 1: 24); *Пололи, из посева цяишу выдергивали, прополку делали. А всё одно затегало травой – цяишой* (Акчим Краснов.) (АС 6: 153).

Как видим, в данную группу входят как обозначения, встречающиеся в литературном языке (*сорняк*, *сорная трава*), так и собственно диалектные номинации. Их объединяет то, что все они образовались от названий отходов, мусора. Номинации *сорняк*, *сорная трава*, *сор*, *хлам* имеют прозрачную внутреннюю форму, и эта мотивация в них видна хорошо. Остальные единицы требуют пояснения. Номинация *дудора*, вероятно, происходит от слова *дудора* со значением ‘хлам, дрянные пожитки’ [Даль 1: 445]. Слово *шелубонь* восходит к *шалупонь* со значением ‘ненужные вещи; грязь, пыль, сор’, которое связано с *шелуха*, *шелупина* ‘шкурка, кожурка, очистки’ [СРА]. Единица *батарма*, вероятно, возникла из *бахтарма* (так, в говорах Русского Севера обе единицы имеют сходную семантику:

батарма ‘пивная гуща’ [СГРС 1: 73], *бахтарма* ‘осадок, остаток от пива, браги либо другой процеженной жидкости’ [там же: 79]). Единица *бахтарма* отмечена в пермских говорах в значении ‘грязь’ (СРГЮП 1: 45), а также ‘внутренняя поверхность кишок’ и ‘верхняя кожица бересты’ (СПГ 1: 27) и является заимствованием из тюркских языков (ср.: номинация сорной травы *бахтарма* зафиксирована в Чайковском районе Пермского края, граничащем с Башкирией, и могла быть заимствована русскими от местного тюркского населения), где, согласно А. Е. Аникину, имела значение ‘шершавая и/или «мохристая» пленка, кожица на шкуре, грибе, бересте’ (из тюрк. *bastyрма* ‘сдавленное, сжатое’), то есть то, что не идет в пищу, выбрасывается [РЭС 2: 295]. Единица *чаща* в русских говорах Пермского края (в частности, в говоре деревни Акчим Красновишерского района, где зафиксирована и рассматриваемая номинация сорной травы) может обозначать заросли малоценных пород деревьев, низкосортную древесину, древесные отходы и вообще любой хлам, сор (АС 6: 153).

Таким образом, все рассмотренные единицы претерпели изменение семантики по модели ‘отходы, мусор, хлам вообще’ → ‘сорная трава’. Эти названия, на наш взгляд, репрезентируют идею ненужности сорняков, указывают на то, что от них следует избавляться, пропалывать.

В пермских материалах отчетливо выделяется еще одна группа номинаций сорных растений – названия с корнем *-дур-*: *дурнина*, *дурнотравье*, *дурняк*: *На покосе нонче беда много дурниныросло* (Асово Бер.) (СПГ 1: 238); *Беда есть, чем корову кормить; на покосе одно дурнотравье нонеросло* (Шульгино Бер.) (там же: 239); *Дурняк-от обкашивать надо, на што его* (Калинино Кунг.) (там же). Все они происходят от прилагательного *дурной* ‘плохой’. Этот признак может указывать на отсутствие у сорных растений хозяйственной ценности и на их отрицательную оценку диалектоносителями.

В русских говорах Пермского края в значении ‘сорняк’ отмечена также единица *дурман*: *Раньше-то дурмана не было. Чтобы у кого-то дома выросла трава? Нет, не было* (Лидино Окт.) (СРГЮП 1: 255–256). В литературном языке это слово обозначает растение *Datura stramonium* L. (дурман обыкновенный, дурман вонючий), все части которого ядовиты и которое имеет довольно сильный запах (приятный – у цветков, неприятный – у стеблей и листьев, если их повредить), способный опьянять, одурять, одурманивать человека [Головкин 2016]. Однако представляется, что в сознании диалектоносителей анализируемый фитоним связан не с литературной номинацией растения *Datura stramonium* L., а с прилагатель-

тельным *дурной*, поэтому следует включить эту единицу в охарактеризованную выше группу слов с корнем *-дур-*. Мотивационный признак в данном случае тот же, что и у этих номинаций, – отсутствие у растения полезных для человека качеств, его отрицательная оценка.

Наконец, еще одно название сорняков в пермских говорах – *бабья лень*: *На грядках сплошь растет бабья лень. Выполоть бы надо* (Лызиб Сол.) (СПГ 1: 472). Мотивировка этой номинации прозрачна: ‘отрицательное качество человека’ → ‘сорняки как результат, к которому приводит наличие у человека этого качества’.

Выводы

1. Проведенный анализ позволяет указать общие принципы номинации сорной травы в русских говорах Пермского края:

1) номинация по объективным признакам самих растений:

а) по особенностям строения стебля (*дубинник, батожье, дудка*);

б) по свойствам растений (*дерюга, деряга, деряжка, липучая трава, суволока, бурлан*);

2) номинация по значению сорных растений для хозяйственной деятельности человека:

а) по отсутствию у них хозяйственной пользы (*пустая трава, сорняк, сорная трава, сор, хлам, дудора, шелобонь, батарма, чаща, дурнина, дурнотравье, дурняк, дурман*);

б) по качеству человека, приводящему к появлению сорняков (*бабья лень*).

Стоит отметить, что, с одной стороны, фитонимы в пермских говорах могут иметь множественную мотивацию. С другой стороны, один мотивационный признак может отражаться в нескольких номинациях, что в целом типично для диалектной лексики (ср., например, наблюдения Л. О. Занозиной, Л. И. Лариной [Занозина, Ларина 2000]).

Наиболее частотной семантико-мотивационной моделью при образовании общих названий сорных растений в пермских говорах является модель ‘отходы, мусор, хлам’ → ‘сорняки’ (по этой модели образовано 8 номинаций).

2. Языковые данные русских говоров Пермского края дают возможность составить следующий собирательный «портрет» сорных растений в картине мира диалектоносителей. Сорные растения часто обладают высоким жестким, колючим стеблем или же, наоборот, стелющимся стеблем, способным оплетать, обвивать другие растения. Они не имеют хозяйственной ценности и представляют опасность для культурных растений, а также для человека и животных (поскольку их листья и стебли способны ранить то-

го, кто к ним прикасается). Если не пропалывать сорняки (например, по причине лени), то они могут очень буйно разрастись и погубить культурные растения.

Сопоставление этого «портрета» с ботаническим описанием из энциклопедии, приведенным в начале настоящей статьи, позволяет видеть, что основные представления о сорных растениях (о наличии крупностебельных и стелющихся видов, о вредоносности сорняков для культурных посадок, а также для человека и животных) отражены в обоих случаях. При этом большинство диалектных названий маркируют их бесполезность в хозяйстве (13 номинаций). Это главный признак сорной травы для носителей говоров. На втором месте в диалектной картине мира представления о строении растений и их свойствах (каждое такое свойство отражают 1–3 номинации), причем эти свойства носят предельно конкретный характер (стелиться по земле, липнуть к другим объектам и т. д.). Кроме того, в диалектной картине мира отражено то, чего нет в научном описании сорных растений, – качество человека, приводящее к их появлению (*бабья лень*) (причем при таком способе номинации отрицательную культурную оценку получают не только сами растения, но и данное качество человека через связь с ними). Всё сказанное еще раз свидетельствует в пользу антропоцентрического, оценочного, чувственно-конкретного характера картины мира носителей говоров.

Условные сокращения районов Пермского края

Бер. – Берёзовский; Больш. – Большесосновский; Гайн. – Гайнский; Караг. – Карагайский; Киш. – Кишертский; Краснов. – Красновишерский; Кунг. – Кунгурский; Ох. – Оханский; Сол. – Соликамский; Чайк. – Чайковский; Черд. – Чердынский.

Список источников с сокращениями

АС – Словарь говора д. Акчим Красновишерского района Пермской области (Акчимский словарь): в 6 вып. / гл. ред. Ф. Л. Скитова. Пермь: Перм. гос. ун-т, 1984–2011. Вып. 1–6.

СПГ – Словарь пермских говоров: в 2 вып. / под ред. А. Н. Борисовой, К. Н. Прокошевой. Пермь: Кн. мир, 2000–2002. Вып. 1–2.

СРГСПК – Словарь русских говоров севера Пермского края / гл. ред. И. И. Русинова. Пермь: Перм. гос. ун-т. Вып. 1. А–В. 2011. 364 с.

СРГЮП – Словарь русских говоров Южного Прикамья / И. А. Подюков (науч. ред.), С. М. Поздеева, Е. Н. Свалова, С. В. Хоробрых, А. В. Черных; Перм. гос. пед. ун-т. Пермь, 2010–2012. Вып. 1–3.

Список литературы

- Алёшина Л. М. Мотивация наименований по дорожника как способ отражения опыта освоения носителями говоров мира растений // Лексический атлас русских народных говоров (Материалы и исследования) 2014 / отв. ред. А. С. Герд. СПб.: Нестор-История, 2014. С. 25–30.
- Бакланова И. И. Народные названия дикорастущих съедобных растений Пермского края, или История поиска названия «гоныши» // Проблемы лингвистического краеведения / сост. С. С. Иванова; отв. ред. Ю. Г. Гладких. Пермь: Изд-во ПГГПУ, 2014. С. 35–42.
- Баландин С. А. Дуб // Большая российская энциклопедия. 2016. URL: <https://old.bigenc.ru/biology/text/1969337> (дата обращения: 05.05.2024).
- БАСРЯ – Большой академический словарь русского языка / гл. ред. К. С. Горбачевич. М.; СПб.: Наука, 2004–. Т. 1–.
- Боброва М. В. Названия ягод и ягодных растений в русских говорах Пермского края и иных территорий // Лексический атлас русских народных говоров (Материалы и исследования) 2017 / Ин-т лингв. исслед. РАН. СПб.: Нестор-История, 2017. С. 59–77.
- Бродский И. В. Русские заимствования в фитонимическом фонде финно-пермских языков // Лексический атлас русских народных говоров (Материалы и исследования) 2010 / отв. ред. А. С. Герд. СПб.: Наука, 2010. С. 293–298.
- Вендина Т. И. «Лексический атлас русских народных говоров» и лексика природы в лингвогносеологическом аспекте // Лексический атлас русских народных говоров (Материалы и исследования) 2016 / отв. ред. С. А. Мызников. СПб.: Нестор-История, 2016. С. 121–153.
- Вендина Т. И. Русская языковая картина мира сквозь призму словообразования (макрокосм). М.: Индрик, 1998. 236 с.
- Головкин Б. Н. Дурман // Большая российская энциклопедия. 2016. URL: <https://bre.mkrf.ru/biology/text/1970763> (дата обращения: 07.05.2024).
- Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 ч. Ч. 1. М.: Типография А. Семена, 1863. 627 с.
- Занозина Л. О., Ларина Л. И. Мотивированность лексики растительного мира (на курском материале) // Лексический атлас русских народных говоров (Материалы и исследования) 1997 / отв. ред. И. А. Попов. СПб., 2000. С. 129–131.
- Зверева Ю. В. Названия молодых шишек хвойных деревьев в русских говорах Пермского края // Известия Уральского федерального университета. Серия 2. Гуманитарные науки. 2023. Т. 25, № 2. С. 181–198. doi 10.15826/izv2.2023.25.2.031
- Зорина Л. Ю. Наименования крапивы в русских народных говорах (по данным ЛАРНГ) // Лексический атлас русских народных говоров (Материалы и исследования) 2016 / отв. ред. С. А. Мызников. СПб.: Нестор-История, 2016. С. 227–238.
- ИЭССРЯ – Историко-этимологический словарь современного русского языка: в 2 т. / П. Я. Черных. М.: Русский язык, 1999. Т. 1. А – Пантомима. 624 с.
- Колокольцева Т. Н., Кудряшова Р. И. Наименования растения конопля в русских говорах (по материалам Лексического атласа русских народных говоров) // Лексический атлас русских народных говоров (Материалы и исследования) 2007 / отв. ред. А. С. Герд. СПб.: Наука, 2007. С. 123–131.
- Колосова В. Б. Отзоонимные названия растений в русских говорах на общеславянском фоне // Славянская диалектная лексикография: материалы конф. / отв. ред. С. А. Мызников, О. Н. Крылова. СПб.: Наука, 2011. С. 50.
- Колосова В. Б. Русские диалектные фитонимы, мотивированные названиями пищи // Современные проблемы лексикографии: материалы конф. / отв. ред. О. Н. Крылова. СПб.: Нестор-История, 2015. С. 100–101.
- Конечная Г. Ю. Сорные растения // Большая российская энциклопедия. 2016. URL: <https://old.bigenc.ru/biology/text/3637640> (дата обращения: 03.05.2024).
- Коновалова Н. И. Словарь народных названий растений Урала. Екатеринбург: Межотрасл. рег. центр, 2000. 233 с.
- Красовская Н. А. Названия лопуха и репейника в русских говорах // Лексический атлас русских народных говоров (Материалы и исследования) 2012 / отв. ред. А. С. Герд. СПб.: Нестор-История, 2012. С. 373–382.
- ЛАРНГ – Лексический атлас русских народных говоров / отв. ред. Т. И. Вендина. М.; СПб.: Нестор-история, 2017. Т. 1. Растительный мир. 736 с.
- Меркулова В. А. Очерки по русской народной номенклатуре растений (Травы, грибы, ягоды). М.: Наука, 1967. 259 с.
- Меркулова В. А. Происхождение названий дикорастущих съедобных растений в русских говорах: дис. ... канд. филол. наук. М., 1965. 369 с.
- Пермякова Л. А. Миконимы пермских говоров в синхронном и диахронном аспектах // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2010. Вып. 3(9). С. 25–31.
- Русинова И. И. Названия травы душица обыкновенная в пермских говорах (на материале словарей) // Лексический атлас русских народных говоров (Материалы и исследования) 2011 / отв. ред. А. С. Герд. СПб.: Наука, 2011. С. 360–367.

Русинова И. И., Богачева М. В. Фитонимическая лексика говоров Пермской области // Лексический атлас русских народных говоров (Материалы и исследования) 2000 / отв. ред. А. С. Герд. СПб.: Наука, 2003. С. 116–127.

Русинова И. И., Ямлиханова И. М. Лексика леса в одном пермском говоре (на материале Тематической группы «Дерево» говора д. Акчим Красновишерского района Пермской области) // Лексический атлас русских народных говоров (Материалы и исследования) 2006 / отв. ред. А. С. Герд. СПб.: Наука, 2006. С. 215–231.

РЭС – Русский этимологический словарь / А. Е. Аникин. М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2007–. Вып. 1–.

СГРС – Словарь говоров Русского Севера / под ред. А. К. Матвеева. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та. Т. 1. А–Б. 2001. 252 с.

СРА – Словарь русского арго: мат. 1980–1990-х гг. / В. С. Елистратов М.: Русские словари, 2000. URL: http://gramota.ru/slovari/argo/53_16225 (дата обращения: 08.05.2024).

СРНГ – Словарь русских народных говоров / под ред. Ф. П. Филина, Ф. П. Сороколетова. М.; Л.: СПб.: Наука, 1965–. Вып. 1–.

Толстая С. М. Мотивационные семантические модели и картина мира // Русский язык в научном освещении. 2002. № 1(3). С. 112–127.

References

Aleshina L. M. Motivatsiya naimenovaniy podobnozhnika kak sposob otrazheniya opyta osvoeniya nositelyami govorov mira rasteniy [The motivation of the names of plantain as a reflection of the dialect speakers' familiarization with the plant world]. *Leksicheskiy atlas russkikh narodnykh govorov (Materialy i issledovaniya) 2014* [Lexical Atlas of Russian Folk Dialects (Materials and Research) 2014]. Ed. by A. S. Gerd. St. Petersburg, Nestor-Istoriya Publ., 2014, pp. 25–30. (In Russ.)

Baklanova I. I. Narodnye nazvaniya dikorastushchikh s'edobnykh rasteniy Permskogo kraya, ili Istoriya poiska nazvaniya 'gonyshi' [Folk names of wild edible plants of the Perm region, or The history of searching for the name for 'gonysh']. *Problemy lingvisticheskogo kraevedeniya* [Issues of Linguistic Regional Studies]. Perm, Perm State Humanitarian Pedagogical University Press, 2014, pp. 35–42. (In Russ.)

Balandin S. A. Dub [Oak]. *Bol'shaya Rossiyskaya entsiklopediya* [The Great Russian Encyclopedia]. 2016. Available at: <https://old.bigenc.ru/biology/text/1969337> (accessed 5 May 2024). (In Russ.)

BASRYa – *Bol'shoy akademicheskiy slovar' russkogo yazyka* [Large Academic Dictionary of

the Russian Language]. Ed. by K. S. Gorbachevich. Moscow, St. Petersburg, Nauka Publ., 2004–, vol. 1–. (In Russ.)

Bobrova M. V. Nazvaniya yagod i yagodnykh rasteniy v russkikh govorakh Permskogo kraia i in-ykh territoriy [Words naming berries and berry plants in the Russian dialects inside and outside the Perm region]. *Leksicheskiy atlas russkikh narodnykh govorov (Materialy i issledovaniya) 2017* [Lexical Atlas of Russian Folk Dialects (Data and Research) 2017]. St. Petersburg, Nestor-Istoriya Publ., 2017, pp. 59–77. (In Russ.)

Brodskiy I. V. Russkie zaimstvovaniya v fitonimicheskom fonde finno-permskikh yazykov [Russian borrowings in the phytonymic fund of the Finno-Permian languages]. *Leksicheskiy atlas russkikh narodnykh govorov (Materialy i issledovaniya) 2010* [Lexical Atlas of Russian Folk Dialects (Materials and Research) 2010]. St. Petersburg, Nauka Publ., 2010, pp. 293–298. (In Russ.)

Vendina T. I. 'Leksicheskiy atlas russkikh narodnykh govorov' i leksika prirody v lingvognoseologicheskom aspekte ['Lexical Atlas of Russian Folk Dialects' and vocabulary of nature in the linguognoseological aspect]. *Leksicheskiy atlas russkikh narodnykh govorov (Materialy i issledovaniya) 2016* [Lexical Atlas of Russian Folk Dialects (Materials and Research) 2016]. St. Petersburg, Nestor-Istoriya Publ., 2016, pp. 121–153. (In Russ.)

Vendina T. I. *Russkaya yazykovaya kartina mira skvoz' prizmu slovoobrazovaniya (makrokosm)* [Russian Linguistic Picture of the World Through the Prism of Word-formation (macrocosm)]. Moscow, Indrik Publ., 1998. 236 p. (In Russ.)

Golovkin B. N. Durman [Thorn apple]. *Bol'shaya Rossiyskaya entsiklopediya* [The Great Russian Encyclopedia]. 2016. Available at: <https://bre.mkrf.ru/biology/text/1970763> (accessed 7 May 2024). (In Russ.)

Dal V. I. *Tolkovyy slovar' zhivogo velikorusskogo yazyka* [Explanatory Dictionary of the Living Great Russian Language]: in 4 pts. Moscow, Publishing House of A. Semen, 1863. 627 p. (In Russ.)

Zanozina L. O., Larina L. I. Motivirovannost' leksiki rastitel'nogo mira (na kurskom materiale) [Motivation of the plant world vocabulary (based on Kursk material)]. *Leksicheskiy atlas russkikh narodnykh govorov (Materialy i issledovaniya) 1997* [Lexical Atlas of Russian Folk Dialects (Materials and Research) 1997]. Ed. by I. A. Popov. St. Petersburg, 2000, pp. 129–131. (In Russ.)

Zvereva Yu. V. Nazvaniya molodykh shishek khvoynykh derev'ev v russkikh govorakh Permskogo kraia [Names of young cones of coniferous trees in the Russian dialects of Perm region]. *Izves-*

tiya Ural'skogo federal'nogo universiteta. Ser. 2. Gumanitarnye nauki [Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2. Humanities and Arts], 2023, vol. 25, issue 2, pp. 181–198. doi 10.15826/izv2.2023.25.2.031. (In Russ.)

Zorina L. Yu. Naimenovaniya krapivy v russkikh narodnykh govorakh (po dannym LARNG) [Names of nettle in Russian folk dialects (according to LARNG data)]. *Leksicheskiy atlas russkikh narodnykh govorov (Materialy i issledovaniya) 2016* [Lexical Atlas of Russian Folk Dialects (Materials and Research) 2016]. Ed. by S. A. Myznikov. St. Petersburg, Nestor-Istoriya Publ., 2016, pp. 227–238. (In Russ.)

IESSRYa – *Istoriko-etimologicheskii slovar' sovremennogo russkogo yazyka* [Historical and Etymological Dictionary of the Modern Russian language]: in 2 vols. P. Ya. Chernykh. Moscow, Russkiy yazyk Publ., 1999, vol. 1. A – Pantomima [A – Pantomime]. 624 p. (In Russ.)

Kolokol'tseva T. N., Kudryashova R. I. Naimenovaniya rasteniya konoplya v russkikh govorakh (po materialam Leksicheskogo atlasa russkikh narodnykh govorov) [Names of the cannabis plant in Russian dialects (based on materials from the Lexical Atlas of Russian Folk Dialects)]. *Leksicheskiy atlas russkikh narodnykh govorov (Materialy i issledovaniya) 2007* [Lexical Atlas of Russian Folk Dialects (Materials and Research) 2007]. St. Petersburg, Nauka Publ., 2007, pp. 123–131. (In Russ.)

Kolosova V. B. Otzoonimnye nazvaniya rasteniy v russkikh govorakh na obshcheslavlyanskom fone [Names of plants derived from zoonyms in Russian dialects against the common Slavic background]. *Slavyanskaya dialektnaya leksikografiya* [Slavic Dialect Lexicography]: conference proceedings. St. Petersburg, Nauka Publ., 2011, p. 50. (In Russ.)

Kolosova V. B. Russkie dialektnye fitonimy, motivirovannye nazvaniyami pishchi [Russian dialect phytonyms motivated by food names]. *Sovremennye problemy leksikografii* [Modern Problems of Lexicography]: conference proceedings. St. Petersburg, Nestor-Istoriya Publ., 2015, pp. 100–101. (In Russ.)

Konechnaya G. Yu. Sornye rasteniya [Weeds]. *Bol'shaya Rossiyskaya entsiklopediya* [The Great Russian Encyclopedia]. 2016. Available at: <https://old.bigenc.ru/biology/text/3637640> (accessed 3 May 2024). (In Russ.)

Konovalova N. I. *Slovar' narodnykh nazvaniy rasteniy Urala* [Dictionary of Folk Names of Plants of the Urals]. Yekaterinburg, Mezhotraslevoy regional'nyy tsentr Publ., 2000. 233 p. (In Russ.)

Krasovskaya N. A. Nazvaniya lopukha i repeynika v russkikh govorakh [Names of burdock and agrimony in Russian dialects]. *Leksicheskiy atlas*

russkikh narodnykh govorov (Materialy i issledovaniya) 2012 [Lexical Atlas of Russian Folk Dialects (Materials and Research) 2012]. St. Petersburg, Nestor-Istoriya Publ., 2012, pp. 373–382. (In Russ.)

LARNG – *Leksicheskiy atlas russkikh narodnykh govorov* [Lexical Atlas of Russian Folk Dialects]. Ed. by T. I. Vendina. Moscow, St. Petersburg, Nestor-istoriya Publ., 2017, vol. 1. Rastitel'nyy mir [Flora]. 736 p. (In Russ.)

Merkulova V. A. *Ocherki po russkoy narodnoy nomenklature rasteniy (Travy, griby, yagody)* [Essays on Russian Folk Nomenclature of Plants (Herbs, Mushrooms, Berries)]. Moscow, Nauka Publ., 1967. 259 p. (In Russ.)

Merkulova V. A. *Proiskhozhdenie nazvaniy dikorastushchikh s'edobnykh rasteniy v russkikh govorakh*. Diss. kand. filol. nauk [Origin of the names of wild edible plants in Russian dialects. Cand. philol. sci. diss.]. Moscow, 1965. 369 p. (In Russ.)

Permyakova L. A. Mikonimy permskikh govorov v sinkhronnom i diakhronnom aspektakh [Myconyms of Perm dialects in synchronic and diachronic aspects]. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2010, issue 3 (9), pp. 25–31. (In Russ.)

Rusinova I. I. Nazvaniya travy dushitsa obyknovennaya v permskikh govorakh (na materiale slovarey) [Names of the herb origanum in Perm dialects (according to the dictionaries)]. *Leksicheskiy atlas russkikh narodnykh govorov (Materialy i issledovaniya) 2011* [Lexical Atlas of Russian Folk Dialects (Materials and Research) 2011]. Ed. by A. S. Gerd. St. Petersburg, Nauka Publ., 2011, pp. 360–367. (In Russ.)

Rusinova I. I., Bogacheva M. V. Fitonimicheskaya leksika govorov Permskoy oblasti [Phytonymic vocabulary of dialects of the Perm region]. *Leksicheskiy atlas russkikh narodnykh govorov (Materialy i issledovaniya) 2000* [Lexical Atlas of Russian Folk Dialects (Materials and Research) 2000]. Ed. by A. S. Gerd. St. Petersburg, Nauka Publ., 2003, pp. 116–127. (In Russ.)

Rusinova I. I., Yamlikhanova I. M. Leksika lesa v odnom permskom govore (na materiale Tematicheskoy gruppy 'Derevo' govora d. Akchim Krasnovisherskogo rayona Permskoy oblasti) [Forest vocabulary in one Perm dialect (based on the material of the thematic group 'Tree' of the dialect of the Akchim village, Krasnovishersky district, Perm region)]. *Leksicheskiy atlas russkikh narodnykh govorov (Materialy i issledovaniya) 2006* [Lexical Atlas of Russian Folk Dialects (Materials and Research) 2006]. St. Petersburg, Nauka Publ., 2006, pp. 215–231. (In Russ.)

RES – *Russkiy etimologicheskii slovar'* [Russian Etymological Dictionary]. A. E. Anikin. Moscow, Rukopisnye pamyatniki Drevney Rusi Publ., 2007–, vols. 1–. (In Russ.)

SGRS – *Slovar' govorov Russkogo Severa* [Dictionary of Dialects of the Russian North]. Ed. by A. K. Matveev. Yekaterinburg, Ural Federal University Press, 2001, vol. 1. 252 p. (In Russ.)

SRA – *Slovar' russkogo argo: materialy 1980–1990-kh gg.* [Dictionary of Russian Argot: Materials from the 1980–1990]. Ed. by V. S. Elistratov. Moscow, Russkie slovari Publ., 2000. Available at:

http://gramota.ru/slovari/argo/53_16225 (accessed 8 May 2024). (In Russ.)

SRNG – *Slovar' russkikh narodnykh govorov* [A Dictionary of Russian Folk Dialects]. Ed. by F. P. Filin, F. P. Sorokoletov. Moscow, Leningrad, Nauka Publ., 1965–, vols. 1–. (In Russ.)

Tolstaya S. M. Motivatsionnye semanticheskie modeli i kartina mira [Motivational semantic models and picture of the world]. *Russkiy yazyk v nauchnom osveshchenii* [Russian Language and Linguistic Theory], 2002, issue 1(3), pp. 112–127. (In Russ.)

General Designations of Weeds in Russian Dialects of the Perm Region: A Motivational Aspect (based on dialect dictionaries)

Mariia A. Granova

Associate Professor in the Department of Theoretical and Applied Linguistics

Perm State University

15, Bukireva st., Perm, 614068, Russian Federation. marjanaandreeva@mail.ru

SPIN-code: 3653-3938

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2577-6652>

ResearcherID: D-2785-2018

Submitted 05 Feb 2024

Revised 15 Jul 2024

Accepted 13 Aug 2024

For citation

Granova M. A. Obshchie nazvaniya sornoy travy v russkikh govorakh Permskogo kraia: motivatsionnyy aspekt (na materiale dialektnykh slovarey) [General Designations of Weeds in Russian Dialects of the Perm Region: A Motivational Aspect (based on dialect dictionaries)]. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2024, vol. 16, issue 3, pp. 15–23. doi 10.17072/2073-6681-2024-3-15-23 (In Russ.)

Abstract. The article examines lexical units being general designations of weeds in Russian dialects of the Perm region. Data from dialect dictionaries of the region were used as research material. The aim was to study the motivational semantics of these lexemes. In the course of research, the motivational characteristics underlying the general names of weeds were identified, motivational models according to which these lexemes are formed were constructed, the general principles of designating weeds in Perm dialects were determined. It has been proven that phytonyms in Perm dialects can have multiple motivations. The study explores the ideas of Russian residents of the region about weeds reflected in dialect phytonyms. The main one is the idea of the uselessness of weeds on the farm (*pustaya trava*, *sornyak*, *sornaya trava*, *sor*, *khlam*, *dudora*, *shelobon'*, *batarma*, *chashcha*, *durnina*, *durnotrav'e*, *durnyak*, *durman*; in this case the semantics often develops according to the model 'waste, garbage, trash, rubbish' → 'weeds'; this is the most frequent semantic-motivational model in the considered group of vocabulary); designations reflecting objective characteristics of plants (features of the structure of the stem and leaves (*dubinnik*, *batozh'e*, *dudka*), properties of weeds (*deryuga*, *deryaga*, *deryazhka*, *lipuchaya trava*, *suvolotka*, *suvoloka*)) are less frequent in the study area and are of a concrete nature (trail along the ground, stick to other objects, etc.); in a single case, the name of a weed reflected ideas about the quality of a person leading to its appearance (*bab'ya len'*, which can be roughly translated as a woman's laziness; with this method of naming, not only the plants themselves but also this personal quality, through association with the plants, receive a negative cultural assessment). The obtained conclusions testify in favor of the anthropocentric, evaluative, concrete-sensual nature of the dialect speakers' worldview.

Key words: ethnobotany; weeds; phytonym; semantic-motivational analysis; Perm dialects.

УДК 81'33:913(510)
doi 10.17072/2073-6681-2024-3-24-34
<https://elibrary.ru/hfhukd>

EDN HFHUKD



Сопоставительный анализ геоконцептов «Пекин» и «Шанхай» в «наивной» географии Китая

Дуань Цзиньчжи

аспирант, ассистент кафедры теоретического и прикладного языкознания

Пермский государственный национальный исследовательский университет

614068, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15. 707695802@qq.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3891-2016>

SPIN-код: 6002-7300

Статья поступила в редакцию 24.04.2024

Одобрена после рецензирования 16.06.2024

Принята к публикации 05.07.2024

Информация для цитирования

Дуань Цзиньчжи. Сопоставительный анализ геоконцептов «Пекин» и «Шанхай» в «наивной» географии Китая // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2024. Т. 16, вып. 3. С. 24–34. doi 10.17072/2073-6681-2024-3-24-34

Аннотация. Статья посвящена реконструкции и сопоставительному анализу геоконцептов «Пекин» и «Шанхай» в «наивной» географии Китая. Исследование выполнено в рамках геоконцептологии, разрабатываемой пермской школой компьютерной лингвистики. Геоконцептология, как наука о концептуализации ментальных репрезентаций пространства, позволяет лучше понимать ментальные карты людей, их представления о мире и адаптацию в окружающем пространстве, что может быть полезно при разработке урбанистических проектов, туристических маршрутов, маркетинговых стратегий и во многие других областях, где важно учитывать географические аспекты.

Методом сбора материала является геокогнитивное картирование – эксперимент по созданию «наивных» карт, проведенный в веб-редакторе векторной графики «Студия креативных карт». Материалом исследования послужили 96 «наивных» карт Китая, созданных информантами-студентами из китайских университетов 45 регионов Китая. Информантам было предложено с помощью веб-редактора нарисовать карту Китая и сопроводить нарисованные объекты связанными с ними ассоциациями или представлениями. Обработка текстового слоя всех собранных в эксперименте карт для последующего моделирования геоконцептов осуществлялась в Информационной системе «Семограф», а графическая экспликация графосемантических моделей геоконцептов – в программе SciVi.

В представлениях информантов геоконцепт «Пекин» является более сложным семантическим образованием, основанным на политической роли столицы, связывающей страну в социальном, культурном и историческом аспектах. Геоконцепт «Шанхай» аккумулирует представления об экономическом и торговом мегаполисе – «Волшебном городе» современного глобального мира. В ходе анализа было выявлено, что на ассоциации и/или представления информантов большое влияние оказывают историческая, социокультурная составляющая и личный опыт.

Ключевые слова: геоконцептология; геоконцепт; «наивная» география; ментальная карта; региональность; геоментальная карта.

Введение

Исследование выполнено в предметной области геоконцептологии, которая сформировалась в рамках пермской школы компьютерной лингвистики [Зелянская 2014; Zelienskaia et. al 2020; Chumakov et. al 2021]. Геоконцептология является междисциплинарной научной областью, фундаментом которой служит лингвистическая семантика, активно использующая понятийно-категориальный аппарат, методы и эмпирические данные в области социальной и культурной географии, истории, семиотики, культурологии, регионоведения, а также методы математических и компьютерных наук.

Геоконцепт понимается как «структурированная совокупность коллективных представлений о географическом объекте; он синтезирует образы географического объекта (топоса), его названия (топонима), представления о нем и его пространственных параметрах (длина, координаты, расположение относительно других геолокаций)» [Калуцков 2016; Zelienskaia et. al 2020]. Геоконцепты – это результат концептуализации территории. На процесс концептуализации оказывают влияние культура, искусство, политика, масс-медиа и другие факторы. Большую роль в процессе концептуализации играет текущая экономическая и социальная ситуация (см.: [Калуцков 2012]). Геоконцепты являются «местами-топонимами, связанными со значимыми событиями истории, жизни и деятельности людей, имеющими высокий культурный статус» [Калуцков 2016], что «превращает» некоторые из них в сверхтопонимы, «нагруженные» многочисленными и разнообразными культурными смыслами.

Геоконцепт тесно связан с ментальной картой – схематичной репрезентацией восприятия, представления и понимания человеком окружающего пространства. Понятие «ментальная карта» (*mental map, cognitive Landkarte*) было впервые введено Е. С. Толманом в 1948 г. (см.: [Tolman 1948]). Р. М. Доунз и Д. Стеа определяют ментальную карту как «абстрактное понятие, охватывающее те ментальные и духовные способности, которые дают нам возможность собирать, упорядочивать, хранить, вызывать из памяти и перерабатывать информацию об окружающем пространстве» [Downs, Stea 1977; Chiodo 2007].

Ментальная карта пространства призвана помогать человеку ориентироваться в окружающей его действительности. Ментальная карта может быть искаженной и изменчивой, так как она зависит от индивидуальных особенностей, опыта, воспоминаний и восприятия человека. Ментальные карты одного и того же пространства разли-

чаются у разных людей и «варьируются в зависимости от контекста и опыта каждого индивидуума» [Шенк 2001].

В контексте исследований топонимики и географии ментальная карта используется для изучения того, как «люди воспринимают и организуют информацию о местности, включая топонимику и собственные имена» [Разумов, Горяев 2019]. Этот подход помогает понять взаимосвязь между ментальными картами и пространственным восприятием людей, а также их влияние на языковые и культурные аспекты. Метод «скетч-картирования» (англ. *sketch mapping*) позволяет экспериментально изучать проблему региональной идентичности в контексте геоментальных репрезентаций (см.: [Didelon et al. 2011; Saarinen 1988; Saarinen, MacCabe 1990 и др.]).

Геоконцепт и ментальная карта тесно связаны: основная «масса» концептуального материала ментальной карты приходится на репрезентацию геоконцептов. В то же время ментальная карта как система ментальных репрезентаций геопространства не сводится к геоконцептам, так как содержит многообразные случайные элементы (например, иконические изображения не имеющих названия природных объектов, удаленные из карт объекты и др.). Геоконцепт на ментальной карте представляет собой статичный объект (который может иметь разнообразные связи с другими объектами). Ментальная карта является объектом одновременно *динамичным и процессуальным*, поскольку именно в процессе своего создания она формируется в сознании рисующего ее автора (с реализацией уникальной последовательности создания геообъектов), а также *статичным* (в аспекте полученного/воплощенного результата).

Обобщим отличительные особенности понятия «геоконцепт».

1. Геоконцепт может иметь любая именованная географическая локация, о которой говорят/думают жители.

2. Геоконцепты как системы представлений формируются под влиянием масс-медиа, политики, культуры и личного опыта людей; эти представления могут зависеть также от текущей экономической и социальной ситуации в регионе. Например, геоконцепт «Париж» может представляться не только в контексте его географического местоположения, но и как символ моды, культуры, искусства и истории.

3. Геоконцепты можно рассматривать и как индивидуальные ментальные образования, и как объективированные коллективные конструкты (например, представления о Москве с точки зрения жителей Перми).

4. Геоконцепт одного и того же геообъекта может различаться для разных территорий (например, геоконцепт «Москва» отличается в представлениях жителей Перми, Оренбурга и Бийска (см.: [Zelianskaia 2020]). То же самое можно говорить и о геоконцептах стран: например, в Европе могут существовать иные представления о Китае, нежели в Азии.

5. Геоконцепт интересен в первую очередь с точки зрения коллективных представлений о пространстве и может быть реконструирован как некая семантическая система. Ментальная карта, напротив, отражает индивидуальный способ восприятия и понимания пространства, и по отношению к ментальным картам сложно представить метод, моделирующий обобщенную/коллективную ментальную карту.

В данной статье ставится задача реконструкции геоконцептов «Пекин» и «Шанхай» на основе визуализированных (и вербализованных) ментальных карт, представляющих индивидуальные пространственные образы Китая. Информантами являются китайские студенты, граждане КНР; возраст респондентов варьируется от 17 до 27 лет.

Методы

Методом сбора материала является геокогнитивное картирование – эксперимент по созданию «наивных» карт, проведенный в разработанном «Лабораторией социокогнитивной и

компьютерной лингвистики» в веб-редакторе векторной графики «Студия креативных карт» (<https://creativemaps.studio/>) [Студия...]. Веб-приложение «Студия креативных карт» предоставляет широкий выбор инструментов рисования на основе точек, линий и областей, которые позволяют изображать на карте различные объекты, такие как города, исторические памятники, промышленные объекты, государственные границы, дороги, реки, степи, моря, болота и т. д. Для каждого объекта можно задать индивидуальные параметры – цвет, размер, прозрачность, название, описание, смайлики и т. д. (см.: [Chumakov et. al 2021]). Веб-редактор использовался для сбора ментальных карт России (см.: [ibid.]).

Описание эксперимента

Перед информантом ставится задача на основании собственных знаний и представлений в веб-приложении «Студия креативных карт» нарисовать карту Китая, на которой нужно:

а) отметить наиболее важные географические объекты Китая (под ними понимаются любые локации, наносимые на географические карты);

б) возле всех нанесенных информантом на карту географических объектов требуется записать собственные ассоциации/представления, связанные с ними (пример карты вместе с интерфейсом «Студии креативных карт» приведен на рис. 1).

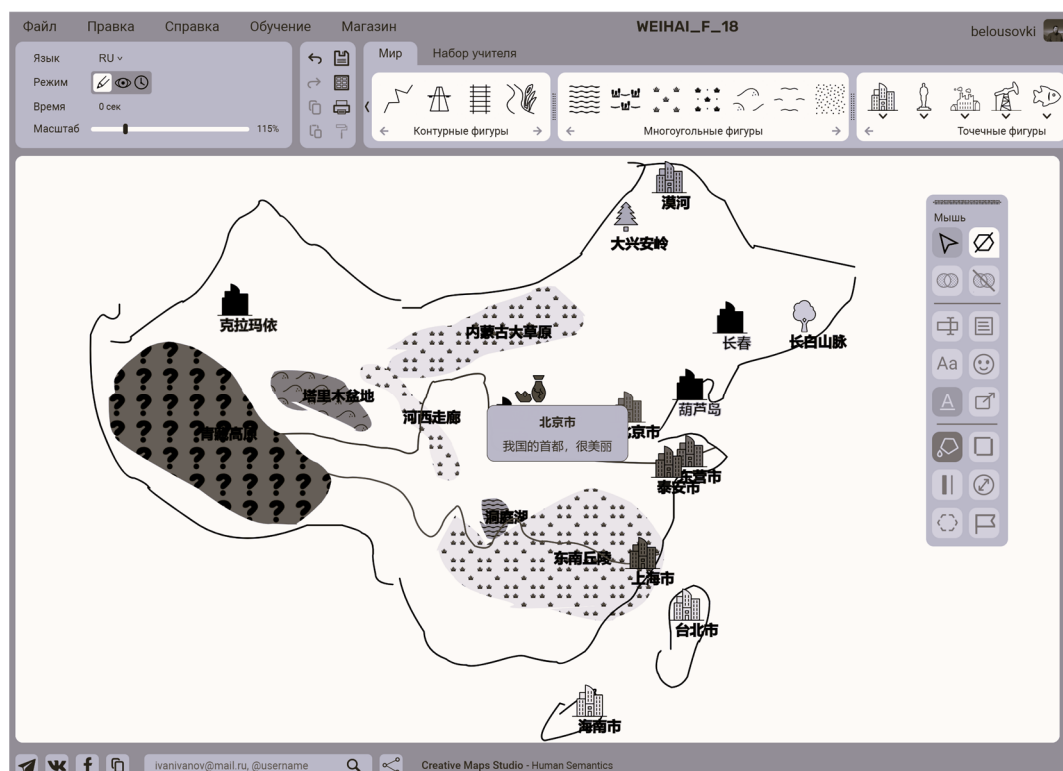


Рис. 1. Скриншот «наивной» карты Китая (Информант WEIHAI_F_18) в «Студии креативных карт»
Fig. 1. Screenshot of a 'naïve' map of China (Informant WEIHAI_F_18) in the Creative Maps Studio

Для фиксации на картах ассоциаций/представлений информантов использовались инструменты создания текстового слоя, которые включают: название объекта, субъективное описание, связанное с ним, и название карты, в котором фиксируются социально-демографические параметры информантов.

Важной частью эксперимента является обучение информантов пользоваться инструментами «Студии». Для рисования карт Китая в качестве информантов выступили студенты китайских университетов, что потребовало создания локализации приложения – перевода пользовательского интерфейса программы с русского на китайский язык. Был создан обучающий видеоролик для работы в программе (<https://youtu.be/rvCJPSEoAsA>), размещенный на платформе YouTube.

Таким образом, для проведения эксперимента необходимо предварительно познакомить информантов с обучающими видеороликами и ответить на их вопросы о том, как создавать тот или иной объект, менять его параметры, созда-

вать описание объекта, сохранять нарисованную в «Студии» карту.

Участники эксперимента сообщили о себе следующую информацию: город проживания, пол, возраст. Полученные данные в формате ГОРОД_ПОЛ_ВОЗРАСТ заносились в название карты (см. рис. 1). Время проведения эксперимента не ограничивалось.

Материал

Материалом исследования послужили 96 «наивных» карт Китая, созданных информантами из 45 китайских регионов (Шанхай, Пекин, Цзинань, Вэйфан и др). Гендерный состав информантов: женщин – 86, мужчин – 10. Возрастное варьирование: от 17 до 27 лет. Общее количество объектов на нарисованных картах: 1762, среди них текстовые описания, включая эмодзи, имеют 446 геообъектов (25 %). Количественная представленность информантов по гендерной и возрастной характеристикам отражена в таблице.

Количественная представленность информантов по гендерной и возрастной характеристикам Quantitative representation of informants by gender and age

Пол	Возраст							Всего	Ср. зн. ¹	Ср. кв. ²
	17	18	19	20	21	22	27			
F	1	20	21	21	12	10	1	86	19,72	1,4
M	1	2	3	3	0	0	1	10	19,7	1,6

Примечание. ¹ Ср. зн. – среднее значение. ² Ср. кв. – среднеквадратичное отклонение.

Обработка текстового слоя всех собранных карт для последующего моделирования геоконцептов осуществлялась с помощью Информационной системы графосемантического моделирования «Семограф» (<https://semograph.com/>) (см.: [Баранов и др. 2019]), созданной для решения

задач в области обработки/анализа текстов, текстовых выборок/корпусов.

Анализ осуществлялся в несколько этапов.

1. Извлекался текстовый слой всех ментальных карт и экспортировался в файл табличного формата (рис. 2).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	context	components	context.name	fix	O	И	Объект->Тип объекта	Объект->Название объекта	Объект->Цвет объекта
2	owner			co	cor	component		component	component
3	types			str	str	string		string	string
4	multivalue			no	no	no		no	no
3123		北京是中华人民共和国的首都, 很多外国人在这里居住; 🏡	ZIBO				Меганполис	北京	('#####')
3124		是山东的首都, 我上学的地方	ZIBO				Город	济南	('#####')
3125		上海有魔都之称, GDP位居全国前列	ZIBO				Меганполис	上海	('#####')
3126		台湾是我国的宝岛, 是中国不可分割的一部分	ZIBO				Меганполис	台湾	('#####')
3127			ZIBO				Пустыня		('7ed321')
3128		有很广袤的草原与牧场, 有大量的牛羊, 游牧民族分布广布	ZIBO				Город	内蒙古	('#####')
3129			ZIBO				Пустыня		('5a623')
3130		有大量的少数民族, 有信仰的宗教, 盛产甘甜多汁的水果	ZIBO				Город	新疆	('#####')
3131		中国边境							
3132			SHANDONG				Граница	中国边境图	('000000')
3132			SHANDONG				Граница		('000000')
3133			SHANDONG				Граница		('000000')
3134		中国的首都 国家政治中心, 国际交往中心, 世界一线城市	SHANDONG				Меганполис	北京	('#####')
3135		国际经济, 金融, 贸易, 航运中心. 国际大都市. 消费水平较	SHANDONG				Меганполис	上海	('#####')
3136			SHANDONG				Степь		('#####')
3137			SHANDONG				Степь		('7ed321')
3138			SHANDONG				Пустыня		('5a623')
3139		一直以来是中国不可分割的一部分, 是中国第一大岛, 位居战	SHANDONG				Город	台湾岛	('#####')
3140		是中国最全的热带岛屿, 为中国的经济开发区, 自由贸易试验	SHANDONG				Меганполис	海南岛	('#####')
3141		为中国较为重要的工业基地和北方地区经济发展的战略支点. 著	SHANDONG				Меганполис	山东	('#####')
3142		我的家乡微山, 隶属于山东省济宁市, 有着著名的国家5A风景	SHANDONG				Городок	微山县	('#####')
3143			SHANDONG				Река	京杭大运河	('2196f3')
3144		属于世界长河之一, 中国第二长河. 黄河泥沙九成来自于黄土	SHANDONG				Река	黄河	('2196f3')
3145		中国第一大河. 长江支流数以千计, 水量居世界第三位。	SHANDONG				Река	长江	('2196f3')

Рис. 2. Скриншот фрагмента файла с текстовым слоем ментальных карт Китая

Fig. 2. Screenshot of a fragment of a file with a text layer of mental maps of China

2. Файл импортировался в ИС «Семограф».

3. В ИС «Семограф» осуществлялась классификация всех вербальных реакций информантов. Для этого на основе имеющегося материала создавалась система семантических полей, к которым затем приписывались вербальные реакции информантов о том или ином геообъекте, содержащем семантику поля. Под семантическим полем понимается «множество значений, которые имеют хотя бы один общий семантический компонент» [Апресян и др. 1995: 252].

4. Осуществлялась классификация вербальных ответов – отнесение их к одному или нескольким семантическим полям в зависимости от количества сем, входящих в разные поля (вербальные реакции, связанные с одним топомом, могут относиться к нескольким полям).

5. Поскольку один ассоциат может входить в несколько семантических полей, появляется возможность генерации семантической карты, показывающей связность полей через отнесенность их к одним и тем же контекстам.

6. Визуализация семантической карты представляется в виде семантического графа, вершинами которого являются семантические поля, а ребра показывают количество одновременных вхождений двух полей в одни и те же ассоциаты. Для построения графов использовалось приложение SciVi. Геоконцепт предстает в данной па-

радигме в виде системы связанных друг с другом семантических полей.

Описание результатов

Информанты отметили два наиболее важных города Китая – Пекин и Шанхай. Из них самым значимым мегаполисом Китая является, конечно, Пекин, самый известный город Китая, его столица. На рис. 3 представлен скриншот ментальной карты Китая (Ии. Цинань_Ж_27 лет). Текстовый слой на самой карте можно увидеть при наведении курсора на географический объект.

В данном случае можно увидеть следующий текст, репрезентирующий представление информанта о Пекине: 帝都, 中国的政治中心, 医疗教育资源全国最发达 [Императорский город, политический центр Китая с самыми развитыми медицинскими и образовательными ресурсами в стране]. (Здесь и далее перевод наш.) Геоконцепт «Пекин» состоит из 14 полей: Столица, Достопримечательности, Позитивное отношение, Высокие цены, Возможности, Культурное наследие, Политический центр, Популярный, Экономический центр, Природные ресурсы, Река, ВСПП (Высокая степень проявления признака), Древняя столица, Северные провинции.

Графосемантическая модель геоконцепта «Пекин» представлена на рис. 4.

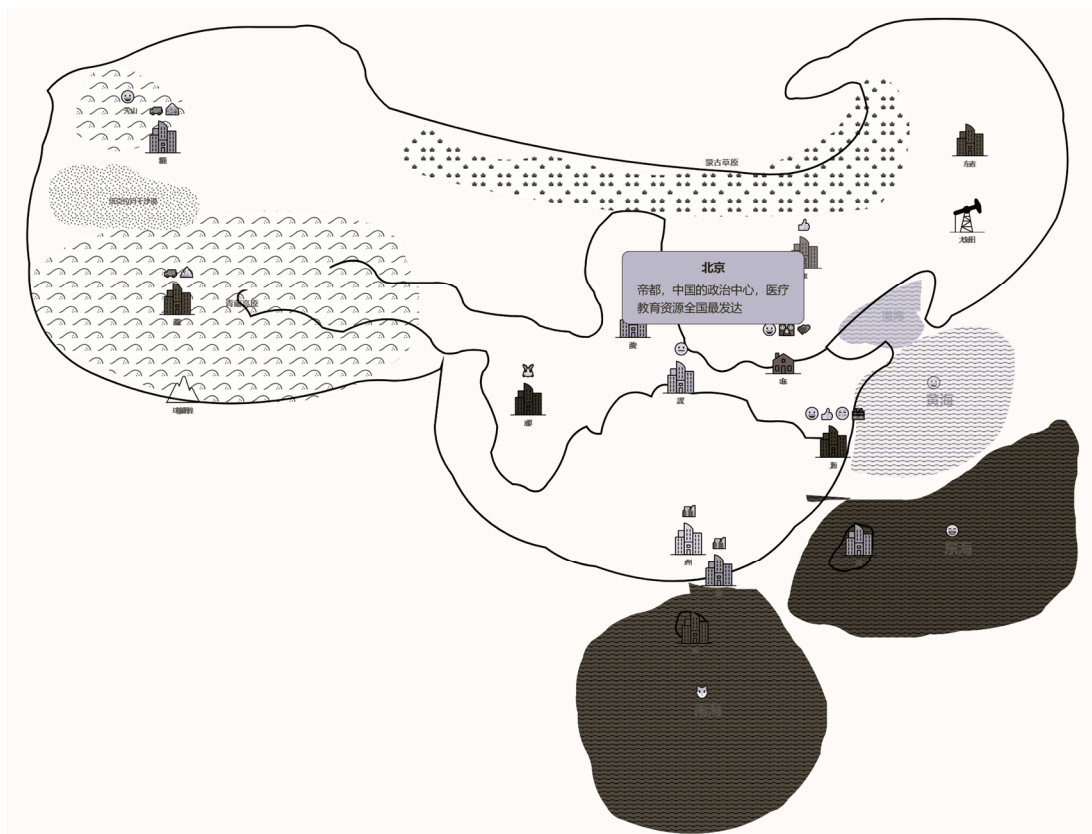


Рис. 3. Скриншот «наивной» карты Пекина в графическом веб-редакторе (Ии. Цинань_Ж_27 года)
Fig. 3. Screenshot of a 'naïve' map of Beijing in a graphical web editor (Informant QINAN_F_27)

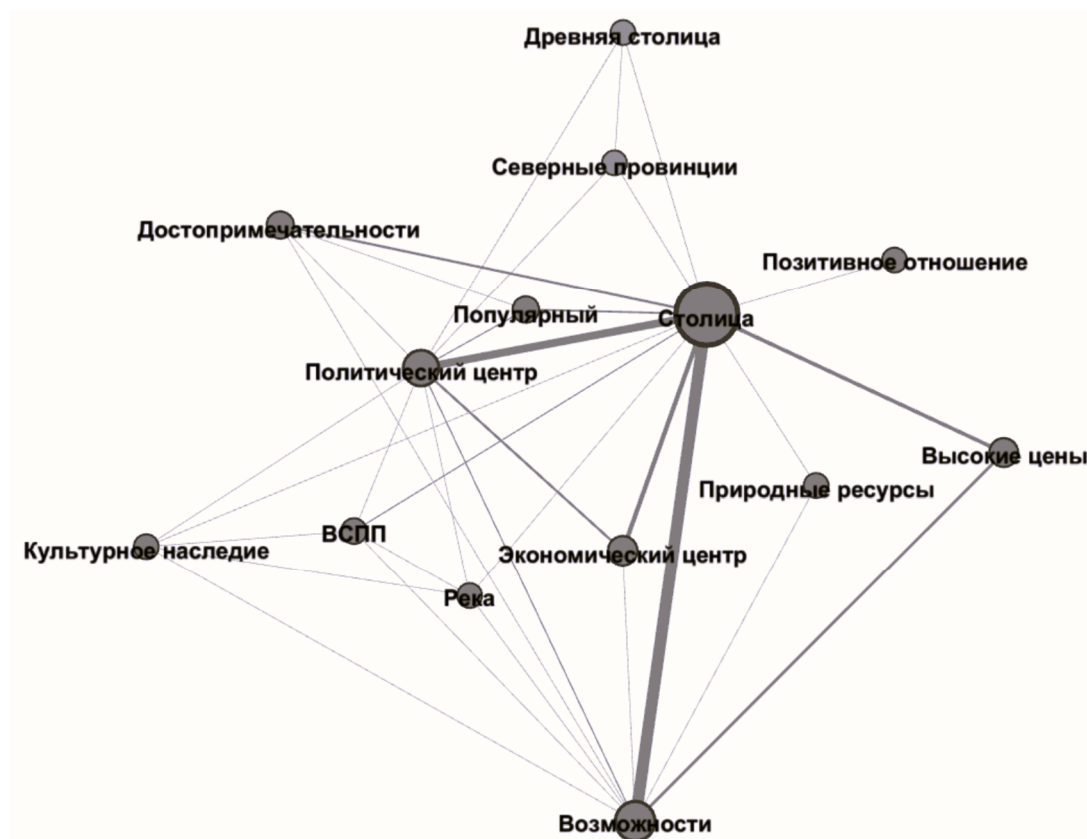


Рис. 4. Система семантических полей геоконцепта «Пекин»

Fig. 4. The system of semantic fields of the geoconcept 'Beijing'

Важно указать, что Пекин присутствует на всех картах (96 карт), это показывает, что в представлении информантов Пекин – самый значимый город Китая; языковые характеристики присутствуют не всегда, и текстовый слой с упоминанием Пекина есть на 54 % карт.

Граф включает в себя два кластера (обозначены разными цветами), меньший из них является периферийным, состоит из двух полей: «Древняя столица» и «Северные провинции». Поле «Древняя столица» располагается в отдельном кластере – в реакциях информантов указание на историю города редко сопровождается описанием современных реалий и достижений, скорее, указывается неизменность китайской истории: *北京从明朝开始就是中国的首都 [Пекин был столицей Китая со времен династии Мин]*.

Из всех семантических полей геоконцепта «Пекин» наиболее частотным является поле «Столица», с которым связаны все поля графа, в том числе поля, образующие доминирующий кластер современного Китая. Значимым является указание на основную роль Пекина – «Политический центр», например, *北京是中国的首都, 最高的权力机关在这里, 总书记在这里办公 [Пекин – столица, здесь находится высший орган власти Китая, здесь находится офис Генерального секретаря]*. Пекин раскрывается в

представлениях информантов как город возможностей, обусловленных, с одной стороны, ролью столицы, а с другой – тем, что он является политическим центром, в котором можно получить образование и строить карьеру: *在这里机会很多, 工作也很累 [Здесь много возможностей, но работа утомительна]*. В частности, некоторые информанты отмечают, что лучшие университеты Китая находятся в Пекине: *我想研究生的时候去北师大学习 [Я хочу учиться в BNU в аспирантуре]*.

Пекин воспринимается информантами и как важный экономический центр, символическим выражением которого являются деньги: *首都, 经济文化中心, 遍地是钱 [Экономический и культурный центр. Деньги везде]*. В этом смысле закономерна связь с высокими ценами: *房价特别高, 工资还可以 [Цены на жилье очень высокие, но и зарплата хорошая]*.

Информанты нередко ассоциируют Пекин с рекой. Река при этом наделяется мифопоэтическими характеристиками: *永定河见证了中国人在第二次世界大战中的苦难 [Река Юндин стала свидетелем страданий китайского народа во Второй мировой войне]*. Это связано с началом Японо-китайской войны и инцидентом на мосту Лугоу: мост расположен над рекой Юндин в Пекине.

Часть информантов – это китайские студенты, которые учатся в России, поэтому Пекин воспринимается ими в контексте логистического центра: 每次来俄罗斯都要从北京中转 [Каждый раз, когда я приезжаю в Россию, я прилетаю из Пекина].

Пекин осмысливается также в контексте «Достопримечательностей» и «Культурного наследия», при этом сами объекты рассматриваются, скорее, вне исторической оценки, но с указанием на исключительность (Высокая степень проявления признака): 长城是中国的象征 [Великая стена является символом Китая], «Культурное наследие»: 故宫在北京, 是世界上最大的博物馆 [Запретный город в Пекине – крупнейший музей в мире], что связано с тем, что, например, самая известная часть одной из величайших мировых

построек – Великой Китайской стены – находится в Пекине.

У информантов есть также субъективные оценки Пекина: 但我不喜欢这里 [Мне здесь не нравится]; 我最爱的城市 [Мой любимый город]; 从小我就对北京有着莫名的憧憬 [С самого детства мне очень хотелось побывать в Пекине].

Анализ геоконцепта «Шанхай»

Вторым по частотности присутствия на ментальных картах Китая городом является Шанхай (на рис. 5 представлен скриншот ментальной карты Ии. Сиань_M_27 года с актуализированным текстовым слоем представлений информанта о городе). Текстовый слой с упоминанием Шанхая есть на 38 % карт.

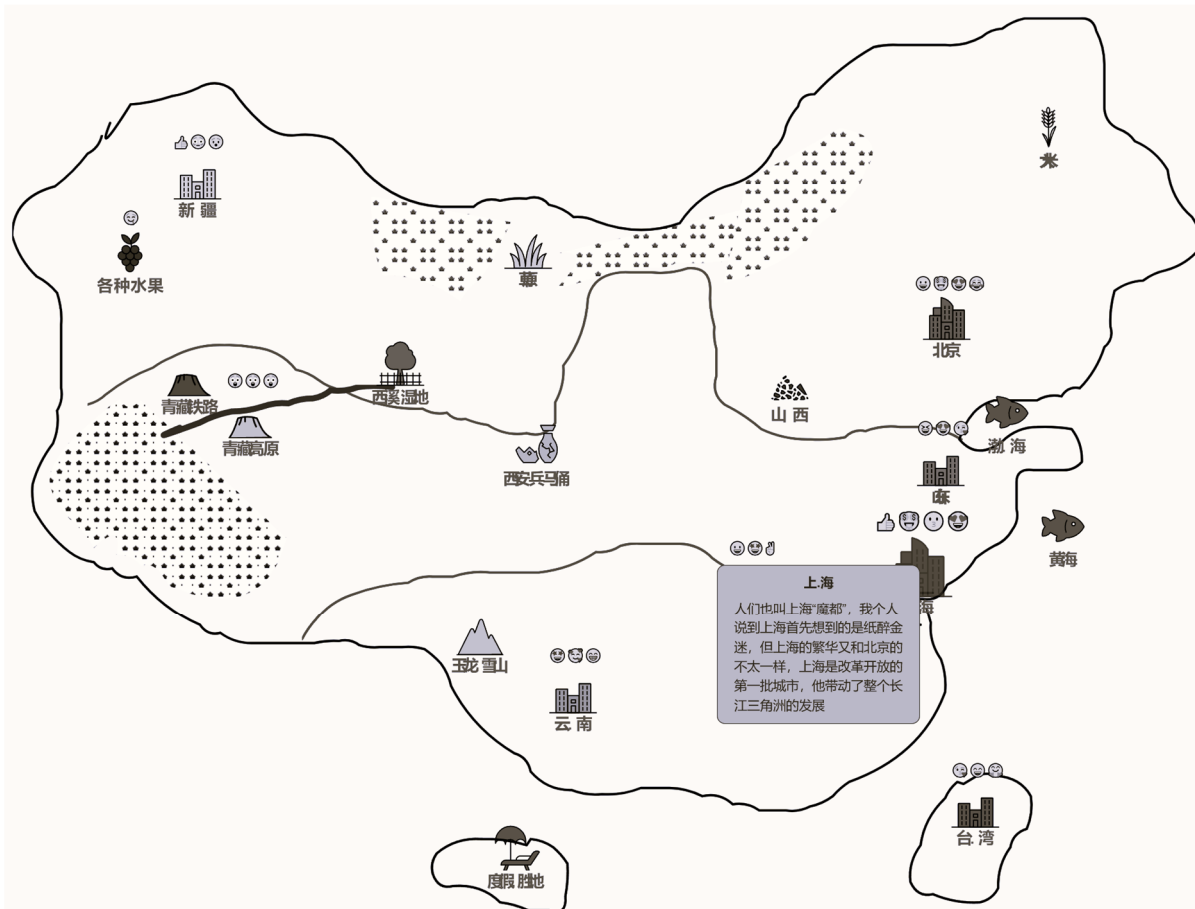


Рис. 5. Скриншот «наивной» карты в графическом веб-редакторе с Шанхаем (Ии. Сиань_M_27 года)
Fig. 5. Screenshot of a 'naïve' map in a graphical web editor with Shanghai (Informant XIAN_M_27)

Представление информантов о Шанхае: 人们也叫上海“魔都”, 我个人说到上海首先想到的是纸醉金迷, 但上海的繁华又和北京的不太一样, 上海是改革开放的第一批城市, 他带动了整个长江三角洲的发展 [Шанхай также называют «Волшебным городом», лично я считаю Шанхай самым процветающим городом, но процветание Шанхая не совсем такое, как у Пекина. Шанхай был одним из первых городов, где началась политика

реформ и открытости, что привело к развитию всей дельты реки Янцзы].

Геоконцепт «Шанхай» состоит из 10 полей (рис. 6), самым значимым из которых является «Экономический центр». В первую очередь Шанхай характеризуется как центр сосредоточения важных экономических ресурсов, инфраструктуры и возможностей для различной деятельности, причем для характеристик использу-

ются иронические образы, например, *我国经济最发达的地方*. <...> 当然, 沪有自己的沪币, 消费极高 [*Самое экономически развитое место в Китае* <...> Конечно, в Шанхае есть своя собственная шанхайская валюта]. Известная в Китае идиома «шанхайская валюта» используется для высмеивания высоких цен в Шанхае. Деньги воспринимаются как атрибут города: *全是钱* [*Все дело в деньгах*]; *消费极高* [*Расходы очень высокие*].

Информанты заметили, что экономический центр включает в себя развитые финансовый, коммерческий и промышленный секторы, а также высокий уровень предложения товаров и услуг: *经济发达的大城市* <...> 现代, 资本, 交通发达. [*Экономически развитый, большой город* <...> *современный, капитализм, развитый транспорт*]; *医疗资源多* [*Много видов медицинских услуг*] и др.

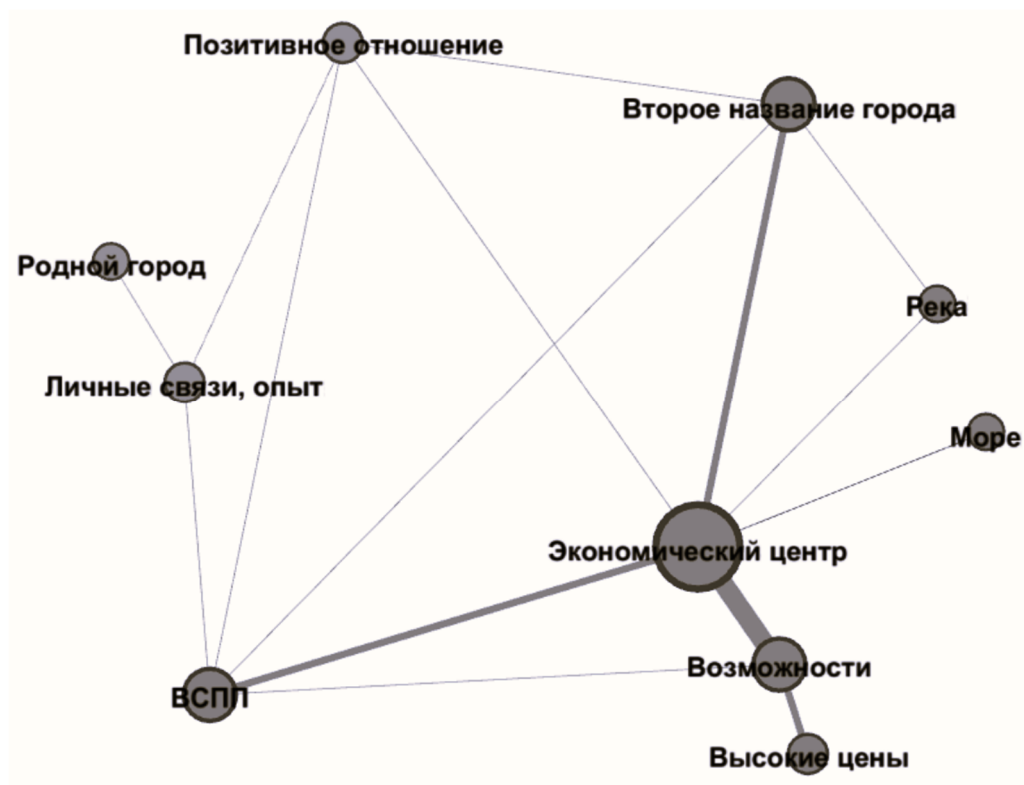


Рис. 6. Система семантических полей геоконцепта «Шанхай»
Fig. 6. The system of semantic fields of the geoconcept 'Shanghai'

Шанхай в представлении информантов осмысливается также в контексте неофициальных наименований – *Волшебный город* и *Жемчужина Востока*. Происхождение наименования *Волшебный город* произошло от романа *魔都* «Моту», написанного в 1924 г. японским писателем Сёфу Мурамацу. В английском языке название переводится как «Город Демонов». В романе автор изобразил дихотомию Шанхая – современный, цивилизованный фасад, скрывающий свою темную сторону, связанную с преступлениями и пороками жителей города. Китайский перевод «мо» («волшебный») дает роману название «Волшебный город». По мере того как росло процветание города, роль Шанхая как места для осуществления «китайской мечты» осталась неизменной: даже сегодня люди едут в Шанхай, чтобы найти свое «место под солнцем». Наименование *Жемчужина Востока* (*东方明珠*) обязано своим происхождением, с одной стороны, распо-

ложению Шанхая на побережье Восточно-Китайского моря, с другой – известному архитектурному сооружению, телебашне «Восточная жемчужина».

Метафора «Волшебного города» раскрывается в мнениях информантов через указание на парадоксальность, смешение реальностей и культур: *上海是既远又近的城市, 它可以很高贵, 高的让你没有踏进去的勇气, 也可以很低, 让你有一种像回家的感觉, 在这就是很神奇, 符合它的魔都称号* [*Одновременно близкий и незнакомый город; он может быть настолько благородным, что у вас не хватит смелости шагнуть в него; или он может быть очень интимным, так что у вас возникнет ощущение дома, в этом проявляется его волшебство, в соответствии с этим появилось название «Волшебный город»*].

Второй, меньший, кластер образуют поля «Личные связи», «Опыт», «Позитивное отношение»: положительная оценка мегаполиса в дан-

ном случае основывается на личном опыте информантов (заметим, что в случае с Пекином ситуация оценки иная): 丰富多彩的多元化的都市, 目前我在这里上大学 [Это красочный и разнообразный город, в котором я сейчас обучаюсь в университете]. Многие информанты выразили желание жить, учиться и работать в Шанхае. Другой причиной высоких положительных оценок (см. на связь с полем ВСПП) Шанхая связана с тем, что он является более открытым, толерантным городом.

Можно заметить, что есть информанты, которые ассоциируют Шанхай с рекой: 在长江三角洲, 是长江入海口, 从古至今河运非常发达 [В дельте реки Янцзы с древнейших времен и до наших дней очень развит речной транспорт]. Ассоциация Шанхая с рекой Янцзы отражает историческую, экономическую и транспортную значимость этой водной артерии для города, подчеркивая ее роль в международной торговле и обмене.

Шанхай рассматривается также в контексте инокультурной рефлексии о Китае, являясь в глазах иностранцев столицей Китая: 经济中心, 外国人认为的首都 [Экономический центр Китая, столица в представлениях иностранцев].

Заключение

На основе визуализированных (и вербализованных) «наивных» карт, представляющих индивидуальные пространственные образы Китая, имеющиеся у информантов, были реконструированы геоконцепты Пекина и Шанхая.

Анализ геоконцептов Пекина и Шанхая позволяет сделать вывод о том, что оба города имеют большое значение для жителей Китая, но эти города осмысливаются по-разному.

Пекин присутствует на всех собранных картах, показывая тем самым значимость связывающего страну политического центра для граждан Китая. Шанхай, с его развитой финансовой и промышленной инфраструктурой, занимает ведущие экономические позиции, но встречается не на всех картах. В то же время Шанхай в представлениях иностранцев, проживающих в Китае, и иностранных туристов (как эти представления интерпретируют наши информанты) выступает социокультурной столицей Китая: мегаполисом больших возможностей (Волшебный город), открытости и разнообразия. Интересно, что у Шанхая, в отличие от Пекина, есть два неофициальных названия: Волшебный город и Жемчужина Востока. У Пекина нет иных неофициальных наименований.

Концептуально Пекин и Шанхай связаны с водной тематикой (речной и морской). В контексте Пекина такие ассоциации/представления обусловлены преимущественно историческими

событиями, а в контексте Шанхая – находятся в пространстве транспортных/торговых интересов.

Для информантов (студентов) в отношении Пекина и Шанхая значимы возможности, которые дают мегаполисы для построения личной карьеры, осмысляемой в первую очередь в контексте получения хорошего образования.

Таким образом, «наивная» география позволяет осуществлять визуальный доступ к ментальным картам и представлениям информантов о географических объектах, анализ текстового слоя которых свидетельствует об исторических, культурных и личностных измерениях геоконцептов.

Список литературы

Апресян Ю. Д. и др. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка / Ю. Д. Апресян, О. Ю. Богуславская, И. Б. Левонтина, Е. В. Урысон. М.: Проспект, 1995. 558 с.

Зелянская Н. Л. Геоконцептология и региональная идентичность // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2014. Вып. 4(28). С. 73–79.

Калуцков В. Н. «Имя» в географии: от топонима – к геоконцепту // Известия Российской академии наук. Серия: Географическая. 2016. № 2. С. 100–107.

Калуцков В. Н. Геоконцепты в географии // Культурная и гуманитарная география. 2012. Т. 1, № 1. С. 27–36.

Обучающий видеоролик для работы в Студии. URL: <https://youtu.be/rvCJPSEoAsA> (дата обращения: 22.04.2024).

Разумов Р. В., Горяев С. О. Новые ойкодомонимы как отражение ментальной карты города // Коммуникативные исследования. 2019. № 1. С. 93–111. doi 10.25513/2413-6182.2019.6(1).93-111

Семораф: сайт. URL: <https://semograph.com/> (дата обращения: 22.04.2024).

Студия креативных карт: сайт. URL: <https://creativemaps.studio/> (дата обращения: 22.04.2024).

Шенк Ф. Б. Ментальные карты: конструирование географического пространства в Европе // Политическая наука. 2001. № 4. С. 4–17.

Baranov D. A., Belousov K. I., Erofeeva E. V., Leshchenko Y. E. Semograph Information System as a Platform for Network-Based Linguistic Research: A Case Study of Verbal Behaviour of Social Network Users // Smart Innovation, Systems and Technologies. Smart Education and e-Learning. 2019. Vol. 144. P. 313–324. doi 10.1007/978-981-13-8260-4_29

Chiodo J. Improving the Cognitive Development of Students' Mental Maps of the World // Journal of Geography. 2007. Vol. 96, issue 3. P. 153–163.

Chumakov R. V. Creative Map Studio: A Platform for Visual Analytics of Mental Maps / R. V. Chumakov, K. V. Ryabinin, K. I. Belousov, J. Duan // *Scientific Visualization*. 2021. Vol. 13, issue 2. P. 79–93. doi 10.26583/sv.13.2.06

Didelon C. et al. A world of interstices: A fuzzy logic approach to the analysis of interpretative maps / C. Didelon, S. de Ruffray, M. Boquet, N. Lambert // *The Cartographic Journal*. 2011. Vol. 48. P. 100–107.

Downs R. M., Stea D. Maps in Minds. Reflections on Cognitive Mapping. N. Y., 1977. 284 p.

Saarinen T. F. Centering of Mental Maps of the World. *National Geographic Research*. 1988. Vol. 4, issue 1. P. 112–127.

Saarinen T. F., MacCabe C. The world image of Germany // *Erdkunde*. 1990. Vol. 44. P. 260–267.

SciVi: сайт. URL: <https://scivi.semograph.com/> (дата обращения: 22.04.2024).

Tolman E. C. Cognitive Maps in Rats and Men // *Psychological Review*. 1948. Issue 55(4). P. 189–208. doi 10.1037/h0061626

Zelianskaia N. L. et al. Naive Geography: Geoconceptology and Topology of Geomental Maps / N. L. Zelianskaia, K. I. Belousov, T. N. Galinskaia, D. A. Ichkineeva // *Heliyon*. 2020. Vol. 6, issue 12. doi 10.1016/j.heliyon.2020.e05644

References

Apresyan Yu. D. et al. *Novyy ob'yasnitel'nyy slovar' sinonimov russkogo yazyka* [A New Explanatory Dictionary of Synonyms of the Russian Language]. Boguslavskaya O. Yu., Levontina I. B., Uryson E. V. Moscow, Prospekt Publ., 1995. 558 p. (In Russ.)

Zelyanskaya N. L. Geokontseptologiya i regional'naya identichnost' [Geo-conceptology and regional identity]. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2014, issue 4(28), pp. 73–79. (In Russ.)

Kalutskov V. N. 'Imya' v geografii: ot toponima – k geokontseptu ['Name' in geography: From a toponym to a geoconcept]. *Izvestiya RAN (Akad. Nauk SSSR). Seriya Geograficheskaya*, 2016, issue 2, pp. 100–107. (In Russ.)

Kalutskov V. N. Geokontsepty v geografii [Geoconcepts in geography]. *Kul'turnaya i gumanitarnaya geografiya* [Cultural Geography & Geo-humanities], 2012, vol. 1, issue 1, pp. 27–36. (In Russ.)

Obuchayushchiy videorolik dlya raboty v Studii [A tutorial video for working in the Studio]. Available at: <https://youtu.be/rvCJPsEoAsA> (accessed 22 Apr 2024). (In Russ.)

Razumov R. V., Goryaev S. O. Novye oykodomonimy kak otrazhenie mental'noy karty goroda [New oikodomonyms as a reflection of the mental map of the city]. *Kommunikativnye issledovaniya* [Communication Studies], 2019, issue 1, pp. 93–111. doi 10.25513/2413-6182.2019.6(1).93-111. (In Russ.)

Semograph [website]. Available at: <https://semograph.com/> (accessed 22 Apr 2024). (In Eng.)

Studiya kreativnykh kart [Creative Maps Studio]: website. Available at: <https://creativemaps.studio/> (accessed 22 Apr 2024). (In Russ.)

Shenk F. B. Mental'nye karty: konstruirovaniye geograficheskogo prostranstva v Evrope [Mental maps: The construction of geographical space in Europe]. *Politicheskaya nauka* [Political Science], 2001, issue 4, pp. 4–17. (In Russ.)

Baranov D. A., Belousov K. I., Erofeeva E. V., Leshchenko Y. E. Semograph information system as a platform for network-based linguistic research: A case study of verbal behaviour of social network users. *Smart Innovation, Systems and Technologies. Smart Education and e-Learning*, 2019, vol. 144, pp. 313–324. doi 10.1007/978-981-13-8260-4_29. (In Eng.)

Chiodo J. Improving the cognitive development of students' mental maps of the world. *Journal of Geography*, 2007, vol. 96, issue 3, pp. 153–163. (In Eng.)

Chumakov R. V., Ryabinin K. V., Belousov K. I., Duan J. Creative Map Studio: A platform for visual analytics of mental maps. *Scientific Visualization*, 2021, vol. 13, issue 2, pp. 79–93. doi 10.26583/sv.13.2.06. (In Russ.)

Didelon C. et al. A world of interstices: A fuzzy logic approach to the analysis of interpretative maps. C. Didelon, S. de Ruffray, M. Boquet, N. Lambert. *The Cartographic Journal*, 2011, vol. 48, pp. 100–107. (In Eng.)

Downs R. M., Stea D. Maps in Minds. Reflections on Cognitive Mapping. N.Y., 1977. 284 p. (In Eng.)

Saarinen T. F. Centering of mental maps of the world. *National Geographic Research*, 1988, vol. 4, issue 1, pp. 112–127. (In Eng.)

Saarinen T. F., MacCabe C. The world image of Germany. *Erdkunde*, 1990, vol. 44, pp. 260–267. (In Eng.)

SciVi [website]. Available at: <https://scivi.semograph.com/> (accessed 22 Apr 2024). (In Russ.)

Tolman E. C. Cognitive maps in rats and men. *Psychological Review*, 1948, issue 55(4), pp. 189–208. doi 10.1037/h0061626. (In Eng.)

Zelianskaia N. L., Belousov K. I., Galinskaia T. N., Ichkineeva D. A. Naive geography: Geoconceptology and topology of geomental maps. *Heliyon*, 2020, vol. 6, issue 12. doi 10.1016/j.heliyon.2020.e05644. (In Eng.)

Comparative Analysis of the Geoconcepts 'Beijing' and 'Shanghai' in the 'Naïve' Geography of China

Duan Jinzhi

**Postgraduate Student, Assistant in the Department of Theoretical and Applied Linguistics
Perm State University**

15, Bukireva st., Perm, 614068, Russian Federation. 707695802@qq.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3891-2016>

SPIN-code: 6002-7300

Submitted 24 Apr 2024

Revised 16 Jun 2024

Accepted 05 Jul 2024

For citation

Duan Jinzhi. Sopostavitel'nyy analiz geokontseptov «Pekin» i «Shankhay» v «naivnoy» geografii Kitaya [Comparative Analysis of the Geoconcepts 'Beijing' and 'Shanghai' in the 'Naïve' Geography of China]. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2024, vol. 16, issue 3, pp. 24–34. doi 10.17072/2073-6681-2024-3-24-34 (In Russ.)

Abstract. This article focuses on the reconstruction and comparative analysis of the geocognitive concepts 'Beijing' and 'Shanghai' in the 'naïve' geography of China. The study is conducted within the framework of geocognitive studies developed by the Perm School of Computer Linguistics. Geocognitive studies, as a science of conceptualizing mental representations of space, enable a better understanding of people's mental maps, their perceptions of the world and adaptation in the surrounding space, which can be valuable in the development of urban projects, tourist routes, marketing strategies, and many other areas where geographic aspects are important.

The method of material collection employed in the study is geocognitive mapping – an experiment aimed at creating 'naïve' maps conducted using the vector graphics web editor Creative Maps Studio. The research material consists of 96 'naïve' maps of China created by student informants from universities in China representing 45 regions. The informants were asked to draw a map of China using the web editor and supplement the drawn objects with associations or representations related to them. The processing of the textual layer of all collected maps, necessary for subsequent modeling of geocognitive concepts, was carried out in the information system Semograph, and graphical explication of graphosemantic models of the geocognitive concepts was performed using the SciVi program.

In the informants' perceptions, the geocognitive concept 'Beijing' is a more complex semantic formation, based on the political role of the capital, linking the country in social, cultural, and historical aspects. The geocognitive concept 'Shanghai' encapsulates perceptions of an economic and commercial metropolis – the 'Magic City' of the modern global world. During the analysis of the cities, it was found that historical, sociocultural components, and personal experience significantly influence the associations and/or representations of informants.

Key words: geoconceptology; geoconcept; 'naïve' geography; mental map; regionality; geomenal map.

УДК 821.161.1

doi 10.17072/2073-6681-2024-3-35-49

<https://elibrary.ru/ymejxm>

EDN YMEJXM



Функции лексем тематической группы «вода» в лирике Мандельштама

Духнова Мария Александровна

старший преподаватель кафедры теоретического и прикладного языкознания

Пермский государственный национальный исследовательский университет

614068, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15. mariyafei@gmail.com

SPIN-код: 7470-3463

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6788-1832>

ResearcherID: JFB-5374-2023

Ерофеева Елена Валентиновна

д. филол. н., зав. кафедрой теоретического и прикладного языкознания

Пермский государственный национальный исследовательский университет

614068, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15. elenerofee@gmail.com

SPIN-код: 4653-7454

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6659-6519>

ResearcherID: Q-3940-2017

Статья поступила в редакцию 13.02.2024

Одобрена после рецензирования 03.04.2024

Принята к публикации 15.05.2024

Информация для цитирования

Духнова М. А., Ерофеева Е. В. Функции лексем тематической группы «вода» в лирике Мандельштама // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2024. Т. 16, вып. 3. С. 35–49. doi 10.17072/2073-6681-2024-3-35-49

Аннотация. Исследование посвящено определению функций лексических единиц, принадлежащих тематической группе «вода», в лирике Осипа Мандельштама. Образы воды и их восприятие носителями языка и культуры занимают важное место в картине мира человека, а их исследование в художественных произведениях помогает расширить и углубить понимание авторской картины мира. В ходе работы анализируются существительные, связанные с тематикой воды, в текстах Мандельштама. Материалом для исследования послужили 120 стихотворений разных периодов творчества поэта, из которых путем сплошной выборки были отобраны 318 контекстов, содержащих лексику, называющую воду, ее свойства и формы и т. д., а также объекты, ассоциативно связанные с водой, такие как корабли, сосуды, морские животные. В процессе исследования были определены тематические подгруппы такой лексики у Мандельштама и проанализированы функции, характерные для лексических единиц указанных подгрупп. Функции лексических единиц в данном случае понимаются как не прямые значения, которые выражены в тексте ассоциативно и помогают раскрыть многослойность и глубинный смысл авторского образа. В ходе работы определены лексические подгруппы двух уровней иерархии, показано, что функции лексических единиц проявляются и конкретизируются именно на втором, нижнем, уровне. Наиболее активны в лирике Мандельштама лексемы таких тематических подгрупп, как «океаны/моря», «корабли», «форма», «физиологические жидкости». Наиболее часто реализуемые функции лексики тематической группы «вода» – выражение ощущений лирического героя, отсылка к нестабильности мира и осмысление воды как стихии, как первородного хаоса.

са. Эти функции реализуются с помощью лексики разных тематических подгрупп, но объединяет их подгруппа «форма», являющаяся важной для Мандельштама и показывающая противопоставление порядка и хаоса. Лексика каждой тематической подгруппы обычно выполняет сразу несколько функций, и в то же время каждая функция может быть выражена лексикой нескольких подгрупп. Таким образом формируется сеть взаимосвязей тематических подгрупп и функций их лексических единиц, которая характеризует единую систему образов, относящихся к лексике тематической группы «вода».

Ключевые слова: поэтический текст; Мандельштам; лексика; тематическая группа «вода»; тематические подгруппы; функции.

Введение

Образ воды и связанные с ним символы являются важными для понимания картины мира носителей языка в силу того, что вода, ее наличие, свойства, качество являются важнейшими факторами существования. Мифологичность образа воды как одно из ключевых свойств этого понятия в системе мировоззрения человека отмечали многие исследователи: М. Евзлин подчеркивает, что вода означает первобытный хаос, бездну [Евзлин 1993: 96]; М. М. Маковский, исследуя мифологическую символику в индоевропейских языках, указывает, что «вода считалась первоэлементом Вселенной и потому была священной» [Маковский 1996: 76]; М. Витцель отмечает, что в мифах многих народов водное пространство часто рассматривается как исток мироздания [Witzel 2015]; Г. Д. Гачев, описывая национальные образы мира, упоминает, что поэтические образы в художественном произведении можно соотнести с основными стихиями, ведь «языки обиходный и поэтический непрерывно производят зацепление духа баграми метафор и вся художественная образность мира распределима в семейства по гнездам четырех стихий» [Гачев 1988: 355]; М. Элиаде указывает на порождающее начало стихии воды, поскольку «вода есть первоисточник всего сущего, в котором заключены все возможности и прорастают все зачатки» [Элиаде 1999: 186] и т. п.

Естественно, изучение такого значимого для культуры понятия привлекает и лингвистов. Так, рассматривается репрезентация концепта ВОДА во фразеологической картине мира [Айчичек 2012]; анализируются концепты первостихий «как нравственно-этических категорий, характеризующих ценностную картину мира» [Фролова 2012: 5]; проводится комплексное описание концепта ВОДА в произведениях таких авторов, как В. Астафьев и В. Тендряков [Меженская 2010] и т. п. Стихия воды привлекает лингвистов как объект исследования, поскольку это «один из важных фрагментов национальной картины мира, отражающий ментальные представления носителей языка на парадигматическом и синтагматическом уровнях» [там же: 5].

Анализируя системную организацию метафорического поля ВОДА в русском языке,

Г. Н. Складарская отмечает, что все семантические группы, в которые входят обозначения природных и физических явлений и разного рода «стихий», обладают высокой степенью метафорической активности [Складарская 1993: 131]. В данном поле она выделяет следующие тематические группы: 1) водоемы и их части (болото, море, озеро, океан, русло и т. д.); 2) формы существования воды, определяемые характером и способом ее движения (капля, волна, всплеск, прилив, струя и т. д.); 3) характер и особенности движения воды (брызнуть, бурлить, литься, протекать, сочиться и т. д.); 4) свойства воды (ледяной, мутный, кипящий, пресный и т. д.); 5) характерные действия, связанные с водой, производимые в воде (вынырнуть, плыть, купаться, лить и т. д.); 6) характерные состояния воды, действия, связанные с ними (кипятить, леденеть, испаряться, примерзать и т. д.); 7) свойства, обусловленные наличием/отсутствием, количеством, воздействием воды (влажный, мелкий, густой, жидкий и т. д.) [там же: 120–126]. Исследования полевой структуры концепта ВОДА показали аналогичную структуру организации ядра и ближней периферии семантического поля данного концепта, однако состав дальней периферии уточняется и в него вводятся такие группы, как «сосуды и предметы, служащие для хранения и транспортировки воды», а также «профессиональная деятельность, связанная с водой, водоемами» и некоторые другие, обозначающие ситуации, так или иначе связанные с водой [Галдин 2006: 11–12].

Западные исследователи также обращаются к символизму лексем, связанных с водной тематикой, в человеческом мировоззрении вообще [Mittlefehldt 2003] и в литературе и культуре разных народов. Лингвисты отмечают метафоричность лексических единиц, связанных с водой, в произведениях разных стран [Fenno 2005; Dhont 2021], в том числе социальную и культурную значимость таких образов для русского человека [Ziolkowski 2020].

Анализ репрезентации образов, связанных с водной тематикой, помогает углубить понимание авторской картины мира, расширить представление о метафорической системе автора. Метафорические номинации с исходной семантикой воды/жидкости могут использоваться для характе-

ристики целого ряда явлений действительности: эмоциональной сферы, вербальной деятельности, чувственного восприятия, жизни, времени и т. д. [Антонова 2012: 7], вследствие чего исследование лексем, связанных с водной стихией, а также их функций в художественном творчестве представляется важной задачей.

Материал и методы исследования

Предметом данного исследования послужили функции лексических единиц тематической группы «вода» в лирике Мандельштама, поэзия которого отличается глубокой и емкой системой образов. В поэзии Мандельштама каждое слово не случайно, все одухотворено – и предметный мир, и явления природы, всё обретает целостность, предметность. Сам Мандельштам в своей статье о природе слова писал, что «русский язык стал... звучащей и говорящей плотью» [Мандельштам 1993: 220]. Поэт с особым трепетом относился к русскому языку, подчеркивая ценность и значимость языка в целом и слова в частности. В. Террас называет Мандельштама ярким сторонником поэтического логоса, а его стихи – «полифоническими словесными композициями с многомерным выразительным эффектом» [Terras 1966: 253], отмечая, что они производят на читателя эффект не только ритмический, но и эмоциональный, интеллектуальный, вызывая в читателе стремление раскрыть смыслы, скрывающиеся в лирике поэта.

Образы природных явлений, символы стихий в стихах Мандельштама разнообразны и глубоки, поэтому исследователи творчества поэта большое внимание уделяют метафорическим образам, связанным со стихиями. Так, Т. Ю. Никитина, исследуя мифопоэтику О. Мандельштама, указывает, что водная стихия занимает первое по значимости место среди мандельштамовских мифологем [Никитина 2000]. Другими учеными также отмечается важность и обширность образов воды в лирике Мандельштама, «семантическое ветвление» образов, входящих в водную парадигму [Кихней, Меркель 2013].

Цель настоящего исследования заключается в определении функций лексических единиц водной семантики в лирике Мандельштама.

Материалом для изучения стало полное собрание стихотворений О. Мандельштама [Мандельштам 1995] (далее все цитаты приводятся по этому изданию). Были отобраны 120 стихотворений разных периодов творчества поэта, содержащих в себе как прямые названия воды и водных объектов (например, водоемов и их частей), так и наименования объектов, связанных с водой непосредственно (например, названия сосудов, водного транспорта, морских животных). Вы-

бранные стихотворения охватывают весь период творчества О. Мандельштама, который принято делить на три этапа: период раннего творчества, подразумевающий поэзию 1908–1915 гг. (40 текстов); период сборника стихов “Tristia”, вместе со стихами 1921–1925 гг. (40 текстов); а также период позднего творчества, то есть стихи 1930-х гг. (40 текстов). Следует отметить, что этапы творчества Мандельштама, как и у каждого автора, взаимосвязаны, однако «в них по-разному предстает напряженная ассоциативность, неотъемлемо ему свойственная» [Гинзбург 1974: 358]. В данных текстах было обнаружено 318 контекстов, содержащих искомую лексику.

В отобранных контекстах анализировались тематические подгруппы лексических единиц водной семантики, их содержание и объем, а также функции этих единиц в тексте. Традиционно функции лексических единиц рассматриваются с точки зрения языка и сопоставляются с функциями единиц других языковых уровней (см., например: [Морковкин 2007: 43–51]), однако с точки зрения текста, особенно художественного, функции лексических единиц следует понимать, скорее, в рамках противопоставления «значение – смысл» как глубинный смысловой подуровень, содержание, которое хочет выразить автор [Mel'čuk, Milićević 2020]. Художественный текст в целом и поэтический текст в частности – феномен многоаспектный, отражающий многие области человеческой жизни, поэтому одной из основных его функций является функция смыслообразующая – порождение через используемые лексические единицы новых смыслов [Сергодеев 2020]. Подобное понимание функции слова в поэтическом тексте находим и у других исследователей. Так, например, А. Н. Кожин отмечает, что слова благодаря своей функционально-эстетической обусловленности «обрастают в художественном тексте осмыслениями, образной мерцаемостью» [Кожин 1985: 25]. Таким образом, в данной работе функции понимаются как те значения, которые непрямо, ассоциативно выражены в лексеме, то есть те компоненты глубинного смысла, которые используются автором для создания художественного образа.

Подобное исследование на материале лирики Мандельштама в лингвистическом, а не литературоведческом аспекте проводится впервые. С теоретической точки зрения важно проследить процессы перехода значений в смыслы именно в поэтическом тексте, поскольку там закладывается спектр возможных расщеплений значения, обозначается его потенциал, который, возможно, будет реализован в дальнейшем в стандартном языке, станет основой для производства новых значений слов.

Описание подгрупп лексики тематической группы «вода»

В ходе работы над материалом был проведен анализ полученных лексических единиц с точки зрения их принадлежности к той или иной тематической подгруппе, что позволило выделить основные тематические подгруппы лексики, связан-

ной с образами воды у Мандельштама, и определить их иерархию в зависимости от объема (объем подгрупп лексических единиц лексики см. в табл. 1). Отметим, что выделялись подгруппы разных уровней иерархии: подгруппы первого уровня иерархии (подгруппа-1) делились на более мелкие подгруппы второго уровня (подгруппа-2).

Таблица 1 / Table 1

Объем подгрупп лексики тематической группы «вода» в лирике Мандельштама, абс. The volume of lexical subgroups in the thematic group 'water' of Mandelstam's lyrics, abs.

Тематические подгруппа-1	Тематические подгруппа-2	Объем	
Состояние воды	форма	33	107
	физиологические жидкости	33	
	твердое состояние	20	
	парообразное состояние	16	
	влажные осадки	5	
Водоемы	океаны/моря	48	90
	реки	26	
	глубина	12	
	озера/пруды	4	
Объекты	корабли	38	77
	животные	21	
	сосуды	18	
Вода		44	

Кроме этого, отдельно была выделена тематическая подгруппа-1 «вода» (44 ед.), содержащая лексему «вода» и однокоренные к ней слова (*вода, воды, водою* и др.).

Обратим внимание, что наиболее частотные тематические подгруппы-2 – «океаны/моря», «корабли», «форма», «физиологические жидкости» – распределяются по всем трем выделенным тематическим подгруппам-1. Этот факт и то, что объемы подгрупп-1 различаются не слишком сильно, говорит, во-первых, о том, что все тематические подгруппы-1 лексики тематической группы «вода» важны для Мандельштама, а во-вторых, о том, что тематическая структура в данном случае должна рассматриваться на уровне подгрупп-2.

Функции лексических единиц разных тематических подгрупп-2

Поскольку структура тематических подгрупп-2 оказывается более важной для лирики Мандельштама, чем структура крупных тематических подгрупп-1, рассмотрим функции, выполняемые лексикой тематической группы «вода» в тексте именно исходя из объединения ее в подгруппы-2 (далее – просто подгруппы, если не требуется уточнить уровень иерархии). Подгруппа-1 «вода», не имеющая членения на подгруппы второго уровня, будет рассмотрена отдельно, после всех остальных.

Океаны/моря

Самой крупной тематической подгруппой оказалась подгруппа «океаны/моря». Центральную позицию в ней занимает слово *море* и его варианты. Морская тематика настолько частотна в лирике Мандельштама, что «данный образ имеет по-видимому... широкое значение: и конкретное, и метафорическое» [Нильссон 1995: 72].

Упоминание моря в тексте может быть просто названием географического объекта: *я убежал к nereидам на Черное море* (С миром державным я был лишь ребячески связан...). Надежда Мандельштам отмечала, что супруг ее «всегда – всю свою жизнь – стремился на юг, на берега Черного моря, в средиземноморский бассейн» [Мандельштам 1982: 524], потому, с одной стороны, вполне естественным кажется обращение в творчестве к полюбившимся местам. С другой стороны, во многих стихотворениях морская стихия вовсе не является отсылкой к конкретному географическому объекту, например, Н. А. Нильссон полагает, что море в лирике поэта мы можем понимать и как «символ настоящего, охватывающего жизнь поэта, его чувства» [Нильссон 1995: 74].

Нередко в текстах Мандельштама чувствуется тоска по морю. Море становится частью человека, его составляющей, наполняет его. И в его отсутствии человек ощущает опустошенность, лишается части себя самого. Особо это чувствуется

в поздних стихах: в этот период Мандельштам оказывается оторван от моря и сослан в Воронеж, «вполне естественно, что тогда в его стихах появляется тема отнятого моря и проходит почти от самого начала до самого конца “Воронежских тетрадей”» [Павлов 1995: 176].

К этой же тематической подгруппе относятся контексты, содержащие лексему «океан». Если образ моря напрямую ассоциируется с состоянием лирического героя, а также раскрывает облик и характер места, в котором происходят события стиха, то образ океана нередко является отсылкой к безграничному пространству, становится символом свободы: *Мальчишка-океан встает из речки пресной / И чашками воды швыряет в облака* (Я видел озеро, стоявшее отвесно).

В процессе анализа подгруппы «океаны/моря» было выявлено, что лексические единицы данной подгруппы в лирике Мандельштама могут выполнять следующие функции.

1. Первородная стихия, необъятная и всеобъемлющая: *и шире океан, когда уснул* (Над алтарем дымящихся зыбей); *и горячей рыбой мечет / В берег теплый хряц морей* (Век мой, зверь мой). Эти и подобные контексты отсылают нас к образу моря как стихии. У Мандельштама эта стихия олицетворяется, при этом она предстает как мощная действующая сила, имеющая собственное сознание, но безразличная к человеку.

2. Отсылка к теме античности: *и море, и Гомер – всё движется любовью* (Бессоница. Гомер. Тугие паруса...); *и, покинув корабль, натрудивший в морях полотно, / Одиссей возвратился, пространством и временем полный* (Золотистого меда струя). Разумеется, кроме отсылки к античности как истоку культуры, данная лексика может выполнять и другие функции. Так, в первом примере море олицетворяет первородную стихию, а во втором – всю жизнь, дающую человеку не только усталость тела и духа, но и – одновременно – опыт и знания. Таким образом, «античное» море у Мандельштама связывается одновременно с сотворением мира и жизни и само выступает как творец человека.

3. Часть души человека, определяющая его связь со стихией, мирозданием: *на вершок бы мне синего моря, на игольное только ушко* (День стоял о пяти головах); *Лишив меня морей, разбега и разлета / И дав стопе упор насильственной земли, / Чего добились вы?..* (Лишив меня морей, разбега и разлета...); *и когда я наполнился морем* (Флейты греческой тэта и йота). Как видим, данные примеры продолжают тему творения человека – его души – морем, которое «входит» в человека, становится частью его души, позволяющей ему быть свободным и самому стать творцом.

4. Состояние мира, неустойчивое и зыбкое: *Земля плывет. Мужайтесь, мужжи, / Как плугом, океан деля*. В приведенном контексте земля теряет свою сущность тверди, расплавляется, развеществляется, становится жидкой субстанцией [Кихней, Меркель 2013: 147] – океаном. Море – необузданная и неподвластная стихия, существующая отдельно и независимо от человека; его состояние отражает и характер действительности: *тучное море кругом закипает в ключ* (С розовой пеной усталости у мягких губ); *глухое море, как вино, кипит* (Над алтарем дымящихся зыбей).

Корабли

Следующей по частотности подгруппой в анализируемой выборке является подгруппа «корабли», так как образы, связанные с водой, зачастую передаются через образ водного судна (названия водного транспорта, а также частей корабля). Лексические единицы подгруппы «корабли» в текстах Мандельштама являются отсылкой к образу моря, однако образ этот многогранен и может быть истолкован в разных текстах по-разному.

1. Корабль может олицетворять лирического героя, однако часто не человек управляет кораблем, а корабль подчиняется водной стихии, она ведет его: *И волной нахлынувшей святыни / Поднят был корабль безумный мой* (В изголовьи Черное Распятые...) – не лирический герой подчиняет себе стихию и волен выбирать путь, а стихия подчиняет себе корабль, то есть героя.

2. Корабль у Мандельштама так же, как и море, может являться отсылкой к теме античности, прежде всего к текстам Гомера. Так, например, строки *и, покинув корабль, натрудивший в морях полотно, / Одиссей возвратился, пространством и временем полный* (Золотистого меда струя) отсылают читателя к «Одиссее». К. Мочульский, который преподавал Мандельштаму греческий язык, припоминал, что поэту не давалась грамматика греческого языка, однако про приведенные выше строки он говорил: «в этих двух строках больше “эллинизма”, чем во всей “античной” поэзии многоученного Вячеслава Иванова» [Мочульский 1995: 8]. В некоторых случаях упоминание кораблей является прямой отсылкой к Гомеру: *Бессоница. Гомер. Тугие паруса. / Я сплюсок кораблей прочел до середины* (Бессоница. Гомер. Тугие паруса...). В поэмах Гомера Мандельштам привлекает переосмысление истории, основанной на сказаниях о подвигах древнегреческих героев во имя любви: *И море, и Гомер – все движется любовью*. И море, и корабль олицетворяют мир, античность же в этом случае воспринимается как исток этого мира.

3. Метафорический образ времени, передающийся через облик тонущего корабля. Стоит отметить, что в творчестве второго периода поэта корабль, влекомый стихией, создает ощущение грядущего бедствия. Так, например, в стихотворении «Сумерки свободы», названном С. С. Аверинцевым самым значительным откликом поэта на революцию [Аверинцев 2011: 83], разгул стихии становится выражением исторической эпохи, а «семантика воды обретает мифопоэтические обертоны, восходя к своему мифологическому прототипу – библейскому всемирному потопу» [там же: 150]: *в ком сердце есть, тот должен слышать, время, / Как твой корабль ко дну идет* (Сумерки свободы). О. Ронен также отмечал аллегоричность этого стихотворения, особенно выделяя символический образ корабля в различных его аспектах, а именно «корабль-море», «корабль-время», «корабль-государство» и подтекстовое «корабль-церковь» [Ронен 2002: 133].

Так *корабль*, с одной стороны, становится частью морской стихии, с другой стороны – репрезентирует лирического героя, вынужденного покориться внешнему миру, а кроме того, передает идею связи человека и воды-стихии.

Форма

В подгруппе «форма» особой частотностью отличается лексема «пена». Как считал Р. Пшыбыльский, пена у Мандельштама символизирует первобытный хаос. Апеллируя к стихотворению “Silentium”, ученый отмечал, что «из пены родилась Афродита, значит, пена – это мир в мифотворческие времена» [Пшыбыльский 1995: 41]. Пена в таком ключе соответствует ассоциациям вода-хаос и вода-прародительница. В некоторых контекстах конкретизируются характеристики пены (цвет, вкус): *и пены бледная сирень* (Silentium); *Ну а мне – соленой пеной / По губам* (Я скажу тебе с последней прямокой...). Пена в море или океане образуется лишь на поверхности, к тому же это явление краткосрочное, пена образуется и исчезает, потому как это крайне неустойчивое состояние вещества. Таким образом, пена является отсылкой к образу вода-хаос, с одной стороны, а с другой – отражает состояние мира, нестабильность пены отсылает к зыбкости и непостоянству внешнего мира.

Помимо использования лексемы «пена» часто встречается в лирике Мандельштама лексема «волна». Кроме прямой ассоциации волны с морем или океаном, волна также подразумевает движение, колебание. При этом волна, с одной стороны, это мелкая зыбь, навевающая умиротворение и спокойствие, с другой – волна может быть огромной, стремительной, сокрушающей. Через лексему «волна» выражается как состояние мира, так и состояние лирического героя.

Отметим, что на разных этапах творчества поэта образ волны трансформируется. Так, в стихах дореволюционного периода волна – часть водной стихии, часть водоема, через образ которой можно прочувствовать состояние окружающей героя действительности: *Но, как медуза, невская волна / Мне отвращенье легкое внушает* (Мне холодно...); *И лодка, волнами шуриша, / Как листьями, – уже далеко* (Как тень внезапных облаков...). В более поздних стихотворениях образ волны становится более масштабным: *бежит волна-волной, волне хребет ломая* (Бежит волна-волной...); *Это век волну колышет / Человеческой тоской* (Век). В этих контекстах волна ассоциируется со временем, эпохой изменений, которые настигают, накрывают, захватывают человека.

Таким образом, выделяются несколько основных функций лексических единиц подгруппы «форма». Как видно из вышеприведенных примеров, зачастую такие лексемы являются отсылкой к водной стихии как части первозданного хаоса. В то же время лексические единицы этой подгруппы иллюстрируют зыбкое и нестабильное состояние мира. Кроме того, лексема «волна» в этой подгруппе является отсылкой к стремительному бегу времени, также характеризуя историческую эпоху и мировые события.

Физиологические жидкости

Не менее частотна тематическая подгруппа «физиологические жидкости». В данном случае жидкость – это часть человека, однако основной функцией компонентов этой подгруппы является отражение не столько состояния человека, сколько состояния мира. Так, например, в стихотворении «За то, что я руки твои не сумел удержать», которое является отсылкой к падению Трои, а также «развернутой метафорой и кинестетической сущностью проделываемых греками и троянцами действий» [Жучкова 2015: 33], через лексему «слезы» создается ощущение грядущей беды, приближающегося поражения: *прозрачной слезой на стенах проступила смола*. В контекстах лексемы этой подгруппы *кровь* выступает символом жизненной силы: *кипела кино-варь здоровья, кровь и пот* (10 января 1934) или становится метафорой связи, родства: *И своею кровью склеит / Двух столетий позвонки? / Кровь-строительница хлещет / Горлом из земных вещей* (Век); *но хлынула к лестницам кровь и на приступ пошла* (За то, что я руки твои не сумел удерживать...). В этих контекстах лексема «кровь» является отсылкой к кровным отношениям между людьми, отображает связь между поколениями. Лексические единицы данной подгруппы указывают на человека, потому как являются его частью, к тому же через них переда-

ется мироощущение, состояние окружающего пространства, *слезы* становятся отражением исторических событий, а *кровь*, то есть человек, – свидетелем этой эпохи.

Реки

В подгруппе «реки» особо частотным является упоминание Невы. Петербург, к образу которого неоднократно обращается в своих произведениях Мандельштам, становится «предметом эстетического осмысления» [Кихней, Бараханова 2022: 73], а образ Невы – одним из его главных символов: *над черною Невой* (Соломинка); *как будто в комнате тяжелая Нева* (Соломинка); *прозрачная весна над черною Невой* (На страшной высоте блуждающий огонь!..); *и над лимонною Невой* (С миром державным я был лишь ребячески связан...). Как видно, в перечисленных контекстах образ Невы дополняется различными эпитетами, характеризующими воду как непрозрачную, неподвижную, застоявшуюся. Петербург у Мандельштама зачастую – город иллюзий, где туман, река, набережная являются лишь элементами городского декора [Leiter 1978: 479]. Подобным же образом характеризуется вода в другой реке большого столичного северного города – Темзе: *и Темзы желтая вода* (Домби и сын). Иначе изображаются реки в пространстве природного пейзажа: *уведи меня в ночь, где течет Енисей* (За гремучую доблесть грядущих веков); *полноводная Кама неслась на боек* (Как на Каме-реке). Таким образом, вода в городской реке создает образ застывшего пространства, застоя, тогда как основная функция этих же лексем при изображении реки вне города – иллюстрация движения, в том числе и движения, хода времени: *когда взревели реки времен обманных и глухих* (1 января 1924).

Животные и сосуды

Подгруппы «животные» и «сосуды» имеют примерно одинаковую частотность. Не будем подробно анализировать лексические единицы этих подгрупп, однако отметим, что за счет употребления их лексических единиц создается всесторонний и наполненный образ. Так, например, в строках *Как средиземный краб или звезда морская, / Был выброшен водой последний материк* (Европа) образы морских животных актуализируют очертания, форму Европы, а в примере *Но, как медуза, невякая волна / Мне отвращенье легкое внушает* (Мне холодно) образ студенистого тела медузы ассоциируется с неприятными ощущениями человека.

Упоминания сосудов также помогают расширить и углубить символику образов, связанных с водной стихией, так как сосуд – это в первую очередьместилище для жидкости. Например, в строках *золотистого меда струя из бутылки*

текла (Золотистого меда струя) создается картина вытекающего меда из узкого горлышка бутылки, что делает образ более тягучим, растянутым во времени. Кроме того, сосуд – это форма, в зависимости от того, чем и как наполняется эта форма и наполняется ли вообще, образ ее помогает передать состояние мира. Приведем другие примеры, где обозначения сосудов дополняют образы воды: *стынет бочка с полными краями* (Умывался ночью на дворе); *как вода в новгородских колодцах должна быть черна и сладима* (Сохрани мою речь навсегда); *В игольчатых чумных бокалах / Мы пьем наваждение причин* (Восьмистишия). Мироощущение лирического героя передается через сенсорные ощущения, через ощущение наполненной жидкостью формы. Вода в этих контекстах – часть мира, ограниченная некой формой, которую он может ощутить и осмыслить.

Таким образом, использование названий животных связано у Мандельштама прежде всего с сенсорными образами, чувственными ощущениями человека, в то время как названия сосудов репрезентуют ход времени, а также отражают состояние мира через ощущения лирического героя, которые связаны с сенсорным восприятием наполненной жидкостью емкости.

Твердое состояние

Лексические единицы подгруппы «твердое состояние» зачастую используются в оксюморонных оборотах, создавая противоречивую картину окружающего мира, показывая эмоциональное состояние лирического героя: *а на губах, как черный лед, горит* (Я слово позабыл, что я хотел сказать); *и горячий снег хрустит* (Чуть мерцает призрачная сцена). Как видно, основной функцией лексем данной подгруппы является изображение противоречивого, сумбурного состояния лирического героя или окружающего мира.

Парообразное состояние

В тематической подгруппе «парообразное состояние» ключевую позицию занимает лексема «туман». Туман – скопление воды в воздухе, пелена, мешающая четко рассмотреть окружающее пространство, соответственно, образ тумана создает атмосферу неясности, размытости контуров, отсутствия формы, нестабильности. В стихотворении «Образ твой мучительный и зыбкий» туман присутствует в начальных строках стихотворения, через него раскрывается неуловимость и неосвязаемость образа, что доставляет лирическому «я» дискомфорт, мучение: *образ твой мучительный и зыбкий / я не мог в тумане осязать*. Эта же лексема используется и в конце текста, демонстрируя ситуацию неопределенности, размытости будущего: *впереди густой туман*

клубится. В стихотворении «Скудный луч холодной мерою» туман становится признаком пустоты, вызывает эмоции растерянности, непонимания: *Как пустая башня белая, / Где туман и тишина...* «Туманностью» характеризуется и мир, и сам человек, что связывает их, делает лирического героя частью мироздания, сопричастным к мировому хаосу. Лексема «пар» не столь частотна, но основной функцией контекстов с этой лексической единицей также является демонстрация состояния неизвестности, зыбкости, отражение нечеткой картины окружающего пространства: *А на улице мигают плошки / И тяжелый валит пар* (Чуть мерцает призрачная сцена).

Глубина

Подгруппа «глубина» представлена в лирике Мандельштама лексическими единицами *омут*, *глубина*, *пучина*. Водное пространство предстает как стихийное начало, неподвластное человеку и, возможно, губительное. Обратимся к словарным дефинициям слова «омут». В Большом толковом словаре оно толкуется в двух основных значениях: 1) глубокая яма на дне реки или озера; водоворот, быстрина, вымывающие на дне реки, озера яму; 2) обстановка, среда, которые затягивают человека и могут его нравственно погубить [Кузнецов 2000: 713]. Эти значения у Мандельштама употребляются синкретично. Омут предстает как стихийное начало, как часть изначального хаоса, отстраненная и бездушная стихия: *из омута злого и вязкого* (Из омута злого и вязкого), *в огромном омуте прозрачно и темно* (В огромном омуте прозрачно и темно). Так, Т. Ю. Никитина, исследуя мифологемы природных стихий в лирике Мандельштама, отмечает, что, с одной стороны, мандельштамовский лирический герой стремится преодолеть власть «родимого омута», его существование уподобляется противостоянию хаосу Вселенной паскалевского «мыслящего тростника», с другой стороны – глубина и непостижимость «омута» – «зеркала» завораживают человека, подчиняют себе, и тогда бытие человека становится балансированием «соломинки» между жизнью и смертью [Никитина 2000]. Углубить восприятие образа омута в качестве стихии-прародительницы помогают глаголы, характеризующие действия лирического героя: *и никну, никем не замеченный, / в холодный и тонкий приют* (Из омута злого и вязкого); *и царствовал, и никнул Он, / как лилия в родимый омут* (Неумолимые слова); *в омут канут* (Стрекозы быстрыми кругами). Водная стихия, переданная через образ омута, порождает жизнь, и в эту же стихию происходит возврат в конце бытия. Кроме того, через образ омута поэт опять обращается к образу Петербурга: *в черном омуте столицы / столпник-ангел*

вознесен (Дворцовая площадь). Образы черного омута и черной же фигуры ангела окрашивают Петербург в монотонную темную гамму. Таким образом, лексема «омут» используется для обозначения первозданного хаоса, характеризующегося глобальностью, отстраненностью и непостижимостью.

Вода как стихия изначальная, могущественная и грандиозная передается также через лексему «пучина»: *по седым пучинам мировым* (Ни о чем не нужно говорить); *из пучины мировой* (Раковина). Пучина, ассоциируемая с водной бездной, характеризуется как «мировая», что придает этому образу глобальность. Посредством этой лексемы выражается масштабность изначального состояния мира, всеобъемлющий характер хаоса. Таким образом, для лирики Мандельштама характерна связь между водой-хаосом и водой-первоосновой, которая прослеживается в текстах разного периода. К тому же, как видно из представленных контекстов, образы глубокой воды усиливают смысл стихийного начала.

Влажные осадки

Лексические единицы подгруппы «влажные осадки» создают звуковую картину мира: *что на крыше дождь бормочет* (Что поют часы-кузнечик); *дробями дождь залепетал* (Московский дождик). Кроме этого, сочетание лексемы, обозначающей влажные осадки, с лексемой, называющей сосуд, передает ощущение мира лирическим героем: *Шло цепочкой в темноводье / Протяженных гроз ведро* (Шло цепочкой в темноводье).

Озера/пруды

Подгруппа «озера/пруды» является самой малочисленной. Озеро, как изображение стоячей воды, чаще всего указывает на отсутствие движения, замершее состояние: *над озером сонным* (Воздух пасмурный влажен и гулок). Вода в пруду характеризуется непрозрачностью, что отражает состояние неизвестности: *черный блеск пруда* (Стрекозы быстрыми кругами...).

Вода

Тематическая подгруппа «вода», хотя и является второй по частотности, не была рассмотрена выше, так как различные варианты лексемы «вода» в анализируемых контекстах, как правило, являются отсылкой к образу водоема и выполняют те же функции, что и лексические единицы соответствующих подгрупп. Так, например, строки *над аметистовой водой* (Меганом) являются отсылкой к морской тематике, создавая образ морского пространства, а в строках *и вздрагивает, тростниками, / чуть окаймленная, вода* (Стрекозы быстрыми кругами) эта лексема относится к образу пруда и отражает тревожное, неясное, нестабильное состояние мира.

Как можно заметить, в поэтических текстах Мандельштама использование лексики тематической группы «вода» чрезвычайно активно. Так, вода – это стихия, неподвластная человеку, хаос; и в то же время море, например, становится частью человеческой души, без которой человек ощущает опустошенность. Через образы различных водоемов репрезентуется как состояние мира, так и ощущения лирического героя. Лексика водной тематики в лирике Мандельштама также связана с категориями времени и пространства. Мутная, непрозрачная вода создает ощущение замершего пространства, тогда как движущаяся волна или буйная река характеризует ход времени, раскрывая образ исторической эпохи. При

этом лексические единицы различных подгрупп могут реализовывать одни и те же функции.

Взаимосвязь тематических подгрупп и функций

Функции разных тематических подгрупп тематической группы «вода» в лирике Мандельштама обобщены в табл. 2.

Как видно из табл. 2, практически во всех случаях лексика тематической подгруппы может выполнять не одну, а ряд функций, в то же время одна и та же функция может быть реализована лексикой разных подгрупп. Сеть соотношения тематических подгрупп и функций, выполняемых лексикой этих подгрупп, показана на рисунке.

Таблица 2 / Table 2

Функции лексики тематической группы «вода» в лирике Мандельштама
The functions of the vocabulary from the thematic group 'water' in Mandelstam's lyrics

Подгруппа-2	Функции
Океаны/моря	– отсылка к теме античности – отображение части души человека, символизирующий его связь со стихией, мирозданием – вода-хаос – состояние мира
Корабли	– изображение лирического героя, подчиняющегося стихии – отсылка к теме античности – ход времени
Форма	– вода-хаос – нестабильное состояние мира – ход времени
Реки	– ход времени – движение – застывшее пространство
Физиологические жидкости	– тревога – связь, родство
Животные	– ощущения лирического героя
Твердое состояние	– нестабильность мира – ощущения лирического героя
Сосуды	– состояние мира – ход времени
Парообразное состояние	– нестабильность мира
Глубина	– вода-хаос
Влажные осадки	– передача звуковых образов – ощущения лирического героя
Озера/пруды	– нестабильность мира – застывшее состояние пространства

Как можно заметить из табл. 2 и рисунка, в большинстве случаев за каждой подгруппой лексических единиц закреплён определенный набор функций, как правило, не более трех. Исключением является подгруппа «океаны/моря», лексика которой выполняет четыре функции, что объясняется наибольшим количеством кон-

текстов с использованием лексики данной подгруппы. Следует отметить, что чем более многочисленна подгруппа, тем большее количество функций связано с ее лексическими единицами, и наоборот. Менее частотные подгруппы лексики используются в текстах с одной-двумя функциями.



**Сеть соотношения подгрупп лексики тематической группы «вода»
и функций лексики этих подгрупп**
**A network correlating lexical subgroups of the thematic group 'water'
and the functions of the vocabulary from these subgroups**

Функции, которые выполняют единицы тематической группы «вода», могут реализовываться единицами разных подгрупп. Больше всего связей с тематическими подгруппами обнаруживается у функций описания хода времени, изображения неустойчивого состояния мира, представления воды как первородной стихии-хаоса, отображения чувств и ощущений лирического героя (см. рисунок). Например: неустойчивость состояния мира репрезентуется через лексические единицы подгрупп «форма», «твердое состояние», «парообразное состояние», «озера/пруды»; ход времени – через лексемы подгрупп «корабли», «форма», «реки», «сосуды»; вода как стихия и хаос – через лексику подгрупп «океаны/моря», «форма», «глубина» и т. д.

Связи между тематическими подгруппами лексики и функциями, которые они выполняют, показывают, с одной стороны, многофункциональность тематических подгрупп, а с другой – способность художественного образа наполнять-

ся и поддерживаться лексикой разных тематических групп. Так, например, описывая состояние мира, Мандельштам прибегает к лексемам тематических подгрупп «океаны/моря» и «сосуды»; использование лексики этих подгрупп показывает дуальность мира как стихии и способности вместить эту стихию в определенные рамки, «разлить» ее в разные формы, которые человек может принять и осмыслить. В то же время тематическая группа «океаны/моря» отсылает читателя к душе поэта, его внутреннему миру, его поэзии. Одновременная связь данной тематической группы через функцию описания состояния мира косвенно соотносит внутренний мир поэта с формой, с возможностью запечатлеть поэзию в определенных формах. Кроме того, эта тематическая подгруппа связана с функциями изображения воды как стихии-хаоса, а также отражения души человека: стихия оказывается неотъемлемой частью человеческой души, а человек в какой-то степени – «носителем» стихийного нача-

ла. Таким образом, через сеть связей разных тематических подгрупп и функций лексем, входящих в них, в лирике Мандельштама как в целом выстраиваются системы образов, основанных на лексике тематической группы «вода».

Интересно отметить, что даже такие тематические подгруппы, которые выполняют одну функцию, увязываются в общую сеть, будучи связаны через эту функцию с другими подгруппами.

Выводы

Образы с использованием лексики тематической группы «вода» в лирике Мандельштама часто выстраиваются на основе языковых символов, характерных для поэзии в целом, например на основе образов тумана, моря. Однако образы эти многослойные, глубокие, к тому же могут выполнять несколько функций в различных поэтических текстах.

В тематической группе «вода» в лирике Мандельштама выделяются подгруппы разных уровней иерархии: подгруппы первого уровня иерархии и более мелкие подгруппы второго уровня. Частота контекстов с использованием лексических единиц разных подгрупп, а также определенный в результате анализа набор их функций в тексте автора позволяют сделать вывод об их значимости. Было выявлено, что тематические подгруппы лексики первого уровня («состояние воды», «водоемы», «объекты») различаются по объему незначительно, а входящие в них подгруппы второго уровня существенно варьируются по частоте, при этом наиболее частотные тематические подгруппы второго уровня («океаны/моря», «корабли», «форма», «физиологические жидкости») распределены по всем трем выделенным тематическим подгруппам первого уровня. Эти наблюдения позволяют сделать вывод о том, что организация тематической структуры текста у Мандельштама опирается, скорее, на тематические подгруппы второго уровня и именно на этом уровне конкретизируются функции, выполняемые лексическими единицами тематических подгрупп.

Наиболее часто реализуемые функции лексики тематической группы «вода» – выражение ощущений лирического героя, отсылка к нестабильности мира и осмысление воды как стихии, как первородного хаоса. Эти функции реализуются с помощью лексики разных тематических подгрупп, но объединяет их подгруппа «форма», являющаяся важной для Мандельштама и показывающая противопоставление порядка и хаоса.

Лексика каждой тематической подгруппы обычно выполняет сразу несколько функций, и в то же время каждая функция может быть выра-

жена лексикой нескольких подгрупп. Таким образом, формируется сеть взаимосвязей тематических подгрупп и функций их лексических единиц, которая характеризует единую систему образов, относящихся к лексике тематической группы «вода».

Список литературы

Аверинцев С. С. Судьба и весть Осипа Мандельштама. Аверинцев и Мандельштам: статьи и материалы / под ред. Д. Н. Мамедовой. М.: Рос. гос. гуманитар. ун-т, 2011. 311 с.

Айчицек М. Репрезентация концепта вода во фразеологической картине мира (на материале русского, турецкого и английского языков): автореф. дис. ... канд. филол. наук. Уфа, 2012. 22 с.

Антонова М. К. Метафорическая интерпретация явлений интеллектуальной сферы как воды/жидкости // Вестник Томского государственного университета, 2012. № 356. С. 7–10.

Галдин Е. В. Концепт ВОДА как полевая структура и способы его выражения в русском языке (на материале поэтических текстов И.А. Бродского): автореф. дис. ... канд. филол. наук. Ставрополь, 2006. 16 с.

Гачев Г. Д. Национальные образы мира. М.: Сов. писатель, 1988. 448 с.

Гинзбург Л. Я. О лирике. Л.: Сов. писатель, 1974. 408 с.

Евзлин М. С. Космогония и ритуал. М.: Радикс, 1993. 344 с.

Жучкова А. В. Психопоэтический анализ стихотворения О. Мандельштама «Нашедший подкову» // Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. 2015. № 2. С. 29–40.

Кихней Л. Г., Бараханова Н. В. Эволюция городского текста в поэзии Осипа Мандельштама // Россия в мире: проблемы и перспективы развития международного сотрудничества в гуманитарной и социальной сфере: материалы XII Международ. науч.-практ. конф. / Пенз. гос. техн. ун-т. Пенза, 2022. С. 70–93.

Кихней Л. Г., Меркель Е. В. Осип Мандельштам: философия слова и поэтическая семантика. М.: Флинта, 2013. 200 с.

Кожин А. Н. Язык художественной литературы как эстетически стимулируемая форма существования литературного языка // Структура и функционирование поэтического текста: сб. ст. М.: Наука, 1985. С. 10–37.

Кузнецов С. А. Большой толковый словарь русского языка. СПб.: Норинт, 2000. 1536 с.

Маковский М. М. Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских языках: Образ мира и миры образов. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1996. 416 с.

Мандельштам Н. Я. Воспоминания. Вторая книга. Париж: YMCA-Press, 1983. 724 с.

Мандельштам О. Полное собрание стихотворений. СПб.: Академический проект, 1995. 720 с.

Мандельштам О. Собрание сочинений в 4 т. М.: Арт-Бизнес-Центр, 1993. Т. 1: Стихи и проза 1906–1921. 367 с.

Меженская Н. А. Тематические группы с наименованиями водной стихии в художественной прозе второй половины XX в. (на примере произведений В. Астафьева и В. Тендрякова) // Вестник Томского государственного университета. 2009. № 10. С. 214–219.

Морковкин В. В. Основные функции лексических единиц // Вестник РУДН. Серия: Вопросы образования: языки и специальность. 2007. № 1. С. 43–51.

Мочульский К. Э. О. Мандельштам / Записки Мандельштамовского общества. М.: Радикс, 1995. Т. 7: Мандельштам и античность. С. 7–11.

Никитина Т. Ю. Мифопоэтика О. Мандельштама 1908–1925 годов: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Тюмень, 2000. 23 с.

Нильссон Н. А. «Бессоница...» // Записки Мандельштамовского общества. Т. 7. Мандельштам и античность. М.: Радикс, 1995. С. 65–76.

Павлов М. С. О. Мандельштам: Цикл о воронежской жажде / Записки Мандельштамовского общества. М.: Радикс, 1995. Т. 7: Мандельштам и античность. С. 171–187.

Пишьябильский Р. Рим Осипа Мандельштама / Записки Мандельштамовского общества. М.: Радикс, 1995. Т. 7: Мандельштам и античность. С. 33–64.

Ронен О. Поэтика Осипа Мандельштама. СПб.: Гиперион, 2002. 240 с.

Сергодеев И. В. Поэтический текст как эстетическая система. Типы, уровни и функции поэтического текста (на материале англоязычной поэзии) // Мир науки. Социология, филология, культурология. 2020. Т. 11, № 1. URL: <https://sfk-mn.ru/PDF/06FLSK120.pdf> (дата обращения: 28.01.2024).

Скляревская Г. Н. Метафора в системе языка. СПб.: Наука, 1993. 151 с.

Фролова Л. В. Концепты первостихий (вода, воздух, земля, огонь) в романе М. М. Пришвина «Кашеева цепь»: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Орел, 2012. 23 с.

Элиаде М. Избранные сочинения. Очерки сравнительного религиоведения. М.: Ладомир, 1999. 488 с.

Dhont M. A spring of living waters in a pool of metaphors: The metaphorical landscape of 1QH^a 16:5-27 // HTS Theological Studies. 2021. Vol. 77 (1). P 1–7.

Fenno J. A Great Wave against the Stream: Water Imagery in Iliadic Battle Scenes // The American Journal of Philology. 2005. Vol. 126(4). P. 475–504.

Leiter S. Mandel'shtam's Petersburg: Early Poems of the City Dweller // The Slavic and East European Journal. 1978. Vol. 22(4). P. 473–483.

Mel'čuk, Igor & Jasmina Miličević. An Advanced Introduction to Semantics. A MeaningText Approach. Cambridge: Cambridge University Press, 2020. 300 p.

Mittlefehldt P. J. Writing the Waves, Sounding the Depths: Water as Metaphor and Muse // Interdisciplinary Studies in Literature and Environment. 2003. Vol. 10(1). P. 137–142.

Terras V. Classical Motives in the Poetry of Osip Mandel'shtam // The Slavic and East European Journal. 1966. Vol. 10 (3). P. 251–267.

Witzel M. Water in Mythology // Daedalus. 2015. Vol. 144(3). P. 18–26.

Ziolkowski M. Rivers in Russian Literature. L.: Eurospan, 2020. 288 p.

References

Averintsev S. S. *Sud'ba i vest' Osipa Mandel'shtama. Averintsev i Mandel'shtam: Stat'i i materialy* [The Fate and the News of Osip Mandelstam. Averintsev and Mandelstam: Articles and materials]. Ed. by D. N. Mamedova. Moscow, Russian State University for the Humanities Press, 2011. 311 p. (In Russ.)

Aychichek M. *Reprezentatsiya kontsepta voda vo frazeologicheskoy kartine mira (na materiale russkogo, turetskogo i angliyskogo yazykov)*. Avtoreferat kand. filol. nauk [Representation of the concept of water in the phraseological picture of the world (based on the material of the Russian, Turkish and English languages). Abstract of Cand. philol. sci. diss.]. Ufa, 2012. 22 p. (In Russ.)

Antonova M. K. *Metaforicheskaya interpretatsiya yavleniy intellektual'noy sfery kak vody / zhidkosti* [Metaphorical interpretation of intellectual phenomena as water / liquid]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta* [Tomsk State University Journal], 2012, issue 356, pp. 7–10. (In Russ.)

Galdin E. V. *Kontsept VODA kak polevaya struktura i sposoby ego vyrazheniya v russkom yazyke (na materiale poeticheskikh tekstov I. A. Brodskogo)*. Avtoreferat kand. filol. nauk [The concept of WATER as a field structure and ways of its expression in the Russian language (based on the material of I. A. Brodsky's poetic texts). Abstract of Cand. philol. sci. diss.]. Stavropol, 2006. 16 p. (In Russ.)

Gachev G. D. *Natsional'nye obrazy mira* [National Images of the World]. Moscow, Sovetskiy pisatel' Publ., 1988. 448 p. (In Russ.)

Ginzburg L. Ya. *O lirike* [About Lyrics]. Leningrad, Sovetskiy pisatel' Publ., 1974. 408 p. (In Russ.)

Evzlin M. S. *Kosmogoniya i ritual* [Cosmogony and Ritual]. Moscow, Radiks Publ., 1993. 344 p. (In Russ.)

Zhuchkova A. V. Psikhopoeticheskiy analiz stikhotvoreniya O. Mandel'shtama 'Nashedshiy podkovu' [Psychopoetic analysis of O. Mandelstam's poem 'The Horseshoe Finder']. *Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta im. A. S. Pushkina* [Pushkin Leningrad State University Journal], 2015, issue 2, pp. 29–40. (In Russ.)

Kikhney L. G., Barakhanova N. V. Evolyutsiya gorodskogo teksta v poezii Osipa Mandel'shtama [The evolution of urban text in the poetry of Osip Mandelstam]. *Rossiya v mire: problemy i perspektivy razvitiya mezhdunarodnogo sotrudnichestva v gumanitarnoy i sotsial'noy sfere* [Russia in the World: Problems and Prospects for the Development of International Cooperation in the Humanitarian and Social Sphere]: Proceedings of the 12th International Scientific Practical Conference. Moscow, Penza, Penza State Technological University Press, 2022, pp. 70–93. (In Russ.)

Kikhney L. G., Merkel' E. V. *Osip Mandel'shtam: filosofiya slova i poeticheskaya semantika* [Osip Mandelstam: Philosophy of the Word and Poetic Semantics]: a monograph. Moscow, Flinta Publ., 2013. 200 p. (In Russ.)

Kozhin A. N. Yazyk khudozhestvennoy literatury kak esteticheski stimuliruemaya forma sushchestvovaniya literaturnogo yazyka [The language of fiction as an aesthetically stimulated form of the existence of literary language]. *Struktura i funktsionirovanie poeticheskogo teksta* [The Structure and Functioning of Poetic Text]: a collection of articles. Moscow, Nauka Publ., 1985, pp. 10–37. (In Russ.)

Kuznetsov S. A. *Bol'shoy tolkovyy slovar' russkogo yazyka* [The Large Explanatory Dictionary of the Russian Language]. St. Petersburg, Norint Publ., 2000. 1536 p. (In Russ.)

Makovskiy M. M. *Sravnitel'nyy slovar' mifologicheskoy simboliki v indoevropeyskikh yazykakh: Obraz mira i miry obrazov* [Comparative Dictionary of Mythological Symbolism in Indo-European Languages: The Image of the World and the Worlds of Images]. Moscow, VLADOS Publ., 1996. 416 p. (In Russ.)

Mandelstam N. Ya. *Vospominaniya. Vtoraya kniga* [Memories. The second book]. Paris, YMCA-Press, 1983. 724 p. (In Russ.)

Mandelstam O. *Polnoe sobranie stikhotvoreniy* [The Complete Collection of Poems]. St. Petersburg, Akademicheskii proekt Publ., 1995. 720 p. (In Russ.)

Mandelstam O. *Sobranie sochineniy v 4 t.* [Collected works in 4 vols.]. Moscow, Art Business Center Publ., 1993, vol. 1. *Stikhi i proza 1906 – 1921* [Poems and prose 1906–1921]. 367 p. (In Russ.)

Mezhenskaya N. A. *Tematicheskie gruppy s naimenovaniyami vodnoy stikhii v khudozhestvennoy proze vtoroy poloviny XX v. (na primere proizvedeniy V. Astaf'eva i V. Tendryakova)* [Thematic groups with names of the water element in the fiction of the second half of the 20th century (through the example of the works of V. Astafiev and V. Tendryakov)]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta* [Tomsk State University Journal], 2009, vol. 10, pp. 214–219. (In Russ.)

Morkovkin V. V. Osnovnye funktsii leksicheskikh edinit [The main functions of lexical units]. *Vestnik RUDN. Seriya: Voprosy obrazovaniya: yazyki i spetsial'nost'* [Bulletin of Russian Peoples' Friendship University. Series Problems of education: languages and speciality], 2007, vol. 1, pp. 43–51. (In Russ.)

Mochul'skiy K. E. O. Mandel'shtam [O. Mandelstam]. *Zapiski Mandel'shtamovskogo obshchestva* [Notes of the Mandelstam Society]. Moscow, Radiks Publ., 1995, vol. 7. *Mandel'shtam i antichnost'* [Mandelstam and Antiquity], pp. 7–11. (In Russ.)

Nikitina T. Yu. *Mifopoetika O. Mandel'shtama 1908–1925 godov*. Avtoreferat kand. filol. nauk [The mythopoetics of O. Mandelstam of 1908–1925. Abstract of Cand. philol. sci. diss.]. Tyumen, 2000. 23 p. (In Russ.)

Nilsson N. A. 'Bessonitsa...' [Insomnia]. *Zapiski Mandel'shtamovskogo obshchestva* [Notes of the Mandelstam Society]. Moscow, Radiks Publ., 1995, vol. 7, pp. 65–6. (In Russ.)

Pavlov M. S. O. Mandel'shtam: Tsikl o voronezhskoy zhazhde [O. Mandelstam: A cycle about the Voronezh thirst]. *Zapiski Mandel'shtamovskogo obshchestva* [Notes of the Mandelstam Society]. Moscow, Radiks Publ., 1995, vol. 7. *Mandel'shtam i antichnost'* [Mandelstam and Antiquity], pp. 171–187. (In Russ.)

Pshybyl'skiy R. Rim Osipa Mandel'shtama [Osip Mandelstam's Rome]. *Zapiski Mandel'shtamovskogo obshchestva* [Notes of the Mandelstam Society]. Moscow, Radiks Publ., 1995, vol. 7. *Mandel'shtam i antichnost'* [Mandelstam and Antiquity], pp. 33–64. (In Russ.)

Ronen O. *Poetika Osipa Mandel'shtama* [The Poetics of Osip Mandelstam]. St. Petersburg, Hyperion Publ., 2002. 240 p. (In Russ.)

Sergodeev I. V. Poeticheskiy tekst kak etikoesteticheskaya sistema. Tipy, urovni i funktsii poeticheskogo teksta [Poetic text as an ethical and aesthetical system. Types, levels and functions of a poetic text (exemplified by English poetry)]. *Mir nauki. Sotsiologiya, filologiya, kul'turologiya* [World of Science. Series: Sociology, Philology, Cultural Studies], 2020, vol. 11, issue 1. Available at: <https://sfk-mn.ru/PDF/06FLSK120.pdf> (accessed 28 Jan 2024). (In Russ.)

- Skiyarevskaya G. N. *Metafora v sisteme yazyka* [Metaphor in the Language System]. St. Petersburg, Nauka Publ., 1993. 151 p. (In Russ.)
- Frolova L. V. *Kontsepty pervostikhiy (voda, vozdukh, zemlya, ogon') v romane M. M. Prishvina 'Kashcheeva tsep'*. Avtoreferat kand. filol. nauk [The concepts of the primary elements (water, air, earth, fire) in the novel by M. M. Prishvin 'Kashchei's Chain']. Abstract of Cand. philol. sci. diss.]. Oryol, 2012. 23 p. (In Russ.)
- Eliade M. *Izbrannye sochineniya. Ocherki sravnitel'nogo religiovedeniya* [Selected Works. Essays on Comparative Religious Studies]. Moscow, Lado-mir Publ., 1999. 488 p. (In Russ.)
- Dhont M. A spring of living waters in a pool of metaphors: The metaphorical landscape of 1QH^a 16:5-27. *HTS Theological Studies*, 2021, vol. 77(1), pp. 1–7. (In Eng.)
- Fenno J. A great wave against the stream: Water imagery in Iliadic battle scenes. *The American Journal of Philology*, 2005, vol. 126(4), pp. 475–504. (In Eng.)
- Leiter S. Mandel'stam's Petersburg: Early poems of the city dweller. *The Slavic and East European Journal*, 1978, vol. 22(4), pp. 473–483. (In Eng.)
- Mel'čuk, Igor & Jasmina Milićević. *An Advanced Introduction to Semantics. A Meaning-Text Approach*. Cambridge, Cambridge University Press, 2020. 300 p. (In Eng.)
- Mittlefehldt P. J. Writing the waves, sounding the depths: Water as metaphor and muse. *Interdisciplinary Studies in Literature and Environment*, 2003, vol. 10(1), pp. 137–142. (In Eng.)
- Terras V. Classical motives in the poetry of Osip Mandel'stam. *The Slavic and East European Journal*, 1966, vol. 10(3), pp. 251–267. (In Eng.)
- Witzel M. Water in mythology. *Daedalus*. 2015, vol. 144 (3), pp. 18–26. (In Eng.)
- Ziolkowski M. *Rivers in Russian Literature*. London, Eurospan, 2020. 288 p. (In Eng.)

The Functions of the Tokens of the Thematic Group 'Water' in the Lyrics of Mandelstam

Mariia A. Dukhnova

Senior Lecturer in the Department of Theoretical and Applied Linguistics

Perm State University

15, Bukireva st., Perm, 614068, Russian Federation. mariyafei@gmail.com

SPIN-code: 7470-3463

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6788-1832>

ResearcherID: JFB-5374-2023

Elena V. Erofeeva

Head of the Department of Theoretical and Applied Linguistics

Perm State University

15, Bukireva st., Perm, 614068, Russian Federation. elenerofee@gmail.com

SPIN-code: 4653-7454

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6659-6519>

ResearcherID: Q-3940-2017

Submitted 13 Feb 2024

Revised 3 Apr 2024

Accepted 15 May 2024

For citation

Dukhnova M. A., Erofeeva E. V. Funktsii leksem tematicheskoy gruppy «voda» v lirike Mandel'shtama [The Functions of the Tokens of the Thematic Group 'Water' in the Lyrics of Mandelstam]. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2024, vol. 16, issue 3, pp. 35–49. doi 10.17072/2073-6681-2024-3-35-49 (In Russ.)

Abstract. The paper describes lexical units related to the hydrological subjects in Mandelstam's lyrics. The image of water and its perception by the language speakers and culture bearers occupies an important place in the worldviews, and its study in works of art helps to reveal and broaden the author's outlook. The paper analyzes the main sources of metaphors; the focus is on the analysis of nouns as the main sources of metaphors with images of water. The material for the study included 120 poems written by Mandelstam in different periods of his creative life. From these, by continuous sampling, were selected 318 contexts containing vocabulary that names water, its properties and forms, etc., as well as objects associated with water, such as ships, vessels, marine animals. In the course of the study, thematic subgroups of such vocabulary in Mandelstam's poetic works were identified and the qualitative functions of the lexical units of these subgroups were analyzed. The functions of lexical units are understood in the paper as indirect meanings that are expressed associatively in the text and help to reveal the multilayering and the deep meaning behind the author's image. In the course of the work, lexical subgroups of two levels of hierarchy were determined; it is shown that the functions of lexical units are manifested and specified at the second, lower, level. The most active in Mandelstam's lyrics are lexemes of the thematic subgroups 'oceans/seas', 'ships', 'form', 'physiological fluids'. The most frequently realized functions of the vocabulary of the thematic group 'water' are the expression of the lyrical hero's feelings, reference to the instability of the world, and the understanding of water as an element, as primordial chaos. These functions are implemented using the vocabulary of different thematic subgroups, but they are united by the subgroup 'form', which is important for Mandelstam and shows the opposition between order and chaos. The vocabulary of each thematic subgroup usually performs several functions at once, while at the same time each function can be expressed by vocabulary of several subgroups. Thus, there is formed a network of interrelations of the thematic subgroups and the functions of their lexical units, which characterizes a single system of images related to the vocabulary of the thematic group 'water'.

Key words: poetic text; Mandelstam; vocabulary; thematic group 'water'; thematic subgroups; functions.

УДК 811.161.1'373.23+392.14+392.143+279.99(470.53)+908(470.53)“1855/1930”
doi 10.17072/2073-6681-2024-3-50-61
<https://elibrary.ru/yuryww>

EDN YURYWW



Южноприкамская традиция имянаречения у пермских старообрядцев и единоверцев второй половины XIX – первой трети XX века

Запольских Евгения Владимировна

соискатель кафедры общего языкознания,

русского и коми-пермяцкого языков и методики преподавания языков

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет

614990, Россия, г. Пермь, ул. Сибирская, 24. zapolskih.ev@mail.ru

SPIN-код: 7189-1816

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1926-559X>

Статья поступила в редакцию 19.01.2024

Одобрена после рецензирования 25.03.2024

Принята к публикации 17.07.2024

Информация для цитирования

Запольских Е. В. Южноприкамская традиция имянаречения у пермских старообрядцев и единоверцев второй половины XIX – первой трети XX века // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2024. Т. 16, вып. 3. С. 50–61. doi 10.17072/2073-6681-2024-3-50-61

Аннотация. Статья посвящена изучению традиции имянаречения у пермских старообрядцев и единоверцев второй половины XIX – первой трети XX в., которые проживали в верховьях реки Буй и ее притоков, что соответствует территории современного Куединского района на юге Пермского края. Материалом исследования стали записи о рождении в метрических книгах из старообрядческой церкви в селе Земплягаш и из единоверческих церквей в селах Верх-Буй и Старый Шагирт. Анализ был направлен на выявление сходства и различия в этих традициях. Установлено, что для обеих групп характерно раннее крещение на 3/4-й день с наречением именем (совершалось лицом в духовном сане), выбор имени с опорой на святцы (называли по имени святого, почитаемого на 8-й день по рождению). Вместе с тем старообрядцы Земплягашской общины практиковали крещение с наречением на 8-й день по рождению, а также могли назвать в честь святого, чьи именины стояли за 7–8 дней до рождения, что было частью русской традиции имянаречения еще с дораскольных времен. Анализ антропонимии выявил, что единоверческие священники пользовались также «никонианским» календарем, на что указывают наречения в честь постраскольных святых, выбор канонических форм имен «никонианского» календаря, а также малая доля народных форм, поскольку для старообрядцев того времени характерна вариативная запись имен в метрике. В Земплягашской общине доля народных форм имен оказалась значительно выше, а их происхождение находит свои связи с временами «до раскола», что мотивируется значимой для старообрядчества идеей связи времен. Случаи наречения модными именами в обход календарного принципа, встретившиеся в советский период, показывают как гибкость их антропонимической системы, так и ее устойчивость, поскольку все модные имена были традиционными агнионами из святцев.

Ключевые слова: старообрядцы; единоверцы; региональная русская антропонимика Южного Прикамья; традиция имянаречения; метрические книги; святцы; дораскольный календарь.

Введение

Традиция имянаречения является областью изучения разных наук: истории, этнографии, культурологии, антропоники и др., поскольку одновременно в ней отражается история и культура народа, его религиозные представления и лингвистические характеристики антропонимов. Исследование традиций имянаречения старообрядцев и единоверцев невозможно без погружения в историю раскола и единоверия, без установления особенностей их религиозных воззрений и традиций. Старообрядцы – это особая конфессиональная группа, отделившаяся от Русской православной церкви в ходе церковных реформ патриарха Никона в XVII в., а единоверцы – это конфессиональная подгруппа, выделившаяся из старообрядцев в конце XVIII в. в результате «примирения» с Русской православной церковью. Таким образом, имянаречение у старообрядцев и единоверцев – это две отдельные части старообрядческой традиции, которые необходимо рассматривать в сравнении с учетом их исторических и религиозных особенностей.

Исследования средневековой русской традиции имянаречения обобщены в работе Л. П. Горюшкиной [Горюшкина 2017]. Традиции имянаречения старообрядцев освещены в этнографических исследованиях XX–XXI вв. [Бломквист, Гринкова 1930; Ваганова 2015; Виноградов 2009; Иванец 1992; Плотникова 2019], показавших взаимосвязь пола, дня рождения и имени нареченного. Исследователи региональной антропоники старообрядцев XIX–XX вв. [Боровик 2019; Кузнецова 2006; Муратова 1994; Назаров 2009] усматривают меньше таких взаимосвязей. Традиции имянаречения старообрядцев севера Пермского края зафиксированы в «Очерках этнографии северноуральского крестьянства XVII–XX вв.» [На путях... 1989]. «Обозрение пермского раскола» (Палладий) описывает имянаречение у староверов в Пермской губернии середины XIX в. с позиции обличения старого обряда. На основе данных метрических книг XIX – начала XX в. рассматривается традиция имянаречения прикамских старообрядцев по ареалу их проживания и роду занятий: у крестьян севера, Среднего Прикамья и у мастеровых заводских поселений [Запольских 2020, 2021, 2023]. Данное исследование «дорисовывает» карту распространения старообрядческих традиций имянаречения на территории Пермского края – рассматривается традиция старообрядцев и единоверцев Южного Прикамья (сел Земплагаш, Верх-Буй, Старый Шагирт и пр., ныне Куединский р-н).

Материал исследования – записи о рождении из метрических книг старообрядческой церкви в

селе Земплагаш за 1908–1930 гг. (ГАПК, Ф. 719. Оп. 8. Д. 720) и единоверческих церквей в селах Верх-Буй за 1870–1918 гг. (ГАПК, Ф. 37. Оп. 6. Д. 672, 679; Ф. 719. Оп. 8. Д. 642, 729) и Старый Шагирт за 1855–1887 гг. (ГАПК, Ф. 37. Оп. 1. Д. 569, 571; Ф. 37. Оп. 2. Д. 419; Ф. 37. Оп. 6. Д. 672; Ф. 719. Оп. 8. Д. 628). Общий период исследования – 75 лет: 1855–1930 гг. Количество имен, извлеченных из метрик, – 1523 (всего имен с повторами), из которых 577 – из Земплагашской старообрядческой общины (далее – СО), 632 – из Верх-Буйевской единоверческой церкви (далее – ЕЦ) и 314 – из Шагиртской ЕЦ. Общий именник (без повторов) составил 164 мужских имени и 86 женских имен. География исследования по административному делению конца XIX в. соответствует Осинскому уезду Пермской губернии с концентрацией по волостям: Верх-Буйевской (74 %), Аряжской (16 %), Савинской (5 %), Больше-Усинской (4 %) и пр.

Формирование групп старообрядцев и единоверцев Куединского района

Ядро исследуемых старообрядцев проживало в верховьях р. Буй и ее притоков (р. Ирмиза, Шагирт, Сава), что вместе с прилегающими областями в старину называлось Осинской Башкирией, поскольку исторически эти пограничные земли были связаны с северными территориями Башкортостана [Черных 2002: 95]. Некогда башкирские пустошавшие угодья в конце XVIII в. встретили русских переселенцев с территории современной Удмуртии [там же: 66]. Среди них были и старообрядцы, которые переселялись в эти целинные земли, в том числе в стремлении оградить свою веру от преследований господствующей церкви и государства, руки которых пока с трудом дотягивались до малозаселенного пограничья. Первые русские деревни в верховьях р. Буй (Старый Шагирт, Нижняя Сава) были основаны удельными крестьянами Сарапульского уезда Вятской губернии (современной Удмуртии). Другая часть этого потока шла из близких к вятской границе волостей Пермской губернии – Дубровской, Сайгатской [там же: 66, 90, Палладий: 23–24]. Старообрядческие часовни и моленные в пермских деревнях и селах (Сайгатка, Букор, Дуброво, Аманеево, Альняш) с левобережья Камы и границы с Вятской губернией цепочкой протянулись до верх-буйевских земель (с. Ошья, Старый Шагирт) (Палладий: 25). А. В. Черных выделяет среди населения Юга Прикамья «юго-западную группу русских» и называет ее «старообрядческой», поскольку именно здесь в середине XIX в. полыхал самый большой очаг раскола во всей Пермской губернии [Черных 2002: 90].

Антропонимия изучаемых старообрядцев отвечает на вопрос о происхождении другого потока переселенцев в верх-бுவевские земли. Многие из их фамилий встречаются также в метриках старообрядцев севера Пермского края XIX – начала XX в., проживавших в Чердынском уезде (ГАПК, Ф. 719. Оп. 11. Д. 16, 17, 39, 45, 46, 52, 53а, 54, 80, 93а, 111, 115, 119, 142, 146, 152, 189, 266, 357): *Бурмантовы/Бурмонтовы, Васюковы, Давыдовы, Кетовы, Копытовы, Кузнецовы, Мальцевы, Мелкомуковы, Миковы, Пономаревы, Собенины/Собянины, Спирины, Усанины, Чагины*. Большинство этих фамилий также известны как самые распространенные на севере Пермского края (см.: (Краснова)). Кроме того, на чердынское происхождение указывает их ойконимия: дер. *Малая Тапья* в записях фигурирует также как *Чердынская Тапья* – по месту выхода ее первопоселенцев («чердынская» – то есть населенная чердынцами); дер. *Байдары* с населявшими ее *Байдаровыми* (есть и в Чердынском уезде (Шумилов: 13)), дер. *Пильва* (одноименная река в Чердынском уезде).

На северное происхождение и старообрядческое вероисповедание «верх-бுவевской группы русских», первопоселенцы которой в начале XIX в. появились в Верх-Бுவевской и Аряжской волостях, указывает А. В. Черных. Он приводит их местное название – «чердаки», то есть выходцы из Чердынского уезда [Черных 2002: 67, 92]. Пометки о родителях нареченного в метриках «проживающие на родине» (с указанием местной деревни) также согласуются с возрастом этого потока переселенцев: чердаки-староверы, бывшие государственные крестьяне, это уже далеко не первое поколение пермских староверов на юге края.

Северноприкамские старообрядцы упомянутых фамилий (родственники/односельчане южноприкамских староверов) в своем большинстве принадлежали к согласию *поморцев-беспоповцев*, то есть не приемлющих священства, в то время как Земпьягашская СО состояла в *австрийском согласии*, в котором священство, напротив, было. Переход из согласия в согласие был нередким в старообрядческой среде, поэтому мы можем предполагать его и у чердынских переселенцев «верх-бுவевской группы». Австрийское согласие, возникшее в середине XIX в. и распространявшееся по территории Пермской губернии, могло прийти в изучаемый район вместе с более поздним миграционным потоком, либо через загожих «расколоучителей», либо в результате соседских контактов: «верх-бுவевская группа русских» соседствовала с «юго-западной», в которой в конце XIX в. уже были общины австрийского согласия [там же: 90–91].

Свидетельства позднего потока переселенцев в верховья р. Буй и ее притоков из Вятской губернии второй половины XIX – начала XX в. [там же: 68] мы находим в метриках. К примеру, родители Марины и Ефросинии Судьевых (1908 и 1910 г.р.) записаны как «крестьяне Вятской губернии» (современной Удмуртии), но «проживающие в <...> Аряжской волости Осинского уезда», при этом принадлежащие к «белокриничкой ерархии» (по месту возникновения австрийского согласия – в с. Белая Криница), то есть старообрядцы-австрийцы из Удмуртии, проживающие здесь в первом поколении.

Таким образом, мы имеем дело с именами старообрядцев верховьев р. Буй и ее притоков, бывших государственных и удельных крестьян, чье происхождение связано с пермским севером и удмуртской землей. Земпьягашская СО имела свою церковь в с. Земпьягаш – храм Св. Николы Чудотворца, а единоверцы – единоверческие церкви: Иоанно-Богословскую в с. Верх-Буй и Вознесенскую в с. Старый Шагирт. Они шли разными путями сохранения старой веры: австрийцы установили собственное священство, а единоверцы приняли священство господствующей церкви. Компромисс, на который пошли старообрядцы, перешедшие в единоверие, поставил их в неоднозначное положение. Староверы стали считать их «никонианами», в то время как «никониане» называли их «полураскольниками» [Быковский 1906: 83]. В некоторых приходах переходящих в единоверие старообрядцев просили подписывать отказ от раскола: «вразумленный священником <...> сим изъявляю искреннее свое желание оставить душепагубный раскол и присоединиться к Св. Единоверческой церкви» (ГАПК, Ф. 37. Оп. 4. Д. 84). Однако зачастую переход в единоверие был лишь формальностью ради обретения священства. Как писали епископы XIX в., «единоверцы <...> гнушаются обрядами, принимаемыми православной Церковью» и «еще не пришли в вожденное единение духа с господствующею православною Церковью» [там же]. Ввиду этого единоверцы – это подгруппа старообрядчества, пограничная как для него самого, так и для Православной церкви, требующая отдельного рассмотрения своих традиций имянаречения.

Традиции имянаречения у старообрядцев и единоверцев Куединского района

Говоря об имянаречении у австрийцев и единоверцев Южного Прикамья, можно выделить как сходства, так и различия в их традициях. Главным сходством является то, что имянаречение у них не обходилось без крещения, в отличие, например, от осинских беспоповцев Кам-

барского завода, которые не спешили креститься раньше 30 лет (Палладий: 121), или в отличие от староверов из согласия странников, прибегавших к крещению только в случае угрозы жизни либо на склоне лет [На путях... 1989: 269]. Таинство крещения у южноприкамских австрийцев и единоверцев совершал не мирянин, как это было заведено у поморцев-беспоповцев Северного Прикамья (крестила повивальная бабка) [Запольских 2021: 221] или часовенных Среднего Прикамья (крестил наставник общины) [Запольских 2023: 148], а лицо в духовном сане – священноиерей Белокрыницкой иерархии или священник Православной церкви. Крестили детей, как правило, со 2-го дня от рождения и по 8-й день. При этом максимальное число крещений зафиксировано на 3-й день по рождении у единоверцев Верх-Буевской (22 %) и Шагиртской ЕЦ (20 %) и на 4-й день по рождении у австрийцев Земплагашской СО (14 %). Такое раннее крещение было в обычае и у православных Пермской губернии того времени, которые крестили новорожденных «после трех бань» [На путях... 1989: 269]. Стремление крестить ребенка почти сразу было продиктовано народными представлениями об охранительной силе крещения, которое отводит «порчу» и «сглаз» [там же: 271], и опасениями, что ребенок может умереть некрещеным, поскольку младенческая смертность была высокой.

Вместе с тем у австрийцев выделяется и другой обычай – крещение на 8-й день по рождении (13 %). Это связано с библейской историей об Обрезании Господнем, которое было совершено на 8-й день по рождении с наречением именем. Иоанн Дамаскин напрямую называл ветхозаветную традицию обрезания «образом» новозаветного крещения (Иоанн Дамаскин: 331). И здесь мы сталкиваемся с принципом 8-го дня как краеугольного камня календарной закономерности и в крещении, и в выборе имени. Этим принципом, как считают многие исследователи, традиционно руководствовались на Руси [Горюшкина 2017: 50–51]. Его древность засвидетельствована в послании (1419 г.) митрополита Киевского и всея Руси Фотия: «нарчеть имя рождшемуся младенцу въ 8 день, приѣмля имя; и потомъ, егда изволят родителя его, и крестятъ того» (РИБ: 416). Тот же обычай упоминает житие (конец XI в.) преподобного Феодосия Печерского: «въ осмый днь <...> якоже обычай есть крѣстяномъ, да имя дѣтищу нарекутъ» (ПлДР: 306). Требники, изданные в период после раскола (РГБ, МК Кир. 8, № 50-15659691, 50-15633181, 50-15230753, 50-8400390, 50-6051832, 50-6050742) и накануне раскола (там же, МК Кир. 8, № 50-7492612, МК Кир. 2, № 50-7491590), содержат молитву «о наречении именем в 8-й день по рождении»,

а также примечание о том, что при слабости или болезни новорожденного не подобает ждать 6-го или 8-го дня для крещения, а крестить сразу. Такая рекомендация наводит на мысль о том, что многие именно ждали, чтобы совместить имянаречение с крещением. Таким образом, можно заключить, что обычай нарекать именем на 8-й день сложился на Руси еще до раскола, зачастую совмещался с крещением, которое могли совершать и в другой день по выбору родителей, поскольку строгих предписаний на то не имелось.

Требники 1623 и 1651 гг. (РГБ, МК Кир. 4, № 50-7487101, МК Кир. 2, № 50-6043104) указывают на то, как именно нарекать младенца – «во осмый днь стаго, или како прилучитса», то есть именем святого, почитаемого на 8-й день по рождении, или каким получится. Как видим, взаимосвязь 8-го дня наречения и именин 8-го дня в дораскольные времена уже сформировалась. Помимо Земплагашской СО, наречение по именинам 8-го дня по рождении с крещением в тот же день было выявлено у севернопермских староверов Голяшевской СО [Запольских 2021: 222], а также у поморцев Симбирско-Ульяновского Поволжья [Виноградов 2009: 122]. Наречение по именинам 8-го дня по рождении отмечено у староверов Алтая [Бломквист, Гринкова 1930: 30–31], у старообрядцев Пермского края в целом, а также у старообрядцев из Беларуси и Польши – при наречении мальчиков [Муратова 1994: 10–11; Иванец 1992: 263]. У единоверцев Южного Прикамья также преобладало наречение по именинам 8-го дня по рождении: у 30 % в Шагиртской и 18 % в Верх-Буевской ЕЦ. Однако наибольшая строгость в соблюдении этого принципа наблюдается в Земплагашской СО – 37 %. При этом более скрупулезно именины 8-го дня высчитывали при выборе имени мальчикам (66 % мальчиков), чем девочкам (15 % девочек). Важность именин 8-го дня для «поповцев» Осинского уезда подчеркивает архимандрит Палладий, говоря, что те «перекрещивают младенцев, крещенных правосл. священниками, дают им другое имя, если оно не соответствует осьмому дню по рождении младенца» (Палладий: 156).

Наречение по именинам дня рождения, что ряд исследователей также считает традиционным для средневековой Руси [Горюшкина 2017: 50–51], было характерно только для единоверцев Шагиртской ЕЦ, причем лишь в отношении девочек (8 % девочек). Эта традиция соблюдалась не очень последовательно, поскольку принцип 8-го дня был преобладающим (15 % девочек). Также только при наречении девочек на именины дня рождения смотрели часовенные Среднего Прикамья [Запольских 2023: 148] и старообряд-

цы Польши [Иванец 1992: 263]. Негендерной такая традиция была у старообрядцев латвийской Латгалии [Плотникова 2019: 54–55], а также у пермских заводских старообрядцев [Запольских 2020: 165] и у староверов Северного Прикамья, в особенности в Антипинской общине (85 %) [Запольских 2021: 222].

В традиции у австрийцев Земплягашской СО был также отсчет 7–8 дней назад по календарю при выборе имени (число дней до дня рождения + сам день рождения), о чем свидетельствуют пики наречений в эти дни – 5 % и 2 % соответственно. Такая традиция известна и у других старообрядцев, которые применяли ее в отношении наречения девочек: у алтайских [Бломквист, Гринкова 1930: 30–31], забайкальских [Ваганова 2015: 331]. Здесь же мы видим, что не только девочек, но и мальчиков называли в честь святого, чьи именины стояли в календаре до дня рождения с указанным отсчетом в 7–8 дней. К примеру, сын четы Байдаровых из одноименной деревни, рожденный 20 октября (по старому стилю – здесь и далее), был крещен 27 октября, а назван в честь священномученика *Вениамина Персидского*, чьи именины приходятся на 13 октября. Еще пример: Кожевниковы из дер. Верх-Бардабашка назвали сына по именинам мученика *Порфирия Эфесского*, которые празднуются 15 сентября, хотя рожден он был уже 21 сентября, крещен – 22 сентября. Девочка из семьи Чалиных родом из с. Земплягаш родилась 10 мая и была названа по именинам мученицы *Мавры Фиваидской* – 3 мая. При этом дата «3 мая» записана в графу о дате ее крещения, что является письменным свидетельством практики отсчета 7–8 дней назад при выборе имени, поскольку крещение младенца раньше его появления на свет, как мы понимаем, не практиковалось. Примечательно, что у единоверцев Южного Прикамья такая традиция не выделяется.

О существовании на Руси средних веков практики отсчета 8 дней назад по календарю при выборе имени пишут некоторые историки, в том числе и в отношении наречения мальчиков [Горюшкина 2017: 45–46]. Причина появления отсчета назад, по всей видимости, кроется в «ограниченности» старого календаря: не каждая дата выпадала на празднование памяти святого, встречались и «пустые даты». Древнейшие восточные календари VII–IX вв., послужившие источником для календарей славянских, «содержат памяти известнейших святых не на все дни года» (ПМВ I: 14). Отдельные месяцесловы древнейших памятников русской письменности включали примерно от 100 до 300 агнионимов (имен святых). К примеру, месяцеслов Архангельского евангелия (XI в.) насчитывает 127 имен, Остро-

мирова евангелия (XI в.) – 231, Мстиславова евангелия (до 1117 г.) – 308 [Вуйтович 2001: 92]. Практически неизменным состав святых русского календаря оставался вплоть до конца XIV в., когда в результате второго южнославянского влияния и перехода на другой церковный Устав новая богослужебная литература пополнила месяцесловы новыми агнионимами и памятьми святых [Лосева 2001: 62, 121]. Календарь расширялся и дальше, особенно в первой половине XVI в. благодаря стараниям митрополита Макария, издавшего Великие Четьи-Минеи, – сводный месяцеслов по минеям, житиям святых, прологам и т. д. (ПМВ I: 264–265). И все же минеи вплоть до самого раскола в XVII в. содержали еще около 47 «пустых дат» (там же: 274). Поэтому календарный принцип 8-го дня с отсчетом назад при зияющем «пробелах» дораскольном месяцеслове можно сравнить с зеркалом в тесной комнате, за счет которого создается эффект расширения пространства: 8-й день после рождения отзеркаливается значением 8-го дня до рождения, предоставляя более широкий маневр для выбора.

Предпосылкой применения счета назад по календарю при выборе агнионима могла стать известная на Руси древнеримская система счета от календ. Иногда особо важные события записывались нарочито усложненно: как на общераспространенный манер – счет дней с нарастающим порядком, так и на малораспространенный – счет назад по календам (см.: [Щапов 1978]). Встречаются и дни памяти святых, указанные счетом назад по календам в житийной литературе [там же: 341]. Таким образом, система древнеримского обратного счета, известная на Руси, могла послужить идеей для появления счета назад по календарю при выборе агнионима в отсутствие именин в «пустые даты».

То, что единоверцы Юга Прикамья не применяли отсчета 7–8 дней назад по календарю при выборе имени, соотносится с тем, что священники ЕЦ пользовались не только старообрядческим календарем при имянаречении, как о том был уговор со староверами, но и календарем «никонианским». Состав святых «никонианского» месяцеслова был существенно расширен, когда святитель Димитрий Ростовский издал Четьи-Минеи («Книгу житий святых», 1689–1705 гг.), которые заполняли последние «пустые даты» (ПМВ I: 274–275). Поэтому священники ЕЦ, выбирая имя по «никонианскому» календарю, не нуждались в отзеркаливании 8-го дня. Старообрядческий же священник не брал в руки «никонианский» календарь, испорченный ересями, каким его считают староверы. Старообрядческие святцы на 1910–1911 гг. (СМК), по нашим подсчетам, содержат 881 агнионим, на 1915 г. (СК) –

911, в то время как в святцах «никонианских» даже более раннего времени их число переваливает за тысячу: на 1807 г. (ПМ) – 1031, на 1845 г. (ПХМ) – 1046. Это наглядно демонстрирует расширение «никонианского» календаря.

Еще до раскола на Руси распространилась мысль о том, что греческие новопечатные книги искажены, поскольку после падения Константинополя (1453 г.) его патриархия оказалась под владычеством мусульман, утратила свое влияние на Православном Востоке, и греки отступили от старины в обрядах, поддавшись нововведениям – латинским ересям [Каптерев 1913: 152–156]. И хотя Собор 1654 г. предписал править богослужебную литературу по древним рукописным книгам – славянским и греческим, справщики Никона широко использовали новогреческие источники [Варакин 1910: 8–9]. Четьи-Минеи Дмитрия Ростовского также были составлены с активным привлечением западных источников (ПМВ I: 272). Так «никонианский» календарь, положивший их в свою основу, оказался, по убеждению старообрядцев, зараженным ересями, поскольку в нем появились «латинствующие памяти» и новые святые, не упоминавшиеся в прежних календарях. Макарьевские же Четьи-Минеи, изданные до раскола, воспринимаются старообрядцами как святыня, о чем в начале XX в. писал старообрядческий епископ Нижегородский и Костромской Иннокентий, будущий Митрополит Белокриницкий [Брачев 2016: 374].

На использование священниками ЕЦ «никонианского» календаря указывают случаи наречения в честь постраскольных святых (появившихся в русском календаре после раскола), встретившиеся у единоверцев Верх-Будевской ЕЦ. По именинам 10 мая святой *Таисии Египетской* у них названы 3 девочки. Эта святая отсутствует в древнерусских месяцесловах XI–XIV вв. [Лосева 2001], в минеях XI–XV вв. (РНБ. Ф. 351, Кир.-Бел. 295/552, ф. 550, Ф. п. I. 60. Ф. 728, Соф. 202, 203, 205, РГАДА. Ф. 381. Оп. 1. Д. 112, 113, 115), в прологах XIV–XV вв. (РГАДА. Ф. 381. Оп. 1. Д. 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 179) и в Макарьевских Четьях-Минеех (ГИМ, Син. 994). Закономерно отсутствует она и в старообрядческих святцах (СМК, СК). Однако уже постраскольные Четьи-Минеи Дмитрия Ростовского предписывают помянуть ее 10 мая (КЖС). Другой случай: по именинам 24 декабря было совершено наречение в честь *Клавдии Римской*, известной из жития ее дочери – преподобномученицы *Евгении Римской*, поминаемой в эту дату. Но если Четьи-Минеи Дмитрия Ростовского называют мать святой Евгении по имени (КЖС), то Макарьевские Четьи-Минеи ограничиваются лишь упоминанием ее как матери без имени (ГИМ, Син.

989). Так же только имя ее дочери указано в прологах XIV–XV вв. (РГАДА. Ф. 381. Оп. 1. Д. 154, 155, 157, 160, 161, 162, 163, 166), в минеях XII–XVI вв. (РГАДА. Ф. 381. Оп. 1. Д. 95, 97, 130; РНБ. Ф. 717, Сол. 519/538, 524/543; Ф. 728, Соф. 193) и в древнерусских месяцесловах XI–XIV вв. [там же]. Нет ее памяти и в старообрядческих святцах (СМК, СК). Таким образом, можно полагать, что наречение в честь Клавдии Римской вошло в традицию уже после раскола, когда 24 декабря вместе с Евгенией Римской стали помянуть по имени и ее мать Клавдию.

Формы имен также проливают свет на то, каким календарем пользовались священники. Те имена, которые соответствуют каноническим формам имен «никонианского» календаря и отличаются от форм календаря старообрядческого (ср.: ПМВ II, СМК), зафиксированы в 6 % случаев у единоверцев Верх-Будевской ЕЦ и в 5 % случаев у единоверцев Шагиртской ЕЦ. У старообрядцев Землягашской СО этот показатель составляет 1 %, что объясняется незначительным влиянием православного населения, проживавшего по соседству. Тот же 1 % православных календарных форм имен обнаружен у общинных староверов Среднего Прикамья [Запольских 2023: 148], а у общинных староверов Северного Прикамья они и вовсе отсутствуют [Запольских 2021: 223]. Примечательно, что к показателям в 5 и 6 % у единоверцев Юга Прикамья близка доля православных календарных форм имен у присоединенных из раскола староверов севера Прикамья – 7 % [там же]. Присоединяя старообрядца, православный священник записывал его имя как ему привычно – «по-никониански», чем, по всей видимости, руководствовался и священник ЕЦ.

Так, например, удвоение согласных, нехарактерное для славянских языков в древности и потому утраченное в старинных формах имен, вновь обнаруживает себя в агнионимах обновленного «никонианского» календаря. Его мы находим и у единоверцев: имя *Савва* соответствует форме *Савва* в «никонианском» календаре (ПМВ II), поскольку в старообрядческом – *Сава* (СМК). Аналогичная история с именами *Трифиллий*, *Архиппъ*, *Аполлинарий* (ср.: ПМВ II, СМК, СК). Имена *Кодратъ* и *Адрианъ* в именнике единоверцев являются «восстановленными» вариантами греческих имен *Κόδρατος* и *Αδριανός* (SJS), которые утвердил постраскольный месяцеслов (ПМВ II), отказавшись от старых форм с эпентетической согласной «н» – *Андріанъ* и *Кондратъ*. Зато эти старые формы остались в старообрядческих святцах (СМК) и у австрийцев Землягашской СО: *Кондратъ* и *Андріанъ-Андреянъ*. Напротив, «невосстановленный» вариант *Θαλαлей* в метриках единоверцев, появившийся через

ассимиляцию гласных, соответствует форме имени из «никонианского» календаря (ПМВ II), в то время как старообрядческая календарная форма *Фалелей* (СМК) ближе к исходному греческому *Θαλλελαῖος* (SJS).

Еще одним указанием на использование священниками ЕЦ «никонианского» календаря является низкий уровень вариативности антропонимии и малая доля народных форм имен. К примеру, доля народных форм имен в старообрядческих общинах Пермской губернии XIX – начала XX в. составляет 40 % в Богородской, 21 % в Васильевской, 48 % в Мало-Загарской, 25 % в Стряпунинской [Запольских 2023: 148], 30 % в Антипинской и 83 % в Голяшевской [Запольских 2021: 223]. Метрики Землягашской СО также показали значительную долю народных форм имен – 33 %, чего нельзя сказать о метриках из ЕЦ: 8 % – в Верх-Будевской и 7 % – в Шагиртской. Метрики местных православных церквей того времени также содержат меньшее, чем у староверов, число народных вариантов имен. Не исключаем здесь и роль писца, который по своему усмотрению мог выбирать форму имени для записи. Однако зачастую более единообразная запись в метриках обусловлена унифицированным «никонианским» календарем, в котором имена стараниями справщиков Никона были приведены к единому канону, что лишило множество старинных народных форм имен официального статуса. Старообрядцы же часто прибегали не только к современным им старообрядческим святцам, но и к дораскольным месяцесловам, допускавшим вариативную запись агнионимов [Запольских 2023: 151]. И если вариативная запись имен крещаемых младенцев еще активно практиковалась православными писцами несколько веков спустя книжной справы, то у исследуемых старообрядцев эта тенденция сохраняется и в первой трети XX в. Е. Н. Полякова, работавшая с обширной выборкой местной антропонимии, пишет о преобладании народных форм имен в официальных документах XVI–XVIII вв. [Полякова 2010: 138]. В метриках же православных церквей Пермской губернии за XIX–XX вв. наблюдается уже ровно противоположное. Поэтому высокая доля народных форм имен может выступать маркером старообрядческой антропонимии XIX–XX вв., чего в метриках Верх-Будевской и Шагиртской ЕЦ не наблюдается. К примеру, имя *Иоанн*, которым мальчиков называли чаще всего, во всех случаях наречения у единоверцев записано исключительно как *Йоаннь*. Землягашские же метрики пишут известнейшее из русских имен палитрой побогаче: *Йоаннь / Иоанънь – Йоанъ / Иоан – Иванъ*. Фольклорная пара *Иван да Марья* (третье по популяр-

ности женское имя, по нашей статистике) стоят вместе только в именнике Землягашской СО: народная форма *Марья* встречается у них даже чаще, чем *Марія*, при этом единоверческие метрики ограничиваются лишь последней формой. Второе по популярности мужское имя в именнике стабильно выглядит как *Василій* у единоверцев и варьируется как *Василіи / Василий – Василей* у австрийцев.

В то время как священники ЕЦ нередко выбирали канонические «никонианские» формы имен, старообрядцы, не отложившие старые книги, избилующие народными формами имен, в бабушкин сундук, продолжали называть по ним – и называть вариативно, не стремясь заменить старые формы имен на новые. И даже в эпоху индустриализации в старообрядческой среде можно было шагнуть за границы своего времени и окунуться в колорит средневековья и древней Руси: у них встречается имя *Улита* (вместо *Їулитта* в (ПМВ II)) – как Улита Кучковна, княгиня XII в., связанная с легендой об основании Москвы; имя *Апраксия* (вместо *Евпраксія* в (ПМВ II)) – как Апракса Королевична, героиня средневековых русских былин; имя *Владимеръ*, записанное на старинный манер (вместо *Владиміръ* в (ПМВ II)), как оно встречается в летописях, повествующих о древнерусских князьях.

Народные варианты имен в Землягашской СО отражают исторические способы адаптации заимствованных христианских имен. Упрощение групп согласных: *Константинъ, Ксенефат, Евтолія, Елеферій* (вместо *Константинъ, Ксенофонтъ, Евстолия, Елевферій* в (СМК)); ассимиляция гласных: *Аграпина, Елесей, Елезавѣта, Ксенефат, Клементъ, Мелетина*; наращение и усечение финали: *Ераст-а, Карп-а, Марк-о, Силан-т-ей* и *Антонъ, Епифанъ, Зосимъ* (вместо *Антон-ій, Епифан-ій, Зосим-а* в (СМК)) и т. д. Некоторые преобразования говорят о диалектных особенностях. Севернорусская мена финали *-ий > -ей*: *Артемей, Афанасей, Василей, Григорей* и пр.; севернорусское оканье (а > о): *Афонасий, Пороковья*; южнорусское аканье (о > а): *Евдакія, Ирадион, Капеталина, Конанъ, Якав*. Не зря происхождение старообрядцев юга, как установлено, – смешанное.

Вместе с тем налет древности не мешал именнику Землягашской СО чутко реагировать на современные тенденции в русской антропонимии. 1920–1930-е гг. были отмечены бурным имятворчеством, заимствованием иностранных имен, введением в оборот имен из литературы и т. д. А. В. Суперанская сравнила этот процесс с «рекой, вышедшей из берегов» [Суперанская 2007: 66]. Но если общерусский именник захлестнули высокие волны, то до старообрядческого именника

дошла лишь легкая зыбь на воде. В записях земплярских метрик с конца 1920-х гг. чаще встречаются наречения в обход календарного метода: именины стоят далеко от 8-го дня по рождению. Родители записаны уже не как «крестьяне», а как «граждане», а вместо записи «совершено крещение» появляется светская формулировка – «совершен обряд». Всё это говорит о некотором послаблении в старообрядческой традиции наречения, поскольку секуляризация общества и дарование народу гражданских свобод повлияли на то, что выбор имени теперь мог быть и произвольным. При этом во многих случаях наречения в обход календарного метода это продиктовано модными тенденциями. Например, имя *Нина*, которое есть в месяцеслове, до конца 1920-х гг. не встречается в метриках, а с 1928 г. в Земплярской СО им называют трижды. В двух случаях именины выпадают на 5-й день по рождению, в одном – отстоят на месяц от дня рождения. Популярным это имя становится как раз в 1930-е гг. [Никонов 1974: 70]. Ранее не встречавшееся в метриках имя *Анатолий* выбирается дважды с 1928 г. В первом случае именины отстоят на 2 недели от дня рождения, а во втором – предшествуют ему за месяц. Бурный рост популярности этого имени в общерусском именнике того времени приводил к тому, что взрослые мужчины меняли на него свое имя в документах [там же]. Имя *Валентин*, популярность которого тогда набирала обороты, не встречается ранее 1928 г., когда его выбирают в Земплярской СО (именины стоят за 2 месяца до дня рождения). Также к влиянию моды можно отнести выбор таких распространенных советских имен, как *Геннадий*, *Викентий*, *Зоя*, *Лидия*. Не встречавшиеся в именнике ранее, теперь они прорываются в него в обход календарного метода. При этом выбираемые модные имена были исключительно православного происхождения, что говорит о том, что старообрядческий именник остался верен себе, не допустив в себя новых включений и сохранив свой «сад имен» в его первозданности, лишь позволив пересадить пару-тройку кустов из тени на свет. Выражаясь образно, ни заграничные *Роза* или *Лилия* (западноевропейские заимствования, омонимичные названию цветка), ни советский *Аир* (неологизм по инициалам революционера А. И. Рыкова, омонимичный названию растения) не потеснили произрастающих в этом «саду» веками *Фрола*, *Акинфа*, *Лавра*, *Хрисанфа* и пр. (христианские имена с растительно-цветочными значениями). В этом читается как устойчивость старообрядческих традиций именования, так и их гибкость, обусловленная веяниями нового времени, что говорит об их жизнеспособности.

Результаты

Подводя итог, отметим, что традиции именования у старообрядцев и единоверцев Южного Прикамья второй половины XIX – первой трети XX в. во многом схожи. К сходству относится раннее крещение на 3/4-й день с наречением именем, которое совершалось лицом в духовном сане. Вместе с тем у старообрядцев Земплярской общины практиковалось именование с крещением на 8-й день по рождению. Выбор имени у старообрядцев и единоверцев осуществлялся по имени святого, почитаемого на 8-й день по рождению. Также в Земплярской общине могли назвать в честь святого, чьи именины стояли за 7–8 дней до дня рождения, что является частью русской традиции именования еще с дораскольных времен.

Анализ антропонимии выявил, что единоверческие священники при именовании пользовались в том числе календарем «никонианским», на что указывают наречения в честь постраскольных святых, выбор канонических форм имен «никонианского» календаря, а также малая доля народных форм имен, поскольку для старообрядцев того времени характерна вариативная запись имен в метриках. В Земплярской общине доля старинных народных форм имен оказалась значительно выше, что мотивируется значимой для старообрядчества идеей связи времен. Среди наречений в советский период выявлены случаи, когда имя давалось в обход календарного метода, что зачастую было обусловлено модой на имена. Вместе с тем установлено, что земплярский старообрядческий именник советского периода не допустил в себя инородных включений: модные имена были традиционным агионимами из святцев, популярность которых лишь возросла в советское время.

Таким образом, можно заключить, что именование у южноприкамских старообрядцев, продолжающее традиции дораскольной Руси, претерпело разные воздействия за рассматриваемый период. Во второй половине XIX в. антропонимия единоверцев испытала влияние «никонианского» календаря, а в советский период календарный принцип выбора имени в Земплярской общине потеснила мотивировка наречения модным именем. В общем контексте пермских старообрядческих традиций именования южноприкамских старообрядцев отличает наречение по именинам 8-го дня по рождению с его зеркальной проекцией (отсчет назад по календарю).

Список источников

ГАПК – Государственный архив Пермского края.

ГИМ – Государственный исторический музей (Москва).

КЖС – Димитрий Ростовский. Книга житий святых: в 4 т. Киев: Тип. Киево-Печер. Лавры, 1764.

Иоанн Дамаскин. Источник знания / Творения преподобного Иоанна Дамаскина / пер. и коммент. Д. Е. Афиногенова [и др.]. М: Индрик, 2002. 414 с.

Краснова Г. М. К истокам чердынских и вишерских фамилий. Красновишерск, 2002. 594 с.

Палладий (Пьянков), еп. Обзорение Пермского раскола, так называемого «старообрядства». СПб.: Странник, 1863. 272 с.

ПЛДР – Житие Феодосия Печерского / подг. текста, пер. и прим. О. В. Творогова // Памятники литературы Древней Руси. XI – нач. XII в., 1978. С. 304–391.

ПМ – Полный месяцеслов всех празднуемых православною грековосточною церковию святых. СПб: Тип. Импер. АН, 1807. 140 с.

ПМВ – Спасский И. А. Полный месяцеслов Востока: в 2 т. М.: Тип. Совр. Изв., 1876, Владимир: Типо-Литограф. В. А. Паркова, 1901.

ПХМ – Полный христианский месяцеслов. Киев: Тип. Киево-Печер. Лавры, 1845. 504 с.

РГАДА – Российский государственный архив древних актов (Москва).

РГБ – Российская государственная библиотека (Москва).

РИБ – Русская историческая библиотека, издаваемая Археографической комиссией. Том 6. СПб.: Тип. Импер. АН, 1880.

РНБ – Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург).

СК – Старообрядческий календарь на 7423–7424 лето. М.: Изд-во Моск. Старообр. Братства Честного и Животворящего Креста Господня, 1915.

СМК – Старообрядческий месяцеслов-календарь. Уральск: Изд-во Уральской Старообр. Тип., 1910.

Шумилов Е. Н. Тимошка Пермитин из деревни Пермьяки. Пермь: Перм. кн. изд-во, 1991. 271 с.

SJS – Slovník jazyka staroslověnského. D. 1–4. Lexicon linguae palaeoslovenicae / hl. red. J. Kurz (sv. 1–2), Z. Hauptová (sv. 3–4). Praha: Nakl. Československé Akademie Věd, 1958–1997.

Список литературы

Бломквист Е. М., Гринкова Н. П. Кто такие бухтарминские старообрядцы // Бухтарминские старообрядцы: материалы комиссии экспедиц. исследований. СПб.: Изд-во Акад. наук СССР, 1930. Вып. 17. С. 1–48.

Боровик Ю. В. Личные имена новорожденных в екатеринбургских старообрядческих общинах

начала XX в. // Вопросы ономастики. 2019. Т. 16, № 3. С. 30–47.

Брачев В. С. Великие Минеи Четии, собранные митрополитом Макарием. К истории публикации (1868–1917) // Палеороссия. Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях. 2016. Вып. 5. С. 367–376.

Быковский И. К. История старообрядчества всех согласий. Единоверие, начало Раскола и Сектантства. М.: Тип. Филатова, 1906. 137 с.

Ваганова Е. В. Нематериальное наследие региона: церковно-обрядовые традиции старообрядцев Западного Забайкалья // Старообрядчество: история и современность, местные традиции, русские и зарубежные связи: материалы VI Междунар. науч.-практ. конф. (Улан-Удэ, 07.08.2015–08.08.2015). Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 2015. С. 329–337.

Варакин Д. С. Исправление книг в XVII столетии. При бывшем патриархе Никоне. М.: Типолит. И. Ф. Смирнова, 1910. 43 с.

Виноградов А. А. Старообрядцы Симбирско-Ульяновского Поволжья середины XIX – первой трети XX века: монография. Ульяновск: УВАУ ГА(И), 2009. 186 с.

Вуйтович М. Из истории параллельных христианских личных собственных имён в русском языке // Studia Rossica Posnaniensia. 2001. Вып. 29. С. 91–97.

Горюшкина Л. П. Историографические заметки к календарной стороне вопроса о крещении и имянаречении в средневековой Руси // Вестник ПСТГУ. Сер. 2: История. История Русской Православной Церкви. 2017. № 77. С. 41–56.

Запольских Е. В. Вариативность именника пермских старообрядцев Среднего Прикамья начала XX в. // Вопросы ономастики. 2023. Т. 20, № 3. С. 144–163. doi 10.15826/vopr_onom.2023.20.3.035

Запольских Е. В. Севернопермская традиция имянаречения у старообрядцев Пермского края XIX – нач. XX вв. // Старообрядчество: история и современность, местные традиции, русские и зарубежные связи: материалы VII Междунар. науч.-практ. конф. / науч. ред. А. П. Майоров; отв. ред. С. В. Бураева (Улан-Удэ, 17–18 ноября 2021 г.). Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 2021. С. 218–229.

Запольских Е. В. Старообрядческие имена жителей заводских поселений Пермской губернии XIX – нач. XX вв.: Традиция имянаречения // Филология в XXI веке. 2020. № 2(6). С. 161–166.

Иванец Э. Обряд крещения у старообрядцев в Польше // Традиционная духовная и материальная культура русских старообрядческих поселений в странах Европы, Азии и Америки. Новосибирск, 1992. С. 262–269.

Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и его противники в деле исправления церковных обрядов.

Время патриаршества Иосифа. 2-е изд. Сергиев Посад: Изд. М. С. Елова, 1913. 271 с.

Кузнецова Я. Л. Исетские старообрядческие имена в современном языковом сознании: структура, семантика, прагматика (на материале Первой всероссийской переписи 1897 г.): автореф. дис. ... канд. филол. наук. Саратов, 2006. 18 с.

Лосева О. В. Русские месяцесловы XI–XIV веков / под ред. акад. Л. В. Милова. М.: Памятники исторической мысли, 2001. 420 с.

Муратова Е. Ю. Именник старообрядческой общины на территории Миорского района Витебской области: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Минск, 1994. 21 с.

На путях из Земли Пермской в Сибирь: очерки этнографии северноуральского крестьянства XVII–XX вв. / отв. ред. В. А. Александров. М.: Наука, 1989. 352 с.

Назаров А. И. Именник старообрядцев-поповцев земли Уральского казачьего войска // Вопросы ономастики. 2009. № 7. С. 81–99.

Никонов В. А. Имя и общество. М.: Глав. ред. вост. лит. изд-ва «Наука», 1974. 278 с.

Плотникова А. А. Заметки о региональной антропонимии староверов Латгалии // Вопросы ономастики. 2019. Т. 16, № 3. С. 48–60. doi 10.15826/vopr_onom.2019.16.3.030.

Полякова Е. Н. История имен жителей Пермского края в XVI–XVIII веках: монография. Пермь: ПГУ, 2010. 280 с.

Суперанская А. В. Имя через века и страны / отв. ред. Э. М. Мурзаев. 2-е изд., испр. М.: Изд-во ЛКИ, 2007. 192 с.

Черных А. В. Традиционный календарь народов Прикамья в конце XIX – начале XX в. (по материалам южных районов Пермской области). Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2002. 260 с.

Щанов Я. Н. Древнеримский календарь на Руси // Восточная Европа в древности и средневековье: сб. ст. / отв. ред. Л. В. Черепнин. М.: Наука, 1978. С. 336–345.

References

Blomkvist E. M., Grinkova N. P. Kto takie bukhhtarminskie starobryadtsy [Who the Bukhtarma Old Believers are]. *Bukhtarminskie starobryadtsy* [The Bukhtarma Old Believers]: The Expeditionary Research Commission Materials. St. Petersburg, Academy of Sciences of the Soviet Union Publ., 1930, issue 17, pp. 1–48. (In Russ.)

Borovik Yu. V. Lichnye imena novorozhdennykh v ekaterinburgskikh starobryadcheskikh obshchinakh nachala XX v. [Personal names of newborns in the Old Believer communities of Ekaterinburg in the early 20th century]. *Voprosy onomastiki* [Problems of Onomastics], 2019, vol. 16, issue 3, pp. 30–47. (In Russ.)

Brachev V. S. Velikie Minei Chetii, sobrannye mitropolitom Makariem. K istorii publikatsii (1868–1917) [Great Miney Chety, collected by Metropolitan Macarius. About History of Publication (1868–1917)]. *Paleorosia. Drevnyaya Rus' vo vremeni, v lichnostyakh, v ideyakh* [Paleorosia. Ancient Rus: in Time, in Personalities, in Ideas], 2016, issue 5, pp. 367–376. (In Russ.)

Bykovskiy I. K. *Istoriya starobryadchestva vseh soglasiy. Edinoverie, nachalo Raskola i Sektantstva* [The History of the Old Believers of all Denominations. Edinoverie, the beginning of Schism and Sectarianism]. Moscow, Publishing House of Filatov, 1906. 137 p. (In Russ.)

Vaganova E. V. Nematerial'noe nasledie regiona: tserkovno-obryadovye traditsii starobryadtsev Zapadnogo Zabaykal'ya [Intangible heritage of the region: Church and ritual traditions of the Old Believers of Western Transbaikalia]. *Starobryadchestvo: istoriya i sovremennost', mestnye traditsii, russkie i zarubezhnye svyazi: Materialy VI Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii (07.08.2015 – 08.08.2015, Ulan-Ude)* [Old Believers: History and Modernity, Local Traditions, Russian and Foreign Relations: Proceedings of VI International Scientific and Practical Conference (August 7, 2015 – August 8, 2015, Ulan-Ude)]. Ulan-Ude, Buryat State University Press, 2015, pp. 329–337. (In Russ.)

Varakin D. S. *Ispravlenie knig v XVII stoletii. Pri byvshem patriarkhe Nikone* [The Correction of Books in the 17th Century. Under the Former Patriarch Nikon]. Moscow, Publishing House of I. F. Smirnov, 1910. 43 p. (In Russ.)

Vinogradov A. A. *Starobryadtsy Simbirsko-Ulyanovskogo Povolzh'ya serediny XIX – pervoy trety XX veka* [The Old Believers of the Simbirsk-Ulyanovsk Area of the Volga Region in the Mid-19th – First Third of the 20th Centuries]. Ulyanovsk, UCAI Publ., 2009. 186 p. (In Russ.)

Wójtowicz M. Iz istorii parallel'nykh khristianskikh lichnykh sobstvennykh imen v russkom yazyke [From the history of parallel Christian names in the Russian language]. *Studia Rossica Posnaniensia*, 2001, vol. 29, pp. 91–97. (In Russ.)

Goryushkina L. P. Istoriograficheskie zametki k kalendar'noy storone voprosa o kreshchenii i imyanarechenii v srednevekovoy Rusi [Historiographic Notes on the Calendar Aspect of Christening and Name-Giving in Medieval Rus']. *Vestnik PSTGU. Seriya 2: Istoriya. Istoriya Russkoy Pravoslavnoy Tserkvi* [St. Tikhon's University Review. Series II: History. Russian Church History], 2017, vol. 77, pp. 41–56. (In Russ.)

Zapol'skikh E. V. Starobryadcheskie imena zhi-teley zavodskikh poseleniy Permskoy gubernii XIX – nachala XX vv.: Traditsiya imyanarecheniya [Old Believers' names of the inhabitants of factory

settlements in Perm Governorate of the 19th – early 20th centuries: The tradition of naming]. *Filologiya v XXI veke* [Philology in the 21st Century], 2020, vol. 2(6), pp. 161–166. (In Russ.)

Zapol'skikh E. V. Severnopermskaya traditsiya imyanarecheniya u staroobyadtsev Permskogo kraia XIX – nachala XX vv. [Northern Perm name-giving tradition among the Old Believers of Perm Krai in the 19th – early 20th centuries]. *Staroobryadchestvo: istoriya i sovremennost', mestnye traditsii, russkie i zarubezhnye svyazi: materialy VII Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii (Ulan-Ude, 17–18 noyabrya 2021)* [Old Believers: History and Modernity, Local Traditions, Russian and Foreign Relations: Proceedings of VII International Scientific-Practical Conference (Ulan-Ude, November 17–18, 2021)]. Ed. by A. P. Mayorov, S. V. Buraev. Ulan-Ude, Buryat State University Press, 2021, pp. 218–229. (In Russ.)

Zapol'skikh E. V. Variativnost' imennika permskikh staroobryadtsev Srednego Prikam'ya nachala XX v. [Variability of Perm Old Believers' name system in the early 20th-century Middle Prikamye]. *Voprosy onomastiki* [Problems of Onomastics], 2023, vol. 20, issue 3, pp. 144–163. doi 10.15826/vopr_onom.2023.20.3.035. (In Russ.)

Ivanets E. Obryad kreshcheniya u staroobryadtsev v Pol'she [The ritual of christening among the Old Believers in Poland]. *Traditsionnaya dukhovnaya i material'naya kul'tura russkikh staroobryadcheskikh poseleniy v stranakh Evropy, Azii i Ameriki* [Traditional Spiritual and Material Culture of Russian Old Believers' Settlements in Europe, Asia and America]. Novosibirsk, 1992, pp. 262–269. (In Russ.)

Kapterev N. F. *Patriarkh Nikon i ego protivniki v dele ispravleniya tserkovnykh obryadov. Vremya patriarshestva Iosifa* [Patriarch Nikon and His Opponents in the Matter of Correcting Church Rites. The Time of Joseph's Patriarchate]. 2nd ed. Sergiyev Posad, Publishing House of M. S. Elov, 1913. 271 p. (In Russ.)

Kuznetsova Ya. L. *Isetskie staroobryadcheskie imena v sovremenном yazykovom soznanii: struktura, semantika, pragmatika (na materiale Pervoy vserossiyskoy perepisi 1897 g.)*. Avtoref. diss. kand. filol. nauk [Iset Old Believers' names in modern linguistics perspective: Structure, semantics, pragmatics (based on the materials of the first all-Russian census of 1897). Abstract of Cand. philol. sci. diss.]. Saratov, 2006. 18 p. (In Russ.)

Loseva O. V. *Russkie mesyatseslovy XI–XIV vekov* [Russian Menologia of the 11th–14th Centuries]. Ed.

by L. V. Milov. Moscow, Pamyatniki istoricheskoy mysli Publ., 2001. 420 p. (In Russ.)

Muratova E. Yu. *Imennik staroobryadcheskoy obshchiny na territorii Miorskogo rayona Vitebskoy oblasti*. Avtoref. diss. kand. filol. nauk [The Old Believer community name system of the Miorsky district of the Vitebsk region. Abstract of Cand. philol. sci. diss.]. Minsk, 1994. 21 p. (In Russ.)

Na putyakh iz Zemli Permskoy v Sibir': ocherki etnografii severnoural'skogo krest'yanstva XVII – XX vv. [On the Ways from the Perm Land to Siberia: Essays on the Ethnography of the North Ural Peasantry of the 17th – 20th Centuries]. Ed. by V. A. Aleksandrov. Moscow, Nauka Publ., 1989. 352 p. (In Russ.)

Nazarov A. I. Imennik staroobryadtsev-popovtsev zemli Ural'skogo kazach'ego voyska [Nominalia of the Popovtsy Old Believers on the Ural Kazak Army Territory]. *Voprosy onomastiki* [Problems of Onomastics], 2009, issue 7, pp. 81–99. (In Russ.)

Nikonov V. A. *Imya i obshchestvo* [Name and Society]. Moscow, 'Nauka' Publ., 1974. 278 p. (In Russ.)

Plotnikova A. A. Zametki o regional'noy antropimii staroverov Latgalii [Notes on the regional features of personal naming among the Old Believers of Latgale]. *Voprosy onomastiki* [Problems of Onomastics], 2019, vol. 16, issue 3, pp. 48–60. (In Russ.)

Polyakova E. N. *Istoriya imen zhitel'ey Permskogo kraia v XVI–XVIII vekakh* [History of Names of Perm Region Residents in the 16th–18th Centuries]: a monograph. Perm, Perm State University Press, 2010. 280 p. (In Russ.)

Superanskaya A. V. *Imya cherez veka i strany* [Name Through Centuries and Countries]. Ed. by E. M. Murzaev. 2nd rev. ed. Moscow, LKI Publ., 2007. 192 p. (In Russ.)

Chernykh A. V. *Traditsionnyy kalendar' narodov Prikam'ya v kontse XIX – nachale XX v. (po materialam yuzhnykh rayonov Permskoy oblasti)* [Traditional Calendar of the Kama Region Peoples at the End of the 19th – Beginning of the 20th Centuries (based on materials of the Southern Regions of Perm Oblast)]. Perm, Perm State University Press, 2002. 260 p. (In Russ.)

Shchapov Ya. N. *Drevnerimskiy kalendar' na Rusi* [Ancient Roman calendar in Russia]. *Vostochnaya Evropa v drevnosti i srednevekov'e* [Eastern Europe in Antiquity and the Middle Ages]: a collection of articles. Ed. by L. V. Cherepnin. Moscow, Nauka Publ., 1978, pp. 336–345. (In Russ.)

South Prikamye Name-Giving Tradition Among Perm Old Believers and Edinovertsy of the Second Half of the 19th – First Third of the 20th Centuries

Evgeniya V. Zapolskikh

Postgraduate Student at the Department of General Linguistics,
Russian and Komi-Permyak Languages and Methods of Teaching Languages
Perm State Humanitarian-Pedagogical University

24, Sibirskaya st., Perm, 614990, Russian Federation. zapolskikh.ev@mail.ru

SPIN-code: 7189-1816

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1926-559X>

Submitted 19 Jan 2024

Revised 25 Mar 2024

Accepted 17 Jul 2024

For citation

Zapolskikh E. V. Yuzhnoprikamskaya traditsiya imyanarecheniya u permskikh staroobryadtsev i edinovertsev vtoroy poloviny XIX – pervoy treti XX veka [South Prikamye Name-Giving Tradition Among Perm Old Believers and Edinovertsy of the Second Half of the 19th – First Third of the 20th Centuries]. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2024, vol. 16, issue 3, pp. 50–61. doi 10.17072/2073-6681-2024-3-50-61 (In Russ.)

Abstract. The paper studies the name-giving tradition among Perm Old Believers and Edinovertsy of the second half of the 19th – first third of the 20th centuries living in the upper reaches of the Bui River and its tributaries (modern Kuedinsky District in the south of Perm Krai). The research material included birth records in the metric books from the Old Believer's church in Zemplyagash village and from Edinoverie churches in the villages of Verkh-Bui and Sary Shagirt. The analysis was aimed at identifying similarities and differences in these traditions. It has been established that both groups are characterized by early baptism on the 3rd/4th day with the giving of a name (performed by a person in clergy) and by the choice of a name based on the menologium (the child was named after the saint revered on the 8th day after the child's birth). At the same time, the Old Believers of the Zemplyagash community practiced baptism with name-giving on the 8th day after birth, and they could give a name in honor of a saint whose name day was 7–8 days before the child's birthday, which was part of the Russian name-giving tradition since pre-schism times. The analysis of anthroponymy revealed that the Edinoverie priests also used the Nikonite calendar, as evidenced by the naming in honor of post-schism saints, by the choice of canonical forms of name from the Nikonite calendar, as well as by a small proportion of modified forms, since Old Believers of that time practiced variable recording of names in metric books. The proportion of modified name forms in the Zemplyagash community is much higher, and their origin is connected with the times 'before the schism', which is motivated by the idea of the connection of times, significant for the Old Believers. Cases of naming by popular names in the Soviet period without reference to the calendar show both the flexibility of the anthroponymic system and its stability, since all popular names were traditional agionyms from the menologium.

Key words: Old Believers; Edinovertsy; regional Russian anthroponymics of the South Prikamye; name-giving tradition; metric books; menologium; pre-schism calendar.

УДК 81'27:811.581
doi 10.17072/2073-6681-2024-3-62-73
<https://elibrary.ru/zfunbc>

EDN ZFUNBC



Ценностный аспект значения лексической единицы в языковом сознании китайских студентов (на примере лексемы «вежливость»)

Ли Юнно

аспирант, ассистент кафедры теоретического и прикладного языкознания
Пермский государственный национальный исследовательский университет
614068, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15. 844238106@qq.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7493-0572>
ResearcherID: GZA-9596-2022

Ерофеева Тамара Ивановна

д. филол. н., профессор кафедры теоретического и прикладного языкознания
Пермский государственный национальный исследовательский университет
614068, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15. genling.psu@gmail.com

SPIN-код: 7299-8815
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0316-4302>
ResearcherID: Q-3942-2017

*Статья поступила в редакцию 24.01.24
Одобрена после рецензирования 15.03.24
Принята к публикации 17.06.2024*

Информация для цитирования

Ли Юнно, Ерофеева Т. И. Ценностный аспект значения лексической единицы в языковом сознании китайских студентов (на примере лексемы «вежливость») // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2024. Т. 16, вып. 3. С. 62–73. doi 10.17072/2073-6681-2024-3-62-73

Аннотация. Среди различных аксиологических понятий «вежливость» считается одной из важных традиционных ценностей Китая и с древних времен было исследовано китайскими учеными. Цель исследования – раскрыть ценностные характеристики в значении лексемы ВЕЖЛИВОСТЬ на основе толкования, данного 32 китайскими информантами, а также определить влияние социальных страт на знание студентами этой морально-этической лексемы. Материалом исследования послужили 43 семантических компонента, полученные в ходе проведения лингвистического эксперимента. Выборка информантов сбалансирована по стратам «уровень образования», «специальность» и «гендер». В ходы работы использованы метод компонентного анализа и метод конструирования семантической структуры лексемы. На основании проведенного анализа автор приходит к выводу, что в языковом сознании китайских студентов вежливость – это уважительное отношение к людям, которое связано с культурой поведения и этикетом. В то же время анализ материала по социальным стратам показывает разницу понимания лексемы ВЕЖЛИВОСТЬ в групповом сознании информантов: и студенты бакалавриата, и магистранты отмечают такие черты вежливости, как *чуткость* и *воспитанность*, которые характеризуют и традиционную культуру; студенты бакалавриата не отмечают ценностные семантические компоненты *самоусовершенствование* и *добрые дела*, которые отмечены в ответах магистрантов. Для группы негуманитариев характерно более частотное использование семантических компонентов *уважительное отношение к людям*, *культура поведения*, *этикет*; группа гуманитариев

характеризуется высоким процентом семантических компонентов *поступки, благоприятные для другого, чуткость, самоусовершенствование*. Для женщин характерны *черта индивида и добрые дела*, выражающиеся во взаимном уважении людей, мужчины же оценивают вежливость через чуткость и воспитанность, в отличие от женщин, они не рассматривают вежливость как характерную особенность традиционной культуры.

Полученные результаты могут быть использованы в области семантики, лексикологии и стилистики китайского языка, а также в методических рекомендациях студентам, выполняющим исследование в области лексической семантики. Кроме того, проведенный анализ ценностного аспекта значения лексической единицы дает возможность глубже понять национальную культуру Китая.

Ключевые слова: языковое сознание; значение слова; семантическая структура значения лексемы; ценность; социальные страты.

Введение

Категория ценности с древних времен занимала значительное место в мире. В XIX в. ценность признавалась философским термином (термин введен Р. Лотце) и рассматривалась, с одной стороны, в логике, эстетике и особенно в этике, а с другой – в психологии, позднее – в философии [ФС 2003: 470].

В конце XIX в. в качестве самостоятельной философской дисциплины формируется аксиология, и всё большее количество философов обращают внимание на смысл и значение категории ценности. Например, О. Г. Дробницкий полагает, что «ценность есть объективное свойство предмета. Она заложена в его собственной природе и неотделима от него <...> под ценностью, или добром, принято понимать все, что является объектом желания, нужды, стремления, интереса и т. д.» [Дробницкий 1966: 295]. Китайский философ Ли Цзяньфэн считает, что «ценность – это функция или признак предмета после субъективации, то есть функция и признак предмета, вошедшие в объем человеческого познания и практики, способные удовлетворить общие потребности большинства людей» [Ли Цзяньфэн 1988: 163]. Сходную точку зрения выражает китайский ученый Ма Чжичжэн, который полагает, что «ценность относится к совпадению между свойствами и функциями объекта и потребностями субъекта или к положительной либо отрицательной связи между объектом и потребностями субъекта (то есть к отношениям удовлетворения)» [Ма Чжичжэн 1991: 232]. Отсюда видно, что в Китае, по мнению китайских ученых, ценность квалифицируется как категория отношения, представляющая отношения между субъектом и объектом, при котором свойства объекта удовлетворяют объективные потребности субъекта. Таким образом, «ценность или свойство ценности – это объективная связь между объектом и потребностями субъекта» [Ли Лянькэ 1985: 3].

В области лингвистики «ценность» также является важной категорией. Впервые о категории ценности заговорил Ф. де Соссюр в его теории знака, где ценность понимается как свойство,

которое существует наряду со значением, звуковыми чертами и т. д. [Соссюр 1977]. Как понятийная, категория ценности характеризуется «полевой» структурой, состоящей из ядра, предъядерной зоны и периферии [Щур 1974; Стернин 1979].

В лингвистике не существует единого понимания ценности, поэтому разные ученые определяют ценность в зависимости от целей и задач исследования. Например, С. Н. Виноградов рассматривает ценность как «идеальное образование, представляющее собой важность (значимость, значительность) предметов и явлений реальной действительности для общества и индивида и выраженное в различных проявлениях деятельности людей» [Виноградов 2007: 93].

Е. В. Бабаева считает, что ценности – это цели, которые направляют человека в его деятельности и определяют нормы его поведения [Бабаева 2004: 60], а в детальном определении А. Н. Усачевой ценности – это «исторически сложившиеся, обобщенные представления людей о типах своего поведения, возникшие в результате оценочно-деятельностного отношения к миру, образующие ценностную картину мира, закрепленную в сознании представителей отдельного этноса и зафиксированную в языке этого этноса» [Усачева 2002: 26]. Ценность проявляется через языковое действие людей посредством словесных моделей ценности, создаваемых носителем языка. В качестве примеров выраженности ценностей могут быть такие их названия, как *добро, свобода, справедливость, правда, красота* и т. д. «При этом они служат интегративной основой как для всего общества, социальной группы, так и для отдельно взятого индивида» [Ярина 2014: 160]. Таким образом, исследование ценности дает возможность раскрыть базовое представление людей об окружающем мире.

Человек с помощью языка выражает свое понимание мира. Причина в том, что язык является не только «социальной структурой, обусловленной социальным контекстом своего функционирования», но и «внутренней психической структурой, которая представляет собой составляю-

щую сознания, базу речевой способности индивида» [Доценко, Ерофеева Е. В., Ерофеева Т. И. 2010: 147].

Таким образом, важной в данном контексте выступает взаимосвязь между языком и сознанием. «Иметь сознание – владеть языком. Владеть языком – владеть значениями. Значение есть единица сознания» [Леонтьев 1988: 14]. Языковое сознание – это «вербально-оформленное отражение действительности <...> человека говорящего, человека общающегося, человека как социального существа, как личности» [Зимняя 2001: 159]. При этом, с точки зрения Е. Ф. Тарасова, языковое сознание – это «совокупность перцептивных, концептуальных и процедурных знаний носителя культуры об объектах реального мира» [Тарасов 2000: 4].

Слово как базовая составляющая единица языка играет важную роль. «Каждое слово наше доказывает факт коллективного сознания» [Трубецкой 1994: 497]. Оно «служит для наименования элементов действительности: предметов, процессов, свойств. Слова закрепляют в памяти и передают знания и опыт людей» [Матвеева 2010: 423].

С учетом того, что у слова несколько значений, которые формируются как результат отражения действительности сознанием человека [Стерин 1985], нам нужно опираться на факты языка и «представить эти значения в виде определенной иерархии» [Новиков 1982: 164], то есть

семантической структуры слова, формируемой с помощью метода компонентного анализа, в результате которого значение слова разбивается на мельчайшие компоненты – семы. Сема есть минимальная единица плана содержания, отражающая в языке различные стороны и свойства обозначаемых предметов и явлений действительности.

Данные теоретические положения выступают основанием для проведения лингвистического эксперимента.

Эксперимент

Материал и методика исследования

Материалом исследования являются семантические компоненты, полученные от 32 китайских информантов. Выборка информантов сбалансирована по трем стратам: уровень образования (студент бакалавриат/магистрант), специальность (гуманитарный профиль / негуманитарный профиль) и гендер (женщина/мужчина). Страта понимается как «конституирующий признак биологических, социальных и психологических свойств, характерных для определенной общности (группы)» [Ерофеева Т. И. 2009: 34]. Другими словами, страта – не только слой людей, но и признак, по которому проводится стратификация. Такая выборка дает возможность исследовать лексему ВЕЖЛИВОСТЬ в групповом сознании китайских студентов (рис. 1).



Рис. 1. Граф балансировки совокупности информантов для эксперимента

Fig. 1. A graph of balancing the sample of informants for the experiment

При заполнении анкеты информантов просили дать свое понимание значения лексемы ВЕЖЛИВОСТЬ, ответив на вопрос «您如何理解礼貌这个词? (Как Вы понимаете слово ВЕЖЛИВОСТЬ?)». В анкете требовалось указать уровень образования, специальность и гендер.

Основным методом исследования значения лексемы является метод, направленный на разложение значения на мельчайшие семантические компоненты.

Анализ структуры значения лексемы ВЕЖЛИВОСТЬ проводился с использованием семантического поля, состоящего из следующих областей: *ядро* – содержит устойчивые и инвариантные семантические компоненты, характеризующие основные свойства объекта; *предъядерная зона* – состоит из значимых актуальных значений с частыми семантическими компонентами; *периферия* – охватывает личностные смыслы, уточняющие или дополняющие значения лексе-

мы. Метод конструирования семантической структуры лексемы помогает распределить семантические компоненты по зонам и дает возможность определить собственно актуальные семантические компоненты в значении лексемы.

Анализ результатов

Анализ результатов исследования с учетом страты «уровень образования»

В ответах студентов бакалавриата выделено 7 семантических компонентов: 1) *уважительное отношение к другим людям*; 2) *культура поведения*;

3) *поступки, благоприятные для другого*; 4) *чуткость*; 5) *традиционная культура*; 6) *черта индивида*; 7) *воспитанность*. Семантические компоненты значения лексемы ВЕЖЛИВОСТЬ в группе студентов бакалавриата представлены в табл. 1.

Представим семантическую структуру значения лексемы, состоящую из ядра, предъядерной зоны и периферии. Количество семантических компонентов определено в процентах. Границы зон проводились по линии «слова» между точками процентных показателей групп (рис. 2).

Таблица 1 / Table 1

**Семантические компоненты значения лексемы ВЕЖЛИВОСТЬ
в группе студентов бакалавриата**
**Semantic components of the meaning of the lexeme VEZH LIVOST' (COURTESY)
in the group of Bachelor's students**

Семантический компонент	Информанты																Частота	
	И1	И2	И3	И4	И5	И6	И7	И8	И9	И10	И11	И12	И13	И14	И15	И16	Абс.	%
Уважительное отношение к другим людям	+	+				+	+	+			+					+	7	39,0
Культура поведения, этикет			+	+	+									+			4	22,2
Поступки, благоприятные для другого										+			+				2	11,1
Чуткость												+			+		2	11,1
Традиционная культура		+															1	5,5
Черта индивида							+										1	5,5
Воспитанность									+								1	5,5
Итого																	18	100

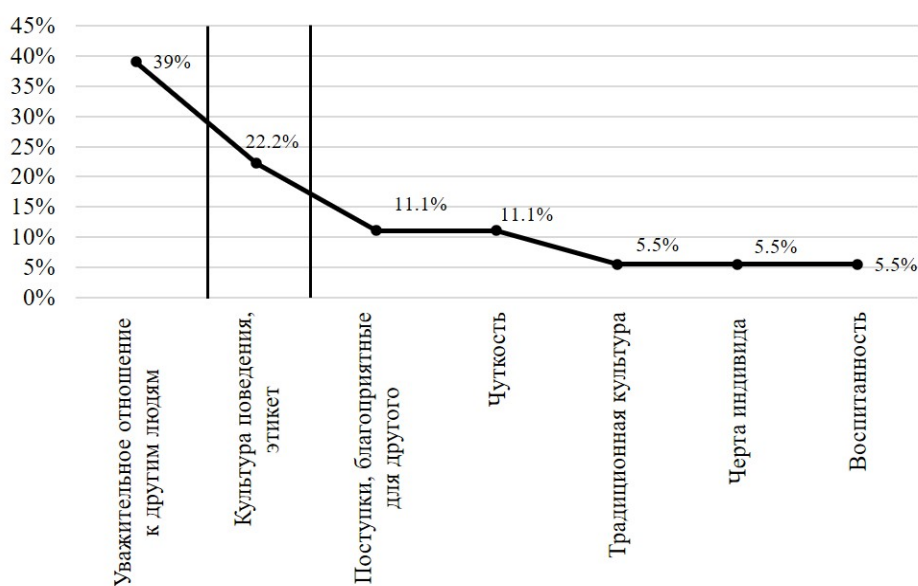


Рис. 2. Семантическая структура лексемы ВЕЖЛИВОСТЬ
в группе китайских студентов бакалавриата

Fig. 2. The semantic structure of the lexeme VEZH LIVOST' (COURTESY)
in the group of Chinese Bachelor's students

Как видим, ядро представлено только одним семантическим компонентом – *уважительное отношение к другим людям*, который при этом является и самым частотным. Предъядерная зона также включает один семантический компонент – *культура поведения, этикет*. Периферийную зону составляют пять семантических компонентов: *поступки, благоприятные для другого; чуткость; традиционная культура; черта индивиду и воспитанность*.

Таким образом, вежливость в языковом сознании китайских студентов бакалавриата понимается главным образом через *уважительное отношение к другим людям*. Однако студенты

бакалавриата понимают вежливость и как элемент культуры поведения, отражающийся в *поступках*, и как *чуткость*. Такое понимание лексемы соответствует традиционному, в котором особо ценится этикет и воспитанность.

В ответах магистрантов выделено уже 8 семантических компонентов: 1) *уважительное отношение к людям*; 2) *культура поведения, этикет*; 3) *поступки, благоприятные для другого*; 4) *чуткость*; 5) *традиционная культура*; 6) *добрые дела*; 7) *воспитанность*; 8) *самоусовершенствование*.

Опишем семантическую структуру рассматриваемой лексики в группе магистрантов (рис. 3).

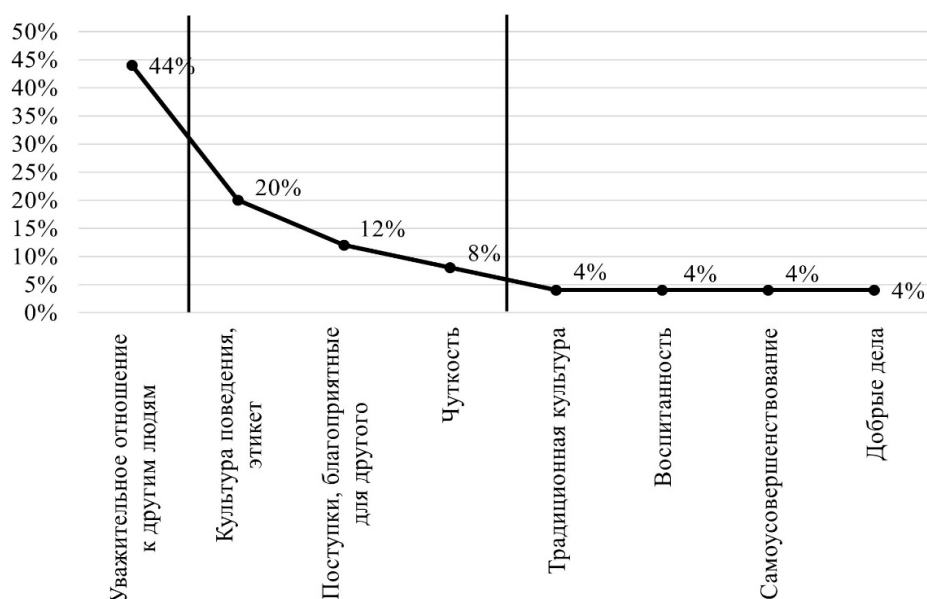


Рис. 3. Семантическая структура лексики ВЕЖЛИВОСТЬ в группе китайских магистрантов

Fig. 3. The semantic structure of the lexeme VEZHLIVOST' (COURTESY) in the group of Chinese Master's students

Ядерная зона представлена одним и самым частотным семантическим компонентом для группы магистрантов – *уважительное отношение к другим людям*. Предъядерная зона включает три семантических компонента: *культура поведения, этикет; поступки, благоприятные для другого; чуткость*. Периферийную зону составляют четыре компонента: *традиционная культура; воспитанность; самоусовершенствование; добрые дела*.

Таким образом, вежливость в языковом сознании китайских магистрантов определяется компонентом *уважительное отношение к другим людям*. Для них вежливость – это культура поведения, этикет, которые означают *чуткость, поступки, благоприятные для другого, добрые дела, воспитанность и самоусовершенствование*. Как видим, магистранты понимают вежли-

вость так, как это принято в традиционной культуре Китая. См., например, ответ информанта А8 (магистрант, гуманитарий, женщина): *Китай – страна церемоний. На самом деле, в нашей стране есть много определений вежливости, между молодыми и старыми, между ровесниками, между учителями и учениками и т. п. Я думаю, что этикет не только имеет форму выражения, но и что более важно, это своего рода уважение, которое усваивается в сердце...*

Анализ результатов исследования с учетом страты «специальность»

В ответах китайских информантов-гуманитариев, определяющих лексику ВЕЖЛИВОСТЬ, выявлено 7 семантических компонентов, составляющих семантическую структуру значения лексики (рис. 4).

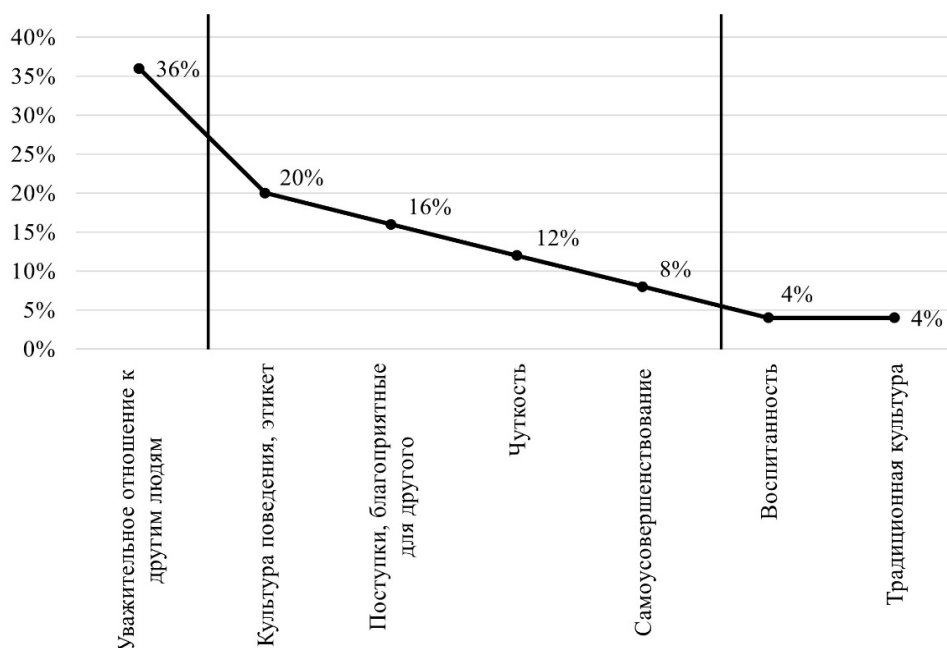


Рис. 4. Семантическая структура лексемы ВЕЖЛИВОСТЬ в группе китайских гуманитариев

Fig. 4. The semantic structure of the lexeme VEZHLIVOST' (COURTESY) in the group of Chinese humanities majors

В группе китайских гуманитариев ядро представлено одним семантическим компонентом – *уважительное отношение к другим людям*; 50 % ответов китайских информантов. Предъядерная зона включает 4 семантических компонента: *культура поведения, этикет*; *поступки, благоприятные для другого*; *чуткость*; *самоусовершенствование*. Периферийную зону составляют 2 семантических компонента: *воспитанность* и *традиционная культура*.

Следовательно, вежливость в языковом сознании китайских гуманитариев – это *уважи-*

тельное отношение к другим людям, а также *культура поведения, этикет*; *поступки, благоприятные для другого*. Китайские студенты-гуманитарии считают, что вежливость является одним из важных морально-этических элементов в традиционной культуре, где особо подчеркивается наличие чуткости, воспитанности, а также самоусовершенствования.

В ответах информантов-негуманитариев, определяющих значение лексемы ВЕЖЛИВОСТЬ, выявлено 7 семантических компонентов, составляющих структуру значения лексемы (рис. 5).

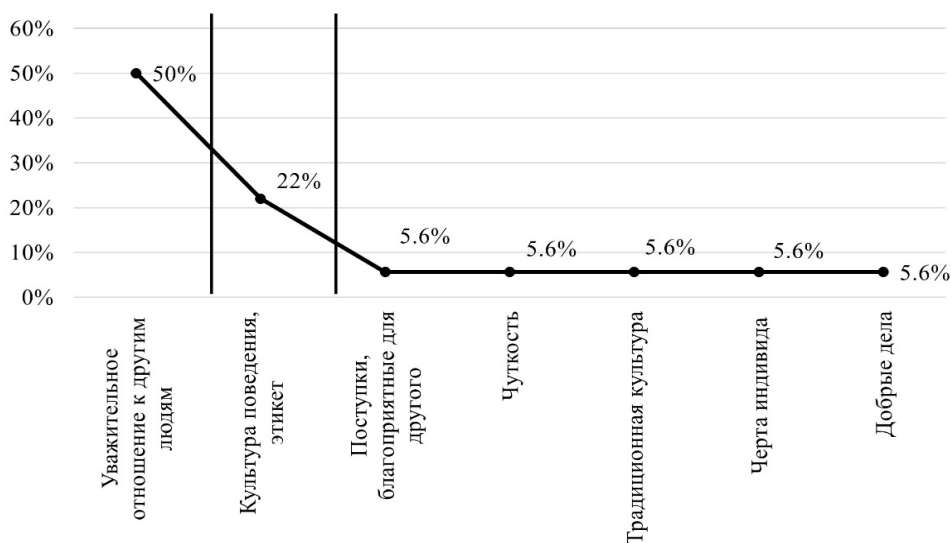


Рис. 5 Семантическая структура лексемы ВЕЖЛИВОСТЬ в группе китайских негуманитариев

Fig. 5. The semantic structure of the lexeme VEZHLIVOST' (COURTESY) in the group of Chinese non-humanities majors

Ядро представлено одним семантическим компонентом – *уважительное отношение к другим людям*, который является самым частотным компонентом – 50 % ответов в группе китайских негуманитариев. Предъядерная зона также состоит из одного семантического компонента – *культура поведения, этикет*. Периферийную зону составляют пять семантических компонентов: *поступки, благоприятные для другого*; *чуткость*; *традиционная культура*; *черта индивида*; *добрые дела*. Каждый из компонентов периферии занимает 5,6 % ответов негуманитариев.

Таким образом, вежливость в языковом сознании китайских студентов негуманитарного

профиля – это *уважительное отношение к другим людям*, что составляет важное качество в культуре поведения и включает этикет. Конкретным проявлением вежливости в процессе общения с людьми являются *благоприятные* поступки, чуткость, добрые дела. По мнению информантов этой группы, культурная традиция отмечена как черта, характерная для индивида.

Анализ результатов исследования с учетом страты «гендер»

В ответах информантов-женщин получили 8 семантических компонентов. Представим их семантическую структуру (рис. 6).

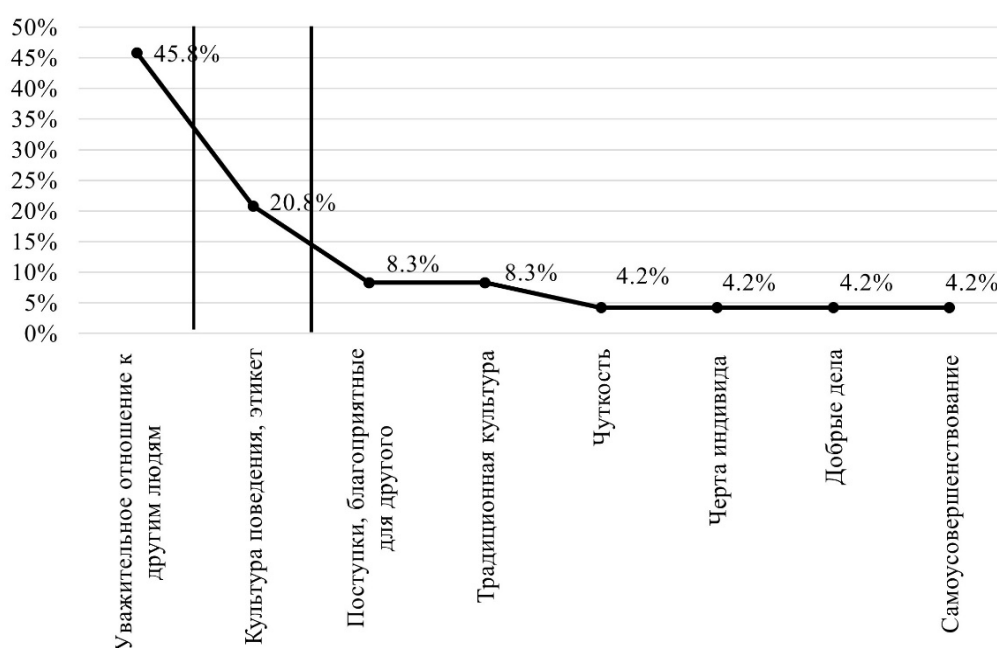


Рис. 6. Семантическая структура лексемы ВЕЖЛИВОСТЬ в группе китайских женщин

Fig. 6. The semantic structure of the lexeme VEZHLIVOST' (COURTESY) in the group of Chinese women

В группе китайских женщин выделяется ядро, состоящее из одного семантического компонента – *уважительное отношение к другим людям*, которое является самым частотным. Предъядерная зона включает три семантических компонента: *культура поведения, этикет*; *поступки, благоприятные для другого*; *традиционная культура*. Периферийная зона представлена следующими семантическими компонентами: *чуткость*; *черта индивида*; *добрые дела*; *самоусовершенствование*.

Следовательно, вежливость в языковом сознании китайских женщин понимается как *уважительное отношение к другим людям*, которое отмечается в культуре поведения и этикете, опреде-

ляется поступками, добрыми делами, чуткостью и самоусовершенствованием. Это характерно как для всех людей, так и для конкретного индивида.

В ответах информантов-мужчин получено 6 семантических компонентов. Представим их семантическую структуру (рис. 7).

Ядро содержит один семантический компонент – *уважительное отношение к другим людям*, которое является самым частотным компонентом. Предъядерная зона включает 3 семантических компонента: *культура поведения, этикет*; *чуткость*; *поступки, благоприятные для другого*. Периферийную зону составляют 2 семантических компонента: *воспитанность*; *самоусовершенствование*.

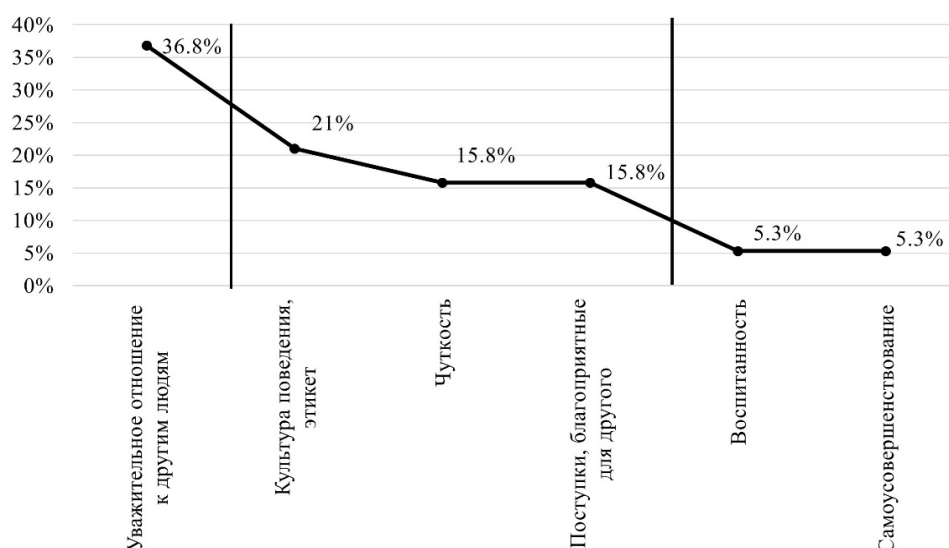


Рис. 7. Семантическая структура лексемы ВЕЖЛИВОСТЬ в группе китайских мужчин
Fig. 7. The semantic structure of the lexeme VEZHЛИВОСТЬ (COURTESY) in the group of Chinese men

Следовательно, вежливость в языковом сознании китайских мужчин – это *уважительное отношение к другим людям*. В этой группе информантов вежливость означает соблюдение этикета как характерное составляющее культуры поведения. Вежливость определяется такими качествами, как *чуткость*, *воспитанность*, и, конечно, отражена в *благоприятных поступках*.

Анализ семантических компонентов лексемы ВЕЖЛИВОСТЬ с учетом рассматриваемых страт

В собранном материале выделено девять ценностных семантических компонентов. Их анализ проведен с учетом стратификации информантов и представлен в табл. 2.

Таблица 2 / Table 2

Ценностные семантические компоненты лексемы ВЕЖЛИВОСТЬ с учетом страт Value semantic components of the lexeme VEZHЛИВОСТЬ (COURTESY) taking into account the strata

Семантические компоненты	Группы информантов											
	Уровень образования				Специальность				Гендер/пол			
	Бак.		Маг.		Гум.		Негум.		Жен.		Муж.	
	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%
Уважительное отношение к людям	7	39	11	44	9	36	9	50	11	45,8	7	36.8
Культура поведения, этикет	4	22,2	5	20	5	20	4	22	5	20,8	4	21
Поступки, благоприятные для другого	2	11,1	3	12	4	16	1	5,6	2	8,3	3	15.8
Чуткость	2	11,1	2	8	3	12	1	5,6	1	4,2	3	15.8
Традиционная культура	1	5,5	1	4	1	4	1	5,6	2	8,3		
Самоусовершенствование			1	4	2	8			1	4,2	1	5,3
Черта индивида	1	5,5					1	5,6	1	4,2		
Добрые дела			1	4			1	5,6	1	4,2		
Воспитанность	1	5,5	1	4	1	4					1	5,3

Охарактеризуем выделенные в экспериментах ценностные семантические компоненты.

1. *Уважительное отношение к людям*. Наибольшее количество этого компонента отмечено в группе негуманитариев – 50 % и в группе женщин – 45,8 %. Процентное количество – от 36 до 44 % – наблюдается в группах магистрантов, мужчин и гуманитариев.

2. Количество компонента *культура поведения, этикет* практически одинаково во всех

группах и колеблется от 20 до 22,2 %. Этот компонент был наиболее распространен среди групп студентов бакалавриата и негуманитариев – 22,2 %, минимальное количество отмечено в группах магистрантов и гуманитариев – 20 %.

3. Компонент *поступки, благоприятные для другого* самым распространенным зафиксирован в группе гуманитариев – 16 % и среди мужчин – 15,8 %. Процентное содержание этого компонента в группе женщин меньше, чем в группе муж-

чин – 8,3 % и 15,8 %. Кроме того, уровень образования и специальность определяется примерно одинаковым процентным употреблением этого ценностного компонента – 23,1 % и 21,5 %.

4. В группе мужчин ценностный семантический компонент *чуткость* имеет наибольшее процентное количество – 15,8 %, в группе гуманитариев – только 12 %, а в группе студентов бакалавриата – 11,1 %. Наименьшее процентное соотношение этого компонента в группе женщин – 4,2 %, в группе магистрантов – 5,5 %.

5. Семантический компонент *традиционная культура* отмечен в ответах всех рассматриваемых групп информантов, кроме группы мужчин. В группе женщин наблюдается наибольшее количество – 8,3 %, а в группах студентов бакалавриата и негуманитариев – 5,5 %; в группах магистрантов и гуманитариев – 4 %.

6. Компонент *самоусовершенствование* не отмечен в ответах группы студентов бакалавриата и студентов негуманитарного профиля. Этот ценностный компонент проявился в группе гуманитариев с 8 % и группе мужчин с 5,3 %.

7. Три семантических компонента *черта индивида*, *добрые дела*, *воспитанность* зафиксированы в некоторых группах. При этом их процентное содержание составляет от 4 до 5,5 %. *Черта индивида* отмечена в группах студентов бакалавриата, негуманитариев и женщин; *добрые дела* – в группах магистрантов, негуманитариев и женщин; *воспитанность* – в группах студентов бакалавриата, магистрантов, гуманитариев и мужчин.

Заключение

Анализируя результаты лингвистического эксперимента с носителями разных групп китайских студентов, можно сделать ряд выводов.

1. В языковом сознании китайских студентов вежливость – это почтительное отношение к людям; вежливость составляет важную черту культуры поведения и этикета. При этом вежливость проявляется в тактичности и чуткости, в добрых делах и самоусовершенствовании. Вежливость включается в понятие традиционной культуры и является важной чертой в поведении индивида (см. табл. 2).

2. При рассмотрении языкового материала было выявлено морально-этическое значение лексемы в разных группах информантов с учетом исследуемых страт, где в значении лексемы ВЕЖЛИВОСТЬ есть и общее (*почтительное отношение к людям; культура поведения, этикет*), и различное, отражающееся в степени влияния социальных страт у лексемы ВЕЖЛИВОСТЬ.

3. Учет страты «уровень образования» выявил следующее: чем выше уровень образования ин-

формантов, тем частотнее компонент *уважительное отношение к людям*. И студенты бакалавриата, и магистранты отмечают такие черты вежливости, как чуткость и воспитанность, которые характеризуют и традиционную культуру. Студенты бакалавриата не отмечают ценностные семантические компоненты *самоусовершенствование* и *добрые дела*, которые выявлены в ответах магистрантов.

4. Учет страты «специальность» позволил определить, что для группы негуманитариев характерно более частотное использование семантических компонентов *уважительное отношение к людям; культура поведения, этикет*. Тогда как группа гуманитариев характеризуется высоким процентом семантических компонентов *поступки, благоприятные для другого; чуткость; самоусовершенствование*.

5. Учет страты «гендер» выявил следующее: в группе женщин семантический компонент *уважительное отношение к людям* составляет больший процент, чем в группе мужчин (см. табл. 2). Кроме того, для женщин характерны *черта индивида и добрые дела*, выражающиеся во взаимном уважении людей; мужчины же оценивают вежливость через *чуткость и воспитанность*; в отличие от женщин, они не рассматривают вежливость как характерную особенность традиционной культуры.

6. Как показало исследование, в языковом сознании китайских студентов ценностный аспект значения лексемы ВЕЖЛИВОСТЬ отражается в морально-этических семантических компонентах, полученных в ответах информантов, совокупность которых была сбалансирована по стратам «уровень образования», «специальность» и «гендер».

Таким образом, с помощью психолингвистического метода мы определили понимание лексемы ВЕЖЛИВОСТЬ в языковом сознании китайских студентов, показали структуру семантического поля и установили влияние социальных страт на значение этой лексемы. Полученные результаты могут быть использованы в области семантики, лексикологии и стилистики китайского языка, а также в методических рекомендациях студентам, выполняющим исследование в области лексической семантики.

Список литературы

Бабаева Е. В. Лингвокультурологические характеристики русской и немецкой аксиологических картин мира: дис. ... д-ра филол. наук. Волгоград, 2004. 438 с.

Виноградов С. Н. К лингвистическому пониманию ценности // Русская словесность в контексте мировой культуры: материалы Междуна-

науч. конф. РОПРЯЛ. Н. Новгород: Изд-во Нижегород. ун-та, 2007. С. 93–97.

Доценко Т. И., Ерофеева Е. В., Ерофеева Т. И. Пермская школа социолингвистики: теоретические и методологические основания // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2010. Вып. 2(8). С. 144–155.

Дробницкий О. Г. Некоторые аспекты проблемы ценностей // Проблема ценности в философии / под ред. А. Г. Харчева. Л.: Наука, 1966. С. 25–40.

Ерофеева Т. И. Социолект: стратификационное исследование: монография / Перм. гос. ун-т. Пермь, 2009. 240 с.

Зимняя И. А. Лингвopsихология речевой деятельности. М.: Моск. психол. соц. ин-т; Воронеж: МОДЭК, 2001. 432 с.

Леонтьев А. Н. Материалы о сознании // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 1988. № 3. С. 6–25.

Ли Цзяньфэн. Ценность: функция или атрибут субъективации объекта // Ценность и система ценностей. 1988. С. 161–172 李剑锋. 价值: 客体主体化后的功能或属性 // 价值和价值观. 1988. Р. 161–172. (Li Jianfeng. Jia zhi: ke ti zhu ti hua hou de gong neng huo shu xing // jia zhi he jia zhi guan. 1988. Р. 161–172.)

Ли Лянькэ. О ценности, оценке ценности и научном понимании // Изучение и исследование. 1985. № 3. С. 4–8 李连科. 关于价值、价值评价与科学认识 // 学习与探索. 1985. № 3. Р. 4–8. (Li Lianke. Guan yu jia zhi, jia zhi ping jia yu ke xue ren shi // Xue xi yu tan suo. 1985. № 3. Р. 4–8.)

Ма Чжичжэн. Очерк философской аксиологии. Ханчжоу: Изд-во Ханчжоуского ун-та. 1991. 232 с. 马志政 哲学价值论纲要. 杭州大学出版社. 1991. 232 с. (Ma Zhizheng. Zhe xue jia zhi lun gang yao. Hang zhou da xue chu ban she. 1991. 232 p.)

Матвеева Т. В. Полный словарь лингвистических терминов. Ростов н/Д: Феникс, 2010. 562 с.

Новиков Л. А. Семантика русского языка. М.: Высш. школа, 1982. 272 с.

Соссюр Ф. де Труды по языкознанию / под ред. А. А. Холодовича. М.: Прогресс, 1977. 696 с.

Стернин И. А. Проблемы анализа структуры значения слова. Воронеж, 1979. 156 с.

Тарасов Е. Ф. Языковое сознание – перспективы исследования // Языковое сознание: содержание и функционирование: материалы XIII Междунар. симп. по психолингвистике и теории коммуникации. М., 2000. С. 3–4.

Трубецкой С. Н. О природе человеческого сознания // Сочинения. М.: Мысль, 1994. С. 483–593.

Усачева А. К. Лингвистические параметры концепта «состояние здоровья» в современном

английском языке: дис. ... канд. филол. наук. Волгоград, 2002. 167 с.

ФС – Философский словарь: основан Г. Шмидтом. 22-е, новое, перераб. изд. под ред. Г. Шифкоффа / пер. с нем., общ. ред. В. А. Малинина. М.: Республика, 2003. 575 с.

Щур Г. С. Теории поля в лингвистике. М.: Наука, 1974. 254 с.

Ярина Е. В. Теоретический анализ понятий «ценности» и «ценностные ориентации» // Ученые записки Орловского государственного университета. 2014. № 5(61). С. 160–162.

References

Babaeva E. V. *Lingvokul'turologicheskie kharakteristiki russkoy i nemetskoy aksiologicheskikh kartin mira*. Diss. dokt. filol. nauk [Linguocultural characteristics of Russian and German axiological pictures of the world. Dr. philol. sci. diss.]. Volgograd, 2004. 40 p. (In Russ.)

Vinogradov S. N. K lingvisticheskomu ponimaniyu tsennosti [On the linguistic interpretation of value]. *Russkaya slovesnost' v kontekste mirovoy kul'tury: Materialy Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii ROPRYaL* [Russian Literature in the Context of World Culture: Proceedings of the International Scientific Conference of the Russian Society of Teachers of Russian Language and Literature]. Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod University Press, 2007. pp. 93–97. (In Russ.)

Dotsenko T. I., Erofeeva E. V., Erofeeva T. I. *Permskaya shkola sotsiolingvistiki: teoreticheskie i metodologicheskie osnovaniya* [Perm school of sociolinguistics: Theoretical and methodological foundations]. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2010, issue 2(8), pp. 144–155. (In Russ.)

Drobnitskiy O. G. Nekotorye aspekty problemy tsennostey [Some aspects of the issue of values]. *Problema tsennosti v filosofii* [The Issue of Value in Philosophy]. Ed. by A. G. Kharchev. Leningrad, Nauka Publ., 1966, pp. 25–40. (In Russ.)

Erofeeva T. I. *Sotsiolekt: stratifikatsionnoe issledovanie* [Sociolect: A Stratification Study]: a monograph. Perm, Perm State University Press, 2009. 240 p. (In Russ.)

Zimnyaya I. A. *Lingvopsikhologiya rechevoy deyatel'nosti* [Linguopsychology of Speech Activity]. Moscow, Moscow Psychological and Social University Press, Voronezh, MODEK Publ., 2001. 432 p. (In Russ.)

Leontiev A. N. Materialy o soznanii [Materials about consciousness]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 14. Psikhologiya* [Lomonosov Psychology Journal], 1988, issue 3, pp. 6–25. (In Russ.)

Li Jianfeng. Jia zhi: ke ti zhu ti hua hou de gong neng huo shu xing [Value: a function or attribute of an object after subjectification]. *Jia zhi he jia zhi guan* [Value and Sense of Values], 1988, pp. 161–172. (In Ch.)

Li Lianke. Guan yu jia zhi, jia zhi ping jia yu ke xue ren shi [About value, value evaluation, and scientific understanding]. *Xue xi yu tan suo* [Learning and Exploration], 1985, issue 3, pp. 4–8. (In Ch.)

Ma Zhizheng. *Zhe xue jia zhi lun gang yao* [An Outline of Philosophical Theory of Values]. Hangzhou, Hangzhou University Press, 1991. 232 p. (In Ch.)

Matveeva T. V. *Polnyy slovar' lingvisticheskikh terminov* [Complete Dictionary of Linguistic Terms]. Rostov-on-Don, Feniks Publ., 2010. 562 p. (In Russ.)

Novikov L. A. *Semantika russkogo yazyka* [The Semantics of the Russian Language]. Moscow, Vysshaya shkola Publ., 1982. 272 p. (In Russ.)

Saussure F. de Trudy po yazykoznaniyu [Works on Linguistics]. Ed. by A. A. Kholodovich. Moscow, Progress Publ., 1977. 696 p. (In Russ.)

Sternin I. A. Problemy analiza struktury znacheniya slova [The structure of the meaning of a word: issues of analysis]. Voronezh, 1979. 156 p. (In Russ.)

Sternin I. A. Leksicheskoe znachenie slova v rechi [The Lexical Meaning of a Word in Speech]. Voronezh, Voronezh State University Press, 1985. 171 p. (In Russ.)

Tarasov E. F. Yazykovoe soznanie – perspektivy issledovaniya [Linguistic consciousness – research prospects]. *Yazykovoe soznanie: sodержanie i funktsionirovanie: materialy XIII Mezhdunarodnogo simpoziuma po psikholingvistike i teorii kommunikatsii* [Language Consciousness: Content and Functioning: Proceedings of the XIII International Symposium on Psycholinguistics and Communication Theory]. Moscow, 2000, pp. 3–4. (In Russ.)

Trubetskoy S. N. O prirode chelovecheskogo soznaniya [On the nature of human consciousness]. Trubetskoy S. N. *Sochineniya* [Works]. Moscow, Mysl' Publ., 1994, pp. 483–593. (In Russ.)

Usacheva A. K. *Lingvisticheskie parametry konsepta 'sostoyanie zdorov'ya' v sovremenном angliyskom yazyke*. Diss. kand. filol. nauk [Linguistic parameters of the concept 'state of health' in modern English. Cand. philol. sci. diss.]. Volgograd, 2002. 167 p. (In Russ.)

Filosofskiy slovar' [Philosophical Dictionary]. Moscow, Respublika Publ., 2003. 575 p. (In Russ.)

Shchur G. S. *Teoriya polya v lingvistike* [Theory of Field in Linguistics]. Moscow, Nauka Publ. 254 p. (In Russ.)

Yarina E. V. Teoreticheskiy analiz ponyatiy 'tsennosti' i 'tsennostnye orientatsii' [Theoretical analysis of the concepts 'values' and 'value orientations']. *Uchenye zapiski Orlovskogo gosudarstvennogo universiteta* [Scientific Notes of Orel State University], 2014, issue 5(61), pp. 160–162. (In Russ.)

The Value Aspect of the Meaning of a Lexical Unit in the Language Consciousness of Chinese Students (with the lexeme 'courtesy' as an example)

Li Yongnuo

**Postgraduate Student, Assistant in the Department of Theoretical and Applied Linguistics
Perm State University**

15, Bukireva st., Perm, 614068, Russian Federation. 844238106@mail.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7493-0572>

ResearcherID: GZA-9596-2022

Tamara I. Erofeeva

**Professor in the Department of Theoretical and Applied Linguistics
Perm State University**

15, Bukireva st., Perm, 614068, Russian Federation. genling.psu@gmail.com

SPIN-code: 7299-8815

ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-0316-4302>

ResearcherID: Q-3942-2017

Submitted 24 Jan 2024

Revised 15 Mar 2024

Accepted 17 Jun 2024

For citation

Li Yongnuo, Erofeeva T. I. Tsennostnyy aspekt znacheniya leksicheskoy edinitsy v yazykovom soznanii kitayskikh studentov (na primere leksemy «vezhlivost'») [The Value Aspect of the Meaning of a Lexical Unit in the Language Consciousness of Chinese Students (with the lexeme 'courtesy' as an example)]. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2024, vol. 16, issue 3, pp. 62–73. doi 10.17072/2073-6681-2024-3-62-73 (In Russ.)

Abstract. Among various values, the concept 'courtesy' has been studied by Chinese scholars since ancient times and is considered one of the important traditional values of China. The purpose of the study is to reveal the value characteristics in the meaning of the lexeme COURTESY based on the interpretation by Chinese informants, as well as to determine the influence of social strata on the understanding of this moral and ethical lexeme in the minds of students. The research material includes 43 semantic components obtained as a result of a linguistic experiment with 32 Chinese informants. The sample of informants is balanced according to the strata 'education level', 'specialty', and 'gender'. The article uses the method of component analysis and the method of constructing the semantic structure of a lexeme. Based on the analysis, the authors come to a conclusion that in the linguistic consciousness of Chinese students, courtesy is a respectful attitude toward people, which is considered an expression of the culture of behavior and etiquette. At the same time, an analysis of the material from the perspective of social strata reveals differences in the understanding of the lexeme COURTESY in the group consciousness of informants: both Bachelor's and Master's students note courtesy traits such as *sensitivity* and *politeness*, which also characterize traditional culture, Bachelor's students do not note the value semantic components *self-improvement* and *good deeds*, which are noted in the answers of Master's students; the group of non-humanities majors is characterized by a more frequent use of semantic components *respectful attitude to people*, *culture of behavior*, *etiquette*, while those studying the humanities are characterized by a high percentage of semantic components *deeds favorable to others*, *sensitivity*, *self-improvement*; women believe that courtesy is an individual trait reflected in good deeds, while men evaluate courtesy through sensitivity and good manners and do not associate it with traditional culture.

The results obtained can be used in the field of semantics, lexicology, and stylistics of the Chinese language, as well as in methodological recommendations for students carrying out research on lexical semantics. In addition, the analysis of the value aspect of the meaning of a lexical unit gives us the opportunity to better understand the national culture of China.

Key words: linguistic consciousness; meaning of the word; semantic structure of the meaning of a lexeme; value; social strata.

УДК 811.162.4

doi 10.17072/2073-6681-2024-3-74-80

<https://elibrary.ru/evbncn>

EDN EVBNCN



«Правила словацкого правописания» (1940) и стабилизация норм словацкого литературного языка

Лифанов Константин Васильевич**д. филол. н., профессор кафедры славянской филологии****Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова**119991, Россия, г. Москва, Ленинские горы, 1. kvlifanov@mail.ru

SPIN-код: 5408-7810

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8347-7466>

ResearcherID: D-6974-2017

*Статья поступила в редакцию 02.10.2023**Одобрена после рецензирования 17.12.2023**Принята к публикации 10.03.2024***Информация для цитирования**

Лифанов К. В. «Правила словацкого правописания» (1940) и стабилизация норм словацкого литературного языка // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2024. Т. 16, вып. 3. С. 74–80. doi 10.17072/2073-6681-2024-3-74-80

Аннотация. В статье рассматриваются причины появления «Правил словацкого правописания» (1940), наиболее важные изменения, внесенные в кодификацию словацкого литературного языка, и их значение в его развитии. Необходимость разработки новых правил правописания возникла сразу же после публикации «Правил словацкого правописания» (1931), не принятых большей частью словацкой интеллигенции, воспринявшей их как первый этап на пути поглощения словацкого языка чешским. Новые правила были подготовлены главным образом лидером пуристического движения в Словакии Г. Бартеком, завершившим работу в 1939 г. Этот вариант, однако, Министерство образования и народного просвещения Словацкой Республики не утвердило и отправило на переработку. «Правила» вышли в следующем году в модифицированном виде и затронули морфологию, лексический состав и орфографию словацкого литературного языка. К числу наиболее важных изменений относятся унификация причастий на *-l* в формах множественного числа, существенное сокращение дублетных форм за счет упразднения форм, совпадающих с чешским языком, обозначение на письме реально произносимых долгих гласных в словах иностранного происхождения, выведение из литературного языка ряда лексем, общих с чешскими, и др. Практически все внесенные изменения способствовали стабилизации норм словацкого литературного языка и были подтверждены в следующих «Правилах словацкого правописания» 1953 г. Более того, в 1953 г. были приняты даже те предложения Г. Бартека, которые были отвергнуты в 1939 г.

Ключевые слова: словацкий литературный язык; официальная кодификация норм; пуризм; фонетические и морфологические изменения; стабилизация норм.

«Правила словацкого правописания» являются официально признанным кодификационным документом, регламентирующим орфографию, фонетику, морфологию, а до 1987 г.¹ и лексический состав словацкого литературного языка.

В истории словацкого литературного языка «Правила словацкого правописания» 1940 г. сыграли стабилизирующую роль и во многом предопределили его дальнейшее развитие. После принятия первых «Правил словацкого правописания»

в 1931 г.² в Словакии сложилась в определенной степени курьезная ситуация: словацкая интеллигенция в своем большинстве их не приняла, тогда как официальные лица стали их использовать на практике. «...Кодификация орфографии, фонетики, морфологии и лексики, которая была узаконена “Правилами словацкого правописания” 1931 г., соблюдалась только в школах, в официальных изданиях и в “централистски” ориентированных публикациях, тогда как в неофициальных и в изданиях Матицы словацкой придерживались “матичного узуса”» [Pauliny 1983: 238], по сути базировавшегося на положениях «Руководства по словацкому литературному языку» С. Цамбела в редакции Й. Шкультеты [Czambel 1915, 1919]. Языковую ситуацию в Словакии в 30-е гг. XX в. описал Я. Есенский в сатирическом романе «Демократы»: «Даже словацкий литературный язык разделился на официальный, “чехословацкий”, централистский и на чистый словацкий, автономистический. Те, кто говорил „kružidlo“, „pravítko“, „inkúst“, „mluvnica“, „menovite“, „okienko“, „rýchle“, „určite“, „modrý“, „rôzne“, „nápadne“, „nemoc“ и т. д. был централистом; те же, кто говорил „cirkel“, „linonár“, „atrament“, „gramatika“, „najmä“, „oblôčik“, „chytro“, „iste“, „belasý“, „rozlične“, „neobyčajne“, „choroba“³, ... был автономистом» [Jesenský].

Не совсем ясна роль Матицы словацкой⁴ в выработке «Правил словацкого правописания» 1931 г. (решение о их публикации было принято 2 октября 1931 г.). На титульном листе «Правил» указано, что их издает Матица словацкая в качестве труда своей орфографической комиссии. Во введении также указывается, что «Правила» не лишены недостатков, но они являются не творением конкретного человека, а коллективным трудом комиссии отделения языка Матицы словацкой [Pravidlá 1931: 9]. Однако на общем собрании 12 мая 1932 г. Матица словацкая выступила с заявлением о вреде «Правил» В. Важного⁵ и приняла решение о разработке пособия с ревизией этих правил.

Сложившаяся ситуация была обусловлена восприятием внесенных в правила языковых изменений как следствия общественно-политической атмосферы в стране. В этот период в Чехословакии была официально принята концепция чехословакизма, согласно которой существует единый чехословацкий народ, говорящий на одном чехословацком языке, который, однако, имеет два варианта литературного языка. Но это явление имеет временный характер, и в будущем два языка сольются в один, причем подразумевалось, что не появится новый язык гибридного характера, а чешский язык фактически поглотит словацкий. А поскольку «Правила словацкого

правописания» имели ряд позиций, по которым словацкий и чешский языки объективно сближались, разработанные «Правила» воспринимались словацкой интеллигенцией как первый шаг на пути слияния языков, поэтому были встречены активным сопротивлением. В это время в Словакии оформляется пуристическое движение во главе с Г. Бартеком (1907–1986), который в 1932 г. основывает журнал «Словенска реч» (Slovenská reč), ставший печатным органом этого движения. И хотя в «Правилах словацкого правописания» 1931 г. был целый ряд позитивных моментов [Лифанов 2017], они оставались вне поля зрения словацкой общественности. Понятно, что в сложившихся обстоятельствах чрезвычайно актуальным становится создание новых правил правописания, которые объединили бы всех пользователей словацкого литературного языка. И такие правила начала разрабатывать созданная комиссия, в которой видную роль играл референт Матицы словацкой лидер пуристов Г. Бартек.

Разработка новых «Правил словацкого правописания» проходила со значительными сложностями, так как вокруг них велась борьба двух центров – Матицы словацкой и редакции журнала «Словенска реч», отстаивающих самобытность словацкого литературного языка, и Братиславского университета, являвшегося опорой централизма.

Первоначальным замыслом Г. Бартека была существенная реформа словацкой орфографии, которая предполагала исключение из литературного языка графемы *y* (*y'*) и обязательное обозначение мягкости согласных с помощью апострофа (над графемами *t*, *d*, *l*) или знака мягкости *ˇ* (над графемой *n*). По сути, это был возврат к оригинальной словацкой орфографической системе, начавшей формироваться еще в докодификационный период и закрепленной в кодификациях как А. Бернолака (1787) [Pavelek 1964], так и Л. Штура (40-е гг. XIX в.), от которой при этом отказались в компромиссной «Краткой грамматике словацкого языка» 1852 г., объединившей в языковом отношении католиков, использовавших ранее бернолаковщину⁶, и евангеликов, писавших либо на штуровщине⁷, либо на чешском языке [Krátka... 1852]. Понимая, что добиться согласия Праги на такие изменения будет чрезвычайно сложно, Г. Бартек стремился заручиться поддержкой словацкой общественности. В связи с этим комиссия пыталась выяснить мнение на этот счет политических деятелей и деятелей словацкой культуры, но оказалось, что среди них нет единства в этом вопросе [Bartek 1954: 35]. Вследствие этого Г. Бартек отказывается от радикальной реформы и предлагает лишь упразднить формы причастий на *-l* множественного

числа с окончанием -у, употреблявшихся при координации с неодушевленными существительными⁸, то есть заменить *ženy, deti robily* «женщины, дети делали» на *ženu, deti robili*.

Создание новых «Правил словацкого правописания» затянулось, но наконец в марте 1938 г. руководству Матицы словацкой была представлена словарная часть правил, а в конце января 1939 г. – описательная часть. 14 марта 1939 г. была провозглашена независимость Словацкой Республики, и уже через несколько дней новые правила были переданы министру образования и народного просвещения Й. Сиваку для утверждения. Матица словацкая полагала, что теперь процесс одобрения новых правил правописания будет иметь формальный характер, однако действительность оказалось совершенно иной. Министр образования и народного просвещения направляет текст правил на рецензию в Братиславский университет (с 1939 г. – Словацкий университет) с целью выяснения того, не являются ли они слишком пуристическими. Комиссия Братиславского университета дает отрицательную оценку новым правилам. Вероятной причиной отрицательной рецензии могло быть то, что Братиславский университет был тесно связан с Карловым университетом в Праге, поэтому выступал против усиления различий между словацкой и чешской орфографией. Кроме того, автор «Правил» был молодым лингвистом, работавшим вне университета [Lipowski 2005: 69]. Когда Г. Бартек увидел, что рецензия была написана его непримиримым оппонентом во взглядах на словацкий язык проф. Я. Станиславом, к которому он испытывал личную неприязнь, и убедился, что Матица словацкая не намерена отстаивать все положения правил правописания, он увольняется из Матицы словацкой, уходит из редакции журнала «Словенская речь» и основывает новый журнал «Словенский язык» (*Slovenský jazyk*). А Матица словацкая занимается переработкой правил правописания, внося в них предложения А. А. Баника, который в это время был библиотекарем, а затем управляющим Словацкой национальной библиотекой в Турчанском св. Мартине. Этот вариант правил был официально одобрен и опубликован в 1940 г.

Из «Правил словацкого правописания», разработанных Г. Бартеком, были устранены следующие положения.

1. Одинаковое написание форм множественного числа всех родов причастий на -l с окончанием -i (*chlapi robili, ženy robili, deti robili*).

2. Предлоги *z, zo* писать с родительным падежом, а *s, so* – с творительным (*z hľadiska* «с точки зрения», *zo stanoviska* «с точки зрения», *s matkou* «с матерью», *so sestrou* «с сестрой»).

3. Приставки *z, zo, s* писать в соответствии с произношением (*zbierať* «собирать», *zobrať* «взять», *schovať* «спрятать»).

Вместе с тем в них представлено довольно много изменений по сравнению с «Правилами словацкого правописания» 1931 г. Некоторые из них опираются на «Руководство по словацкому литературному языку» в редакции Й. Шкультеты [Czambel 1915] и, по сути, восходят к «Науке о словацком языке» 1846 г. Л. Штура [Štúr 1846/1957]. К ним относятся прежде всего замена основообразующего суффикса инфинитива на -e основообразующим суффиксом -ie- (*vidieť* «видеть», *rozumieť* «понимать», *trpieť* «страдать», *sedieť* «сидеть», *vedieť* «знать», *hľadiť* «смотреть»; *trieť* «тереть», *vrieť* «кипеть», *mrieť* «умирать», *mliť* «молотить», *tlieť* «тлеть») и в ряде типов спряжения – основообразующего суффикса настоящего времени -e- основообразующим суффиксом -ie- (*mriem, mrieš, mrie, mrieme, mriete* «умираю, умираешь...»; *triem, trieš, trie, trieme, triete* «тру, трешь...»; *beriem, berieš, berie, berieme, beriete* «беру, берешь...»; *ženiem, ženieš, ženie, ženiete* «гоню, гонишь...»).

Другим существенным изменением морфологического характера стало изменение склонения названий животных мужского рода. В «Правилах словацкого правописания» 1931 г. утверждается, что указанные слова, как и в чешском языке, склоняются как одушевленные существительные и в именительном и винительном падежах имеют формы *hadi* «змеи», *orli* «орлы», *psi* «собаки», *vtáci* «птицы», *vlci* «волки», *zajaci* «зайцы», *medvedi* «медведи» – (*videl som*) *verných psov, dravých orlov, vlkov* и т. д. «(я видел) верных псов, хищных орлов, волков». Исключением являются лишь слова *kôň, vol*, которые в указанных формах множественного числа имеют формы, аналогичные формам неодушевленных существительных: *pekné kone, voly* «красивые кони, вола – красивых коней, волов». В народной же речи все названия животных мужского рода во множественном числе склоняются как неодушевленные существительные [Pravidlá 1931: 55–56]. В соответствии же с «Правилами» 1940 г. рассматриваемые существительные во множественном числе склоняются как неодушевленные: *orly* «орлы», *sokoly* «соколы», *hady* «змеи» (*vidím veľké orly, sokoly, hady* «я вижу больших орлов, соколов, змей») и т. п.; *zajace* «зайцы», *medvede* «медведи», *jelene* «олени», *motýle* «бабочки», *lipne* «хариусы» и т. п. Формы же одушевленных существительных они приобретают при олицетворении: *Vy hadi!* «Вы, змеи!», *Vy medvedi nemotorní!* «Вы, неуклюжие медведи!» Слова же *vlk* «волк», *pes* «собака» и *vták* «птица» во множественном числе обычно имеют формы

vlci, psi и *vtáci* (реже *psy* и *vtáky*) [Pravidlá 1940: 81]. По сути, это был возврат к кодификации Л. Штура [Štúr 1846/1957: 191–192].

Изменилось и склонение существительных среднего рода типа *drama*, заимствованных из греческого языка. Если в «Правилах» 1931 г. такого рода существительные имеют разнородное склонение, поскольку часть из них являются существительными женского рода и склоняются соответствующим образом (*astma* «астма», *panoráma* «панорама» – род. пад. *astmy, panorámy*), а другая часть сохраняет средний род языка-источника и либо, как в чешском языке, склоняется с наращением (*staré drama* «старая драма», *téma* «тема» – род. пад. *starého dramata / dramatu, témata / tématu*), либо вообще не склоняется (*cirkevné schizma* «церковный раскол» – род. пад. *cirkevného schizma*), то в «Правилах» 1940 г. все эти существительные являются существительными женского рода и соответственно склоняются (*schizma* – род. пад. *schizmy*).

В «Правилах» 1940 г. появляется специфическое адъективно-субстантивное склонение существительных женского рода типа *gazdiná* «хозяйка», *kráľovná* «королева», *princezná* «принцесса», которые в предшествующих правилах в именительном падеже единственного числа имели окончание краткое *-a* и, как и в чешском языке, склонялись аналогично другим существительным женского рода с этим окончанием; ср.: род. пад. ед. числа *gazdiny, kráľovny, princezny*⁹ (1931) – *gazdinej, kráľovnej, princeznej*.

Из словацкого литературного языка были исключены слова с начальным сочетанием сонорного с шумным согласным, нехарактерные для диалектов словацкого языка, но типичные в чешском. В «Правилах» 1940 г. такие слова обозначены звездочкой (*) как неверные, тогда как в «Правилах» 1931 г. они считались литературными; ср.: *rváč = bitkár, *rvačka = ruvačka, *lhat'¹⁰ = luhat', *lhár = luhár, *rtuť = ortuť.

«Правила словацкого правописания» 1940 г. возвращают в литературный язык действительные причастия прошедшего времени, выведенные из него «Правилами» 1931 г.; ср.: *Dieťa, poplakavší si na lone materinom, zaspalo* «Ребенок, поплакавший на коленях у матери, уснул»; *Dieťa poplakavší si zaspalo* «Поплакавший ребенок уснул» [Pravidlá 1940: 114–115].

Усилению различий между названными языками способствовало уменьшение количества дублетных морфологических форм в пользу оригинальных словацких. Так, из дублетов *hrášek / hrášok* «горошек», *krúžek / krúžok* «кружок», *prášek / prášok* «порошок» (чешск. *hrášek, kroužek, prášek*) кодифицированными остаются лишь лексемы с беглым *-o-*, из дублетов с суф-

фиксом *-áreň-/árň(a)* *dreváreň / drevárňa* «дровяной сарай», *sypáreň / sypárňa* «амбар», *pekáreň / pekárňa* «хлебозавод» (чешск. *dřevník*¹¹, *sypárna, pekárna*) – лишь формы с нулевым окончанием, из дублетных форм существительных женского и среднего рода с основой на мягкий согласный с предшествующим долгим слогом *slúžka* «слуга» – *slúžok / slúžek, túžba* «желание» – *túžob / túžeb, vajíčko* «яичко» – *vajíček / vajíčok* (чешск. *služek, tužeb, vajíček*) сохраняются лишь формы со вставным *-o-*, аналогично и у слова *kliatba* «проклятие» – *kliateb / kliatob* (чешск. *klateb*), из дублетных форм существительных с суффиксом *-iec / -ec* типа *koniec / koniec* «конец», *veniec / venec* «венки», *hrniec / hrnec* «горшок», *čepiec / čepes* «чепчик» (чешск. *konec, věnec, hrnec, čepes*) остаются лишь формы с суффиксом *-iec*, а из многократных глаголов с нарушением ритмического закона типа *čítavať / čítavať* «читать», *drúžgavať / drúžgavať* «расколачивать» были сохранены лишь формы с его реализацией¹².

Интерес представляет также начальный этап утраты форм родительного падежа множественного числа существительных женского и среднего рода с вставным гласным *ô*. Если в кодификации Л. Штура подобные формы отсутствуют [Štúr 1957: 200], то в грамматике С. Цамбела, напротив, они представлены широко. Формы с этим вставным гласным имеют существительные, у которых в конце основы есть сочетания *bk, pk, dk, lk, rk, nk, mk, sk*, например: *žabka* «лягушка» – *žabók, babka* «бабушка» – *babók, kopka* «кучка» – *kopók, čipka* – *čipók* «кружево», *štipka* «щепотка» – *štipók, labka* «лапка» – *labók, hrudka* «грудка» – *hrudók, záhradka* «садик» – *záhradók, kobyľka* «кузнечик» – *kobyľók, habarka* «мутовка» – *habarók, marka* «марка (валюта)» – *marók, uhorka* «огурец» – *uhorók, jamka* «ямка» – *jamók, miska* «блюдо» – *misók* и т. д., но если в литературном языке уже устоялись формы с другими вставными гласными, они сохраняются, например: *daska* «доска» – *dasák / dasiek* и т. п. В «Правилах словацкого правописания» 1931 г. у указанных существительных кодифицируются дублетные формы: *žabka* – *žabiek / žabók, babka* – *babiek / babók, čipka* – *čipiek / čipók, jamka* – *jamiek / jamók, výšivka* «вышивка» – *výšiviek / výšivók, kobyľka* – *kobyľiek / kobyľók, miska* – *misiek / mysók* и т. д. В «Правилах» же 1940 г., хотя и назван дифтонг *ô* в числе возможных вставных гласных, примеры с ним не приводятся; ср.: *žabka* – *žabiek, jamka* – *jamiek, výšivka* – *výšiviek, čipka* – *čipiek / čipák*. Отметим, что в современном словацком литературном языке представлено всего одно слово (*čipka*), сохранившее форму родительного падежа множественного числа со вставным гласным *ô*: *čipka* – *čipiek / čipók*.

При разработке «Правил» 1940 г. была проделана значительная лексикографическая селекция словарного состава. Ее основной целью было прежде всего выведение из словацкого литературного языка определенного количества слов, общих с чешским языком. В связи с этим довольно большое количество слов снабжается звездочкой (*), означающей, что данное слово не рекомендуется употреблять. При этом приводится слово, которое является литературным эквивалентом слова со звездочкой. Ср. примеры: *angrešt = egreš «крыжовник», *čočka (чешск. čocka) = šošovica «чечевица», *dievčí (чешск. dívčí) = dievčenský «девичий», *divoký (чешск. divoký) = divý «дикий», *doopravdy (чешск. doopravdy) = naozaj «действительно», *dopis (чешск. dopis) = list «письмо», *drtiť (чешск. drtit) = drviť «дробить», *hájny (чешск. hajný) = hájnik «лесник», *chlúba (чешск. chlouba) = pýcha «гордость», *hřište (чешск. hřiště) = ihrisko «игровая площадка», *hrebík (чешск. hřebík) = klinec «гвоздь», *hrobitov (чешск. hřbitov) = cintorín «кладбище», *tiaž (чешск. tíha) = ťarcha «тяжесть», *kartáč (чешск. kartáč) = kefa «щетка»; *veľblúd (чешск. velbloud) = ťava «верблюд», *venkov (чешск. věnkv) = vidiek «сельская местность». Были кодифицированы также фонетические варианты некоторых слов, отличающиеся от соответствующих чешских: *česnak (чешск. česnek) = cesnak «чеснок», *hruza (чешск. hrůza) = hrôza «ужас», *četa (чешск. četa) = čata «взвод», *cvrček (чешск. cvrček) = svrček.

Существенные изменения затронули орфографию, причем они также способствовали отделению словацкого литературного языка от чешского. Среди них принципиальное место занимает обозначение долготы гласного в словах иностранного происхождения, в которых произносятся долгие гласные¹³, например: *ananás, Ázia, dátum, hektár, impresário, mágia, rádio, acetylén, arménsky, epidémia, chémia, komédia, kométa, poézia, alumínium, brazílsky, individuum, mínus, pyramída, agónia, axióma, filharmónia, glóbus, irónia, kónický, mauzóleum, pavilón, pulóver, figura, fúga, imúnny, ilýrsky, lýceum* и др.

Заметным изменением, отдаляющим словацкий язык от чешского, стала кодификация написания ряда слов с удвоенным *n*, тогда как чешский сохранил первоначальное написание данных слов с одним *n*: *denník* «дневник», *tyždenník* «еженедельник», *nádenník* «батрак», *čalúnnik* «обойщик», *zákonnik* «свод законов», *senník* «сеновал».

В некоторых словах *y* (ý) был заменен на *i* (í): *tovariš* «подмастерье», *tiger* «тигр», *ribezle* «смородина», *richtár* «бурмистр», *rínok* «рынок». В чешском же осталось первоначальное написание: *tovaryš, tygr, rybíz, rychtár, rynek*.

Было возвращено старое написание числительных, обозначающих десятки: *dvacať* (чешск. dvacet) > *dvadsať, tricať* (чешск. třicet) > *tridsať, štyricať* (чешск. čtyřicet) > *štyridsať, pädesiat* (чешск. padesát) > *päťdesiat, šesdesiat* (чешск. šesdesiat) > *šestdesiat* и т. д.

Были внесены и некоторые изменения, касавшиеся написания отдельных слов, например: *preca* (чешск. přece) > *predsa* «все же», *súsed* (чешск. soused) > *sused* «сосед», *zamestnavateľ* (чешск. zamestnavatel) > *zamestnávateľ* «работодатель» и др.

Практически все внесенные изменения были затем подтверждены в следующих правилах правописания, изданных в 1953 г. [Pravidlá 1953]. Более того, в следующих правилах были одобрены непринятые изменения, предлагавшиеся Г. Бартеком, в 1953 г., хотя негативное отношение к пуристам постоянно декларировалось. Таким образом, «Правила словацкого правописания» 1940 г. способствовали стабилизации нормы словацкого литературного языка и в значительной степени указали путь его дальнейшего развития.

Примечания

¹ С 1987 г. кодификационным документом лексического состава является «Краткий словарь словацкого языка», несколько раз переиздававшийся с изменениями; в последний раз – в 2020 г. [Krátky... 2023].

² О «Правилах словацкого правописания» 1931 г. см.: [Лифанов 2017].

³ В двух рядах приведены слова с одинаковым значением: «циркуль», «линейка», «чернила», «грамматика», «главным образом», «окошко», «быстро», «конечно», «синий/голубой», «по-разному», «необычно», «болезнь».

⁴ Национальная культурно-просветительская организация в Словакии, основанная в 1863 г., но закрытая в 1875 г. и возрожденная в 1919 г. после создания Чехословакии.

⁵ Вацлав Важный (1892–1966) – профессор Братиславского университета, этнический чех, главный редактор «Правил словацкого правописания» 1931 г.

⁶ Бернолаковщина – литературный язык, кодифицированный А. Бернолаком.

⁷ Штуровщина – литературный язык, кодифицированный Л. Штуром, до принятия компромиссного варианта.

⁸ В словацком языке одушевленными могут быть только существительные мужского рода.

⁹ В чешском языке представлены аналогичные формы; слово *gazdina* отсутствует.

¹⁰ В «Правилах» 1931 г. это слово имеет двойную огласовку: *lhat’/luhat’*.

¹¹ В чешском языке существует и слово *dřevárna*, имеющее значение «игра на природе в исторических костюмах с деревянным оружием».

¹² В чешском языке ритмический закон отсутствует.

¹³ В чешском литературном языке в заимствованных словах долгота гласного, как правило, не обозначается.

Список литературы

Лифанов К. В. «Правила словацкого правописания» 1931 г. в контексте развития словацкого литературного языка // Актуальные этноязыковые и этнокультурные проблемы современности. Кн. III. М.: Изд. дом ЯСК, 2017. С. 357–372.

Bartek H. Pravidlá slovenského pravopisu // Most, r. 1, 1954, č. 2. S. 35–39.

Czambel S. Rukoväť spisovnej reči slovenskej. Druhé vydanie. Turčianský sv. Martin: Nákladom Kníhtlačiarского učast. spolku, 1915. 376 s.

Czambel S. Rukoväť spisovnej reči slovenskej. Tretie vydanie. Turčianský sv. Martin: Nákladom Kníhtlačiarского učast. spolku, 1919. 330 s.

Jesenský J. Demokrati. URL: https://royalib.com/jesensk_janko/demokrati.html#0 (дата обращения: 20.06.2023).

Krátka mluvnica slovenská. V Prešporku: tiskom predtým Schmidovým, 1852. 68 s.

Krátky slovník slovenského jazyka. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2023. 960 s.

Lipowski J. Konvergence a divergence češtiny a slovenčiny v československém státě. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005. 200 s.

Pauliny E. Dejiny spisovnej slovenčiny od začiatkov po súčasnosť. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1983. 248 s.

Pavelek J. (ed.). Gramatické dielo Antona Bernoláka. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1964. 556 s.

Pravidlá slovenského pravopisu s abecedným pravopisným slovníkom. Praha: vydala Matica slovenská nákladom Štátneho nakladateľstva, 1931. 364 s.

Pravidlá slovenského pravopisu s pravopisným slovníkom. Turč. Sv. Martin: Matica slovenská, 1940. 482 s.

Pravidlá slovenského pravopisu s pravopisným a gramatickým slovníkom. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 1953. 408 s.

Štúr E. Náuka reči slovenskej // E. Štúr. Dielo v piatich zväzkoch. Zväzok V. Slovenčina naša. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1957. S. 153–253.

References

Lifanov K. V. 'Pravila slovatskogo pravopisania' 1931 g. v kontekste razvitiya slovatskogo literaturnogo yazyka ['Slovak Spelling Rules' of 1931 in the

context of the Slovak literary language development]. Aktual'nye etnoyazykovye i etnokul'turnye problemy sovremennosti. Kniga III [Current Ethnolinguistic and Ethnocultural Issues of Our Time. Book III]. Moscow, LRC Publishing House, 2017, pp. 357–372. (In Russ.)

Bartek H. Pravidlá slovenského pravopisu [Slovak Spelling Rules]. Most [Bridge], r. 1, 1954, issue 2, pp. 35–39. (In Slovak)

Czambel S. Rukoväť spisovnej reči slovenskej [A Guide to the Slovak Literary Language]. 2nd ed. Turčianský sv. Martin, Nákladom Kníhtlačiarского učast. spolku, 1915. 376 p. (In Slovak)

Czambel S. Rukoväť spisovnej reči slovenskej [A Guide to the Slovak Literary Language]. 3rd ed. Turčianský sv. Martin, Nákladom Kníhtlačiarского učast. spolku, 1919. 330 p. (In Slovak)

Jesenský J. Demokrati [Democrats]. Available at: https://royalib.com/jesensk_janko/demokrati.html#0 (accessed 20 June 2023). (In Slovak)

Krátka mluvnica slovenská [Brief Grammar of the Slovak Language]. V Prešporku, tiskom predtým Schmidovým, 1852. 68 p. (In Slovak)

Krátky slovník slovenského jazyka [Concise Dictionary of the Slovak Language]. Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2023. 960 p. (In Slovak)

Lipowski J. Konvergence a divergence češtiny a slovenčiny v československém státě [Convergence and Divergence of the Czech and Slovak Languages in the Czechoslovak State]. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005. 200 p. (In Czech)

Pauliny E. Dejiny spisovnej slovenčiny od začiatkov po súčasnosť [History of Literary Slovak from the Origins to the Present]. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1983. 248 p. (In Slovak)

Pavelek J. (ed.). Gramatické dielo Antona Bernoláka [Grammatical Work of Anton Bernolák]. Bratislava, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1964. 556 p. (In Lat. and In Slovak)

Pravidlá slovenského pravopisu s abecedným pravopisným slovníkom [Rules of Slovak Orthography with an Alphabetical Spelling Dictionary]. Prague, vydala Matica slovenská nákladom Štátneho nakladateľstva, 1931. 364 p. (In Slovak)

Pravidlá slovenského pravopisu s pravopisným slovníkom [Rules of Slovak Orthography with a Spelling Dictionary]. Turč. Sv. Martin, Matica slovenská, 1940. 482 p. (In Slovak)

Pravidlá slovenského pravopisu s pravopisným a gramatickým slovníkom [Rules of Slovak Orthography with a Spelling and Grammar Dictionary]. Bratislava, Vydavateľstvo SAV, 253. 482 p. (In Slovak)

Štúr E. Náuka reči slovenskej [The Science of the Slovak language]. E. Štúr. Dielo v piatich zväzkoch. Zväzok V. Slovenčina naša [Our Slovak Language]. Bratislava, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1957, pp. 153–253. (In Slovak)

‘Slovak Spelling Rules’ of 1940 and the Stabilization of the Slovak Literary Language Norms

Konstantin V. Lifanov

Professor in the Department of Slavic Languages

Lomonosov Moscow State University

1, Leninskie gory, Moscow, 119991, Russian Federation

SPIN-code: 5408-7810

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8347-746>

ResearcherID: D-6974-2017

Submitted 02 Oct 2023

Revised 17 Dec 2023

Accepted 10 Mar 2024

For citation

Lifanov K. V. «Pravila slovatského pravopisania» (1940) i stabilizácia norm slovatského literárneho jazyka [‘Slovak Spelling Rules’ of 1940 and the Stabilization of the Slovak Literary Language Norms]. *Vestník Permského univerziteta. Rossijskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2024, vol. 16, issue 3, pp. 74–80. doi 10.17072/2073-6681-2024-3-74-80 (In Russ.)

Abstract. The article deals with the reasons behind the appearance of the *Slovak Spelling Rules* of 1940, the most important changes introduced in the codification of the Slovak literary language, and their significance in the development of the language. The need to develop new spelling rules arose immediately after the publication of the *Slovak Spelling Rules* of 1931, which were not accepted by the majority of Slovak intelligentsia, who perceived them as the first stage on the way to the absorption of the Slovak language by the Czech one. The new rules were prepared mainly by the leader of the purist movement in Slovakia, H. Bartek, who completed his work in 1939. That version, however, was not approved by the Ministry of Education of the Slovak Republic and was sent for revision. The *Rules* were published the following year in a modified form and affected the morphology, lexical composition, and orthography of the Slovak literary language. Among the most important changes were the unification of the *-l* participles in plural forms, a significant reduction of doublet forms by abolishing forms coinciding with the Czech language, the written marking of actually pronounced long vowels in words of foreign origin, the removal from the literary language of a number of lexemes common with Czech, and others. Practically all the changes made contributed to the stabilization of the Slovak literary language norms and were confirmed in the subsequent *Slovak Spelling Rules* of 1953. Moreover, in 1953 even the proposals of H. Bartek rejected in 1940 were adopted.

Key words: Slovak literary language; official codification of norms; purism; phonetic and morphological changes; stabilization of norms.

УДК 821.14'02: 94(392/393)
doi 10.17072/2073-6681-2024-3-81-90
<https://elibrary.ru/nwoilc>

EDN NWOILC



Традиционное цитирование Гомера как способ идентификации в надписях южной Малой Азии

Приходько Елена Владимировна

к. филол. н., доцент кафедры древних языков

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

119991, Россия, г. Москва, Ленинские горы, 1. aristonica@list.ru

SPIN-код: 7419-4179

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-4843-6967>

ResearcherID: JFK-9486-2023

Статья поступила в редакцию 13.11.2023

Одобрена после рецензирования 17.12.2023

Принята к публикации 05.02.2024

Информация для цитирования

Приходько Е. В. Традиционное цитирование Гомера как способ идентификации в надписях южной Малой Азии // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2024. Т. 16, вып. 3. С. 81–90. doi 10.17072/2073-6681-2024-3-81-90

Аннотация. После завоеваний Александра Македонского в южные области Малой Азии – Ликию, Писидию, Памфилию и Киликию – переселилось много греков. Они принесли с собой традиции своей культуры, которые за несколько столетий сплелись в неделимое целое с наиболее устойчивыми элементами местной культуры. Древнегреческий язык практически полностью вытеснил ликийский, писидийский и другие языки Анатолии. Обучение велось по выработанным в Эллад канонам, и основным текстом были поэмы Гомера. Но если сохранившиеся до наших дней руины городов дают возможность составить представление об эллинизации архитектуры, то значительно сложнее оценить, насколько анатолийское население смогло принять греческую систему образования. Автор ставит перед собой задачу определить уровень знакомства жителей юга Малой Азии с поэмами Гомера и их личное отношение к этому поэту и показывает, что материалом для такого исследования могут быть только найденные в этом регионе надписи, причем не прозаические, а написанные гекзаметром или элегическим дистихом. Эпиграфический материал обычно остается за пределами литературоведческих трудов. Поэтому актуальность данной работы заключается как в постановке задачи, так и в выборе материала. В статье рассмотрены четыре эпитафии, тексты которых свидетельствуют о близком знакомстве их создателей с поэмами Гомера. Но еще более интересен тот факт, что в этих эпитафиях использовались цитаты из «Илиады» или «Одиссеи» и служили они для идентификации или даже самоидентификации того, кому эти стихи были посвящены. Цитата такого типа присутствует даже в одной прозаической надписи с территории Адад. Подобные примеры свидетельствуют о том, что в период Римской империи Гомер стал для потомков жителей Анатолии таким же непререкаемым авторитетом, каким он был для самих древних эллинов.

Ключевые слова: Тарс; Сидимы; Тельмесс; Термесс; Адады; Гомер; эллинизация; эпитафия; цитирование Гомера; образование в римской провинции.

Гомер в греческом образовании и эллинизация южной Малой Азии

Среди античных авторов Гомер всегда занимал высшую позицию: он был самым родным, самым авторитетным, самым незаменимым, он был «неоспоримым воплощением греческой культуры» [Horsley 2000: 57]. По поэмам Гомера древние эллины учили своих детей читать и писать, и каждый писатель стремился украсить свое сочинение стихами из «Илиады» или «Одиссеи». Эти цитаты были настолько хорошо узнаваемы, что даже не нуждались в отсылках к их источнику. Жизнь древнего грека с самого детства проходила в сопровождении Гомера, и это воспринималось не просто как норма, но как неотъемлемая составляющая самой жизни. Поэтому когда эллины основывали колонии в землях других народов, они приносили с собой туда вместе со своими обычаями и верованиями также и своего бессмертного Гомера.

В 334–333 гг. до н. э. Александр Македонский прошел победоносным маршем через Малую Азию, что положило начало серьезным изменениям в жизни коренных народов этого региона. Вслед за македонской армией сюда хлынули потоки греческих переселенцев, и начался постепенный процесс эллинизации покоренных территорий. Уверенные в превосходстве своей культуры, эллины везде устанавливали привычные для них социальные и политические институты, а также вводили почитание своих богов. К местному населению они относились достаточно спокойно и скорее стремились переформатировать его под свои жизненные принципы, нежели уничтожить или прогнать с земли предков. Единственным, что подверглось жесткому и безжалостному устранению, оказались ликийский, писидийский и другие анатолийские языки. Языком общения был официально объявлен древнегреческий, и его предшественники были обречены. Живя бок о бок с народами Анатолии и нередко заключая смешанные браки, эллины незаметно и сами заимствовали у них некоторые обычаи и религиозные обряды.

В результате этой постепенной ассимиляции к периоду Римской империи в Ликии, Писидии, Памфилии и соседних с ними областях сложился весьма интересный тип общества: в его жизни, безусловно, превалировали устои эллинской культуры, но при этом они вобрали в себя достаточно много автохтонных элементов, соединившись с ними в неделимое целое. Эти люди говорили на древнегреческом языке, но часто называли своих детей именами далеких предков: надписи сообщают нам о Троилах, Трокондах, Осбарах, Обримотах, Кбедасиях и их женах Нанелидах, Коркенах, Армастах, Моланисах, Оа

и т. д. Городская архитектура следовала греческим канонам: здесь были построены театры, одеоны, булевтерии, храмы богов, гимнасии, бани, портики с колоннами, были обустроены мощенные камнями улицы и агора, – но при этом в погребальной архитектуре в каждой области сохранялись какие-то местные черты, и в одном некрополе нередко соседствовали греческие гирлянды и анатолийские двери, писидийские, например, щиты и римские портреты. В пантеоне богов господствовали эллинские боги, но их изображения следовали местным образцам: так, Аполлон, которого греки обычно изображали стоящим в полный рост и обнаженным, на обетных стелах из святилища в Перминунте в Писидии был представлен в виде восседающего на коне всадника [Delemen 1999: 43–46, 167–169 № 293–297]. На рельефе в святилище Педнелисса, тоже в Писидии, его изображение в хитоне, плаще и сапогах повторяло иконографию Аполлона Сидетского, известную по серебряным статерам из Сиды IV в. до н. э. [İşın 2014: 89–90]. В Гиераполе во Фригии была найдена статуя Аполлона Карейского III в. н. э., который был одет в хитон, плащ и сандалии и предположительно держал в руке обоюдоострый топор [Ritti 2006: 172–173]. В городах и возле них функционировали крупные святилища богов, а в сельской местности по-прежнему устраивались скальные обетные святилища под открытым небом, среди хозяев которых наравне с Гераклом, Аресом и Диоскурами были анатолийские божества Какасб [Delemen 1999: 5–38], Мен [Labarre 2009], Масес [Delemen 1999: 23–24, 163–164 № 280–285], Сумендис [Marksteiner et al. 2007: 253–277] и Триада Суровых–Справедливых богов [Приходько 2023].

Если сохранившиеся до наших дней многочисленные руины городов, святилищ и крепостей дают нам возможность составить представление об уровне эллинизации архитектуры и градостроительства, то определить, насколько была воспринята анатолийским населением греческая система образования, оказывается значительно сложнее. Понятно, что никакая сила не смогла бы заставить эллинов устранить из процесса обучения поэмы Гомера, и получавшие всестороннее образование дети городских элит учили и знали «Илиаду» и «Одиссею». Это знание помогало им в дальнейшем в повышении социального статуса: умение процитировать Гомера говорило о серьезном уровне образованности, а также демонстрировало «принадлежность к более престижной культуре» [Horsley 2000: 57]. Но возникает вопрос: стал ли Гомер для них столь же родным и незаменимым, каким он был для самих эллинов? Пользовались ли они его стихами только для самоутверждения или в этом проявлялся

душевный порыв и искренняя потребность приобщиться к величию его авторитета?

В поисках ответа на этот вопрос мы обратились к эпиграфическому материалу и в первую очередь к надписям, написанным гекзаметром и элегическим дистихом. Собственно, поэзия едва ли относилась к тем жанрам текстов, которые было принято вырезать на камне. Подавляющее большинство эпиграфических памятников – это требующие надежной фиксации документы, общественные или личные: законы, декреты, посвященные, погребальные, обетные надписи, – и их обычно составляли в строгой, лаконичной прозе. Однако у каждого правила бывают исключения, и когда человек заказывал вырезать на постаменте статуи или на гробнице надпись личного характера, он мог предоставить резчику вместо традиционной прозы небольшое стихотворение. Автором такого стихотворения мог быть как сам заказчик, так и кто-то из его окружения. Такие люди не были профессиональными поэтами, их имена, как правило, уже преданы забвению, но именно анализ текстов, написанных обычными горожанами, дает нам возможность оценить уровень их образованности, их знание поэмы Гомера и умение оперировать заимствованным из них материалом, тем более что отсутствие собственного поэтического дарования как раз и побуждало к использованию эпических

формул и цитат. Поэтические произведения, сохранившиеся в эпиграфических памятниках, как правило, остаются за пределами работ по древнегреческой литературе. Поэтому актуальность предпринятого исследования определяется как самой постановкой вопроса, так и материалом, на котором оно проводится.

В статье, посвященной поэзии жителей Термесса¹, нами уже были подробно рассмотрены три поэтические эпитафии (одной из них мы коснемся и в данной работе) и было показано, что почти 44 % текста этих эпитафий составлено из слов, которые либо принадлежали эпической традиции, либо входили в состав формулы, либо стояли в свойственной эпосу грамматической форме. Теперь же, как уже было сказано, попробуем найти примеры, где цитирование текста Гомера говорит об особом личном отношении к этому поэту.

Эпитафия императору Юлиану Отступнику в Тарсе

Текст первой надписи сохранился только в произведениях авторов XI–XII вв.: Георгий Кедрин (Vol. I, p. 539 Bekker (CSHB)) и Иоанн Зонара (Epit. Hist. p. 68 Büttner-Wobst (CSHB)) цитируют эпитафию, которая была вырезана на гробнице императора Юлиана Отступника в Тарсе [Merkelbach, Stauber 2002: 212, 19/13/03]:

Κύδνω ἐπ' ἀργυρόεντι ἀπ' Εὐφρήταο ῥοάων
Περσίδος ἐκ γαίης ἀτελευτήτῳ ἐπὶ ἔργῳ
κινήσας στρατιῇν τόδ' Ἰουλιανὸς λάχε σῆμα,
ἀμφοτέρων βασιλεὺς τ' ἀγαθὸς κρατερὸς τ' αἰχμητής, –

«Войско ведя из Персиды земель от потоков Евфрата,
У серебристого Кидна по жребию эту гробницу,
Пав, получил Юлиан – незаконченным дело осталось.
Равно он был императором славным и воином сильным»².

26 июня 363 г. во время похода в Персию император Флавий Клавдий Юлиан, или Юлиан Отступник, был смертельно ранен в битве в окрестностях Маранги. Его тело было сначала похоронено в Тарсе в Киликии, а затем перенесено в Константинополь. Написанная для погребения в Тарсе эпитафия, скорее всего, должна датироваться тем же 363 г. Автор этих гекзаметрических стихов активно опирался на эпическую традицию. В первом стихе эпитетом реки Кидна было выбрано прилагательное ἀργυρόεις «серебристый», образованное по тому же словообразовательному типу, что и целый ряд прилагательных в поэмах Гомера: κητώεις «изобилующий ущельями» (Il. II 581; Od. IV 1), φοινῆεις «крово-красный» (Il. XII 202; XII 220), ὀκρίεις «имеющий острые углы» (Il. IV 518; VIII 327; XII 380;

Od. IX 499), ὀκρυόεις «леденящий душу, ужасный» (Il. VI 344; IX 64), αἱματόεις «окровавленный, кровопролитный» (Il. II 267; V 82; VII 425; IX 326; IX 650 etc.), ἰχθυόεις «обильный рыбой» (Il. IX 4; IX 360; XVI 746; XIX 378; XX 392; Od. III 177; IV 381 etc.), δένδρῆεις «лесистый» (Od. I 51; IX 200), ἀστερόεις «звездный» (Il. IV 44; V 769; VI 108; VIII 46; XV 371 etc.), πτερόεις «крылатый» (Il. I 201; II 7; III 155; IV 69; IV 92 etc.), σκίοεις «тенистый» (Il. I 157; V 525; XI 63; XII 157; Od. I 365 etc), σιγαλόεις «сверкающий» (Il. V 226; V 328; VIII 116; VIII 137; XI 128 etc.), νιφόεις «снежный» (Il. XIII 754; XIV 227; XVIII 616; XX 385; Od. XIX 338), δακρυόεις «плачущий, вызывающий слезы» (Il. V 737; VI 455; VI 484; VIII 388; XI 601 etc.) и еще около четырех десятков слов. Само ἀργυρόεις впервые появляется в

«Алексифармака» Никандра Колофонского (54) и затем до разбираемой эпитафии больше нигде не зафиксировано. В использовании этого слова реализовались одновременно и желание автора украсить свое произведение очень редким словом, и его стремление творить в русле эпической традиции. Также начиная с Никандра Колофонского (245) и затем у Оппиана в «Кинегетике» (I 276; IV 112), у Дионисия Перизгета (977, 1003), в орфической «Литике» (263) и еще в нескольких произведениях встречается эпическая форма родительного падежа Εὐφρήταο, в то время как тоже эпическая форма родительного падежа множественного числа слова 'поток' ῥόων семь раз использована Гомером, причем в шести из этих случаев она так же, как и в эпитафии Юлиану, занимает исход стиха (II. III 5; IV 91; VI 4; VIII 560; XIX 1; Od. XXII 197; ср. Od. X 529).

Во втором стихе автор эпитафии употребил гомеровскую форму слова 'земля' γαῖης, которая в «Илиаде» и «Одиссее» в общей сложности встречается в пятидесяти контекстах (II. I 270; III 49; V 310; V 545; V 769 etc.), в том числе и с предлогом ἐκ (Od. VI 167; X 303). Но значительно интереснее словосочетание ἀτελευτήτῳ ἐπὶ ἔργῳ «при незавершенном деле», представляющее собой прямую цитату из Гомера. И тут важно подчеркнуть, что это выражение не является устойчивой формулой и у самого Гомера присутствует только в одном стихе (II. IV 175), а значит, мы вправе говорить именно о цитировании, а не о заимствовании эпической формулы. Кстати, кроме автора эпитафии это выражение (если не считать комментаторов Гомера) цитировал лишь Плутарх, причем только один раз (Ages. 15, 5), что говорит о более чем скромной популярности этого стиха.

Третий стих по своим смысловым словосочетаниям наиболее близок прозе. Выражение κινεῖν στρατιήν / στρατιάν «двинуть войско» с разными формами глагола κινέω, хотя и зафиксировано в приписываемой Еврипиду трагедии «Рес» (18; 38), употреблялось преимущественно прозаиками, а выражение σῆμα λαχεῖν «получить по жребию гробницу» даже в прозе было весьма редким и присутствует лишь в нескольких надписях, из которых только одна была найдена в Малой Азии: в ионийском городе Теосе (CIG 3118, 6). И всё же можно обратить внимание на ионийскую форму винительного падежа στρατιήν и на аорист

без аугмента λάχε – такие формы были свойственны эпосу.

Четвертый стих весь позаимствован из «Илиады» (III 179). У Гомера он больше нигде не встречается, и, следовательно, перед нами не формула, а еще одна цитата. «Равно и славным царем, и сильным воином» Елена называет в разговоре с Приамом Агамемнона. Получается, автор эпитафии сравнивает Юлиана с предводителем войска ахейцев, ставя знак равенства между царственностью одного и другого, и это сравнение опосредованно как бы снимает констатацию неудачного похода, выраженную первой цитатой. Слова о «незавершенном деле» произнес сам Агамемнон, когда, испуганный ранением Менелая, представил себе, как в случае смерти брата он со стыдом отправится назад в Аргос и не выполнит дела, ради которого приплыл к берегам Илиона. Другими словами, «незавершенным делом» у Гомера был гипотетически назван весь поход против Трои, главное военное предприятие ахейцев, а не какое-то отдельное местное начинание. Но ранение Менелая оказалось легким, Троя была завоевана, и Агамемнон вернулся домой со славой победителя – фраза о «незавершенном деле», сказанная им в минуту отчаяния, была опровергнута его собственными действиями. Юлиан не одержал победы и погиб на поле боя, и этот трагичный итог его жизни автор эпитафии пытается исправить через завуалированное сравнение с воином-победителем, уничтожившим город Приама. Перед читателем эпитафии, при условии его знакомства с поэмами Гомера, должно было возникнуть как бы два плана: на первом – проигравший битву и погибший Юлиан, на втором – завершивший свой поход победой Агамемнон, – и второй план, накладываясь на первый, словно закрывал факт поражения и поднимал погребенного до славы победоносного героя самой знаменитой войны.

Надпись на саркофаге Аристодема из Сидим

Вторая надпись была вырезана на саркофаге в городе Сидимы на юго-западе Ликии [ТАМ II.1 203]. Датируется она периодом Римской империи, написана элегическим дистихом и является акростихом – из первых букв каждого стиха складывается имя хозяина гробницы [Merkelbach, Stauber 2002: 35–36, 17/08/04]:

Α ἄνθρωπος καὶ γὰρ τις ἐὼν ταλα[σ]ίφρονι<ι> θυμῷ
Ρ ῥηϊδίου βίотου πᾶν τέλος ἐφρασάμην,
Ι ἔχνος ὅπου λήγει βιοτήσιον ἢ τί περισσόν
Σ σώματος ἐσσεῖται πνεύματος ἐκπταμένου.
Τ τούνεκα δὴ τόδ' ἔτευ[ξ]α [λ]ιθο[ξ]οϊκῇ χειρὶ ἄνγος³,
Ο ὄφρα μένη σκῆνος κᾶν κόνις οὔσα τύχη.

Δ δῶρα βίου τ[άδ]ε [μ]οῦνα ἐαυτῷ ἄφθονα τεύ[ξ]ας
 Н ἡμ[ε]τέρη τε [ἀλ]όχ[ω] Ναννίδι σεμνοτάτῃ,
 Μ μουνολεχῇ ζήσασι βίον μο[ύ]νοισι τε τύμβον
 Ο οἶκον ἔλευ[θ]ερίης σεμνοπρεποῦς ἐθέμην,
 Υ ὑμεῖν⁴ το[ῖς μ]ε[τ]έπειτα βίου ἀτρα[π]οῦς ὑπο[φ]αίνω[v].
 ἐκ [δ]ὲ ἀκρο[στι]χίδος γνῶθι, τὸ σῆμ[α] τίνος, –

«Будучи сам человеком, своим терпеливоразумным
 Духом обдумал я весь сладостной жизни конец:
 Где обрывается жизненный след, и в итоге от тела
 Что остается, когда вылетит вздох из груди?
 Каменотеса рукой потому и воздвиг я гробницу,
 Тело хранилось в ней чтоб, хоть превратилось бы в прах.
 Щедрые эти от жизни дары для себя я построил
 И для Наниды одной, нашей почтенной жены.
 Верность друг другу хранившим всю жизнь, досточтимой свободы
 Дом погребальный лишь нам только одним я воздвиг:
 Вам, поколениям грядущим, я жизни стези раскрываю.
 Ты же из акrostиха, чей саркофаг сей, узнай!»

Автор этой эпитафии – а по ее неординарности вполне можно допустить мысль о том, что им был сам Аристодем, – явно стремился создать оригинальное произведение и весьма умеренно обращался к эпической традиции. В эпитафии присутствует много словосочетаний, которые вообще не зафиксированы у других авторов, даже при учете разных падежных форм существительных и разных временных форм глаголов, например: ῥηιδίου βίτου «легкой жизни», βίτου τέλος «конец жизни», ἔχνος λήγει «след заканчивается», ἔχνος βιοτήσιον «жизненный след», περισσὸν σώματος «остающееся от тела», πνεύματος ἐκπταμένου «когда улетело дыхание», λιθοξοῖκῃ χερὶ «рукой каменотеса», μένη σκῆνος «[дабы] осталось тело», κόνις οὔσα τύχῃ «станет по случаю прахом», δῶρα βίου «дары жизни», μουνολεχῇ βίον «жизнь в верности супругу», ἐλευθερίης σεμνοπρεποῦς «досточтимой свободы», ἀτραποῦς ὑποφαίνων «показывающий тропинки», ἐκ ἀκροστιχίδος γνῶθι «узнай из акrostиха». Кроме того, несколько словосочетаний, использованных в эпитафии, встречаются у других авторов буквально в единичных контекстах: τέλος ἐφρασάμην «я обдумал конец», ἔτευξα ἄνγος «я воздвиг гробницу», δῶρα ἄφθονα «щедрое дары», ἀλόχῳ σεμνοτάτῃ «почтеннейшей супруге», τύμβον ἐθέμην «я построил гробницу», σῆμα τίνος – «кого гробница».

Однако за двумя из этих словосочетаний отчетливо просматриваются перефразированные эпические выражения. «Конец жизни» у автора эпитафии βίτου τέλος, а у Гомера дважды встречается βίτοιο τελευτή (Il. VII 104; XVI 787). Πνεύματος ἐκπταμένου «когда улетело дыхание» явно создано по аналогии с гомеровской формулой ἀπὸ δ' ἔπτατο θυμός «отлетел дух» (Il. XVI

469; Od. X 163; XIX 454; ср. Il. XXIII 880). Слово сочетание ῥηιδίου βίτου «легкой жизни» составлено из слов, каждое из которых по отдельности активно использовалось в поэмах Гомера: βίτος встречается там 40 раз, а ῥηιδίος и наречие ῥηιδίως – 27 раз. Впрочем, в окружении этих многочисленных синтаксических неологизмов имеются и настоящие гомеровские словосочетания: θυμῷ ἐφρασάμην «я обдумал духом» аналогично φράζετο θυμῷ (Il. XVI 646), φράζεο θυμῷ (Il. XV 595), φράσαντό τε θυμῷ (Il. XXIV 391), συμφράσσατο θυμῷ (Od. XV 202); δῶρα τεύξας «воздвигший дары» перекликается с δῶρα τετυγμένα «созданные дары» (Od. XVI 185) и δῶρα, τὰ οἱ Ἥφαιστος κάμε τεύχων «дары, создавая которые для него Гефест устал» (Il. XIX 368); ἡμετέρῃ ἀλόχῳ «нашей супруге» напоминает о гомеровских ἡμέτεραί τ' ἄλοχοι «наши супруги» (Il. II 136) и ἡμετέρης ἀλόχοισι «нашим супругам» (Il. VI 114). Также автор эпитафии не преминул воспользоваться гомеровскими словами и эпическими формами отдельных слов: ὄφρα, ἐών, ῥηιδίου, ἐσσεῖται, ἐκπταμένου, χερὶ, μοῦνα, ἡμετέρῃ, μούνοισι, ἐλευθερίης.

Но самое важное для нашего исследования – это появление в первом стихе прилагательного ταλασίφρων: Аристодем говорит о том, что обдумал всё ταλασίφρονι θυμῷ «терпеливоразумным духом». Точно такое же выражение у Гомера не встречается, хотя оно есть, например, у Тиртея (Fr. 5 West). Но само прилагательное ταλασίφρων выступает у Гомера устойчивым эпитетом Одиссея: из 13 случаев употребления только один раз таλασίφρων характеризует не Одиссея, а просто мужа (Il. XI 466; Od. I 87; I 129; III 84; IV 241; IV 270; V 31; XVII 34; XVII 114; XVII 292; XVII 510; XVIII 311; ср. Il. IV 421). Выбор именно это-

го эпитета едва ли был случайным. Через него Аристодем попытался выразить главную черту своего характера и сравнил себя со знаменитым царем Итаки. Иными словами, мы вновь наблюдаем ситуацию, когда привлечение гомеровского эпитета расширяет смысловые рамки эпитафии и к тому же дает определение ее автору: он мог описать себя любыми словами и неожиданными неологизмами, но для самого себя, для выражения сути своего мировосприятия он предпочел

прибегнуть к гомеровскому эпитету, отдавая дань его выразительности, глубокому смыслу и культурной значимости.

Эпитафия Мосхаро из Коринфа в Тельмессе

На одной из гробниц римского времени в Тельмессе в западной Ликии была вырезана короткая эпитафия, написанная элегическим дистихом [Merkelbach, Stauber 2002: 13, 17/03/03]:

Μοσχάρῳ ἐξ Ἐφύρης πινυτὴ φρένας | ἐνθάδε κεῖμαι
ὥδῃσι τριδύμων θυμὸν | ἀφεῖσα τέκνων |
Ξεινιάδης δέ μ' ἔθαπεν ἐμὸς πόσις | εὐκτὰ πέπονθα |
ἄνδρὶ τε καὶ δισσοῖς | παισὶ προπεμπομένη, –

«Благоразумная, здесь я лежу, Мосхаро из Эфиры,
Тройню рожая на свет, свой испустила я дух.
Похоронил меня муж Ксениад, и отрадно мне было –
Двое детей и супруг в путь проводили меня».

Эта скромная эпитафия, излагающая, как умерла Мосхаро и как проходили похороны, уже по своему содержанию оставляла весьма мало возможностей для использования эпического материала. И всё же автор – возможно, это был сам Ксениад – смог задействовать в ней отдельные гомеровские слова – Ἐφύρη, πινυτός φρήν, θυμός, πόσις, εὐκτός – и даже обыграл два эпических выражения: θυμὸν ἀφεῖσα «испустившая дух» заменило синонимичное гомеровское θυμὸν ἀποπνεύων (Il. IV 524; XIII 654), а πινυτὴ φρένας «разумная умом», где πινυτὴ – это прилагательное, внешне совпало с πινυτὴ φρένας ἔκει «благоразумие овладевает разумом», где πινυτὴ – это существительное (Il. XX 228). При этом встречающееся один раз у Гомера (Il. XIV 98) прилагательное εὐκτός оказалось дополнением при глаголе πέπονθα, образовав синтаксический неологизм.

Мосхаро была родом из Коринфа. Но автор эпитафии сознательно заменил современное ему название этого города на древнее, знакомое Гомеру название Эфиры (Il. VI 152; VI 210). Также

главным эпитетом, характеризующим Мосхаро, он выбрал πινυτὴ «благоразумная», то есть именно то слово, которое было устойчивым эпитетом Пенелопы (Od. XI 445; XX 131; XXI 103; XXIII 361). А значит перед нами еще одно завуалированное сравнение, и обращение к Гомеру снова происходит ради более объемного описания той, кому была посвящена эпитафия: Мосхаро была не просто разумной, а столь же благоразумной, как и супруга Одиссея.

Надпись термессца Конона, созданная в Риме

В Риме, далеко от Малой Азии, была найдена мраморная стела I–II вв., воздвигнутая жителем писидийского города Термесса Кононом, сыном Гермея, в память о двух его соотечественниках, умерших в Риме (IGUR III 1204). Эпитафия написана гекзаметром: первые шесть стихов от имени первого умершего, сына Орфагора, вторые шесть – от имени второго умершего, Гермея, сына Артимы. Последняя строка в прозе объявляла имя создателя стелы [Arroyo-Quirce 2017: 131]:

Τερμησσὸν ναίων Σολύμοις | ἐνὶ κυδαλίμοισι |
ἤλυθον ἐς Ῥώμην τρίτος | ἀστῶν κῆρι πιθήσας· |
ἀλλὰ θανὼν ἡβῶν συνοδύπορον⁵ | Ἀῖδος ἐ[ῖ]σω
δεύτερον αὐτ' ἀνέμεινα | [τ]ὸν ἐκ πάτρης ἄμ' ἰόντα· |
[ἀμ]φοῖν δ' ὁστέα κεῖται | [ὁ]μοῦ νοῦς[ο]ισι καμόντων, |
[...] νου Ὀρθαγόρου παιδὸς | [βλ]ο[σ]υροῦ τε Ἑρμαίου. |
σο[ῖ] δ' ἐ[γ]ώ, Ὀρθαγόρειο τέκος, | προϊόντι κατ' αἶσαν |
εἰς Αἶδαο δόμους συνεφέσπ[ο]μαι | ἡίθεος φώς, |
Ἑρμαῖος Ἀρτείου Σολυ[μη]ίδος | αὐτ' ἀπὸ γαί[ας]. |
σάρκας μὲν πῦρ νῶ[ιν] ἐδαί[σα]το, | ὅστ' αὖ κεῦθ[ει] |
ἦδε χθὼν πάμφορβο[ς], ἀτὰρ | ψυχαὶ θεόπεμπτοι |
οἴχεσθον κατὰ γῆς ἐνὶ δαίμονι | ξυνὰ κέλευθα. |
Κόνων Ἑρμαίου [τ]οῖς φίλο[ις] | μνήμης χάριν, –

«Жил я в Термессе среди достославных солимов и прибыл,
Сердцу доверившись, в Рим – из сограждан со мной было двое, –
Возраст цветущим мой был, но я умер и в царстве Аида
Спутника также дождался, с кем с родины вместе уехал.
Кости обоих лежат, от болезней скончались мы оба,
Сын Орфагора, [Парме]н⁶, и Гермей столь степенный по нраву.
Я за тобой, Орфагора дитя, в дом Аида сошедшим
Прежде меня – суждено так, – последовал, муж неженатый,
Чад Артима, Гермей, из отечества Солимеиды.
Плоть нашу выжег огонь, и земля всекормящая кости
В недрах скрывает своих, между тем богоданные души
Общей под землю дорогой спускаются с даймоном тем же.
Конон, сын Гермей, друзьям ради памяти».

Автором этой двойной эпитафии, скорее всего, был сам Конон, сын Гермей: ведь он фактически подписал эти гексаметры своим именем, и, кроме того, следуя традиции Термесса (о ней свидетельствуют надписи из этого города: [ТАМ III.1 18, 4; 103, 5; 135, 6–7; 548, 9]), назвал его жителей солимами, а сам город – Солимеидой; нанятый римский поэт едва ли бы знал такие подробности местного термесского словоупотребления. Текст Конона изобилует гомеровскими словами: ναίω, ἐνί, κυδαλίμος, ἐς, κῆρ, Αἴδης, αὐτε, πατήρ, νοῦσος, τέκος, αἶσα, δόμος, φῶς, γαῖα, δαίω, κεῦθω, χθών, ξυνός, κέλευθα – и свойственными эпосу грамматическими формами: κυδαλίμοισι, ἦλυθον, πιθήσας, θανών, Ἀἴδος, πατρὸς, ὅστέα, νοῦσοισι, Ὀρθαγόριοι, Αἴδαο, νῶιν. Нередко Конон включает в свои стихи и гомеровские формулы: Σολύμοις ἐνὶ κυδαλίμοισι «среди славных солимов» отличается от соответствующего выражения у Гомера только наличием предлога и окончанием этнонима (II. VI 184; VI 204); формула Ἀἴδος εἶσω «в Аиде» занимает исход стиха – именно в такой позиции она всегда встречается у Гомера (II. III 322; VI 284; VI 422; VII 131; XI 263; XIV 457; XXII 425; XXIV 246; Od. IX 524; XI 150; XI 627; XXIII 252); ὅστέα κεῖται «кости лежат» (Od. XIV 135; XXIV 76); κατ' αἶσαν «в соответствии с судьбой» (II. III 59; VI 333; X 445; XVII 716) имеет у Гомера еще вариант ὑπὲρ αἶσαν «сверх судьбы» (II. III 59; VI 333; VI 487; XVI 780; XVII 321), который, как и в эпитафии, может занимать тесис пятой стопы и шестую стопу; εἰς Αἴδαο δόμον «в дом Аида» стоит, как и у Гомера, в начале стиха (Od. X 175; X 491; X 564; XIV 208); формула ἀπὸ γαί[ας] – «из земли» реконструирована издателями с ошибкой: в эпической традиции она пишется через букву *эту* ἀπὸ γαίης, причем не только у Гомера (II. VIII 16), но и у Гесиода (Theog. 715), в орфических гимнах (XXIX 17; XXXVI 14; LVI 12) и т. д. Выражение χθὼν πάμφορβος «всекормящая земля» определенно является переделкой

metri causa гомеровского выражения γαῖα πολύφορβος (II. IX 568; XIV 200; XIV 301).

Из всех этих эпических элементов самым весомым с точки зрения смысла эпитафии следует признать выражение Σολύμοις ἐνὶ κυδαλίμοισι «среди славных солимов». Жители Термесса считали себя потомками древнего племени солимов, которые, согласно Страбону, «занимали вершины Тавра вокруг Ликийи вплоть до Писидии, причем самые высокие» (I 2, 10). Именно этих солимов дважды упомянул Гомер: в «Илиаде» Главк, сын Гипполоха, рассказал Диомеду, что его дед Беллерофонт «сражался со славными солимами» (VI 184) и что Арес убил Исандра, сына Беллерофонта, когда тот «сражался со славными солимами» (VI 204). О солимах писали Геродот (I 173) и Тимаген Милетский (Steph. Byz. Ethnica M187 (s.v. Μιλούαι) Billerbeck). Но когда в далеком Риме Конон потерял двух друзей и хотел подчеркнуть в эпитафии, что их объединяло – а на чужбине это казалось особо важным – происхождение из родного для них Термесса, он выбрал именно гомеровское выражение и назвал свой народ «славными солимами». Иначе говоря, слова Гомера опять были призваны для того, чтобы раскрыть то самое основополагающее, что сплотило в Риме молодых людей и из чего они черпали силы, указать на их исторические корни.

Вступление к алфавитному оракулу в скальном святилище на территории Адад

Есть в нашем распоряжении и удивительный пример цитирования Гомера в прозе. В Писидии на землях города Адады на скале возле дороги было устроено скальное святилище с алфавитным оракулом⁷. Тексту оракула предшествовало прозаическое вступление [Sterrett 1888: 311–314; Nollé 2007: 232]:

δέσποτα Ἀπολλων καὶ Ἑρμεία, ἡγεῖσθαι | Ἀντίοχος
καὶ Βιάνωρ· παροδείτα, ἴσδευ καὶ | χρησμῶν ἀρετῆς
ἀπόλαυσον ἡμεῖν | γὰρ ἐκ προγόνων· μαντοσύνην τήν
οἱ πόλ[ε]ς⁸ Φοῖβος Ἀπόλλων, –

«Владыка Аполлон и Гермес, предводительствуют. Антиох и Бианор [говорят]: Путник, присядь и вкуси от высокого мастерства прорицаний. Мы ведь [получили] от предков “пророческое дарование, которое дал ему Феб Аполлон”».

Процитированный здесь почти полностью стих принадлежит первой песне «Илиады»: поэт рассказывает, что прорицатель Калхант привел ахейские корабли к Илиону «благодаря своему пророческому дарованию, которое дал ему Феб Аполлон» (ἦν δὲ μαντοσύνην, τὴν οἱ πόρϛ Φοῖβος Ἀπόλλων, I 72). Составляя вступление к алфавитному оракулу, Антиох и Бианор вставили этот стих, отбросив лишь первые два слова, в свой текст без какой-либо отсылки к Гомеру, а значит, они были уверены, что используемая ими цитата и без указания источника будет для всех вполне очевидной. Но ради чего обратились они к словам Гомера? Эти два жителя Адад задумали создать у дороги, которая вела от их города на запад, маленькое прорицалище под открытым небом. На скале был вырезан текст алфавитного оракула – то есть двадцать четыре одностишных прорицания, каждое из которых начиналось с последующей буквы греческого алфавита. По верованиям того времени, подобная надпись вызывала появление возле себя оракула, вещего духа места. Именно благодаря посредничеству оракула вопрошавший обращался за помощью к божеству и получал из камешков с обозначенными на них буквами тот, который указывал на возвещаемый ему богом ответ. Желая подтвердить свое право основывать подобное святилище, Антиох и Бианор объявляют во вступлении о своей принадлежности к древнему пророческому роду. Эллины всегда верили, что дар прорицания передается по наследству, и принесли эту веру в том числе и народу Писидии. Поэтому Антиоху и Бианору для доказательства своего пророческого дарования важно было, в соответствии с эллинской традицией, назвать имя пророка-основоположника их рода. Но вместо того, чтобы прямо сказать, что, мол, наш род восходит к прославленному Калханту, завоевавшему с ахейцами Трою, они выбрали из текста Гомера именно ту фразу, которая не просто указывала на Калханта, но и авторитетом великого поэта подтверждала происхождение его пророческого дара от самого Аполлона. В том, что в писидийской глубинке некий, скорее всего, весьма знатный род – вырезать на скале столь длинную надпись было делом достаточно затратным – объявлял своим далеким предком Калханта, нет ничего удивительного, если вспомнить, что по после окончания Троянской войны Калхант путешествовал по Малой Азии и почитался, например, основателем писидийского города

Сельги (Strab. XII 7, 3), чьи земли лежали к юго-востоку от Адад.

Стихи Гомера для выражения самого важного, или Заключение

Все рассмотренные нами надписи свидетельствуют не только о том, что к периоду Римской империи жители южных областей Малой Азии считали себя частью эллинского мира и представители городских элит получали достойное образование и обладали хорошим знанием поэм Гомера, но и о том, что эти люди, никогда не забывавшие о своих анатолийских корнях, признали принесенного им переселенцами Гомера своим великим поэтом и обращались к его стихам для выражения самых важных мыслей как о своих близких, так и о самих себе и об историческом прошлом своего рода. Их родственники по своим нравственным качествам были такими же, как и гомеровские герои, и словами поэта эллинов они с гордостью говорили о своем совсем не эллинском происхождении.

Примечания

¹ См.: Приходько Е. В. Гомер в поэзии потомков «славных солимов» // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2023. Т. 45, № 7. С. 49–56.

² Все представленные в этой статье переводы – как прозаические, так и поэтические – выполнены автором. Кроме надписи из Рима, все поэтические переводы публикуются впервые.

³ ἄνθρωπος = ἄγγος.

⁴ ὕμειν = ὕμιν.

⁵ Συνοδοπόρον = συνοδοιπόρον.

⁶ От имени сына Орфагора на камне сохранилась только одна буква ν, поэтому в переводе имя было добавлено произвольно.

⁷ Полный русский перевод алфавитного оракула из святилища на территории Адад можно найти на с. 202–203 в работе: Приходько Е. В. Адады – древний город центральной Писидии. Часть I // Аристей. Вестник классической филологии и античной истории. 2014. Т. X. С. 181–219.

⁸ Πόρϛ = πόρϛ.

Список литературы

Приходько Е. В. «Суровые боги» становятся «Справедливыми богами», или Об одном местном культе высокогорий Кибиратиды, Милиады и северной Ликии // Индоевропейское языкознание и классическая филология XXVII (2) (чтения памяти И. М. Тронского): материалы Междунар. конф., (26–28 июня 2023 г.) / гл. ред. Н. Н. Казанский. СПб.: ИЛИ РАН, 2023. С. 946–994.

Arroyo-Quirce H. Glorious Solymi. Homer and a Neglected Inscription Concerning Pisidian Termessos

at Rome // *Epigraphica Anatolica*. 2017. Heft 50. P. 129–132.

Delemen İ. *Anatolian Rider-Gods. A Study on Stone Finds from the Regions of Lycia, Pisidia, Isauria, Lycaonia, Phrygia, Lydia and Caria in the Late Roman Period*. (Asia Minor Studien. Bd. 35). Bonn: Dr. Rudolf Habelt GMBH, 1999. 228 p.

Horsley G. H. R. *Homer in Pisidia: Aspects of the History of Greek Education in a Remote Roman Province* // *Antichthon*. 2000. Vol. 34. P. 46–81.

IGUR – *Inscriptiones Graecae Urbis Romae* / Curavit L. Moretti. Vol. 1–4. Rome: Instituto Italiano per la Storia Antica, 1968–1990.

Işın G. *The Sanctuaries and the Cult of Apollo in Southern Pisidia* // *Anadolu / Anatolia*. 2014. Bd. 40. P. 87–104.

Labarre G. *Les origines et la diffusion du culte de Men* // Bru H., Lebreton S., Kirbilher F. (éds.). *L'Asie Mineure dans l'Antiquité: échanges, populations et territoires. Regards actuels sur une péninsule*. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2009. P. 389–414.

Marksteiner Th., Stark B., Wörrle M., Yener-Marksteiner B. *Der Yalak Başı auf dem Bonda Tepesi in Ostlykien. Eine dörfliche Siedlung und ein ländlicher Kultplatz im Umland von Limyra* // *Chiron*. 2007. Bd. 37. S. 243–292.

Merkelbach R., Stauber J. *Steinepigramme aus dem Griechischen Osten*. Bd. 4. Die Südküste Kleinasien, Syrien und Palaestina. München; Leipzig: K. G. Saur Verlag, 2002. 471 S.

Nollé J. *Kleinasiatische Losorakel. Astragal- und Alphabetchresmologien der hochkaiserzeitlichen Orakelrenaissance*. München: Verlag C. H. Beck, 2007. 331 S.

Ritti T. *An Epigraphic Guide to Hierapolis (Pamukkale)* / Translated from the Italian by P. Arthur. İstanbul: Ege Yayınları, 2006. 211 p.

Sterrett J. R. S. *The Wolfe Expedition to Asia Minor* (Papers of the American School of Classical Studies at Athens. Vol. III. 1884–1885). Boston: Damrell und Upham, 1888. 448 p.

TAM – *Tituli Asiae Minoris*. Wien, 1901–.

References

Prikhod'ko E. V. 'Surovye bogi' stanovyatsya 'Spravedlivymi bogami', ili ob odnom mestnom kul'te vysokogoriy Kibiratidy, Miliady i severnoy Likii [The 'Severe gods' become the 'Fair gods', or about one local cult of the highlands of Kibyrtis, Milyas and northern Lycia]. *Indoevropeyskoe yazykoznanie i klassicheskaya filologiya XXVII (2)* [Indo-European Linguistics and Classical Philology XXVII (2)]: Proceedings of the 27th Conference in Memory of Professor Joseph M. Tronsky, St. Petersburg, June 26–28, 2023. Ed. by N. N. Kazanskiy. St. Petersburg, Institute for Linguistic Studies, RAS Publ., 2023, pp. 946–994. (In Russ.)

Arroyo-Quirce H. *Glorious Solymi. Homer and a neglected inscription concerning Pisidian Termessos at Rome*. *Epigraphica Anatolica*, 2017, issue 50, pp. 129–132. (In Eng.)

Delemen İ. *Anatolian Rider-Gods. A Study on Stone Finds from the Regions of Lycia, Pisidia, Isauria, Lycaonia, Phrygia, Lydia and Caria in the Late Roman Period*. (Asia Minor Studien. Vol. 35). Bonn, Dr. Rudolf Habelt GMBH, 1999. 228 p. (In Eng.)

Horsley G. H. R. *Homer in Pisidia: Aspects of the history of Greek education in a remote Roman province*. *Antichthon*, 2000, vol. 34, pp. 46–81. (In Eng.)

IGUR – *Inscriptiones Graecae Urbis Romae* [Greek inscriptions of the city of Rome]. Ed. by L. Moretti. Rome, Instituto Italiano per la Storia Antica, 1968–1990, vols. 1–4. (In Ital.)

Işın G. *The sanctuaries and the cult of Apollo in Southern Pisidia*. *Anadolu / Anatolia*, 2014, vol. 40, pp. 87–104. (In Eng.)

Labarre G. *Les origines et la diffusion du culte de Men* [The origins and spread of the cult of Men]. Ed. by H. Bru, S. Lebreton, F. Kirbilher. *L'Asie Mineure dans l'Antiquité: échanges, populations et territoires. Regards actuels sur une péninsule* [Asia Minor in Antiquity: Exchanges, Populations and Territories. Current Views on the Peninsula]. Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2009, pp. 389–414. (In Fr.)

Marksteiner Th., Stark B., Wörrle M., Yener-Marksteiner B. *Der Yalak Başı auf dem Bonda Tepesi in Ostlykien. Eine dörfliche Siedlung und ein ländlicher Kultplatz im Umland von Limyra* [The Yalak Başı on Bonda Tepesi in East Lycia. A rural settlement and a rural place of worship in the surrounding area of Limyra]. *Chiron*, 2007, vol. 37, pp. 243–292. (In Ger.)

Merkelbach R., Stauber J. *Steinepigramme aus dem Griechischen Osten* [Stone Epigrams from the Greek East]. Munich, Leipzig, K. G. Saur Verlag, 2002, vol. 4. Die Südküste Kleinasien, Syrien und Palaestina [The Southern Coast of Asia Minor, Syria, and Palestine]. 471 p. (In Ger.)

Nollé J. *Kleinasiatische Losorakel. Astragal- und Alphabetchresmologien der hochkaiserzeitlichen Orakelrenaissance* [Asia Minor Dice Oracle. Astragal- and Alphabetical Oracles of the Oracle Renaissance in the Period of the Roman Empire]. Munich, Verlag C. H. Beck, 2007. 331 p. (In Ger.)

Ritti T. *An Epigraphic Guide to Hierapolis (Pamukkale)*. Transl. from Italian by P. Arthur. İstanbul, Ege Yayınları, 2006. 211 p. (In Eng.)

Sterrett J. R. S. *The Wolfe Expedition to Asia Minor* (Papers of the American School of Classical Studies at Athens. Vol. III. 1884–1885). Boston, Damrell und Upham, 1888. 448 p. (In Eng.)

TAM – *Tituli Asiae Minoris* [The Inscriptions of Asia Minor]. Wien, 1901–. (In Lat.)

The Tradition of Quoting Homer as a Way of Identification in the Inscriptions of Southern Asia Minor

Elena V. Prikhodko

Associate Professor in the Department of Classical Languages

Lomonosov Moscow State University

1, Leninskie gory, Moscow, 119991, Russian Federation. aristonica@list.ru

SPIN-code: 7419-4179

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-4843-6967>

ResearcherID: JFK-9486-2023

Submitted 13 Nov 2023

Revised 17 Dec 2023

Accepted 05 Feb 2024

For citation

Prikhodko E. V. Traditsionnoe tsitirovanie Gomera kak sposob identifikatsii v nadpisyakh yuzhnoy Maloy Azii [The Tradition of Quoting Homer as a Way of Identification in the Inscriptions of Southern Asia Minor]. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2024, vol. 16, issue 3, pp. 81–90. doi 10.17072/2073-6681-2024-3-81-90 (In Russ.)

Abstract. After the conquests of Alexander the Great, many Greeks migrated to the southern regions of Asia Minor, including Lycia, Pisidia, Pamphylia, and Cilicia. They brought along their cultural traditions, which gradually merged over several centuries with the most enduring aspects of the indigenous culture. The ancient Greek language completely supplanted the Lycian, Pisidian, and other Anatolian languages. Education followed the established Greek canons, with Homer's poems serving as primary texts. But, while the ruins of cities that have survived to this day provide an opportunity to gain an idea of the Hellenization of architecture, it is much more difficult to assess the extent to which the Anatolian population was able to familiarize itself with the Greek education system. The author of the article aims to establish the level of familiarity of the inhabitants of southern Asia Minor with the poems of Homer, to determine their personal attitude toward this poet, and argues that only inscriptions found in this region can be the material for such research, namely inscriptions written not in prose, but in hexameter or elegiac distich. Epigraphic material usually stands outside the scope of literary studies. Therefore, the relevance of this work lies not only in the formulation of the research problem but also in the choice of material for research. The article examines in detail four epitaphs. Their text indicates a very close familiarity of their creators with Homer's poems. But even more sticking is the fact that there were quotations from the *Iliad* or the *Odyssey* in these epitaphs, and these quotations served to identify or even self-identify the one to whom these short poems were dedicated. One such quotation even appears in a prose inscription from the Adada city territory. These examples signify that during the Roman Empire, Homer evolved into an undisputed authority for the descendants of the original inhabitants of Anatolia, the same as he had always been for the ancient Greeks themselves.

Key words: Tarsus; Sidyma; Telmessos; Termessos; Adada; Homer; Hellenization; epitaph; quoting Homer; education in the Roman province.

УДК 811.161.1'37
doi 10.17072/2073-6681-2024-3-91-99
<https://elibrary.ru/ryyqtk>

EDN RYYQTK



Концептуализация и категоризация события «повреждение» в русском языке: фреймовое моделирование лексико-семантической группы глаголов

*Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда планирования философских
и социальных наук города Тяньцзинь (проект № TJYYQN23-003) и Фонда фундаментальных
научных исследований центральных университетов Китая (проект № 63232123)*

Сюй Лили**к. филол. н., преподаватель факультета русского языка****Институт иностранных языков, Нанькайский университет**300071, Китай, г. Тяньцзинь, ул. Вэйцзинь, 94. lili1324559882@outlook.com

SPIN-код: 3078-4086

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5459-2975>**Чжу Цзиньсюань****студентка факультета русского языка****Институт иностранных языков, Нанькайский университет**300071, Китай, г. Тяньцзинь, ул. Вэйцзинь, 94. 2909588495@qq.com*Статья поступила в редакцию 27.09.2023**Одобрена после рецензирования 08.01.2024**Принята к публикации 10.02.2024***Информация для цитирования**

Сюй Лили, Чжу Цзиньсюань. Концептуализация и категоризация события «повреждение» в русском языке: фреймовое моделирование лексико-семантической группы глаголов // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2024. Т. 16, вып. 3. С. 91–99. doi 10.17072/2073-6681-2024-3-91-99

Аннотация. В статье глаголы рассматриваются не просто как обозначение действия или состояния предмета, но как основное средство вербализации и объективации концептуального содержания и категориальной структуры событий, существующих в сознании носителей языка. С помощью системного анализа лексико-семантической группы глаголов выявляются особенности концептуализации и категоризации события «повреждение» в лексической системе русского языка. Путем классификации семантических компонентов глаголов повреждения раскрывается фреймовая структура языковой репрезентации события «повреждение». Устанавливается, что ключевыми составляющими в концептуальном фрейме категории события «повреждение» являются слоты «объект повреждения», «способ повреждения» и «результат повреждения». В каждом из слотов фрейма выделяются разные подкатегории события «повреждение». В слоте «объект повреждения» можно выделить повреждение объектов материального мира, репрезентируемое в прямых значениях глаголов, и повреждение объектов идеального мира, выражаемое с помощью метафорического переноса глагольной семантики. В зависимости от способа повреждения выявляются повреждения, причиняемые острыми предметами или оружием, частями тела одушевленных существ, высокой или низкой температурой, сильным давлением или ударом, а также длительным использованием. В соответствии с результатом повреждения выделяются такие подкатегории, как «образование дыр, отверстий, трещин», «появление борозды на поверхности предмета или неглубоких ранок на теле в виде узких полосок», «от-

деление объекта от его основания», «появление мозоли», «изменение чистоты объекта», «причинение вреда на многих местах».

Ключевые слова: глаголы повреждения; концептуализация; категоризация; процессуально-событийный мир; фрейм.

Введение

Глагол, как наиболее сложная часть речи, занимает особое место в лексической системе любого языка. В связи с уникальностью и сложностью глаголов их изучение привлекает внимание исследователей разных стран и различных лингвистических областей на протяжении многих лет. С формированием когнитивной парадигмы в языкознании всё больше лингвистов начинают обращать внимание на функциональные и познавательные характеристики семантики глаголов. Исследование семантики глагола, как указывает известный когнитивный лингвист Е. С. Кубрякова, ставит вопрос о том, «к наречению каких сущностей глагол приспособлен, какие структуры знания стоят за ним, какая информация вербализуется при подведении ее под тело такого знака, как глагола» [Кубрякова 1992: 84]. С когнитивной точки зрения функция глагола – далеко не обозначение действия или состояния предмета. Он чаще всего понимается как «схватывающий концептуально некие конституирующие части реально существующего положения дел» [Кубрякова 1997: 285] или «языковая форма, отражающая определенный пласт человеческого опыта – различные отношения между предметами, людьми, самого человека к окружающему миру» [Киселева 2011: 28]. По нашему мнению, глагол представляет собой важнейшее средство языковой концептуализации и категоризации процессуально-событийного мира. В семантике глагола скрывается совокупность знаний и представлений об определенной ситуации. Когнитивное исследование глаголов позволяет проникнуть в ментальное содержание событийных концептов и выявить познавательные модели организации и репрезентации знаний о действительности, зафиксированных в семантике глаголов.

Основной целью данной работы является изучение фреймовой модели концептуализации и категоризации события «повреждение» в глагольной системе русского языка. Выбор глаголов повреждения в качестве объекта исследования обусловлен их богатством и разнообразием в русском языке, широкой употребляемостью в коммуникативных ситуациях, а также значимостью данной категории для познания мира. Ключевыми задачами работы являются следующие: 1) рассмотрение роли лексико-семантической группы глаголов в концептуализации и категоризации процессуально-событийного мира; 2) классификация глаголов повреждения на основе ана-

лиза их семантических компонентов; 3) фреймовое моделирование концептуального содержания и категориальной структуры события «повреждение». В ходе исследования применены методы описания, классификации, когнитивной интерпретации, компонентного анализа, дистрибутивного анализа, морфологического анализа и контекстуального анализа. Эмпирическим материалом послужили глаголы повреждения, взятые из Толкового словаря русских глаголов [Бабенко 1999], и контексты их употребления в Национальном корпусе русского языка [НКРЯ].

Лексико-семантическая группа глаголов как средство концептуализации и категоризации процессуально-событийного мира

Когнитивная лингвистика как актуальное направление современного языкознания исследует язык как «общий когнитивный инструмент – систему знаков, играющих роль в репрезентации (кодировании) и в трансформировании информации» [Кубрякова 1997: 35]. Центральным вопросом в данном направлении является раскрытие особенностей концептуализации и категоризации человеческого опыта, которые считаются основными способами восприятия, осмысления и познания человеком окружающего мира, а также важнейшими механизмами когнитивной отработки и переработки поступающей к человеку информации. В научной литературе *концептуализация* определяется как «осмысление поступающей информации, мысленное конструирование предметов и явлений», *категоризация* – как «деление мира на категории, т. е. выделение в нем групп, классов, категорий аналогичных объектов или событий» [Болдырев 2014: 37–38]. Целью первого является выделение минимальных содержательных единиц человеческого опыта, структур знания – образование определенных представлений о мире в виде концептов. Цель второго заключается в объединении сходных или тождественных единиц в более крупные группы, разряды, распределении знаний о мире по определенным категориям. Между концептами и категориями существует взаимообусловленное отношение. Оба они «суть ментальные структуры, своеобразные кванты знания, которыми оперирует человек в процессе мышления» [Шафиков 2007: 3]. Сложение концептов опирается на процесс категоризации характеристик предметов или явлений действительности, в то же время категории складывают-

ся при помощи сложившихся концептов. По словам С. Г. Шафикова, «категории объединяют гомогенные множества (концепты), а концепты объединяют гетерогенные множества (категории). Чем выше по шкале “конкретное” – “абстрактное” мы движемся, тем явственнее происходит процесс перехода концептов в категории» [там же]. Таким образом, по степени обобщения можно выделить концепты высокого уровня (макроконцепты) и концептов низкого уровня (микроконцепты). Концепты более высокого уровня обобщения могут совпадать с категориями по отношению к одним и тем же ментальным структурам, что приводит к взаимной замене наименования концепта и категории, связанных с однородными явлениями.

На языковом уровне главным способом репрезентации концептуализации и категоризации мира является семантическая систематизация языковых единиц, которая позволяет рассмотреть, «какие структуры знания репрезентируются в категориях, как происходит формирование категории в языковом сознании, какое концептуальное содержание служит базой объединения слов в категорию» [Плотникова 2012: 118]. Всё сущее в познавательной картине мира человека можно отнести к двум основным макрокатегориям – субстанционным и процессуально-событийным. Категория субстанционного мира тесно связана со статическим аспектом бытия, включает в себя совокупность предметов-субстанций, наделенных признаками и связанных отношениями. Типичными средствами языковой репрезентации этой категории являются имена существительные и определяющие их имена прилагательные. А категория процессуально-событийного мира представляет собой совокупность процессов, действий, событий. Для репрезентации этих знаний ведущую роль играют глаголы. Поэтому суть когнитивного исследования глаголов заключается «в выявлении связей глаголов с обозначаемым ими фрагментом процессуально-событийного мира» [Плотникова 2005: 68], то есть в моделировании ментальной структуры событийного концепта и категории при помощи анализа семантического пространства репрезентирующей их группы глаголов.

Следует отметить, что субстанционный мир и процессуально-событийный мир не противоречат друг другу, а тесно связаны друг с другом. Формирование процессуально-событийного мира в большой степени основывается на связи и отношении между объектами субстанционного мира. Поэтому в современной когнитивной лингвистике глагол рассматривается «не столько как обозначение процессов, действий или состояний, сколько как обозначение свернутых ситуаций,

относящихся к описанию положения дел, прежде всего межпредметных связей и отношений» [Кубрякова 1985: 148]. По мнению Л. И. Гришаевой, глаголы являются «узлом когний», так как они способны «активизировать в голове коммуникантов когниции о познанных ими взаимосвязях между объектами внеязыковой действительности, то есть задать параметры соответствующего кадра внеязыковой действительности» [Гришаева 1999: 20].

В работах многих лингвистов отмечалось, что глагольная лексика как свернутое отображение процессуально-событийного мира характеризуется сложной и многоаспектной семантической структурой [Уфимцева 1986; Апресян 2004; Бабенко 1998; Падучева 2004; Плотникова 2005; Гришаева 1999; Киселева 2011]. В ней возможно имплицировать массу информации об участниках представляемой им ситуации, включая субъект и объект, темпоральные и пространственные характеристики, количественные признаки, причину, способ, средство, результат, цель и другие компоненты. Согласно Н. Н. Болдыреву, концептуализация и категоризация события «обусловлены осмыслением роли тех или иных участников события, их важнейших характеристик и характеристик самого действия, процесса, состояния или отношения, раскрывающего суть события» [Болдырев 2014: 144] и «определяются пропозиционализацией события, представлением этого события в виде пропозиции, включающей обязательные и факультативные элементы события, а также основные характеристики этих элементов» [там же]. Каждый элемент или характеристика могут быть специально выделены в семантике того или иного глагола. Так, в семантике глагола «дрессировать» выделяется объект действия (животные), значимым элементом для глагола «пульсировать» является субъект действия (сердце), а в семантику глагола «клевать» одновременно включаются субъект (птица) и инструмент (клюв).

На наш взгляд, закрепление элементов в глагольных единицах отражает их значимость и типичность для восприятия носителем языка соответствующего фрагмента процессуально-событийного мира. Изучение лексико-семантической группы глаголов, репрезентирующих определенный событийный концепт, дает возможность выявить информацию о значимых участниках данной ситуации и раскрыть когнитивную модель его представления в человеческом сознании. В данной работе изучение лексико-семантической группы глаголов имеет целью установить не только информационное содержание концепта «повреждение», зафиксированное в русской глагольной лексике, но и фреймовую репрезента-

цию категории события «повреждение» в сознании носителей русского языка.

Фреймовая репрезентация концептуального содержания и категориальной структуры события «повреждение»

По лексикографическим данным, в лексико-семантическую группу глаголов, обозначающих концепт «повреждение», включается 84 лексические единицы. Существование ряда глаголов в русском языке, предназначенных для выражения данного понятия, отражает его содержательное богатство и значимость в русской языковой картине мира. Системный анализ семантических особенностей этих глаголов позволяет выявить, что концепт «повреждение» представляет собой самостоятельную когнитивную категорию и включает в себя ряд подкатегорий, отражающих множественное вариативное обозначение события «повреждение». Все категориальные и подкатегориальные элементы образуют иерархическую фреймовую структуру концепта «повреждение». В когнитивной лингвистике фрейм понимается как «объемный, многокомпонентный концепт, представляющий собой пакет информации, знания о стереотипной, часто повторяющейся ситуации» [там же: 108]. По мнению Л. А. Бушуевой, это «матрица возможных событий, схема интерпретации, присутствующей в любом восприятии» [Бушуева 2017: 81]. В качестве формы мыслительного структурирования знания фрейм состоит из слотов, которые представляют собой пустые узлы, заполняемые переменными, и «содержат информацию, релевантную для описываемого объекта действительности» [Желтухина 2000: 16].

Согласно теории прототипов [Болдырев 2014: 126], важнейшее значение при формировании категорий имеют концептуально выделенные прототипы – типичные представители категории. В русском языке прототипами для события «повреждение» являются глаголы «повреждать» и «портить». Анализ их лексикографических толкований позволяет раскрыть следующее типичное денотативное значение события «повреждение»: «нарушить целостность чего-либо, исправное состояние чего-л., приводить что-либо в негодность, причинить чему-либо вред» [Евгеньева 1987 т. 3: 162; Шведова 2011: 659; Кузнецов 2000: 853]. Из этого значения, кроме самого действия, можно извлечь два ключевых слота фрейма «повреждение» – «объект повреждения» и «результат повреждения». В иерархической структуре категории «повреждение» элементы более высокого уровня обычно обладают более высокой семантической обобщенностью и типичностью, а элементы более низкого уровня

включают в себя более конкретизированную информацию об участниках события, поэтому другие глаголы в лексико-семантической группе играют важную роль в детализации и конкретизации события «повреждение», указывая в своей семантике на те или иные конкретные компоненты. Анализ семантических компонентов этих глаголов показывает, что, кроме объекта и результата, важное место во фреймовой структуре события «повреждение» занимает и слот «способ повреждения». Притом согласно характеристикам элементов каждого слота можно выделить разнообразные подкатегории, отражающие наиболее значимое представление о событии «повреждение».

I. Слот «объект повреждения»

По мнению Л. Г. Бабенко [Бабенко 1999], по характеристикам объекта действия выделяются две типичные подкатегории повреждения – «повреждение неодушевленного объекта» и «повреждение живого существа». Средствами репрезентации первой категории служат глаголы «выгрызать», «вытаптывать», «изрывать», «калечить», «грязнить», «давить», «обламывать», «пережаривать», «подрубать», «изувечивать» и др., которые обозначают нарушение целостности неодушевленного объекта, приведение его в негодность. Например: *Здесь находится личинка, которая **выгрызает** мякоть листа*. Во вторую подкатегорию включаются глаголы, выражающие повреждение тела или части тела живого существа (в том числе свое), такие как «вывихивать», «жалить», «забодать», «кусать», «изранить», «порезать», «истерзать», «мозолить» и т. д. Например: *Когда хозяйка забирает у питомца телефон, он начинает **кусать** ее руку*. Следует отметить, что информация об объекте повреждения характеризуется разной степенью закреплённости, не всегда зафиксирована в семантике глаголов, так что разделение объектов повреждения на одушевленные и неодушевленные имеет относительный характер.

Кроме того, исследование многозначности глаголов повреждения позволяет выделить подкатегории «повреждение объектов материального мира» и «повреждение объектов идеального мира». Как показано выше, первоначальные значения глаголов повреждения обозначают воздействия на конкретные, материальные объекты, разрушение их физических свойств. А в переносных значениях многие глаголы, такие как «разбить», «портить», «уколоть», «поразить», «ушибить», «калечить», «коверкать», «уродовать», призваны описать абстрактные, идеальные объекты. В результате анализа семантической сочетаемости глаголов были выделены следую-

щие подкатегории повреждения: «повреждение эмоции и чувства человека», «повреждение характера человека», «повреждение репутации человека», «повреждение мысли человека» и «повреждение межличностного отношения». В этих случаях объекты идеального мира метафорически рассматриваются как материальные существа, которые могут быть повреждены, разрушены, а само действие повреждения в основном выражает следующие значения.

1. Изменение духовного состояния или эмоционального благополучия человека, в том числе возникновение печали, грусти, мучения, удивления, разочарования, страдания и подобных негативных эмоций: *У кого-то вы отняли веру в людей, кому-то **разбили** душу; Дмитрий попробовал **уколоть** самолюбие пьяной девушки и преуспел.*

2. Моральная деградация человека либо подавление его способностей или умений: *Нападки на плохую книгу не только пустая трата времени – это **портит** характер; Междоусобная война со всеми ее ужасами извращала все нравственные понятия, **грязнила** душу; – Маечка сползла, и Наташа, заметив это, быстрым движением подтянула ее и закрыла плечо, – **калечит** характер и душу, если только это не врожденная страсть, а всякая врожденная страсть бедную несчастную человеческую душу **разъедает** вдвойне. Да что Явлинский – тут одному известному телевизионному деятелю тоже предлагали в президенты, но он, умница, отказался категорически **коверкать** себе репутацию и карьеру.*

3. Изменение впечатления людей о ком-либо, понижение социальной оценки: *Зачем **пачкать** репутацию женщины, которая всю свою душу измучила из-за Вас и исковеркала почти три года своей жизни; Сына не позорь, не **пачкай** под конец биографию, хоть куда уж там...; Она неизбежно должна была **коверкать**, **уродовать** национальное лицо.*

4. Опровержение мнения и точки зрения, искажение мысли: *Творческая практика советского поэтического перевода в пух и прах **разбила** аргументацию американского критика; Фальсифицированная информация могла смущать и **коверкать** умы, воспитывать же и волновать сердца она не могла; Возможность проговорить боль, больше не затыкать, не держать в себе, не **коверкать** смысл и не сжимать ад этих трех дней в новостную подводку длиной в десять секунд – важная штука.*

5. Ухудшение отношения между людьми: *Не хотелось с самого начала **портить** отношения, а то бы я ему, конечно, врезал.*

II. Слот «способ повреждения»

Способ действия является наиболее ярко репрезентированным слотом в концептуальном фрейме события «повреждение», что отражается включением в семантику большинства глаголов компонентов, выражающих разнообразные способы повреждения. Семантическая систематизация и классификация группы глаголов в соответствии со слотом «способ повреждения» позволила выявить пять основных подкатегорий. Среди этих разновидностей особую важность имеет подкатегория, выражающая повреждения, причиняемые острыми предметами или оружием, такими как игла, гвоздь, нож, кинжал, металл, стекло, меч, пуля и т. д., что реализуется при помощи глаголов «истыкивать», «укалывать», «прокалывать», «занозить», «порезать», «простреливать», «подстреливать», «пронизывать», «пропарывать», «прорывать», «поражать», «занозить», «проскоблить», «оцарапывать», «исцарапывать», «расцарапывать» и «ушибать». Например: *Отверстия можно **прокалывать** и илом. Кожаные заготовки удобно **вырезать** ножницами по выкройкам-шаблонам; Все минные поля **простреливать** огнем пулеметов и орудий прямой наводкой.*

Вторая подкатегория связана с повреждениями, причиняемыми частями тела одушевленных существ (зубами, шипами, рогами или ногами), которые репрезентируются глаголами «изгрызть», «выгрызть», «прогрызть», «протачивать», «проедать», «кусать», «искусывать», «прокусывать», «проскребать», «изъедать», «жалить», «забодать», «натоптать», «вытаптывать». Например: *Московские крысы умеют плавать, лазают по деревьям, могут протиснуться в отверстие размером с пяточок, взять барьер высотой 70 сантиметров, умеют карабкаться по шесту и бегать по проволоке, зубами **прорывают** стометровый тоннель в твердом грунте, прогрызают дыры в пенобетоне; Мало того, беспрестанно **жалят** комары, порой доводя до изнеможения; Коровы у них, скажут, по Кузнецкому Мосту разгуливают и плюхают. И **забодать**, видишь, могут; Она ревностно следила, чтобы дети не **вытаптывали** растения, а в ночь на первое сентября чуть ли не ночевала во дворе, лишь бы не дать неугомонным школьникам разобрать цветы на букеты учителям.*

К третьей подкатегории можно отнести повреждения, вызванные высокими или низкими температурами. Признак высокой температуры репрезентирован в семантике глаголов «пережигать», «пережаривать», «перепекать», «прожигать», «ошпаривать», «обваривать». Среди них глаголы «пережигать», «прожигать», «перепе-

катель» указывают на компонент «огонь», а глаголы «ошпаривать» и «обваривать» подчеркивают, что повреждения нанесены горячей водой или горячим паром. Например: *Да не, он зажженной сигаретой всем куртки **прожигал** – просто вот идет и метит прохожих; Но в природе никто не процарапывает семенную кожуру и не **обваривает** семена кипятком.* Повреждение, вызванное низкой температурой, выражается при помощи глагола «обмораживать». Например: *Немецкие солдаты ходили, наглухо окутав головы, обмотав тряпьем ноги, часовые на постах **обмораживали** пальцы, обмерзали до смерти; в тыл уходили целые эшелоны с больными и обмороженными.*

Четвертая подкатегория соединяет повреждения, вызванные давлением или ударом, которые реализуются в семантике глаголов «давить», «раздавливать», «продавливать», «исхлестывать». Например: *Его челюсти были способны измельчать, разрезать и **раздавливать** пищу; Чулан был тесный, мальчик мешал огромным птицам; они злились и **исхлестывали** наказанного крыльями до синяков, да и пощипывали порядком.*

Последняя подкатегория связана с повреждениями, вызванными длительным употреблением, и эксплицирована глаголами «истаскивать», «истрепывать», «изнашивать», «обтрепывать», «надсаживать», «мозолить». Семантический акцент этих глаголов делается на нанесении повреждения в результате долгого использования или небрежного обращения. Например: *Обычный мясник **изнашивает** по ножу каждый месяц, потому что нож у него затупляется о кости; Я не таковский, чтоб стоять даром полтора часа да **надсаживать** себе казенную глотку.*

III. Слот «результат повреждения»

Результат является существенным признаком события «повреждение», так как любое повреждающее действие неизбежно приводит к тому или иному последствию. На основе анализа семантических особенностей собранных глаголов нами был выделен ряд подкатегорий, связанных с результатом повреждения.

В первую очередь, в глагольной системе русского языка в наибольшей степени актуализирован результативный признак «образование дыр, отверстий, трещины». Степень актуализации этого признака определяется большим количеством объективирующих его глаголов, в том числе «продыривлять», «проламывать», «прорывать», «пробивать», «проскрести», «простреливать», «пронизывать», «проскабливать», «изрешечивать», «изрывать», «выгрызть», «продыривлять», «проламывать», «пропарывать», «пробивать», «прогрызть», «проедать», «прокалывать», «протачивать», «истачивать» и «прожи-

гать». Нетрудно заметить, что эти глаголы образуются при помощи приставок *про-, из-, вы-*, которые выражают значение «идти из одного конца в другой» и указывают пути образования дыры, отверстий, трещины, бороздки. Приведем примеры: *Потом он из чистой зловредности **продыривил** гвоздем колесо Маринкиного велосипеда, и его покалечил Маринкин брат Сурик; Потом показали, как к целому дому подходит бульдозер с механическим ковшом и начинает этим ковшом **проламывать** крышу; Щелкоперы московские и заграничные могли носами длинными и острыми **изрыть** и **источить**, **испортить** сердцевину кедров сибирского, могучего; Дети успели **изрыть** снеговую гору норами и накатали ледяной спуск, съезжая по нему на картонках, несмотря на гадкую погоду.*

Во-вторых, результатом повреждения может быть появление борозды на поверхности предмета или неглубоких ранок на теле в виде узких полосок, что репрезентируется глаголами «расцарапывать», «исцарапывать», «оцарапывать». Например: *Это чтение причиняет мне физическую боль, какая бывает, если начать старательно **расцарапывать** едва зажившую рану; Шатун, однако, успел **оцарапать** его ногу когтями.*

В-третьих, в семантике глаголов «подрубать» и «вывихивать» подчеркивается признак «отделение объекта от его основания». Например: *Работа не пыльная: ниточки **распутывать**, корешки **подрубать**; А вот ты войди сам да и попробуй, да еще если тебя заставляют **вывихивать** суставы.*

Кроме того, глагол «мозолить» позволяет выделить другой тип результата повреждения – появление мозоли: *Там сладкий труд не **мозолит** руки, работа розой цветет по ладони.*

Менее типичным результатом события «повреждение» можно считать изменение чистоты объекта. В исследуемой лексико-семантической группе существует ряд глаголов, выражающих повреждение внешнего вида поверхности из-за воздействия пыли и грязи, таких как «грязнить», «пачкать», «искапывать», «захватывать». Например: *Мутные брызги, вылетающие из-под колес встречных машин, **грязнили** боковые стекла, переднее стекло старательно очищали «дворники», сгоняя грязь в нижние углы; Потные и не всегда чистые ладони не будут **пачкать** обшивку и засаливать рабочую поверхность штурвала.*

Следует отметить, что репрезентация результата в семантике русских глаголов повреждения также характеризуется количественным признаком. Многие глаголы с приставками *из-, рас-, на-*, такие как «истачивать», «изрешечивать», «изрывать», «изгрызть», «изранить», «искалывать», «искусывать», «расцарапывать», «натоптать», способны обозначать причинение вреда на многих

местах. Например: *Нужно было заложить пять таких шахт и всю гору изрыть – вот это разведка; Не поленилась, сходила в отель, взяла сковороду, вернулась в парк и посадила в нее ежа, чтобы не **исколоть** рук; Это чтение причиняет мне физическую боль, какая бывает, если начать старательно **расцарапывать** едва зажившую рану; Пока шел от сельсовета, успел-таки **наотптать** две водянистые мозоли, ноги в яловых сапогах взмокли, рубаха хоть выжми.*

Заключение

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что фреймовое моделирование семантического пространства глаголов является одним из эффективных способов определения концептуального содержания и категориальной структуры фрагмента процессуально-событийного мира. Исследуемый материал свидетельствует о развернутости фрейма категории события «повреждение» и детальности объективации концептуального содержания данной категории в русском языке. Систематизация лексическо-семантической группы глаголов повреждения позволяет раскрыть три основных слота фрейма категории повреждения: «объект повреждения», «способ повреждения» и «результат повреждения». В формальном аспекте компоненты этих слотов могут быть выражены как первоначальными значениями глагола, так и метафорическими значениями, как корнями слова, так и суффиксами. А в содержательном аспекте в каждом слоте можно выделить множество подкатегорий, эксплицирующих различные представления и знания о событии «повреждение». В слоте «объект повреждения» выделяются повреждения объектов материального мира, включая повреждения неодушевленного предмета и живого существа, и повреждения объектов идеального мира, таких как эмоция, характер, репутация и т. д. В слоте «способ повреждения» классифицируются повреждения, причиняемые острыми предметами или оружием, зубами, шипами; повреждения, вызванные давлением и ударом и т. д. По слоту «результат повреждения» в фокусе внимания оказываются подкатегории «образование дыр, отверстий, трещин», «появление борозды на поверхности предмета или неглубоких ранок на теле в виде узких полосок», «изменение чистоты объекта», «отделение объекта от его основания», «появление мозоли», «причинение вреда на многих местах».

Список литературы

Апресян Ю. Д. Интерпретационные глаголы: семантическая структура и свойства // Русский язык в научном освещении. 2004. № 7. С. 5–22.

Бабенко Л. Г. Денотативное пространство русского глагола. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1998. 176 с.

Бабенко Л. Г. Толковый словарь русских глаголов: Идеографическое описание. Английские эквиваленты. Синонимы. Антонимы. М.: АСТ-ПРЕСС, 1999. 704 с.

Болдырев Н. Н. Когнитивная семантика. Введение в когнитивную лингвистику. Тамбов: Изд. дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2014. 236 с.

Бушуева Л. А. Реализация инвариантной модели фрейма поступка (на примере фрейма «Чуждость») // Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. 2017. № 2. С. 80–86.

Гришаева Л. И. Глагол как узел когний // Филология и культура. 1999. № 2. С. 19–21.

Евгеньева А. П. Словарь русского языка (МАС): в 4 т. Т. 1–4. М.: Рус. яз. 1985–1988.

Желтухина М. Р. Комическое в политическом дискурсе конца XX века. Русские и немецкие политики. М.: Ин-т языкознания РАН, 2000. 264 с.

Киселева С. В. Когнитивная модель значения глагола (на примере глагола партитивной семантики) // Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. 2011. № 4. С. 28–43.

Кубрякова Е. С. Глаголы действия через их когнитивные характеристики // Логический анализ языка. Модели действия. М.: Наука, 1992. С. 84–90.

Кубрякова Е. С. Коммуникативные единицы языка // Коммуникативная лингвистика и проблемы семантики. М.: МГИИЯ им. М. Тореца, 1985. Вып. 252. С. 138–151.

Кубрякова Е. С. Части речи с когнитивной точкой зрения. М.: Ин-т языкознания РАН, 1997. 331 с.

Кузнецов С. А. Большой толковый словарь русского языка. СПб.: Норинт, 2000. С. 656.

НКРЯ – Национальный корпус русского языка. URL: <https://ruscorpora.ru/> (дата обращения: 09.03.2023).

Падучева Е. В. Динамические модели в семантике лексики. М.: Языки славянских культур, 2004. 562 с.

Плотникова А. М. Когнитивные аспекты изучения семантики (на материале русских глаголов). Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2005. 140 с.

Плотникова А. М. Концепты и семантические классы слов // Новые подходы к изучению семантики. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2012. С. 117–124.

Уфимцева А. А. Лексическое значение. М.: Наука, 1986. 240 с.

Шафиков С. Г. Категории и концепты в лингвистике // Вопросы языкознания. 2007. № 2. С. 3–17.

Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов. М.: Азбуковник, 2011. 1175 с.

References

Apresyan Yu. D. Interpretatsionnye glagoly: semanticheskaya struktura i svoystva [Interpretative verbs: the semantic structure and properties]. *Russkiy yazyk v nauchnom osveshchenii* [Russian Language and Linguistic Theory], 2004, issue 7, pp. 5–22. (In Russ.)

Babenko L. G. *Denotativnoe prostranstvo russkogo glagola* [The Denotative Space of the Russian Verb]. Yekaterinburg, Ural Federal University Press, 1998. 176 p. (In Russ.)

Babenko L. G. *Tolkovyy slovar' russkikh glagolov: Ideograficheskoe opisanie. Angliyskie ekvivalenty. Sinonimy. Antonimy* [Explanatory Dictionary of Russian Verbs: Ideographic Description. English Equivalents. Synonyms. Antonyms]. Moscow, AST-PRESS, 1999. 704 p. (In Russ.)

Boldyrev N. N. *Kognitivnaya semantika. Vvedenie v kognitivnyuyu lingvistiku* [Cognitive Semantics. Introduction to Cognitive Linguistics]. Tambov, Derzhavin Tambov State University Press, 2014. 236 p. (In Russ.)

Bushueva L. A. Realizatsiya invariantnoy modeli freyma postupka (na primere freyma 'Chudachestvo') [Implementation of the invariant model of the action frame (through the example of the 'Eccentricity' frame)]. *Vestnik Volzhskogo universiteta im. V. N. Tatishcheva* [Vestnik of Volzhsky University named after V.N. Tatishchev], 2017, issue 2, pp. 80–86. (In Russ.)

Grishaeva L. I. *Glagol kak uzel kognitsiy* [Verb as a node of cognitions]. *Filologiya i kul'tura* [Philology and Culture], 1999, issue 2, pp. 19–21. (In Russ.)

Evgen'eva A. P. *Slovar' russkogo yazyka* [Dictionary of the Russian Language]: in 4 vols. Moscow, Russkiy yazyk Publ., 1985–1988, vols. 1–4. (In Russ.)

Zheltukhina M. R. *Komicheskoe v politicheskoy diskurse kontsa XX veka* [The comical in the political discourse of the late 20th century]. *Russkie i nemetskie politiki* [Russian and German Politicians]. Moscow, Institute of Linguistics of the Russian Academy of Sciences Publ., 2000. 264 p. (In Russ.)

Kiseleva S. V. *Kognitivnaya model' znacheniya glagola (na primere glagola partitivnoy semantiki)* [The cognitive model of the meaning of a verb (through the example of a verb with partitive semantics)]. *Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta im. A. S. Pushkina* [Bulletin of the Len-

ingrad State University named after A. S. Pushkin], 2011, issue 4, pp. 28–43. (In Russ.)

Kubryakova E. S. *Glagoly deystviya cherez ikh kognitivnye kharakteristiki* [Action verbs through their cognitive characteristics]. *Logicheskiy analiz yazyka. Modeli deystviya* [Logical Analysis of the Language. Models of Action]. Moscow, Nauka Publ., 1992, pp. 84–90. (In Russ.)

Kubryakova E. S. *Kommunikativnye edinitsey yazyka* [Communicative units of language]. *Kommunikativnaya lingvistika i problemy semantiki* [Communicative Linguistics and Problems of Semantics]. Moscow, Maurice Thorez Moscow State Pedagogical Institute of Foreign Languages Press, 1985, issue 252, pp. 138–151. (In Russ.)

Kubryakova E. S. *Chasti rechi s kognitivnoy tochkoy zreniya* [Parts of Speech from a Cognitive Point of View]. Moscow, Institute of Linguistics of the Russian Academy of Sciences, 1997. 331 p. (In Russ.)

Kuznetsov S. A. *Bol'shoy tolkovyy slovar' russkogo yazyka* [A Large Explanatory Dictionary of the Russian Language]. St. Petersburg, Norint Publ., 2000. p. 656. (In Russ.)

Natsional'nyy korpus russkogo yazyka [The National Corpus of the Russian Language]. Available at: <https://ruscorpora.ru/> (accessed 09 Mar 2023). (In Russ.)

Paducheva E. V. *Dinamicheskie modeli v semantike leksiki* [Dynamic Models in the Semantics of Vocabulary]. Moscow, LRC Publishing House, 2004. 562 p. (In Russ.)

Plotnikova A. M. *Kognitivnye aspekty izucheniya semantiki (na materiale russkikh glagolov)* [Cognitive Aspects of the Study of Semantics (based on the material of Russian verbs)]. Yekaterinburg, Ural Federal University Press, 2005. 140 p. (In Russ.)

Plotnikova A. M. *Kontsepty i semanticheskie klassy slov* [Concepts and semantic classes of words]. *Novye podkhody k izucheniyu semantiki* [New Approaches to the Study of Semantics]. Yekaterinburg, Ural Federal University Press, 2012, pp. 117–124. (In Russ.)

Ufimtseva A. A. *Leksicheskoe znachenie* [Lexical Meaning]. Moscow, Nauka Publ., 1986. 240 p. (In Russ.)

Shafikov S. G. *Kategorii i kontsepty v lingvistike* [Categories and concepts in linguistics]. *Voprosy yazykoznaniya* [Topics in the Study of Language], 2007, issue 2, pp. 3–17. (In Russ.)

Shvedova N. Yu. *Tolkovyy slovar' russkogo yazyka s vkluycheniem svedeniy o proiskhozhdenii slov* [An Explanatory Dictionary of the Russian Language with the Inclusion of Information about the Origin of Words]. Moscow, Azbukovnik Publ., 2011. 1175 p. (In Russ.)

Conceptualization and Categorization of the Event 'damage' in the Russian Language: Frame Modeling of the Lexico-Semantic Group of Verbs

The work was carried out with the financial support of the Tianjin Philosophy and Social Sciences Planning Fund (project No. TJYYQN23-003) and the Fundamental Research Fund for the Central Universities of China (project No. 63232123)

Xu Lili

Lecturer at the Faculty of Russian Language

Institute of Foreign Languages, Nankai University

94, Weijin Rd., Tianjin, 300192, China. lili1324559882@outlook.com

SPIN-code: 3078-4086

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5459-2975>

Zhu Jinxuan

Student at the Faculty of Russian Language

Institute of Foreign Languages, Nankai University

94, Weijin Rd., Tianjin, 300192, China. 2909588495@qq.com

Submitted 27 Sep 2023

Revised 08 Jan 2024

Accepted 10 Feb 2024

For citation

Xu Lili, Zhu Jinxuan. Kontseptualizatsiya i kategorizatsiya sobytiya «povrezhdenie» v russkom yazyke: freymovoe modelirovanie leksiko-semanticheskoy gruppy glagolov [Conceptualization and Categorization of the Event 'damage' in the Russian Language: Frame Modeling of the Lexico-Semantic Group of Verbs]. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2024, vol. 16, issue 3, pp. 91–99. doi 10.17072/2073-6681-2024-3-91-99 (In Russ.)

Abstract. In the article, verbs are considered not just as a designation of an action or state of an object, but as the main means of verbalization and objectification of the conceptual content and categorical structure of events that exist in the minds of native speakers. By means of a systemic analysis of the lexico-semantic group of verbs, the peculiarities of conceptualization and categorization of the event 'damage' in the lexical system of the Russian language are identified. Through the classification of semantic components of verbs of damage, the frame structure of the linguistic representation of the event 'damage' is revealed. It has been established that the key components in the conceptual frame of the category of the event 'damage' are the slots 'object of damage', 'method of damage', and 'result of damage'. Different subcategories of the event 'damage' are identified within the frame slots. In the slot 'object of damage', it is possible to distinguish damage to objects of the material world, represented in the primary meanings of verbs, and damage to objects of the ideal world, expressed through metaphorical derivation of verbal semantics. Depending on the method of damage, various types of damage are identified, including damage caused by sharp objects or weapons, body parts of living beings, high or low temperature, strong pressure or impact, as well as prolonged use. According to the result of damage, there are identified subcategories such as 'the formation of holes, openings, and cracks', 'the appearance of grooves on the surface of an object or shallow wounds on the body in the form of narrow stripes', 'the formation of calluses', 'the separation of the object from its base', 'changes in the cleanliness of the object', and 'the infliction of damage in multiple places'.

Key words: verbs of damage; conceptualization; categorization; procedural-event world; frame.

УДК 811.112.2'373.21
doi 10.17072/2073-6681-2024-3-100-110
<https://elibrary.ru/ljhvnm>

EDN LJHVNМ



Топонимы в заглавиях современных немецкоязычных романов

Штырова Валерия Эдуардовна

аспирант кафедры немецкой филологии

Самарский национальный исследовательский университет им. акад. С. П. Королева

443086, Россия, г. Самара, Московское шоссе, 34. shtirova2014@gmail.com

SPIN-код: 7122-3541

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7896-2611>

ResearcherID: JFA-8701-2023

Дубинин Сергей Иванович

д. филол. н., профессор, и. о. зав. кафедрой немецкой филологии

Самарский национальный исследовательский университет им. акад. С. П. Королева

443086, Россия, г. Самара, Московское шоссе, 34. dubinin.si@ssau.ru

SPIN-код: 3092-1770

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6248-9812>

ResearcherID: P-3522-2015

Статья поступила в редакцию 10.11.2023

Одобрена после рецензирования 08.12.2023

Принята к публикации 05.02.2024

Информация для цитирования

Штырова В. Э., Дубинин С. И. Топонимы в заглавиях современных немецкоязычных романов // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2024. Т. 16, вып. 3. С. 100–110. doi 10.17072/2073-6681-2024-3-100-110

Аннотация. Статья посвящена комплексному изучению топонимов, представленных в заглавиях современных немецкоязычных романов, созданных на рубеже XX–XXI вв. Целью исследования является рассмотрение лингвопрагматического потенциала топонимов при номинации романов. Материалом для работы послужили 67 современных немецкоязычных романов, в состав заглавий которых входят топонимы. Методами исследования стали структурно-семантический, дескриптивный, таксономический и количественный анализ. Изучение выявленных единиц показало, что топонимы в заглавиях художественного текста употребляются в составе субстантивных предложных словосочетаний с зависимым словом в дательном падеже. Современные немецкоязычные романисты при номинации своих текстов употребляют в основном географические наименования, отражающие пространство Германии. При этом чаще используются региональные топонимы (астионимы, кононимы) с целью как детального и достоверного описания городского пространства на этапе первичного знакомства читателя с текстом, так и содержательного развертывания романного нарратива. Особую группу составили топонимы – маркеры Берлина и его городского пространства как наиболее значимые для смысловой организации романов рассматриваемого периода. Обращение романистов к географическим пространствам других стран помогает не только активировать знания читателя о селектируемых авторами инокультурных локациях, но и настроить читательские ожидания через ассоциации с топонимами на особые сюжеты и восприятие других культур. Топонимы в заглавиях романов помогают в целом раскрыть общекультурный контекст произведений. Результаты проведенного ис-

следования позволяют расширить представления об аксиологическом потенциале, прагматике и функционально-стилистических особенностях употребления топонимов в заглавиях художественных текстов современных авторов-романистов.

Ключевые слова: заглавие; современный немецкоязычный роман; ономастическое пространство; топонимы; берлионимы.

Введение

В фокусе статьи находится исследование функционального и контекстуального потенциала топонимов в заглавиях современных немецкоязычных романов. Актуальность темы обусловлена тем, что в современной лингвистике сохраняется большой интерес к изучению прагматического потенциала топонимов в письменной и устной коммуникации в целом, их дискурсивного потенциала, но недостаточно изученным остается функционирование топонимов при номинации художественного текста.

Заглавие художественного текста становится предметом детальных исследований лингвистов с конца XX в. Так, функции заглавия были рассмотрены в трудах Н. А. Кожиной (1988) и И. В. Саморуковой (2002), экспрессивные свойства и языковые параметры заглавий отмечены в трудах Л. С. Огиевич (2007), Н. Г. Петровой (2012) и А. А. Харьковской (2010). Различные способы классификации заглавий были предложены А. В. Ламзиной (2000), И. А. Сыровым (2002) и О. К. Дубовик (1988). В фокусе исследований Н. А. Веселовой (1998), И. В. Драбкиной (2008) и Ю. В. Веденевой (2018) находятся способы создания и передачи прагматического потенциала текста в заглавиях.

Общепринято утверждение, что, являясь именем художественного текста, заглавие занимает функционально закрепленную позицию над текстом, играя ключевую роль в раскрытии основной темы, символов и образов произведения, а также замысла автора и установки издательства. Оно может «многообразно соотноситься с темой, с проблематикой, сюжетной перспективой, с персонажами, хронотопами изображенного авторами мира, указывать на интертекстуальные связи произведения и т. д.» [Щербинина 2015: 255–246]. Заглавие, как значимый «паратекстуальный компонент» [Genette 1997: 7–8], обладает и особой прагматической установкой, является «индексом дискурсивной стратегии всего произведения» [Саморукова 2002: 78].

Использование топонимов при моделировании заглавий позволяет автору передать читателям не только содержательно-фактуальную, или содержательно-концептуальную, но и содержательно-подтекстовую информацию.

Целью данной статьи является анализ топикона заглавий современных немецкоязычных

романов, изданных в период с 1989 г. (после объединения Германии) по 2022 г., и оценка лингвопрагматического потенциала топонимов при номинации романов. Достижение цели исследования предполагает решение следующих задач: 1) выявление инвентаря топонимов в составе заглавий современных немецкоязычных романов; 2) проведение морфологического и контекстуального анализа топонимов; 3) определение их лингвопрагматического потенциала.

Обзор литературы

Онимы, как особый разряд существительных, являются предметом разноаспектных исследований, сформировавших два основных научных подхода. Согласно первому направлению, к которому принадлежат Ж. Вандриес (1937), К. А. Левковская (1962), А. А. Реформатский (1960), онимы не обладают лексическим значением. Противоположной точки зрения придерживались О. Есперсен (1958), Е. Курилович (1962), А. А. Потебня (1976), утверждая наличие у онимов лексического значения. Онимы обладают отличной от апеллятивов семантикой, что определяется как «энциклопедическое значение»: «Имя собственное является индивидуальным обозначением отдельного предмета и не связано с понятием, т. е. не имеет основной коннотации» (в данном случае «коннотация = значение») [Подольская 1988: 133]. По мнению В. В. Виноградова, онимы в первую очередь являются «связующим звеном между текстом, автором и внетекстовой реальностью, позволяя “привязывать” изображенную действительность к объективному пространственно-временному континууму» [Виноградов 1963: 52].

В немецкой научной традиции используется термин *Eigennamen*, под которым понимается “Ausdruck, mit dem man ein Lebewesen oder ein Objekt identifiziert (z. B. Personennamen, geographischer Name)” [Duden 2009: 1249]. Подчеркивается, что онимы обозначают единичный объект или лицо: „Eigennamen benennen ein einzelnes Lebewesen oder auch einen einzelnen Gegenstand, eine einzelne Institution oder ein einzelnes Ereignis“ [ibid.: 149].

В основу классификации онимов закладываются разнообразные признаки: принадлежность к определенным языкам, территориям, хронологическим отрезкам и социальным формациям. А. Бах впервые представил предметно-номина-

тивную классификацию онимов в зависимости от обозначаемых ими объектов [Bach 1978].

С конца XX в. большое внимание в лингвистических ономастических исследованиях уделяется изучению топонимов (А. В. Суперанская (1973), М. В. Горбаневский (1988), Н. В. Подольская (1988), Г. П. Смолицкая (1994), А. И. Матвеев (2006)).

Под топонимом Н. В. Подольская понимает «собственное имя природного объекта на земле, а также созданного человеком, который четко зафиксирован в данном регионе» [Подольская 1988: 127].

Одним из важнейших в ономастических исследованиях является вопрос о функциях, выполняемых названиями географических объектов и их объеме. Принято выделять три основные функции: номинативная, идентифицирующая, дифференцирующая. Так, А. В. Суперанская в качестве основной указывает номинативную функцию, то есть способность онимов в целом и топонимов в частности соотноситься с конкретным единичным объектом действительности. По ее мнению, «их основная грамматическая функция – выражать в предложении подлежащее и дополнение, а основная лексическая функция – номинация» [Суперанская 1973: 276]. Идентифицирующая и дифференцирующая функции исходят из способности имени собственного индивидуализировать (идентифицировать) уникальный объект, выделять его (дифференцировать в группе ему подобных реалий).

Н. В. Подольская выделяет три функции: «функция номинации, идентификации, различения» [Подольская 1988: 159]. Однако в современных исследованиях отмечают дополнительные функции: коммуникативную, экспрессивную, волюнтаривную, кумулятивную, познавательную, эстетическую, фатическую (контакто-устанавливающую), адресную, магическую и др. Например, А. В. Суперанская указывает в качестве специфической функции онимов «социальную локализацию личности или географического объекта» [Суперанская 1973: 276]. Под социальной локализацией топонима понимается «включение в него указания на вид географического объекта, его общественное назначение и т. д.» [Толстой, Толстая 2000: 251–252].

В. А. Молчановский, изучая топонимы в лингвострановедческом аспекте, отметил, что географические наименования не просто называют объект, а «являются главным вместилищем национально-культурной информации» [Молчановский 1984: 201]. Эту идею развили зарубежные исследователи Б. Хеллеланд и П. Вудман, указав на тот факт, что «топонимы обеспечивают связь между поколениями даже при переимено-

вании, так как они способны сохранять информацию не только о месте, но и о людях, давших этому месту то или иное название» [Helleland 2012: 102; Woodman 2014: 17].

О. Н. Буцкая отмечает, что «топоним уже при своем возникновении запрограммирован на многоплановое восприятие, развертывание и конденсацию. Под воздействием языковых единиц в сознании языковой/речевой личности происходит “оживление” имеющихся у него знаний, представлений и впечатлений, а также накопление новых» [Буцкая 2017: 32].

Таким образом, отечественные и зарубежные исследователи указывают на способность топонима апеллировать к отдельному предмету, так как топонимы не обладают способностью обозначать класс предметов (денотат). Отметим, что мнения ученых о функциях, которые топонимы выполняют в художественном тексте и в его компонентах, различаются. В этой связи актуальны вопросы о прагматическом и семантическом потенциалах топонимов в заглавиях художественных текстов разных жанров, о наличии у них лексического значения.

Материал и методы исследования

Материалом выборки для исследования послужил банк данных современных немецкоязычных авторов-романистов, представленный в электронной базе Немецкой национальной библиотеки в Лейпциге [Katalog der DEUTSCHEN NATIONALBIBLIOTHEK. <https://portal.dnb.de/opac.htm>]. Она составила 67 романов, изданных в ФРГ в период с 1989 по 2022 г. на немецком языке, в составе заглавий которых содержатся топонимы. Для анализа лингвопрагматических характеристик отобранных заглавий романов применялись следующие методы исследования: структурно-семантический, дескриптивный, контекстуальный, таксономический, морфологический, контекстный и количественный анализ. Комплексный подход позволил выявить частотные структурно-синтаксические модели заглавий с топонимами и определить их содержательный потенциал.

Гипотеза исследования заключается в следующем: употребление определенных топонимов в заглавиях художественного текста (романа) является одной из ключевых авторских и издательских стратегий номинации художественного произведения немецкоязычными писателями.

Результаты исследования

В ходе инвентарного анализа отобранных заглавий было обнаружено 67 топонимов, которые были распределены по двум группам: 1) топонимы, относящиеся к географическому простран-

ству Германии (38 ед., 55,5 %); 2) наименования географических объектов других стран (29 ед., 44,5 %). Выбор Германии в качестве места действия романов указывает, что целевая аудито-

рия – хорошо знакомые с географией Германии читатели.

Мы разделили топонимы по видам согласно классификации Н. В. Подольской (табл. 1, 2).

Таблица 1 / Table 1

Немецкие топонимы в заглавиях современных немецкоязычных романов
German toponyms in the titles of modern German-language novels

Вид топонима	Кол-во	Процент от общего кол-ва	Пример
Годонимы	6	9	Sonnenallee, Amalienstraße, Brunnenstrasse, Friedrichstraße, Weinberg, Jungfernstieg
Астионимы	9	14,5	München, Birkenfeld, Weinberg, Stralsund, Berlin, Blankenburg, Münster, Freudenberg, Lengenfeld
Комонимы	5	7	Hohebach, Wiedorf, Nordkap, Mondsee, Niendorf
Оронимы	1	1,5	Schwarzwald
Хоронимы городские	1	1,5	Friesenhof
Ойкодонимы	8	10	Hazelfeld, Reichstag, Bundestag, Schönbrunn, Schlesischer Bahnhof, Bahnhof Friedrichstraße, Cafe Budwald, Kinderklinik Weißensee
Агоронимы	3	4,5	Karlsplatz, Postdamer Platz, Striezelmarkt
Инсулонимы	2	3	Sylt, Jasmund
Лимпонимы	2	3	Düstersee, Mondsee
Потамонимы	1	1,5	Isar
Итого:	38	55,5	

Таблица 2 / Table 2

Немецкие топонимы в заглавиях современных немецкоязычных романов
Non-German toponyms in the titles of modern German-language novels

Вид топонима	Кол-во	Процент от общего кол-ва	Пример
Хоронимы	7	11,5	Kenia, Brasilien, Italien, Schweiz, Amerika, Irland, Africa
Астионимы	12	18,5	Sherbone, Granada, Paris, Triest, Agunt, Rimini, Salem, Nizza, Pjong-jang, Lissabon, Seattle, Palermo
Комонимы	5	7	Rosenhof, San Teodoro, Gersdorff, Montmatre, Hochenbach
Хоронимы городские	4	6	Taskana, Alaska, Bages, Yellowstine
Океанонимы	1	1,5	Ostsee
Итого:	29	44,5	

Наиболее часто в заглавиях современных немецкоязычных романов употреблены астионимы (21 ед., 33 %) и комонимы (10 ед., 14 %), реже – годонимы (6 ед., 9 %). При этом не немецких астионимов (12 ед., 18,5 %) на 4 % больше, чем немецких (9 ед., 14,5 %), хотя количество немецких и не немецких комонимов одинаково (по 5 ед., 7 %). Отдельные типы онимов – годонимы (6 ед., 9 %), агоронимы (3 ед., 4,5 %), ойкодонимы (8 ед., 10 %), инсулонимы (2 ед., 3 %), лимпонимы (2 ед., 3 %) и потамонимы (1 ед., 1,5 %) репрезентуют лишь немецкое географическое пространство, демонстрируя ориентацию автора на фоновые знания немецкого (национального) читателя.

По принадлежности топонимов, отражающих не немецкое географическое пространство, основной страной, топонимом которой упомянут в заглавиях современных немецкоязычных романов, является Италия. Она на рубеже XXI в. стала самой популярной страной для заграничных поездок на отдых граждан ФРГ: „Die beliebtesten Ziele für Reisen ins Ausland im Jahr 2022 waren Italien (14 %), Österreich (14 %), Spanien (11 %), Frankreich (7 %) und die Niederlande (7 %). Diese 5 Länder behaupteten sich sowohl vor als auch während und nach der Pandemie als die Top-Auslandsziele der Reisenden aus Deutschland“¹. Это позволило предположить, что в заглавиях, которые содержат относящиеся к Италии имена

собственные, авторы указывают читателю на сюжет и тематику своих произведений („Sommer“, „Erholung“, „Urlaub“). Ср.: К. Лаплер „Briefe aus Italien“ (2022), Й. Лаурин „Die Liebenden von Nizza: Roman“ (2022), Г. Нойвитч „Caffe in Triest“ (2022), Ф. Джансен „Ein Sommer in Rimini: Roman“ (2022), А. Гастранова „Der Puppenspieler von Palermo“ (2022).

Заглавия-топонимы и в современных издательских практиках (нейминге) довольно частотны и подчеркивают особую связь произведения и места действия, которое обозначено в заглавии, предполагая раскрытие для читателя уникальных/значимых фактов об упомянутом географическом пространстве/объекте. На способность топонима выступать *place brand* указывают Д. Мидвей и К. Варнаби [Meadway, Warnaby 2014: 156]. Однако они отмечают риски в использовании топонима «в нейминге продукта или услуги, так как не всегда специалисты по маркетингу способны предугадать ассоциации потребителя» [там же]. Именно поэтому специалисты по пиару и маркетингу обращаются к лингвистическим, историческим и географическим исследованиям в области топонимики [Meadway, Warnaby 2014]. Отечественный исследователь В. С. Елистратов полагает, что «нейм-топоним является самым функционально-нагруженным, так имеет две привязки к номинируемому объекту» [Елистратов, Пименов 2014: 135–136]. Первая привязка – это происхождение продукта, а в качестве второй привязки называется связь с региональной топонимикой. Данные установки и тенденции отражаются и в заглавиях художественного текста (романа). То, что в составе заглавий современных немецкоязычных романов используются региональные топонимы, свидетельствует об ориентации автора и издательства на читательскую аудиторию этого региона.

При морфологическом анализе отобранных единиц выявлено, что во всех отобранных примерах топоним является зависимым конститuentом в субстантивном словосочетании, то есть входит в состав номинативного комплекса. Нами были обнаружены две частотные структурные модели предложных субстантивных словосочетаний с зависимым словом, топонимом, в дательном падеже: 1) *сущ. (персонаж) + предлог von + сущ. в Д. п.* и 2) *сущ. + предлог in + сущ. в Д. п.* Отметим, что «определенный или неопределенный артикль согласно правилам немецкого языка перед топонимами» в данных моделях отсутствует [Nieminen 2006: 31].

Первой модели соответствуют 28 заглавий. С помощью предлога *von* автор указывает на происхождение персонажа или место его жительства. Предлог *von* по правилам грамматики

употребляется, когда «при зависимом слове нет служебных слов (или артикля) или согласуемых с ним определений» [Schröder 1986: 197]. Этот предлог сочетается с астионимами, ойкодонимами и годонимами, что отражено в представленных заглавиях романов. Ср.: Д. Штейнберг „Das Mädchen vom Striezelmarkt“ (2022), И. Лоренц „Das Mädchen von Agunt“ (2022), Е. Шинаг „Der Bierkönig von München“ (2022). Главный конститuent в словосочетаниях этой модели обозначает персонажа, а зависимый – выражен топонимом, что обеспечивает неразрывную связь между персонажем и локацией.

Созданных по 2-й модели заглавий обнаружено 13. Предлог *in* в этих заглавиях реализует локальное значение (указание). Согласно Й. Шредеру, „<damit> werden geographische Eigennamen von Orten (ohne Artikel), Staaten, Gebirgen, Landschaften unter Beachtung von Artikelbesonderheiten und Himmelsrichtungen als Lokalisationsbereich wiedergegeben“ [Schröder 1986: 126]. С помощью этого предлога романистами вводятся названия локаций происходящего, как правило, названия городов Ср.: Ф. Джансен „Ein Sommer in Rimini“ (2022), К. Хильдербанд „Bis bald in Münster!“ (2022), Г. Нейвитч „Caffe in Triest“ (2022).

В большинстве случаев в названиях современных романов предлог *von* чаще сочетается с топонимами, чем предлог *in*.

Проанализируем функциональный и контекстуальный потенциал топонимов, употребленных в составе заглавий современных немецкоязычных романов на наиболее ярких примерах. Особое место авторы уделяют указанию на Берлин или описанию топонимики этого города – столицы современной ФРГ. В отличие от других употребленных в заглавиях наименований городов, топоним Берлина описан детальнее и упомянут в 10 заглавиях, содержащих местные топонимы (Sonnallee, Amalienstraße, Brunnenstraße, Friedrichstraße; агороним Postdamer Platz) и группу ойконимов (Reichstag, Bundestag, Schlesischer Bahnhof, Cafe Budwald, Kinderklinik, Weißensee).

Традиция описания и поэтизации Берлина в современной художественной литературе Германии имеет богатую историю, восходя, в частности, к роману Альфреда Деблина „Berlin. Alexanderplatz“ (1929). Берлин – художественный символ, с помощью которого современные немецкоязычные писатели фиксируют, например, изменения в национальной идентичности своих героев как немцев после объединения страны на рубеже 1990-х гг.

Исследователи отмечают, что уже в конце XIX в. для немецких писателей (Т. Фонтане и др.) Берлин как столица «напрямую связан с великими мировыми свершениями, это главный

источник вдохновения» [Мазенова 2020: 271]. У авторов XX и начала XXI в. (А. Дёблин, Г. Фаллада, К. Ишервуд, Г. Грасс, Й. Шпаршу и др.) столица Германии, довоенная или разделенная после 1945 г., Восточный Берлин как столица ГДР, предстает уже как «неодолимая, иррациональная, впечатляющая и угнетающая сила» [там же]. При этом особое внимание писатели уделяют образу Берлинской стены и ее локациям (пограничные переходы и т. п.).

Так, в заглавии и в тексте романа Нелли Веремей *“Berlin liegt im Osten”* (2013) отражены местные географические и культурные мотивы. Автор родилась, выросла и окончила школу в СССР, на Кавказе, после обучения на филологическом факультете Ленинградского университета в 1994 г. переехала в Берлин. В романе писательница представляет историю городских анклавов российских мигрантов, отразив впечатления от собственного переезда.

Н. Веремей разрабатывает многогранный паноптикум Берлина, раскрывая мегаполис на трех уровнях, изображая жизнь воссоединенной столицы в настоящем, рассказывая воспоминания подопечных главной героини о разделенном городе, рассуждая о роли города в литературе. Главная героиня – сиделка, русская эмигрантка Лена, приехавшая в Берлин в 1990 г. вместе с семьей. Город для нее – воплощение райского благополучного Запада. Глазами этого протагониста писательница рисует настоящее Берлина: Лена пересказывает истории своих пожилых подопечных, жителей Берлина, преломляя их через призму своей биографии.

Астионим *Berlin* раскрывается в романе описанием вида из окна квартиры героини на Александерплац (глава 2): „Über meinem Haus in der Nähe des Berliner Alexanderplatz schwebt der Fernsehturm, immer nicht ein Meilstein an der unsicher punktierten und imaginären Grenze zwischen dem Osten und dem Westen...“ (Veremej 2013: 8). Знаменитая площадь города – центр романа, вокруг которого проходит жизнь главной героини. Подробно описан ее путь до Ostbahnhof (единственная деталь в романе, напоминающая о разделении Германии) на городском трамвае: „Der Zug schwebt über der Museuminsel. In den Schießscharten ihrer majestätischen Tempel öffnen sich flüchtige Einblicke in der kühlen Welten des eingesperrten Altertums: Mal ein Weiberbein aus Marmor, mal ein trauriger, verbrannter Heiland. Reichstag...“ (ibid.: 18).

Берлин, описанный в первой части романа, контрастирует с тем, в который героиня вернулась после поездки в Санкт-Петербург на похороны матери: „Ich lasse den lauten und lichten Alexanderplatz zu meiner Linken und bleibe verwirrt an

der großen Kreuzung stehen: Fast alle mannshohen Buchstaben sind vor der Gebäudefassade abmontiert, plötzlich, über Nacht. Der Anfang des Döblin-Zitats ist weg, und das Ende auch. <...> Das fällt mir, dass der Laden von Larissa fast weggeräumt ist, dass die Plattenbauten in der Linienstraße saniert... und zeitgemäßen Make-up verstehen werden“ (ibid.: 263). Различия в городском пейзаже в двух частях романа призваны подчеркнуть внутреннее одиночество героини, тоску по родине, по ушедшей матери.

Прошлое Берлина предстает перед читателем и глазами следующего протагониста – Ульфа Сайце, живущего на Торштрассе. Интересно, что эта улица «выросла» из тропинки вокруг Берлинской стены. В разговоре с ним Лена изучает другой Берлин. Период нацизма раскрывается в рассказе об аресте отца Ульфа, Конрада, а период падения нацизма показан через страдания матери Ульфа, Эльзы. Рассказ о семейной жизни Ульфа и Доры Сеитц вместе с сыном Марием демонстрирует бытовые условия жизни в ГДР с 1959 г.

Многочисленные ссылки на город из романа *“Berlin. Alexanderplatz”* А. Дёблина представляют третий пласт раскрытия заглавия. Сближает их не только выбор центрального места, с которого герои романа смотрят на город, но и доминирование описания жизни восточной части Берлина. Однако интертекстуальные отсылки относятся не только к общей площадке действия романа. Отметим, что зачитанный том романа Дёблина лежит в квартире Ульфа. Прослеживается связь между этими двумя романами и через упоминание общих персонажей: отец Ульфа Конрад Сеитц упомянут в романе А. Дёблина, когда он прыгал с трамвая: „Als Konrad Seitz das Buch [Berlin Alexanderplatz] las, erkannte er sich in der Figur wegen der zwei gelben Pakete wieder, mit denen er tatsächlich einmal von der 41 abgesprungen war. Der Vorfall hatte sich sieben Jahre vor Ulf's Geburt ereignet. Als Kleinkind wurde ihm die Geschichte oft erzählt, ihm wurde sogar die Stelle an der grauen Jacke des Vaters gezeigt, wo die Droschenräder die zwei Knöpfe abgerissen haben. An den beiden geflickten Stellen wuchsen später champignonähnliche neue Metallknöpfe...“ (Veremej 2013: 45). Однако других отсылок нет из-за отсутствия у Ульфа ярких воспоминаний об отце.

Персонализированные изображения Берлина в романе сочетаются контрастно. Лена и Ульф Сайце представляют собой антитезу не только прошлого и настоящего, но и деятельности и пассивности. В то время как Ульф Сейц не покинул свой детский квартал, Лена реконструирует в памяти свой жизненный путь, который выходит далеко за пределы Урала: от Дальнего Востока до Берлина. Автор намеренно не акцентирует

внимание читателя на описании жизни ранее разделенных стеной частей Берлина, так как действие происходит уже в объединенной столице. Это наталкивает на мысль, что *der Osten* понимается автором романа шире, а ключ к декодированию заглавия лежит не в разделении Германии, а в пути Лены в Берлин. Ее жизненная дорога наполнена переездами: младенческие годы во Владивостоке, детство на Кавказе у бабушки, студенческие годы в Ленинграде, зрелость в Берлине. Перестройка в СССР открыла ей путь на Запад, но внутренне она не смогла перестроиться: она покупает продукты в русском магазине “Heimat”, с удовольствием описывает Ульф русские новогодние традиции. Она стремится назад, на Восток. Ульф Сайтц тоже не смог приспособиться к жизни в объединенной Германии. Переезд на Запад дал ему подъем в карьере (он стал заместителем главного редактора), однако привел к краху его семью (измена жены, утраченные отношения с сыном). Его счастливые воспоминания остались в ГДР, поэтому антенна его телевизора направлена на Восток – символ его тоски по утраченному счастью. Именно на Востоке лежит вовсе не Берлин, а сердца и души героев – Лены и Ульфа Сайца.

Другой пример – заглавие романа Максима Лео “Der Held von Bahnhof Friedrichstraße” (2022) содержит не просто годоним *Friedrichstraße*, а ойкодоним *Bahnhof Friedrichstraße*. В разделенном Берлине эта станция была конечной, важным контрольно-пропускным пунктом между Западным и Восточным Берлином. Сейчас это важнейший транспортный узел, обозначающий станцию скоростной железной дороги в центральном районе Berlin Mitte.

М. Лео рассказывает историю владельца видеопрокатной лавки Майкла Хартунга. В сентябре 2019 г. в его лавку приходит журналист, который к 30-летию падению Берлинской стены хочет написать статью о массовых побегах граждан ГДР: 127 человек перебежали из Восточного в Западный Берлин в поезде пригородного сообщения на станции Фридрихштрассе. Из документов журналист узнает, что к побегу причастен бывший работник станции Хартунг. Отрицая поначалу свою причастность, Майкл после выплаты гонорара подтверждает историю. Став героем СМИ, Хартунг получает предложение экранизировать его истории. Круто изменив свою жизнь, он встречает девушку Паулу, которая в детстве была в пригородном поезде, «перенаправленном» на Запад. Влюбившись в нее, Хартунг запоздало ищет выход из собственной лжи.

Ойкодоним из названия романа присутствует также в тексте художественного произведения в виде названия газетной статьи о Майкле Хартун-

ге. Здесь автор использует иронию: в газетной статье Майкл Хартунг представлен настоящим героем, но роман раскрывает его как примитивного лжеца.

Ойкодоним “Bahnhof Friedrichstraße” «раскрывается» в романе и через подробное описание особой инфраструктуры железнодорожной станции: “Aber es gab diese eine Weiche am Bahnhof Friedrichstraße, da, wo die Ost-S-Bahnen ankamen. Normalerweise war die Weiche so gestellt, dass die Züge am Ost-Bahnsteig einfuhren. Wurde die Weiche umgestellt, dann fuhr der Zug über das Ferngleis 2 Richtung Westen...” (Leo 2020: 16). Эти детали, по мнению журналиста, заставили поверить в правдивость его истории. Таким образом, автор косвенно отразил в заглавии основной конфликт произведения между правдой и вымыслом, имплицитно выразив и свою оценку главного персонажа ключевой истории.

Рассмотрим пример заглавия с использованием топонима, не относящегося к описанию топонимического пространства Берлина. Так, в заглавие романа Хайнца Штрунка “Ein Sommer in Niendorf” (2022) вынесен топоним “Niendorf”, номинирующий расположенное восточнее Любека поселение и пляж, вокруг которого оно находится. В сочетании с лексемой “der Sommer (лето)” данное имя собственное позволяет читателю на предтекстовом этапе предположить, что в романе будет рассказана история летнего отпуска героя-туриста на пляже (неопределенный артикль *ein* подчеркивает это). Действительно: романист представил историю юриста и писателя по имени Рот, отправившегося в Ниендорф на длительный отдых с целью написать книгу о своей семье, история которой связана с известным литературным объединением писателей ФРГ – «Группы 47».

К выбору места герой романа подошел осознанно: „Nach endlosen Recherche fällt die Wahl schließlich auf <Ostsee-Apartments> in Niendorf, einem Ortsteil von Timmendorfer Strand. Als Kind ist er mal an der Lübecker Bucht gewesen, aber daran hat er keine Erinnerung mehr. Ganz bewusst hat er sich für dieses nicht sonderlich exklusive Seebad entschieden; hier wird ihn nun wirklich niemand kennen“ (Strunk 2022: 7). Первое впечатление от выбранного места отдыха Рота нельзя назвать положительным. Niendorf показался ему маленьким, скучным: „Nach dem Auspacken Ortsbegehung. Viel zu erkunden gibt es in Niendorf (achttausend Einwohner) nicht: paar Hundert Meter nach links, paar Hundert Meter nach rechts, fertig ist die Laube. Das Meerwasserhallenbad markiert das östliche Ende, der Hafen das westliche. Attraktion weiter landeinwärts ist ein Vogel-park. Die Münze (Zahl) schickt ihn zum Hafen“. Ему трудно пред-

ставить, что здесь могло собираться знаменитое литературное общество: “Gruppe 47, denkt Roth, aha. Ein Literatentreffen in Niendorf ist schwer vorstellbar...” (Strunk 2022: 10).

Это побудило Рота продолжить знакомство с Niendorf, где он встречает пляжного корзинщика, Маркуса Бреда, который одновременно владеет местным алкогольным бизнесом. Знакомство становится искушением для Рота: он теряет контроль над собой и становится алкогольно-зависимым, что привело к его смерти в конце истории. Отметим последнее упоминание топонима в романе: “Eingekerkert im selbst gewählten Exil, einem hässlichen Zementhaufen namens *Niendorf*. *Niendorf*, Timmendorfer Strand, Scharbeutz, Haffkrug, Sierksdorf, Siebzigerjahre-Schrottarchitektur, Sünden ohne Charme und Schönheit” (Strunk 2022: 14). Данная цитата подчеркивает, что герой остался верен своему первому негативному впечатлению о поселении.

Выбор автором в качестве локации романа поселения у моря натолкнула литературных критиков на сопоставление истории Рота с историей писателя Густава фон Ашенбаха, рассказанной в новелле Томаса Манна “*Tod in Venedig*” (1912). Но данная параллель может возникнуть только у очень «знающего» читателя и лишь после внимательного прочтения полного текста романа Штрунка.

Еще одним примером декодирования топонимов в заглавии служит название романа Андреаса Штихмана “*Eine Liebe in Pjöngjang*” (2022), представляющее собой предложное субстантивное словосочетание по модели: *сущ. + in + сущ. топоним*. Главный его конститuent – лексема «(Eine) Liebe (любовь)» – многозначна: 1. *starkes Gefühl der Zuneigung für eine Person oder für eine Sache, Idee*. 2. *Barmherzigkeit, Mildtätigkeit [übertragen]*. 3. *[umgangssprachlich] Gefälligkeit, Freundlichkeit*. 4. *[umgangssprachlich] Person, der jmds. starkes Gefühl der Zuneigung zuteil wird*². Употребление с абстрактным существительным неопределенного артикля сигнализирует читателю, что в романе будет рассказана история лишь части взаимоотношений героя из множества возможных. В сочетании с топонимом данная лексема актуализирует в сознании читателя стереотипы о любовных отношениях, принятых в Северной Корее.

В романе представлена история любви между деятелем культуры Клаудией Эбишер, отправившейся в последнюю поездку в качестве главы делегации молодых деятелей культуры на торжественное открытие Немецкой библиотеки в столице КНДР – Пхеньяне, и германистом, переводчиком и агентом спецслужб КНДР Суини. В основу романа автор положил собственные впечат-

ления от поездки в Северную Корею в 2017 г., рассказав историю любви между двумя женщинами, абсолютно разными по возрасту и культурным установкам. Для Клаудии даже визуально всё странно в этой чуждой стране: “*Pjöngjang war die Stadt der weniger Farben. Über einem Feld ungeheuer symmetrischer Wohnriegel stand die stumpfsilberne Sonne. Die schraubenförmigen Bauten des Wissenschaftlerviertels schimmerten in einem unaufgeregten Marzipanrosa. Keine Musik. Keine Sitzgelegenheiten. Keine Menschengruppen. Keine Teenien-Trauben. Keine als solche zu erkennenden Geschäfte oder Restaurants, keine Aufschriften, keine Cafes, kein Lärm. Immer nur: Plattenbau, breite Straße, einfarbige Wand. Schneekugelstille herrschte unter der aufblendenden Sonne...*” (Stichmann 2022: 16).

Для героини-немки город Пхеньян наполнен одним цветом, повторяющимся на протяжении всего путешествия: *braun* (коричневый). Этими характеристиками обладают, по ее мнению, и жители Пхеньяна. В то же время родная страна – Германия – ассоциируется у нее с *grün* (зеленый), что символизирует спокойствие, плодородие, приземленность. Такое восприятие главной героиней чужого города изначально подсказывает читателю, что ее влюбленность в Сауни не принесет счастья, что подтверждает финал романа: вернувшись в ФРГ, Клаудия попыталась найти возможность организовать переезд Сауни, но из этого ничего не вышло, так как Сауни была поймана при попытке уехать в Китай. Сауни вернулась на родину в сопровождении полицейских, и ее жизнь стала прежней.

Таким образом, иноязычный топоним (астионим) *Pjöngjang* играет роль экзотичного указателя читателю на конфронтацию культур ФРГ и Северной Кореи, которая в романе отражена на примере частной жизни двух героинь романа.

Выводы

Многообразие смыслов, демонстрируемое топонимами в заглавиях современных немецкоязычных романов, позволяет сделать вывод об их большом функциональном потенциале при наименовании художественного произведения. Топонимы в заглавиях современных немецкоязычных романов употребляются в составе предложных субстантивных словосочетаний. Топонимическое пространство заглавий современных немецкоязычных романов создается с помощью реальных топонимов, но не вымышленных объектов, относящихся к географическому пространству Германии. Отметим тенденцию к употреблению урбанонимов (кононимов, аронимов, агоронимов) в заглавиях современных романов. Это так называемое «большое пространство»

всего города или поселения, где происходит действие романа, представляемое и через наименование небольшого городского объекта, то есть через употребление регионального топонима.

Особое место среди топонимов занимают берлионимы (10 заглавий романов в выборке связано с Берлином), воссоздавая урбанистические реалии столицы ФРГ, формируя в современном романном дискурсе концепт *Berlin*. Употребление топонимов, репрезентирующих географическое пространство других стран, помогает авторам маркировать для читателя «чужое» пространство или «чуждую» культуру. С его помощью авторы настраивают читателя на восприятие другого менталитета, задают ему посредством возникающих ассоциаций определенный, раскрываемый в романе концепт.

Обладая богатым набором экстралингвистических ассоциаций, топонимы оказываются «инструментом», помогающим писателю включить воображение читателя при первом знакомстве с романом, обращая его к собственным знаниям в географии (при необходимости, при чтении романа восполняя пробелы), к литературной традиции на основе читательского опыта. Топоним, обладая национальной детерминированностью, становится через заглавие символом определенного лингвокультурного сообщества.

Примечания

¹ Федеральное статистическое ведомство ФРГ. URL: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/07/PD23_279_45.html. (дата обращения: 31.10.2023).

² Лексический корпус немецкого языка DWDS. URL: <https://www.dwds.de/?q=Liebe&from=wb> (дата обращения: 02.09.2023).

Список источников

Leo M. Der Held von Bahnhof Friedrichstraße. Kiepenheuer&Witsch, 2022. 304 s. (In Ger.)
 Stichmann An. Eine Liebe in Pjöngjang. Rowohlt E-book, 2022. 160 s. (In Ger.)
 Strunk H. Ein Sommer in Niendorf. Rowohlt E-Book, 2022. 240 s. (In Ger.)
 Veremej N. Berlin liegt im Osten. Jung and Jung: Verlag für Literatur und Kunst, 2013. 247 S. (In Germ.)

Список литературы

Буцкая О. Н. Топонимы-логоэпистемы в современном русском речеупотреблении // Вестник МГЛУ. Гуманитарные науки. 2017. Вып. 8(780). С. 31–40.

Виноградов В. В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1963. 255 с.

Елистратов В. С., Пименов П. А. Нейминг: искусство называть: учеб.-практ. пособие. М.: Омега-Л, 2014. 304 с.

Ламзина А. В. Заглавие // Литературное произведение: основные понятия и термины. М.: Высшая школа, 2000. С. 94–107.

Мазенова М. В. Берлин как художественный образ в литературе объединенной Германии // Мир науки, культуры, образования. 2020. Вып. 1. С. 271–273.

Молчановский В. В. Лингвострановедческий потенциал топонимической лексики русского языка и его учебно-лексикографическая интерпретация: дис. ... канд. пед. наук. М., 1984. 201 с.

Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии. М.: Наука, 1988. 194 с.

Саморукова И. В. Заглавие как индекс дискурсивной стратегии произведения // Вестник СамГУ. Гуманитарная серия. 2002. Вып. 1(23). С. 113–118.

Супрун В. И. Ономастическое поле русского языка и его художественно-эстетический потенциал. Волгоград: Перемена, 2000. 171 с.

Суперанская А. В. Общая теория имени собственного. М.: Наука, 1973. 367 с.

Толстой Н. И., Толстая С. М. Имя в контексте народной культуры / под. общ. рук. и ред. Н. Д. Арутюновой. Язык о языке: сб. ст. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 597–624.

Щербинина Ю. В. Новые названия knick // Звезда. 2015. № 6. С. 254–260.

Bach A. Die deutschen Personennamen. Deutsche Namenkunde. Heidelberg: Winter. 1978. 295 s.

Duden. Die Grammatik. Dudenverlag. Mannheim. Wien; Zürich, 2009. 1349 s.

Genette G. Paratexts: Thresholds of interpretation. Cambridge: Cambridge Press, 1997. 427 p.

Helleland B. Place Names and Identities // Oslo Studies in Language. 2012. No. 4(2). P. 95–116.

Medway D., Warnaby G. What in a Name? Place Branding and Toponymic Commodification // Environment and Planning. 2014. № 46(1). P. 153–167.

Nieminen K. Zum Gebrauch des Artikel in Zusammenhang mit dem Substantivattribut bei Eigennamen im Deutschen. Universität Tampere, 2006. 88 s.

Schröder J. Lexikon deutscher Präpositionen. Leipzig: Verlag Enzyklopädie, 1986. 268 s.

Woodman P. The Interconnections between Toponymy and Identity // Review of Historical Geography and Toponomastics. 2014. Vol. 9, No. 17–18. P. 7–20.

References

Butskaya O. N. Toponymy-logoepistemy v sovremennom russkom recheupotreblenii [Toponyms-logoepistemes in modern Russian use of speech].

Vestnik MGLU. Gumanitarnye nauki [Vestnik of Moscow State Linguistic University. Humanitarian Sciences], 2017, issue 8(780), pp. 31–40. (In Russ.)

Vinogradov V. V. *Stilistika. Teoriya poeticheskoy rechi. Poetika* [Stylistics. Theory of Poetic Speech. Poetics]. Moscow, Academy of Sciences of the Soviet Union Publ., 1963. 255 p. (In Russ.)

Elistratov V. S., Pimenov P. A. *Nayming: iskustvo nazyvat'* [Naming: The Art of Naming]: Practical handbook. Moscow, Omega-L Publ., 2014. 293 p. (In Russ.)

Lamzina A. V. *Zaglavie* [The title]. *Literaturnoe proizvedenie: osnovnye ponyatiya i terminy* [A Literary Work: Basic Concepts and Terms]. Moscow, Vysshaya shkola Publ., 2000, pp. 94–107. (In Russ.)

Mazenova M. V. Berlin kak khudozhestvennyy obraz v literature ob"edinennoy Germanii [Berlin as an artistic image in the literature of the united Germany]. *Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya* [World of Science, Culture, Education], 2020, issue 1, pp. 271–273. (In Russ.)

Molchanovskiy V. V. *Lingvostranovedcheskiy potentsial toponimicheskoy leksiki russkogo yazyka i ego uchebno-leksikograficheskaya interpretatsiya*. Diss. kand. filol. nauk [Linguo-cross-cultural potential of toponymic vocabulary of the Russian language and its educational and lexicographic interpretation. Cand. philol. sci. diss.]. Moscow, 1984. 201 p. (In Russ.)

Podol'skaya N. V. *Slovar' russkoy onomasticheskoy terminologii* [Dictionary of Russian Onomastic Terminology]. Moscow, Nauka Publ., 1988. 194 p. (In Russ.)

Samorukova I. V. *Zaglavie kak indeks diskursivnoy strategii proizvedeniya* [A title as the index of discursive strategy of a fictional work]. *Vestnik SamGU. Gumanitarnaya seriya* [Vestnik of Samara State University. Humane Studies Series], 2002, vol. 1(23), pp. 113–118. (In Russ.)

Suprun V. I. *Onomasticheskoe pole russkogo yazyka i ego khudozhestvenno-esteticheskiy potentsial* [The Onomastic Field of the Russian Language

and Its Artistic and Aesthetic Potential]. Volgograd, Peremena Publ., 2000. 171 p. (In Russ.)

Superanskaya A. V. *Obshchaya teoriya imeni sobstvennogo* [General Theory of the Proper Name]. Moscow, Nauka Publ., 1973. 367 p. (In Russ.)

Tolstoy N. I., Tolstaya S. M. *Imya v kontekste narodnoy kul'tury* [A name in the context of folk culture]. Ed. by N. D. Arutyunova. *Yazyk o yazyke* [Language about Language]: a collection of articles. Moscow, LRC Publishing House, 2000, pp. 597–624. (In Russ.)

Shcherbinina Yu. V. *Novye nazvaniya knick* [New titles knick]. *Zvezda* [The Star], 2015, vol. 6, pp. 254–260. (In Russ.)

Bach A. *Die deutschen Personennamen. Deutsche Namenkunde* [German Personal Names. German Naming]. Heidelberg, Winter, 1978. 295 p. (In Ger.)

Duden. *Die Grammatik* [Grammar]. Dudenverlag, Mannheim, Wien, Zürich, 2009. 1349 p. (In Ger.)

Genette G. *Paratexts: Thresholds of Interpretation*. Cambridge, Cambridge Press, 1997. 427 p. (In Eng.)

Helleland B. Place names and identities. *Oslo Studies in Language*, 2012, vol. 4(2), pp. 95–116. (In Eng.)

Medway D., Warnaby G. What's in a name? Place branding and toponymic commodification. *Environment and Planning*, 2014, issue 46(1), pp. 153–167. (In Eng.)

Nieminen K. *Zum Gebrauch des Artikel in Zusammenhang mit dem Substantivattribut bei Eigennamen im Deutschen* [On the Use of Articles in Connection with the Noun Attribute in Proper Names in German]. Tampere University Press, 2006. 88 p. (In Ger.)

Schröder J. *Lexikon deutscher Präpositionen* [Dictionary of German Prepositions]. Leipzig, Publisher Encyclopedia, 1986. 268 p. (In Ger.)

Woodman P. The interconnections between toponymy and identity. *Review of Historical Geography and Toponomastics*, 2014, vol. 9, issues 17–18, pp. 7–20. (In Eng.)

Toponyms in the Titles of Modern German-Language Novels

Valeria E. Shtyrova

Postgraduate Student at the Department of German Philology

Samara University

34, Moskovskoe shosse, Samara, 443086, Russian Federation. shtirova2014@gmail.com

SPIN-code: 7122-3541

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7896-2611>

ResearcherID: JFA-8701-2023

Sergey I. Dubinin

Acting Head of the Department of German Philology

Samara University

34, Moskovskoe shosse, Samara, 443086, Russian Federation. dubinin.si@ssau.ru

SPIN-code: 3092-1770

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6248-9812>

ResearcherID: P-3522-2015

Submitted 10 Nov 2023

Revised 08 Dec 2023

Accepted 05 Feb 2024

For citation

Shtyrova V. E., Dubinin S. I. Toponimy v zaglaviyakh sovremennykh nemetskoyazychnykh romanov [Toponyms in the Titles of Modern German-Language Novels]. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2024, vol. 16, issue 3, pp. 100–110. doi 10.17072/2073-6681-2024-3-100-110 (In Russ.)

Abstract. The article is devoted to a comprehensive study of toponyms presented in the titles of modern German-language novels created at the turn of the 20th-21st centuries. The purpose of the study is to explore the linguo-pragmatic potential of toponyms in the naming of novels. The material of the study included 67 titles containing toponyms. As research methods, we employed structural-semantic, descriptive, taxonomic, and quantitative analysis. A study of the identified units showed that toponyms in the titles of literary texts are used as part of substantive prepositional phrases with a dependent word in the dative case. When giving names to their texts, modern German-speaking novelists mainly use geographical names reflecting the space of Germany. Regional toponyms (astionyms, cononymys) are more often used both with the aim of a detailed and reliable description of urban space at the stage of the reader's initial acquaintance with the text and as serving the purpose of plot development. A special group is made up of toponyms marking Berlin and its urban space as most significant for the semantic organization of novels of the period in question. The use of the geographical spaces of other countries helps novelists not only to activate the reader's knowledge of the selected foreign-culture locations but also to adjust readers' expectations, through associations with toponyms, toward particular subjects and perceptions of other cultures. Toponyms in the titles of novels help to convey the general cultural context of works. The results of the analysis allow us to expand the idea of the axiological potential, pragmatics, and functional-and-stylistic features of the use of toponyms in the titles of literary texts written by modern novelists.

Key words: title; modern German-language novel; onomastic space; toponyms; Berlinonyms.

ЛИТЕРАТУРА В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРЫ

УДК 821.161.1'42
doi 10.17072/2073-6681-2024-3-111-119
<https://elibrary.ru/remmmg>

EDN REMMMG



«По образованию я историк...». История в научном, публицистическом и художественном дискурсах Владимира Шарова

Абашева Марина Петровна

д. филол. н., профессор кафедры культурологии и социально-гуманитарных технологий
профессор кафедры журналистики и массовых коммуникаций

Пермский государственный национальный исследовательский университет
614068, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15. m.abasheva@gmail.com

профессор кафедры теории, истории литературы и методики преподавания литературы
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет

614990, Россия, г. Пермь, ул. Сибирская, 24

SPIN-код: 2169-4629

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5720-7916>

Киосе Оксана Афанасьевна

ст. преподаватель кафедры иностранных языков и связей с общественностью

Пермский национальный исследовательский политехнический университет
614990, Россия, г. Пермь, Комсомольский просп., 29. oks_kiose@mail.ru

аспирант кафедры теории, истории литературы и методики преподавания литературы
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет

614990, Россия, г. Пермь, ул. Сибирская, 24

SPIN-код: 9500-1929

ResearcherID: P-8012-2016

Статья поступила в редакцию 12.04.2024

Одобрена после рецензирования 07.05.2024

Принята к публикации 06.06.2024

Информация для цитирования

Абашева М. П., Киосе О. А. «По образованию я историк...». История в научном, публицистическом и художественном дискурсах Владимира Шарова // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2024. Т. 16, вып. 3. С. 111–119. doi 10.17072/2073-6681-2024-3-111-119

Аннотация. Рассматриваются истоки формирования историософской концепции российского прозаика Владимира Шарова. Выявляются принципы обработки и репрезентации исторического материала в его научных работах (впервые подробно рассмотрена кандидатская диссертация), в публицистике, в романах. Дискурсивный и нарратологический анализ текстов писателя показал, что уже в диссертации, целью которой было историографическое исследование наследия историка С. Ф. Платонова, формируются взгляды Шарова-мыслителя и намечаются приемы Шарова-писателя: тяготение

к проблематике Смутного времени, установка на использование в качестве источников частных свидетельств и литературных текстов. В публицистических статьях Шарова происходит концептуализация и масштабирование опыта научного исторического исследования: Смутное время рассматривается как инвариант иных российских смут, революции и смены власти трактуются как повторяющиеся закономерности, исторические события осмысляются в логике религиозных, социальных, политических констант российской ментальности. В романах Шарова эти концепции становятся фоном и отправной точкой для разворачивания художественных метафор, фантастических допущений и, в итоге, глубоких прозрений писателя. Изучение фикциональных текстов Шарова приводит к выводу о доминировании в его прозе метанарративов мессианизма, эсхатологии, провиденциальности пути России, цикличности ее истории. Делается вывод о решающей роли исторического исследовательского опыта Шарова в становлении его художественного метода, о механизмах трансформации исторического дискурса в фикциональный, о характере историософской концепции Шарова, укорененной в отечественной культуре, но имеющей собственную специфику.

Ключевые слова: историософия; Владимир Шаров; современная литература; нарративная организация художественного текста.

Владимир Шаров (1952–2018) – один из самых значительных современных российских писателей, автор романов «След в след: Хроника одного рода в мыслях, комментариях и основных датах» (1991), «Репетиции» (1992), «Старая девочка» (1998), «Возвращение в Египет» (2013), «Царство Агамемнона» (2018), книг публицистики «Искушение революцией» (2009), «Перекрестное опыление» (2018). Лауреат литературных премий «Русский Букер» и «Большая книга» (2008 и 2014).

В формировании художественной концепции писателя большое значение имеет то обстоятельство, что Шаров – профессиональный историк. Еще не будучи писателем, Шаров окончил исторический факультет Воронежского университета, аспирантуру в Московском государственном историко-архивном институте, написал кандидатскую диссертацию «Проблемы социальной и политической истории России второй половины XVI – начала XVII веков в трудах С. Ф. Платонова» в 1984 г. Писатель говорил о себе: «По образованию я историк, много лет занимался русской медиэвистикой – опричниной и Смутным временем, то есть второй половиной XVI – началом XVII века» [Березин 2020].

О роли профессионального знания в художественных текстах Шарова писали некоторые исследователи его творчества. А. Эткинд в статье «Владимир Шаров как историк» сопоставляет художественные тексты автора с его научными взглядами. Исследователь отмечает, что большинство рассказчиков у Шарова – историки, подчеркивает характер нарратора в романах Шарова и общую направленность его историографического нарратива. Заметим, что на деле этот нарратив оказывается, как правило, квазиисторическим, поскольку в романах Шарова всегда существуют множество нарраторов, часть из которых можно считать, скорее, ненадежными.

А. Эткинд исследовал также истоки интереса Шарова к истории: влияние учителя историка Александра Немировского, судьбы семьи Шарова, попавшей в жернова сталинского террора, опыта отца-писателя, прошедшего лагерь. Исследователь отмечает и роль академических занятий писателя историей: «В замысловатых сюжетах Шарова переплетаются несколько повторяющихся линий, которые, будто в кандидатской диссертации по истории, соединяют источники, метод, предмет и содержание» [Эткинд 2020: 170].

Исследователь А. Дмитриев рассматривает интерес Шарова к историографии С. Ф. Платонова как фактор, формирующий взгляды писателя. Автор статьи отмечает, что одной из самых главных идей, влияющих на творчество Шарова, была концепция понимания истории России, впервые сформулированная именно С. Ф. Платоновым, который одним из первых построил Смуту в логику истории России и показал, что этот период не был привязан к Ивану Грозному, а случился бы и при другом правителе. Кроме того, Платонов утверждал, что Смута повлияла на весь ход последующей истории страны [Дмитриев 2020]. В свою очередь М. Липовецкий исследует содержание исторической концепции Шарова-романиста, выявляя основные ее элементы, основанные на осмыслении «религиозного метанарратива русской революции» [Липовецкий 2020: 183].

Учитывая эти наблюдения, в настоящей работе мы видим своей целью подробнее проследить связь художественного метода Шарова с теми научными взглядами, что сформировались в начале его пути, в кандидатской диссертации, ввести в научный оборот идеи диссертационного исследования Шарова. Кроме того, очевидно, что между научными работами В. Шарова («Психология русской истории» (1990), «Опричнина» (1991) и др.) и его романами есть опосредующее

звено – его публицистические статьи. Большинство статей были опубликованы в журнале «Знания» в разные годы, а позже статьи собраны в два сборника эссе «Искушение революцией» (2009) и «Перекрестное опыление» (2018). Установить связи в трех различных дискурсах Шарова об истории – научном, публицистическом, художественном – важная задача, которую невозможно решить в рамках одной статьи. Однако представляется возможным прочертить основные линии взаимодействия этих дискурсов. Наши наблюдения показали, что в романах и эссе Владимира Шарова в образной форме претворяются несколько ключевых идей и концепций, некоторые из которых берут начало еще в диссертации автора.

Формирование исторического мировоззрения в диссертации Владимира Шарова

В 1984 г. Владимир Шаров защитил диссертацию «Проблемы социальной и политической истории России второй половины XVI – начала XVII вв. в трудах С. Ф. Платонова» под руководством доктора исторических наук (с 1989), советского историка, специалиста по истории исторической науки В. А. Муравьева. Выбор темы, при всей академичности, был отчасти новаторским. А. Дмитриев отметил, что в 1980-е гг. имя Платонова, не обласканного советской властью, было почти забыто: «Обращение к Платонову было выбором нетривиальным и отчасти рискованным. Хотя главную книгу опального академика о Смутном времени переиздали в 1937 году(!), сам историк оставался для советских историографов авторитетом весьма сомнительным» [Дмитриев 2020: 201].

Диссертация Владимира Шарова – историографического характера. Она посвящена анализу работ Сергея Федоровича Платонова. С. Ф. Платонов (1860–1933) – профессор, член Академии наук, директор Археологического института, глава Петроградского отделения Главархива (1918–1923). Главным научным интересом С. Ф. Платонова был период Смутного времени в России. В 1890 г. он был награжден Уваровской премией за работу «Древнерусские сказания и повести о Смутном времени XVII века, как исторический источник» (1888). Известный российский ученый С. О. Шмидт отмечал влияние работ С. Ф. Платонова на исследования современных историков: «докторская диссертация Платонова и по сей день остается первоосновой знаний о России второй половины XVI – начала XVII вв.» [Шмидт 2000: 109].

Наиболее значимым для В. Шарова оказался сам факт обращения к истории Смутного времени. В воспоминаниях, опубликованных в сборнике «Перекрестное опыление» (2018), писатель признавался, что интерес к опричнине и Смутному времени у него возник именно в период работы над диссертацией и в дальнейшем она наложила отпечаток на все его творчество: «Двенадцать лет Смуты, когда все, от первого до последнего, бесчисленное число раз продавали, предавали друг друга, прошлись по русской истории огнем и мечом, и я понимал, что страна, которая вышла из Смуты, была совсем не той, что в нее вошла» [Шаров 2018: 43]. Жена Шарова Ольга Дунаевская в воспоминаниях подтверждает, что именно аспирантура повлияла на дальнейшие интересы Шарова, которая, по ее мнению, дала «новаторскую теорию опричнины Ивана Грозного, основной массив исторических идей, саму возможность сосредоточиться на прозе и романы “След в след” и “Репетиции”» [Дунаевская 2020: 10].

В диссертационном исследовании среди задач работы автором были отмечены следующие: воссоздание научной биографии С. Ф. Платонова, определение мировоззрения историка сквозь призму изучения им одного из спорных периодов русской истории. Шаров по законам жанра диссертации обозначает, каких результатов удалось достичь ее автору. Автор выявил: «1. круг учителей С. Ф. Платонова; 2. круг историков, наиболее близких к Платонову; 3. формирование исторических интересов и взглядов С. Ф. Платонова; 4. отношение к политике и к партиям вообще и влияние политической истории России на его научные интересы» [Шаров 1984: 27].

Шаров, судя по тексту диссертации, исследовал большой объем архивных материалов: это воспоминания С. Ф. Платонова (журнал «Дела и дни» 1921), автобиография историка (журнал «Огонёк» 1927), фонд писем С. Ф. Платонова (24 000 писем, 300 из которых были от него, а не от корреспондентов), монографические работы автора¹, статьи, учебники, курсы лекций, доклады и тексты выступлений, рецензии, отзывы и др. [там же].

Но важнее всего те источники, к которым обращается Шаров вслед за Платоновым. Базой источников С. Ф. Платонова были литературные памятники XVI–XVII вв. «Историку древнерусские сказания о смуте могут служить или своею фактической стороною, или теми взглядами на события, какие в них высказаны», – писал Платонов [Платонов 1888: 343].

Нам представляется, что Шаров усвоил сам подход Платонова (нетривиальный для того времени) к изучению исторических событий. Этот подход состоял в тщательном сборе и анализе не только исторических документов, но и литературных произведений.

Еще один важный момент – внимание Шарова к эпистолярию изучаемого ученого. В процессе исследования биографии и мировоззрения С. Ф. Платонова Шаров обращается к архиву переписки историка. Большинство писем из архива представляют собой деловую переписку и являются письмами Платонову, а не от него. Но именно из характера этих писем исследователь восстанавливает облик ученого, как его видели современники: «Характер обращения корреспондентов к Платонову, характер просьб, общий тон писем, объем переписки, посвященный решению конкретного вопроса, позволяют достаточно четко уловить то, как воспринимали Платонова его современники» [Шаров 1984: 49].

Усвоенный в процессе научной работы подход к изучению исторических событий через призму взглядов современников, внимание к переписке и жанрам научного исследования продолжили влиять и на последующее творчество Владимира Шарова. Все романы Шарова представляют собой подчеркнуто нарративные конструкции с обозначением нарраторов. Нередко романы Шарова построены как переписка нескольких нарраторов. Роман «Возвращение в Египет» представляет собой семейную переписку, которую повествователь якобы обнаружил в «Народном архиве»: «Сразу должен сказать: нынешняя публикация составила не из самих писем, а из цитат, в сущности, просто выписок, которые я делал по ходу чтения, и уже по одному этому отношения к научной она не имеет. <...> единственное назначение работы – привлечь внимание к ценному семейному фонду, который с недавних пор сделался доступен» [Шаров 2013: 12].

Нередко мы видим в произведениях Шарова следы интереса к тем фигурам истории, которые интересовали С. Ф. Платонова. Например, патриарх Никон интересует как С. Ф. Платонова, так и В. Шарова – в романе «Репетиции» он становится одним из главных героев.

Однако самое важное, что получил Шаров-писатель от Шарова-историка, заключается в том, что изучение Смутного времени дало Шарову универсальную метафору, которая легла в основу его понимания русской истории. Уже в диссертации тридцатидвухлетний Шаров характеризует эпоху Смуты как ключевую в истории России: «Эта эпоха была переломной в истории

феодальной России. Это время – узел русской истории» [Шаров 1984: 9].

Примечательно, что само понятие «узел истории» встречается у С. Ф. Платонова в работе «Древнерусские сказания и повести о Смутном времени»: «Мне представляется, что это время (“смутное время”) является историческим узлом, связывающим старую Русь с новой Россией. Естественно казалось взяться прежде всего за этот узел и потом, держась за путеводные нити, расходящиеся из этого узла, или восходить к древнейшей эпохе, или спускаться в новые времена» [Платонов 1888: 17].

Собственно, задачу поиска «путеводных нитей» выполнил и Шаров, но уже в публицистике и романах. В диссертации он связывает события Смутного времени и недавнее прошлое: «События “смутного времени” были чрезвычайно актуальны для рубежа XIX–XX вв. Назревающая в России революция рассматривалась многими буржуазными историками как “смутное время”. “Смута” понималась как политический и социальный катаклизм» [Шаров 1984: 10].

Публицистика Владимира Шарова: развитие идей

Научные статьи Шарова, перечисленные в автореферате его диссертации, посвящены осмыслению событий Смутного времени, правления царя Ивана Грозного, но в них всегда есть связь с событиями более поздней истории. В статье «Психология русской истории» (1990) Шаров сопоставляет правление А. Боголюбского, И. Грозного, Петра I, И. Сталина – периоды абсолютизма. В работе «Опричнина» (1991) Шаров представляет концепцию опричнины И. Грозного как военно-монашеского ордена, созданного по принципу Ливонского ордена для подготовки к правлению Ливонией после ожидаемой победы в войне.

В публицистических статьях Шаров идет дальше, чем в диссертации. Эти сборники воспринимаются как его целостная концепция истории. Исследовательница творчества Шарова Кэрил Эмерсон, например, видит в сборниках эссе писателя «точку зрения Шарова на русскую историю как <...> околдовывающую людей своей “повторяемостью, предсказуемостью, необратимостью закономерностью”» (перевод наш. – М. А., О. К.) [Emerson 2019: 598].

«Собирая “Искушение революцией” (сборник эссе 2009), пишет Шаров, – я в очередной раз убедился, что число тем в русской истории, которые меня занимали, достаточно ограничено» [Шаров 2009: 3]. В эссе «Записи деда» Шаров замечает, что революции 1905 и 1917 годов ви-

делись русской властью тем же Смутным временем: «Задолго до революций 1905 и 1917 годов все знали, что будет революция, все знали, какая она будет. Тема Смуты была самой популярной в русской историографии, отсылка к Смуте, сопоставления со Смутой, терминология Смуты – все это встречается везде (газеты, публицистика, исторические труды). Более того, сознавало это и правительство и даже готовило тот класс, который в Смуту спас Россию. Столыпин пытался после революции 1905 года создать такого же северного мужика в Сибири, частного собственника, эмансипированного от бюрократии и от общины, и почти преуспел – Сибирь наряду с Доном и Северным Кавказом стала главной базой “белого” движения. Но здесь история России отошла от своего внешнего дублирования (революция победила), чтобы через двадцать лет перейти к дублированию внутреннему – что главное» [Шаров 2009: 103].

Революции Шаров рассматривает как следствие глубинного раскола общества, изначально заложенного в период русского религиозного раскола XVII в. Именно это событие Шаров рассматривает как центральную точку, определившую все «смутные времена» в истории. В статье «Октябрь семнадцатого года и конец истории» (2018) Шаров пишет о расколе: «Во время этого раскола две половины общества очень честно и очень страшно поделили между собой все то понимание Бога и мира, которое Россия успела накопить за шесть с половиной веков после крещения» [Шаров 2018: 160]. Вскоре после разделения православных верующих, то есть раскола, синодальная церковь объявила староверов еретиками и схизматиками, а староверы признали церковь и власть безблагодатными, и это значит, что теперь Русью правит антихрист. Здесь и появилась та пропасть между двумя частями русского православного общества, которую ни соединить, ни зарастить больше не смогли. Шаров отмечает, что все последующие поколения бунтовщиков и революционеров выходили из оппозиционной, раскольничьей среды: «[Староверы] свой взгляд на тех, кто их мучил и убивал, свели в три положения (о безблагодатности власти Романовых, Синодальной церкви и таинств, совершаемых церковью). Два с половиной века спустя каждое слово этих положений с восторгом переймут, объявят своими большевики и те, кто за ними пойдет. Для власти не в меньшей степени, чем учение Маркса, они станут основой легитимности всего, что будет происходить в стране после революции» [Шаров 2018: 161]. И здесь Шаров продолжает мысль С. Ф. Платонова, писавшего о

том, что в раскольничьей среде в начале XVIII в. выросло убеждение, что Петр I антихрист, потому что гонит православие, «разрушает веру христианскую»: «Он не государь – латыш; поста никакого не имеет; он лстец, антихрист, рожден от нечистой девицы» [Платонов 1993: 533].

Владимира Шарова в расколе больше интересуют староверы: «Религиозное возрождение взяли себе староверы, дополнив истовость, непреложность веры и глубину раскаяния убеждением в необходимости, обязательности – если впрямь ждешь Спасителя – твоих собственных страстей, соразмерных Его крестной муке, страстей, которые однажды окажутся выше человеческих сил» [Шаров 2018: 161].

Историософские идеи, сформулированные Владимиром Шаровым в научных и публицистических текстах, воспроизводят циклическую систему развития истории России. По Шарову, в основе российской истории лежат две религиозные идеи: эсхатологическая и мессианская. Еще в диссертационном исследовании автор обнаруживает основные причины для развития этих идей. Он полагает, что мессианство связано с наследием Иерусалима: «ко времени же Грозного готовы были и все те политические теории, которые провозгласили Москву “новым Израилем”, а московского государя “царем православия”» [Шаров 1984: 97]. Эсхатологизм он связывает с православием, ожиданием конца правления антихриста на земле и наступлением Второго пришествия, антихристом же представлялся царь в том случае, если его переставал сопровождать успех (проигрывались войны, наступал голод в стране и т. д.).

В публицистике, таким образом, Шаров устанавливает причины исторических катаклизмов в России. Мессианская идея стала корнем всех революций в России, самой крупной и значимой из которых стал Церковный раскол XVII в., эсхатологическая идея заложила неизбежность революций после раскола XVII в.

На наш взгляд, эти основные положения историософии Шарова легли и в основу романов автора.

Романы: авторская историософия

Во время обучения в аспирантуре и подготовки диссертации Владимир Шаров написал два романа: «След в след» (1991) и «Репетиции» (1992).

Обратимся к роману «Репетиции» в поисках «следов» подхода Шарова – профессионального историка и его публицистических идей. Сюжет романа представляет собой невероятное предположение, фантастичность которого «маскирует»

ся» у Шарова, кроме прочего, излюбленной им формой «свидетельств» – воспоминаний-дневников. Роман основан на дневниках Жака де Сертана (французского комедиографа и владельца кочевой театральной труппы, постановщика мистерий), взятого в плен во Франции в XVII в. и привезенного в Россию. Шаровский Сертан живет на попечении патриарха Никона в его Новом Иерусалиме, который строился вблизи Москвы по образу Иерусалимского храма, где родился Иисус Христос. Задача строительства – подготовить место для прихода Христа, задача Сертана – поставить мистерию о жизни Христа. Жители Нового Иерусалима играют под руководством Сертана мистерию, участвуют в репетициях с четким распределением ролей. Не занята только роль Христа – он должен был, по задумке Никона, сам прийти в нужный момент, когда все подготовлено – и Новый Иерусалим достроен, и ритуал встречи отрепетирован. Однако Никон попадает в немилость царю Алексею, и после смерти Никона Сертан и его труппа сосланы в Сибирь, а Новый Иерусалим остается недостроенным.

Однако вся труппа привыкла жить по законам мистерии, все уверены, что Христос придет, а им нужно всегда быть готовыми: «Для них это и не роли, а их жизнь, их миссия, то, что им суждено и предназначено» [Шаров 1992: 51]. По настоянию апостолов Сертан подряд, без изъятий, переводил и диктовал им дневниковые записи, касающиеся постановки, чтобы, если он умрет, «они и без него могли продолжить репетиции и, когда придет время, сыграть сделанную им постановку такой, какой он ее задумал» [там же: 73].

В романе рассказывается, как все новые поколения живущих вокруг Нового Иерусалима год за годом, век за веком разучивают роли в мистерии о явлении Христа. Однако случается так, что те, кто играл христиан, ссорятся с теми, кто играл роли иудеев. Первые уничтожают вторых. В деревне основывают лагерь ГУЛАГа, «апостолы» становятся его комендантами и продолжают репетиции под видом атеистической пропаганды.

Мистерия игралась в течение нескольких веков – до середины XX в., пока не изменилось понимание слова Христа и не были убиты все наследники тех, кто начинал играть в спектакле-мистерии. Исполнители ролей в XX в. продолжали привычное занятие, и на этапе, и в лагерях каждый играл свою роль: евреи, римляне, волхвы, ученики Христа и т. д. Апостолы стали начальниками лагерей, христиане – охранниками лагеря, евреи, авелиты и римляне – лагерными заключенными. Репетиции продолжались, евреи

раз в 40 лет уходили из лагерей, часть из них возвращалась, а часть погибала в пути.

Репетиции завершились только тогда, когда христиане во главе с апостолами – руководителями лагерей – признали, что Христос не придет к ним, пока живы евреи: «Так было всегда, и проходило немало лет, прежде чем апостолы, день за днем повторяющие слова, которыми они встретят мессию, понимали, что Христу надо от них другого, репетиции – зряшний труд, никому они не нужны: Христос не придет к ним, сколько бы они их ни повторяли» [там же: 114]. Евреям удавалось каждый раз вымалывать жизнь и спасение у Христа. В итоге обманом участники мистерии всё же убивают евреев, но остается в живых один маленький мальчик, которому удастся спастись. Иисус так и не приходит на землю, а мальчик-еврей и есть тот, кто передает повествователю дневник Сертана и его продолжение от участников постановок.

Таким образом, один из первых романов Шарова демонстрирует его художественный метод и основные идеи, которые будут прорабатываться в следующих текстах. «Русский узел» Смутного времени автор знает со времен своей диссертации, но рассматривает его как инвариант будущих смутных времен. Смысл разыгрывания мистерии близ Нового Иерусалима в том, чтобы основать Новый Израиль, новый Орден, подобно Ливонскому, утвердить русских как новый богоизбранный народ. Политика здесь сращена с религией, библейские сюжеты прочитываются с поправкой на национальную специфику. У Шарова средневековая мистерия, воплощенный ритуал, воссоздает «вечное возвращение», эффект повторяемости и цикличности русской истории. Ритуал поглощает различия эпох и порождает содержание новых – оно покорно принимается народом. Эти идеи у Шарова поданы как (квази)исторические свидетельства. Повествование строится на нескольких крупных текстах: воспоминаниях-дневниках участников постановок мистерий из Священного Писания (истории от Рождества Христа до Его крестной муки и Воскресения), а также на дневнике Жака де Сертана.

Позиция Шарова-исследователя далека от позиции Шарова-писателя, однако вторая, как мы убедились, является продолжением первой во многих значимых аспектах.

Роман «Репетиции», кроме того, продемонстрировал смещение интереса писателя к современности. Средневековые остались для Шарова предметом научного интереса, писательский же интерес связан с более близким к нам временем. «Писать прозу, так или иначе касающуюся того

времени, меня в общем и целом не тянет. От тех лет если кто до нас и дошел живым, то лишь сильные мира сего, а так осталась одна “канва”; настоящая же “вышивка” со всеми своими деталями и подробностями, со всеми своими человеческими судьбами канула в небытие. В общем, мое время – это последние полтора века нашей жизни, и о древних русичах я писать не дерзаю» [Шаров 2018: 129].

Итак, можно говорить о том, что ключевые особенности мышления и поэтики Шарова во многом обусловлены началом его пути. Работа аспиранта в библиотеках и архивах, помимо знания конкретного исторического материала, породила формы композиционной организации произведений: в романе «След в след» (1991) главный герой – историк, исследует архивные папки с дневниками своей семьи, в романе «Репетиции» (1992) главный герой изучает дневники Сертана и других участников постановки. Навык изучения письменных личных источников стимулировал формы повествовательной организации: роман «Возвращение в Египет» (2013) представлен в форме отрывков из писем членов семьи главного героя Коли Гоголя (Второго), роман «Царство Агамемнона» (2018) построен в форме дневниковых записей и вставных статей, которые пишет главный герой Глеб.

Но главное, что дал прозе Шарова опыт Шарова-историка, – это понимание Смутного времени как узла, движущего русскую историю в разные ее периоды по одной логике (это понимание сложилось в ходе работы над диссертацией о С. Ф. Платонове). Именно эта концепция подтолкнула писателя к обобщающим идеям его публицистики, а далее – к поиску универсальных моделей даже не историософского, а метаисториософского романа. Мы считаем, что его романы – это «историософия в квадрате – то есть составленная из иных, уже существующих в российской мысли историософий; метаисториософия, складывающаяся на материале национальных мифов российского общественного и народного сознания» [Абашева, Киосе 2021: 4]. Думается, изучение прозы Шарова невозможно без учета опыта Шарова как ученого, как историка, а его историософские концепции нуждаются в изучении в контексте истории идей.

Список литературы

Абашева М. П., Киосе О. А. Метаисториософский роман Владимира Шарова «Возвращение в Египет» // Литература в контексте современности: сб. материалов XIII Всерос. науч.-метод. конф. с междунар. участием (г. Челябинск, 10 ок-

тября 2021 г.). Челябинск: Библиотека А. Миллера, 2021. С. 3–8.

Березин В. В реке времени // Владимир Шаров: По ту сторону истории. Сборник статей и материалов / под ред. М. Липовецкого; А. де ля Фортель. М.: Новое литературное обозрение (Научная библиотека), 2020. С. 77–87.

Дмитриев А. Между двух Платоновых, или Наука «Данного иного» // Владимир Шаров: По ту сторону истории. Сборник статей и материалов / под ред. М. Липовецкого; А. де ля Фортель. М.: Новое литературное обозрение (Научная библиотека), 2020. С. 200–210.

Дунаевская О. Когда часы остановились // Владимир Шаров: По ту сторону истории. Сборник статей и материалов / под ред. М. Липовецкого; А. де ля Фортель. М.: Новое литературное обозрение (Научная библиотека), 2020. С. 9–22.

Липовецкий М. Теология террора: исторический метасюжет в романах Шарова // Владимир Шаров: По ту сторону истории. Сборник статей и материалов / под ред. М. Липовецкого; А. де ля Фортель. СПб.: Новое литературное обозрение (Научная библиотека), 2020. С. 177–199.

Платонов С. Ф. Лекции по русской истории / вступ. ст. А. Н. Фукса. М.: Высш. шк., 1993. 736 с. (Историческое наследие)

Платонов С. Ф. Древнерусские сказания и повести о Смутном времени XVII века как исторический источник. М.: Типография В. С. Балашева, 1888. 372 с.

Шаров В. А. Испытание революцией (русская верховная власть): эссе. М., 2009. 240 с.

Шаров В. А. Октябрь семнадцатого и конец истории // (Первая публикация: Знамя. 2018. № 6) Перекрестное опыление. АрсисБукс», 2018. С. 77–93.

Шаров В. А. Проблемы социальной и политической истории России второй половины XVI – начала XVII вв. в трудах С. Ф. Платонова: дис. ... канд. ист. наук. М., 1984. 179 с.

Шаров В. А. Репетиции. М.: АСТ, 1992. 134 с. (Неисторический роман)

Шаров В. А. Возвращение в Египет. М.: АСТ, 2013. 759 с.

Шаров В. А. Перекрестное опыление. М.: АрсисБукс, 2018. 109 с.

Шмидт С. О. Сергей Федорович Платонов // Портреты историков: Время и судьбы: в 2 т. М.: Иерусалим, 2000. Т. 1. Отечественная история. С. 100–135.

Эткинд А. Владимир Шаров как историк // Владимир Шаров: По ту сторону истории // Сборник «НЛО» (Научная библиотека). М., 2020. С. 164–176.

Emerson C. Vladimir Sharov on History, Memoir, and a Metaphysics of Ends // Slavic and East European Journal. 2019. № 63.4. P. 597–607.

References

- Abasheva M. P., Kiose O. A. Metaistoriosofskiy roman Vladimira Sharova 'Vozvrashchenie v Egipt' [Meta-historiosophic novel 'Return to Egypt' by Vladimir Sharov]. *Literatura v kontekste sovremenosti: Sbornik materialov XIII Vserossiyskoy nauchno-metodicheskoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem (Chelyabinsk, 10 oktyabrya 2021)* [Literature in the Context of Modernity: Proceedings of XIII All-Russian Scientific and Methodological Conference with International Participation (Chelyabinsk, October 10, 2021). Chelyabinsk, Library of A. Miller Publ., 2021, pp. 3–8. (In Russ.)
- Berezin V. V reke vremeni [In the river of time]. *Vladimir Sharov: Po tu storonu istorii* [Vladimir Sharov: On the Other Side of History]: a collection of articles and materials. Ed. by M. Lipovetsky, A. de La Fortelle. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie (Nauchnaya biblioteka) Publ., 2020, pp. 77–87. (In Russ.)
- Dmitriev A. Mezhdv dvukh Platonovykh, ili nauka 'Dannogo inogo' [Between two Platonovs, or the science of the 'given other']. *Vladimir Sharov: Po tu storonu istorii* [Vladimir Sharov: On the Other Side of History]: a collection of articles and materials. Ed. by M. Lipovetsky, A. de La Fortelle. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie (Nauchnaya biblioteka), 2020, pp. 200–210. (In Russ.)
- Dunaevskaya O. Kogda chasy ostanovilis' [When the clock stopped]. *Vladimir Sharov: Po tu storonu istorii* [Vladimir Sharov: On the Other Side of History]: a collection of articles and materials. Ed. by M. Lipovetsky, A. de La Fortelle. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie (Nauchnaya biblioteka), 2020, pp. 9–22. (In Russ.)
- Lipovetsky M. Teologiya terrora: istoricheskiy metazyuzhet v romanakh Sharova [Theology of terror: Vladimir Sharov's historiographic metafiction]. *Vladimir Sharov: Po tu storonu istorii* [Vladimir Sharov: On the Other Side of History]: a collection of articles and materials. Ed. by M. Lipovetsky, A. de La Fortelle. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie (Nauchnaya biblioteka), 2020, pp. 177–199. (In Russ.)
- Platonov S. F. *Lektsii po russkoy istorii* [Lectures on Russian History]. Introd. art. by A. N. Fuks. Moscow, Vysshaya shkola Publ., 1993. 736 p. (In Russ.)
- Platonov S. F. *Drevnerusskie skazaniya i povesti o smutnom vremeni XVII veka kak istoricheskiy istochnik* [Old Russian Tales and Stories about the Time of Troubles of the 17th Century as a Historical Source]. Moscow, Publishing House of V. S. Balashev, 1888. 372 p. (In Russ.)
- Sharov V. A. *Iskushenie revolyutsiei (russkaya verkhovnaya vlast')* [The Temptation of Revolution (Russian Supreme Power)]: an essay. Moscow, 2009. 240 p. (In Russ.)
- Sharov V. A. Oktyabr' semnadtsatogo i konets istorii [The October of 1917 and the end of history]. *Perekrestnoe opylenie* [Cross-Pollination]. Moscow, ArsisBooks Publ., 2018, pp. 77–93. (In Russ.)
- Sharov V. A. *Problemy sotsial'noy i politicheskoy istorii Rossii vtoroy poloviny XVI – nachala XVII vv. v trudakh S. F. Platonova*. Diss. kand. ist. nauk [Problems of social and political history of Russia in the second half of the 16th – beginning of the 17th centuries in the works of S. F. Platonov. Cand. hist. sci. diss.]. Moscow, 1984. 179 p. (In Russ.)
- Sharov V. A. *Repetitsii* [Rehearsals]. Moscow, AST Publ., 1992. 134 p. (In Russ.)
- Sharov V. A. *Vozvrashchenie v Egipt* [Return to Egypt]. Moscow, AST Publ., 2013. 759 p. (In Russ.)
- Sharov V. A. *Perekrestnoe opylenie* [Cross-Pollination]. Moscow, ArsisBooks Publ., 2018. 109 p. (In Russ.)
- Shmidt S. O. Sergey Fyodorovich Platonov. *Portrety istorikov: Vremya i sud'by* [The Portraits of Historians: Time and Fates]: in 2 vols. Moscow, Ierusalim Publ., 2000, vol. 1. Otechestvennaya istoriya [Patriotic history], pp. 100–135. (In Russ.)
- Etkind A. Vladimir Sharov kak istorik [Vladimir Sharov as a historian]. *Vladimir Sharov: Po tu storonu istorii* [Vladimir Sharov: On the Other Side of History]: a collection of articles and materials. Ed. by M. Lipovetsky, A. de La Fortelle. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie (Nauchnaya biblioteka), 2020, pp. 164–176. (In Russ.)
- Emerson C. Vladimir Sharov on History, Memoir, and a Metaphysics of Ends. *Slavic and East European Journal*, 2019, issue 63.4, pp. 597–607. (In Eng.)

'I'm a historian by training...'. History in the Scientific, Journalistic and Literary Discourses of Vladimir Sharov

Marina P. Abasheva

**Professor in the Department of Cultural Studies and Social and Humanities-Based Technologies
Professor in the Department of Journalism and Mass Communication Perm State University**

15, Bukireva st., Perm, 614068, Russian Federation. m.abasheva@gmail.com

**Professor in the Department of Theory, History of Literature
and Methods of Teaching Literature**

Perm State Humanitarian-Pedagogical University

24, Sibirskaya st., Perm, 614990, Russian Federation

SPIN-code: 2169-4629

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5720-7916>

Oksana A. Kiose

Senior Lector in the Department of Foreign Languages and Public Relations

Perm National Research Polytechnic University

29, Komsomolsky prospekt, Perm, 614990, Russian Federation. oks_kiose@mail.ru

**Postgraduate Student at the Department of Theory, History of Literature
and Methods of Teaching Literature**

Perm State Humanitarian-Pedagogical University

24, Sibirskaya st., Perm, 614990, Russian Federation

SPIN-code: 9500-1929

ResearcherID: P-8012-2016

Submitted 12 Apr 2024

Revised 07 May 2024

Accepted 06 Jun 2024

For citation

Abasheva M. P., Kiose O. A. «Po obrazovaniyu ya istorik...». Istoriya v nauchnom, publitsisticheskom i khudozhestvennom diskursakh Vladimira Sharova ['I'm a Historian by Training...'. History in the Scientific, Journalistic and Literary Discourses of Vladimir Sharov]. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2024, vol. 16, issue 3, pp. 111–119. doi 10.17072/2073-6681-2024-3-111-119 (In Russ.)

Abstract. The article deals with the historiosophic concept of Russian novelist Vladimir Sharov, namely with the origins of its formation. Discourse and narratological analyses of Sharov's texts reveal the evolution of his historical and philosophical concept and its variation depending on the type of discourse. The study identifies the principles of processing and representation of historical material in Sharov's scientific works (this paper is the first to examine his PhD thesis in detail), in his journalistic works and novels. Sharov's views as a thinker and his techniques as a writer begin to form in his academic historiographical study of historian S. F. Platonov's legacy: the author focuses on the problems of the Time of Troubles and adopts the approach of using private testimonies and literary texts as sources. Sharov's journalistic articles conceptualize and scale up the experience of his scientific historical research: the Time of Troubles is seen as an invariant of other instances of Russian turmoil; revolutions and changes of power are treated as recurring patterns; historical events are comprehended in the logic of religious, social, and political constants of Russian mentality. In the novels, these concepts become the background and the starting point for the unfolding of literary metaphors, fantasy assumptions and, eventually, the writer's profound insights. The study of Sharov's fictional texts leads to a conclusion that his prose is dominated by the metanarratives of messianism, eschatology, providentiality of Russia's path, and the cyclical nature of history. The conclusion is made about the decisive role of Sharov's historical research experience in the formation of his artistic method, about the mechanisms of transformation of historical discourse into fictional discourse, about the nature of Sharov's historiosophic concept, rooted in domestic culture, but having its own specificity.

Key words: historiosophy; Vladimir Sharov; modern literature; narrative organization of literary text.

УДК 821.161.1-34

doi 10.17072/2073-6681-2024-3-120-129

<https://elibrary.ru/xgivpq>

EDN XGIVPQ



Иносказание и текстовые аллюзии в сказке М. Е. Салтыкова-Щедрина «Вяленая вобла»

Алякринская Марина Андреевна**к. филол. н., доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций****Северо-Западный институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации**191119, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, 6. alyakrinskaya-ma@ranepa.ru

SPIN-код: 1967-4160

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6581-2988>

ResearcherID: JNE-6859-2023

*Статья поступила в редакцию 22.11.2023**Одобрена после рецензирования 22.02.2024**Принята к публикации 10.03.2024*

Информация для цитирования

Алякринская М. А. Иносказание и текстовые аллюзии в сказке М. Е. Салтыкова-Щедрина «Вяленая вобла» // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2024. Т. 16, вып. 3. С. 120–129
doi 10.17072/2073-6681-2024-3-120-129

Аннотация. В статье анализируется сказка М. Е. Салтыкова-Щедрина «Вяленая вобла», которая традиционно рассматривалась как выступление против идеологии либерализма либо философии «малых дел». Существующие на сегодняшний день оценки «Вяленой воблы» отличаются спекулятивным характером в силу «закрытости» самого текста сказки: ее иносказательности, сложности композиционной структуры, эзопова языка.

Автор интерпретирует сказку как иносказание, за которым стоит история политической и литературной газеты «Голос» (Санкт-Петербург, 1863–1884) и биография ее издателя и редактора А. А. Краевского. Эта концепция подтверждается сюжетной основой сказки, где этапы истории воблы (первоначально достигающей успеха, но в финале съеденной «клеветниками») повторяют этапы истории газеты (ставшей официальным органом правительства Лорис-Меликова, но после убийства Александра II закрытой из-за преследования консервативной прессой); схожестью взглядов героини с программными установками «Голоса»; рядом текстовых аллюзий. Историко-философскую концепцию «Вяленой воблы» во многом поясняют риторические отступления в тексте сказки (соотносимые по смыслу с публицистическими циклами писателя, прежде всего «Пошехонскими рассказами», «Недоконченными беседами» и «Пестрыми письмами»), где речь идет об опасности общественного индифферентизма, «пестром человеке» (человеке-флюгере) и специфике национального «отрезвления».

Рассмотрение сказки «Вяленая вобла» в подобном ключе позволяет трактовать ее не как одностороннее обличение идеологических течений, а как сложный текст, затрагивающий целый комплекс общественно-исторических и экзистенциально-философских вопросов.

Ключевые слова: М. Е. Салтыков-Щедрин, «Сказки», «Вяленая вобла», газета «Голос», А. А. Краевский, М. Н. Катков.

Одной из сложных для понимания сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина является «Вяленая вобла», написанная в 1884 г. для февральского номера «Отечественных записок». Сказка интерпретируется как выступление против «идеологии, психологии и практики оппортунизма, приспособленчества и трусливо-своекорыстного минимализма в общественном поведении» [Баскаков 1974: 458]; «психологии и тактики либерализма» [Бушмин 1976: 117]; философии «умеренности и аккуратности» [Макашин 1989: 378]; «порочности консерватизма», выраженного пословицей “выше лба уши не растут” и ей подобными» [Гин 1988: 72]. Нетрудно увидеть, что перечисленные трактовки, несмотря на противоречивость, одинаково схематичны и представляют больше общие умозаключения, нежели аналитические выводы. Но, думается, спекулятивный характер интерпретаций сказки в известной степени объясним, он связан с «закрытостью» текста «Вяленой воблы»: сложностью ее композиционной структуры, иносказательностью, эзоповым языком – не случайно сказке не посвящено ни одного специального исследования. Поэтому представляется, что для аутентичного прочтения «Вяленой воблы» необходима в первую очередь ее культурно-историческая дешифровка (в той степени, в какой это возможно), объяснение иносказания и системы текстовых аллюзий.

Трудности прочтения «Вяленой воблы» прежде всего связаны с неоднородностью текста: в развитие повествования вклиниваются авторские риторические отступления, которые тематически и стилистически перебивают сюжетную линию. По объему нарратив и риторическая часть практически равны, но отступления, затрагивая социологические и историко-философские вопросы, расширяют проблемное поле сказки, «уводят» ее из области чистой литературы. Что касается повествования, то с ним ситуация, с чисто формальной точки зрения, понятна: фабульная основа ложится на достаточно узнаваемую схему с традиционным **зачином** (воблу «поймали, вычистили внутренности», провялили на солнце, в результате чего у нее «голова подсохла, и мозг, какой в голове был, выветрился, дряблый сделался. И стала вобла жить да поживать») [Салтыков-Щедрин 1974. Т. 16, кн. 1. С. 62]¹; **общей характеристикой характера и взглядов героини** («От рождения она была вобла степенная, не в свое дело носа не совала, за “лишним” не гналась, в эмпириях не витала и неблагонадежных компаний удалялась» (16, 1, 63)); **показом взаимоотношений героини с другими персонажами** («благодарными пискарями», которые, по милости ее советов, «неиска-

леченными остались» (16, 1, 65)); **рассказом о деятельности героини** (ее различных «служебных поприщах»; деятельности по распространению «здравых мыслей в обществе» и попытках судить «заблуждения человеческие» (16, 1, 66–68)); рассказом о ее **конflikте с «клеветниками» и трагическом разрешении этого конфликта** («Один из самых рьяных клеветников ухватил вяленую воблу <...> и у всех на виду слоपाल» (16, 1, 72)); **эпилогом** («пестрые люди» смотрели на гибель воблы, «плескали руками и вопили: “Да здравствуют ежовые рукавицы!”», но История положила: “Годиков через сто я непременно все это тисну!”» (16, 1, 72)).

Основная сложность в понимании сюжетного повествования состоит в трактовке иносказания, связанного с образом вяленой воблы. В советском литературоведении героиню сказки помещали в контекст теории «малых дел» правого народничества и «измен либерализма» эпохи реакции 1880-х гг. [Баскаков 1974: 458–459], тем самым невольно сближая ее с «друзьями народа» из статьи В. И. Ленина в зеркале его же критики. Но при этом исследователи не учитывали ряда обстоятельств. К примеру, того, что Салтыков, рекомендуя «Вяленую воблу» к печати в 1885 и 1887 гг., дважды указывал, что сказка уже утратила «сомнительный смысл» (20, 224) и сделалась «безопасною» (20, 320). Напрашивается вывод, что при написании сказки этот «сомнительный смысл» существовал, то есть текст был непосредственным откликом на некие события, случившиеся в 1883 – начале 1884 г. Рискнем предположить, что событием, вызвавшим к жизни сказку, могло стать закрытие в 1883 г. крупнейшей либеральной газеты пореформенной России – газеты «Голос»². Представляется, что осмысление судьбы этого издания, а также личности и взглядов ее издателя А. А. Краевского отразилось на сюжете и проблематике «Вяленой воблы».

Что, кроме совпадения дат, заставляет соотносить образ воблы с газетой?³ Во-первых, особенности текста сказки, становящегося значительно более понятным при условии, что речь в нем идет как о персоне, так и о печатном издании одновременно, причем повествование все время «переключается» с персоны на издание и наоборот⁴. Во-вторых, характер деятельности героини, «с утра до вечера» распевающей «по градам и весям». Кроме того, вобла не просто «калякает», она создала, как утверждает автор, целую «цитатель», доктрину вяленой воблы, и доктрина эта противопоставлена идеологии, с одной стороны, «наивных людей», которые в «эмпириях витают», а с другой – «злецов», которые «ядом передовых статей жизнь отравляют» (16, 1, 65), то есть прямо вписана в контекст журнальной

полемики 1870–80-х гг. (между демократическими «Отечественными записками» и консервативными «Московскими ведомостями»). Именно такую центристскую позицию занимала газета «Голос».

Безусловно, в России конца 1870-х – начала 1880-х гг. были и другие либеральные издания, но ни одно из них в это время нельзя сравнить по авторитету и популярности с «Голосом», не случайно последний так широко отразился в литературе: он упоминается в стихах Н. А. Некрасова; публицистике и романах Ф. М. Достоевского; рассказах А. П. Чехова. Так что вполне закономерно, что «Голос» мог появиться и в сказке М. Е. Салтыкова, тем более что сатирик был подписчиком и внимательным читателем этой газеты и, несмотря на несогласие с ней по многим вопросам, даже скучал, когда «Голос» приостанавливали (19, 2, 33).

* * *

Ассоциировать воблу с «Голосом» позволяет сходство программных установок. Идеология воблы, пусть и пародийно-гротескно поданная как набор трюизмов: «Тише едешь, дальше будешь»; «Маленькая рыбка лучше, чем большой таракан», «Поспешись – людей насмешись»; «Уши выше лба не растут»; «Надо дело делать» – в значительной степени соответствует идеологическим установкам «Голоса». Уже чтение передовой статьи стартового номера газеты, содержащей программу издания, наполняет новым смыслом сентенции, составляющие доктрину героини сказки Салтыкова. Так, пословицы «тише едешь, дальше будешь» и «поспешись – людей насмешись» вполне соответствуют рассуждениям в этой статье о недопустимости спешки в

деле общественного прогресса; автор⁵, советуя «нетерпеливцам» помнить, что «наполеонов кодекс» был приготовлен во время Первой Французской Республики, а идеи Адама Смита нашли приложение в Англии спустя 70 лет после издания его труда, пишет: «Мы видим, что и передовые нации не шагают в сапогах-скороходах, не разом хватают звёзды с неба, не торопятся там, где вопросы соприкасаются с разнообразными интересами большинства. *Нам же и подавно не кстати порываться вперёд* (курсив наш. – М. А.), не соображаясь с силами. Мы не застрельщики цивилизации» [1 января 1863 года // Голос. 1863, № 1: 2]. Положения о том, что «мы... не вдаемся в теоретические увлечения» и «долг газеты – <...> служить *делу* и истине, а не лицам, не партиям, *не предвзятой теории*» [там же] могут быть сочтены аналогами афоризма «уши выше лба не растут»; с пословицей про маленькую рыбку и большого таракана соотносима мысль: «Россия ещё так относительно молода, процесс её позднего возрождения так нов и своеобразен, что скромное изучение явлений и беспристрастный рассказ о фактах принесут более пользы, чем преждевременные выводы в угоду любимой мечте или в подрыв ненавистой теории» [там же]. Наконец, слово «дело» здесь также использовано множество раз: «Мы стоим за *деятельную реформу*, но не желаем скачков и бесполезной ломки» (курсив газеты. – М. А.); «...*Дело* реформы не есть *дело* личного вкуса или случая, это *дело* органической потребности...» (курсив наш. – М. А.) [там же].

Для наглядности идеологемы газеты и героини сказки можно привести в сопоставительной таблице.

Сказка «Вяленая вобла»	Тезисы программной статьи первого номера «Голоса»
«Тише едешь, дальше будешь»	«Нам <...> не кстати порываться вперёд»
«Поспешись – людей насмешись»	Мы «не желаем скачков и бесполезной ломки»
«Уши выше лба не растут»	Мы «не вдаемся в теоретические увлечения»
«Маленькая рыбка лучше, чем большой таракан»	«...Скромное изучение явлений и беспристрастный рассказ о фактах принесут более пользы, чем преждевременные выводы»
«Надо дело делать»	«Мы стоим за деятельную реформу...»

Безусловно, было бы наивно думать, что Салтыков в 1884 г. мог буквально воспроизвести статью газеты двадцатилетней давности⁶. Но то, что основные мысли этой статьи полностью перекрываются кругом идиом, употребленных в сказке, – показатель того, что речь идет о «Голосе» – либеральном органе русской бюрократии, достаточно последовательном в осуществлении своих установок.

Сближает героиню сказки Салтыкова с «Голосом» и манера речи. Вобла – противник «настоящих» слов: «Никогда не нужно настоящих слов говорить <...> А ты пустопорожнее слово возьми и начинай им кружить. И <...> с одной стороны загляни, и с другой забеги; умей “к сожалению, сознаться” и в то же время не ослабеваючи уповай; сошлись на дух времени, но не упускай из вида и разнужданности стра-

стей» (16, 1, 67). Исследований языка «Голоса» нет, но надо отметить, что пародийное воспроизведение автором речи героини вполне соответствует стилистике газеты: конструкции, аналогичные построенным фразовым моделям, встречаются даже в цитируемой статье: «Мы не расходимся с основными положениями науки, но уважаем и историческое начало»; «Мы не хотим льстить правительству, не желаем льстить и народу, не намереваемся заискивать и в той среде, которая известна под именем «юной России» [Голос. 1863. № 1: 2]. Отчасти комментарием к языку «Голоса» может служить очерк в журнале «Слово»⁷, где издание сравнивается с чиновником «петербургского либерального типа», обладающим «искусством говорить много и не сказать ничего, напускать туман на самые простые вещи и превращать пустословие в нечто серьезное, имеющее внешность глубокомыслия» [Типы современных газет 1879: 169].

* * *

Возвращаясь к тексту «Вяленой воблы», заметим, что не все тезисы героини занимают равное место в тексте сказки: чаще всего она рассуждает на тему «уши выше лба не растут»; этот афоризм (в разных вариантах) повторяется многократно: «*Уши выше лба не растут!*» – ведь это то самое, о чем древние римляне говорили: “*Respice finem!*”» (16, 1, 66); «Верь на слово, что суть этих каракуль может быть выражена в немногих словах: *выше лба уши не растут*» (16, 1, 66); «...Коли спрашивают – повергай! а не спрашивают – сиди и памятуй, что *выше лба уши не растут!*» (16, 1, 67); «Об одном всечасно и себе, и другим твержу: *не растут уши выше лба! не растут!*» (16, 1, 68); «С утра до вечера неуставая ходила она по градам и весям и все одну песню пела: “*Не расти ушам выше лба! не расти!*”» (16, 1, 68); «...Пестрая масса начинает мало-помалу волноваться. Больше, больше, и вдруг вопль: “*Не растут уши выше лба, не растут!*”» (16, 1, 69); «“*Уши выше лба не растут!*” – хорошо это сказано, сильно, а дальше что?» (16, 1, 70).

Судя по числу повторов, из программы воблы автора сказки сильнее всего задевал пункт о «теоретических увлечениях». Действительно, о ненужности и даже вредности «теорий» (западных. – М. А.) для общественного развития России «Голос» писал на протяжении многих лет⁸, а Салтыков, придававший огромное значение самому факту наличия общественного идеала в человеческом сознании, не мог с этим согласиться. Как уже отмечалось, «теориям» «Голос» противопоставлял «дело» – это была позиция А. А. Краевского, который, по мнению современников, был человеком, далеким от идеальных стремлений⁹, что не могло не отразиться

на газете. Салтыков не раз критиковал Краевского за прагматизм: так, еще в 1863 г. он заметил, что «одно зная вручает русскому народу г. Чичерин, другое – г. Аксаков, третье – г. Катков. Наконец, г. Краевский полагает, *что можно и совсем без знамени...*» (6, 119; курсив наш. – М. А.). Вообще, публицистические заметки Салтыкова 1860-х гг. пестрят выпадами в адрес Краевского, но с 1868 г. прямая критика журналиста исчезает из сочинений сатирика, что объясняется заключением специального соглашения между Краевским как арендодателем и обновленной редакцией «Отечественных записок»; этот договор продолжал существовать и во времена редакторства Салтыкова – возможно, именно данным обстоятельством и объясняется столь сильная зашифрованность «Вяленой воблы».

* * *

Еще в 1864 г. Салтыков, иронически сравнивая благонамеренность «Голоса» с благонамеренностью «Московских ведомостей» и утверждая, что между их программами, какими бы различными они ни казались, нет принципиальных разногласий, предрек, что в условиях отсутствия предварительной цензуры провластные «Московские ведомости» когда-нибудь погубят либеральный «Голос»: «И таким образом <...> “Голос” будет томиться в узах, а “Московские ведомости” будут разглагольствовать. Мало того, они будут еще поддразнивать:

Друг! отчего печален голос твой? <...>....

И чего доброго, под влиянием этих подстрекательств, «Голос» вооружится храбростью и воскликнет: не надо и мне цензуры, хочу и я, в свою очередь, пороскошествовать!.. Ну, и погибнет» (6, 360).

На самом деле все случилось примерно так, как напроорочествовал Салтыков, только произошло это двадцать лет спустя. История гибели газеты, как представляется, и рассказана в «Вяленой вобле»: «И вот в одно утро совершилось неслыханное злодеяние. Один из самых рьяных клеветников ухватил вяленую воблу под жабры, откусил у нее голову, содрал шкуру и у всех на виду слопал...» (16, 1, 72).

Под именем «клеветников» в сказке очевидно выведены публицисты «Московских ведомостей», прежде всего М. Н. Катков: целенаправленная кампания, которую на протяжении целого ряда лет вела московская газета против «Голоса», во многом привела к закрытию издания. На страницах «Московских ведомостей» «Голос» шельмовался как «патентованный орган общественного обмана» [Катков 1882: 258]; «орган интриги, пытающейся навязать свою политику правительству с целью ослабления России» [там же: 334]. Не раз Катков прибегал к инсинуациям, к примеру, упре-

кал власти за излишний либерализм, за то, что администрация, несмотря на террор, была склонна разговаривать «языком если не “Земли и воли”, то фельетонов “Голоса”» [там же: 123]; он же прямо обвинял «Голос» в «антирусском направлении»¹⁰. Преследование Катковым «Голоса» продолжалось до тех пор, пока газета не была формально приостановлена, а фактически закрыта.

Но в «Вяленой вобле» не только изложена идеологическая программа воблы и рассказано о ее печальном финале, история героини в целом – история бытования «Голоса» в русском обществе, перемешанная с отдельными фактами биографии его издателя. Так, в кульминационный момент сюжета сказки вобла достигает своей пропагандой успеха («...Даже клеветники и человеконенавистники <...> вынуждены сознаться, что простая вобла <...> совершила такие чудеса консерватизма, о которых они и гадать не смели» (16, 1, 69)); и этот ее взлет также соответствует истории «Голоса», ставшего в 1880 г. «официальным органом режима Лорис-Меликова» [Луночкин 1996: 52]. В это время газета пользовалась особым расположением правительства и цензурного ведомства, она выступала в «ликующем ключе», для ее публицистики были характерны «бодро-оптимистические мотивы» [там же: 51–52]. Но убийство Александра II и смена политического курса привели к тому, что из «торжествующей» газета (как и вобла) «превратилась в заподозренную, из благонамеренной – в либералку» (16, 1, 72), и, соответственно, ей пришлось «распоясываться», что видно по смене тональности с уверенной на оправдывающуюся. В 1882 г. на «Голос» нападают не только «Московские ведомости», но и другие издания («Русь», «Гражданин»), а газета вынуждена доказывать свою лояльность: «Тяжело, при таких условиях, существование людей, позволяющих себе искренне думать, что они от чистого сердца, с святыней убеждения в груди, служат обожаемой ими родине. Тяжело особенно потому, что оскверняется чистота их намерений, что им приписываются побуждения и цели, которые никогда не приходили им на ум» [Голос. 1882. № 26: 1].

* * *

Есть в сказке и прямая отсылка к «Голосу»: вобла, распространяя «здравые мысли» в обществе, рассуждает: «Пушай сначала к *голосу* (курсив наш. – М. А.) моему привыкнут, а затем я своего уж добыюсь...» (16, 1, 68). Вряд ли эта фраза случайна, скрытое указание на пародируемый объект – известный прием сатиры; в высмеивании «Голоса» этот прием встречается неоднократно. Так, у Н. А. Некрасова в посвященной А. Краевскому сатирической «Легенде о некоем покающемся старце» бес предлагает старцу:

Ты мудрец, и сед твой волос, –
Не к лицу тебе мечты, –
Ты запой на новый *голос*...
[Некрасов 1981: 206].

Этот же прием обыгрывает Ф. М. Достоевский в статье «Каламбуры в жизни и литературе»: «...Г-н Краевский в продолжение своей литературной карьеры не успел, за делами, сделаться литератором! Отнюдь мы этого не поставим ему в упрек. <...> С своей стороны, мы торжественно признаем за ним *голос* в русской литературе» [Достоевский 1980: 137]. Да и сам Салтыков использует тот же прием, намекая на газету цитатой из стихотворения «Памяти Тургенева» В. А. Жуковского: «Друг! отчего печален *голос* твой?»

Присутствуют в сказке и аллюзии, связанные с личностью А. А. Краевского: вобла близка именно тем сферам, с которыми в течение жизни был тесно связан издатель «Голоса»: бюрократии, журналистики, выборных должностей, благотворительности. Сам образ вяленой воблы – главный образ сказки – создан с учетом биографии Краевского. Знание этой биографии Салтыков обнаружил еще в 1860 г., отметив, что в 1848 г. редактор «Отечественных записок» «прибегал к сотрудничеству К. Полевого» (4, 200). Вспоминая о К. Полевом, работавшем в 1840–1850-е гг. в газете Ф. Булгарина «Северная пчела», Салтыков, вероятно, намекал на написание Краевским верноподданнической статьи «Россия и Западная Европа в настоящую минуту», за которую журналист был осуждаем современниками. Известно, что появлению этой статьи предшествовал целый ряд правительственных «увещаний» прессы, связанных с революциями в Европе. Тогда Краевского, как и руководителей других крупных изданий, вызывали в многочисленные властные инстанции: в Меншиковский комитет (Комитет для рассмотрения действий цензуры периодических изданий – М. А.), к министру просвещения С. С. Уварову, главе Третьего отделения А. Ф. Орлову, где «прорабатывали» в соответствии с новыми политическими реалиями; причем, согласно запискам М. Корфа, Краевский, приглашенный к Орлову «по воле Государя», после беседы «трясся как лист» [цит. по: Волошина 2022: 384–385]. Действия властей имели успех, Корф приводит такой диалог с Николаем I:

«...Ну, а что теперь Краевский со своими “Отечественными Записками”, после сделанной ему головомойки?

– Я в эту минуту именно читаю майскую книжку и нахожу в ней совершенную перемену, совсем другое направление... Повешенный над

журналистами Дамоклов меч, видимо, приносит добрые плоды» [цит. по: Волошина 2022: 389].

Только соотнеся эти факты биографии А. А. Краевского с началом сказки, где воблу «поймали», «вычистили» и «вывесили на веревочке на солнце» (пословица «за ушко да на солнышко» не раз встречается в сочинениях Салтыкова – М. А.), можно оценить образ *вяленой воблы*, созданный сатириком. Налицо прием буквальная реализации метафоры, литературная игра с читателем. Ну, а взгляды и деятельность героини в дальнейшем – это, как заметит автор, следствие того процесса вяления, «сквозь который она прошла» (16, 1, 66).

Ассоциирование воблы с «Голосом» и ее издателем позволяет объяснить и некоторые «темные места» сказки, в частности замечание, что вобла, глядя на «заблуждения человеческие», «камешками пошвыривает» (16, 1, 68). Можно предположить, что речь идет о выпадах «Голоса» против демократической литературы. Так, газета злобствовала по поводу полемики «Современника» и «Русского слова»¹¹; с изрядной долей сарказма была в ней рассказана история про чтение Н. А. Некрасовым похвальной оды графу Муравьеву¹². В конце 1870-х гг. в «Голосе» работал Б. Маркевич, известный антинигилистическими произведениями, в его «Листке» встречаются «камешки» в адрес художников-передвижников, И. С. Тургенева и молодого поколения России¹³.

* * *

Смысл «Вяленой воблы» не может быть понят без авторских отступлений: они служат фоном, на который проецируется действие, и этот фон во многом создает концепт сказки¹⁴. Риторическая часть открывается рассуждением о «привесках», порождающих «тьму новых забот, осложнений и беспокойств» (16, 1, 63). Под «привесками», очевидно, следует понимать атмосферу «изумления» и «поголовного страха» (15, 2, 106) в России начала 1880-х гг., где революционный террор парадоксально сочетался с сочувственными настроениями по отношению к радикально настроенной молодежи, а свободолюбивые чаяния проникали даже во властные органы.

Отношение Салтыкова, редактора самого демократического русского журнала, к атмосфере террора – вопрос, требующий специальных исследований, хотя понятно, что писатель, как человек гуманистической культуры, насилия одобрить не мог¹⁵. Однако не мог он и не уважать мотивы поиска правды и справедливости, движущего такими личностями, как В. Засулич и другие; а главное – не ценить протеста «сомневающегося, неудовлетворенного и ищущего» против «заповеданного, общепринятого и установившегося» (9, 66). В ситуации исторических сумерек,

когда «приходится всю дорогу ощупью идти» (16, 1, 64), Салтыков противопоставлял интеллектуальные попытки анализа складывающейся ситуации карательным мерам правительства, которые, запугивая общество, не помогают исправить положение. Путь может указать только слово, и на фоне этой любимой мысли писателя действия героини сказки деструктивны, поскольку провоцируют стагнацию, общественное стремление «сидеть упершись лбом в стену» (15, 2, 129). Приведя «искалеченного» человека к этой символической стене, вобла заявляет: «Вон сколько каракуль там написано; всю жизнь разбирай – всего не разберешь!» (16, 1, 66). За этим следует абзац – пример метатекстового комментария, – где суждения автора «вписаны» в речь героини: «Смотри на эти каракули, и ежели есть охота – доискивайся их смысла. Тут все в одно место скучено: и заветы прошлого, и яд настоящего, и загадки будущего. И над всем лег густой слой всякого рода грязи, погадок, вешних потоков и следов непогод. А ежели разбираться в каракулях охоты нет, то тем еще лучше. Верь на слово, что суть этих каракуль может быть выражена в немногих словах: выше лба уши не растут. И затем – живи» (16, 1, 66).

Противопоставление слова автора и агрессии речей воблы акцентирует писательскую мысль: культурные ценности – философские, социальные учения и теории, накопленные человечеством за время исторического развития, – дались дорогой ценой¹⁶. Между тем вобла, игнорируя неизбежность следования человечества по тернистой, но все-таки дороге прогресса; направляет своего адепта по пути «торному». Куда ведет этот путь? В «надлежащее место» (16, 1, 65). Что скрыто за последним перифразом, можно понять лишь предположительно, диапазон трактовок – от высоких, сакральных (ад), до сниженных, профанных (отхожее место) – широк, но ясно одно: путь воблы – путь в нравственное никуда, хотя путь этот и обольстителен для запуганного человека исторических сумерек.

Было бы нелогичным рассматривать издание вне читателя, и Салтыков ставит вопрос о читателе еще в двух публицистических отступлениях, размышляя, кого и в силу чего способна увлечь вобла своей программой. Ее последователем может быть «отчаявшийся» человек, который, пройдя цикл жизненного «мучительства», обращается к прагматике жизни; но основная ее аудитория – «пестрый человек» (человек-флюгер), который, не будучи искушен в «теориях», поднаторел в практике «принюхиваний»: «“Кто-то нас выручит? кто-то подходящее слово скажет?” – ежемгновенно тосковали пестрые люди и были рады-радехоньки, когда в ушах их разда-

лись отрезвляющие звуки» (16, 1, 69). Участие воблы в повальном идеологическом «отрезвлении» общества, в создании атмосферы общественного равнодушия – ее прямая вина; ибо равнодушие «на целую эпоху кладет печать бессилия, предательства и трусости» (15, 2, 125). За это героиня, по логике сюжета, и наказывается трагическим финалом (парадоксально, что закономерности литературы здесь тождественны логике жизни), причем ее гибели «рукоплещут» в первую очередь вчерашние последователи. И. Н. Крамской назвал «Карася-идеалиста» «высокой трагедией» [Макашин 1989: 392], возможно, на это определение в какой-то мере может претендовать и «Вяленая вобла», ибо ситуация гибели под аплодисменты «отрезвленной» толпы сама по себе трагична¹⁷. Кроме того, судьба воблы вызывает у автора некоторое сочувствие, ведь при всех недостатках у нее было и достоинство: из нее «вместе с лишними чувствами, лишнею совестью» и «понятие об ежовых рукавицах выпотрожили» (16, 1, 399); – и одно это дает основание «тиснуть» (представить на суд Истории) поучительный рассказ о ее судьбе.

* * *

Несмотря на тесную связь «Вяленой воблы» с существованием и закрытием газеты «Голос», смысл сказки, безусловно, не сводится к иллюстрированию деятельности газеты или биографии А. Краевского. Просто события, случившиеся с «Голосом», стали поводом для авторских размышлений, с одной стороны, о парадоксах российской истории, а с другой – о вечных вопросах бытия. История воблы – рассказ о том, что общественный прагматизм и индифферентизм – это заведомо тупиковый путь, который может привести лишь к деспотии, к тому, что «единственный целесообразный прием, при помощи которого мы можем прийти к какому-нибудь результату» (16, 1, 71), – это ежовые рукавицы.

Вместе с тем «Вяленая вобла» – это еще и экзистенциально-философский трактат о смысле жизни. Салтыков был натурой религиозной, склонной к идее подвижничества во имя блага человечества, и «Вяленая вобла» лишней раз подтверждает ту незыблемую для сатирика моральную истину, что «схоранивание» под лопухом от острых проблем современности не гарантирует в условиях диктаторского режима жизненной безопасности тому, кто хоть как-то сохранил в себе человеческое начало.

Примечания

¹ В дальнейшем ссылки на М. Е. Салтыкова-Щедрина приводятся по этому изданию, с указанием в круглых скобках тома, книги и страницы.

² «Голос» был официально закрыт в августе 1884 г., но с февраля 1883 г. газета не выходила: ее выпуск был приостановлен на шесть месяцев и не возобновлен по истечении этого срока. Салтыков считал «Голос» проданным «компанией Циона и Каткова» уже в сентябре 1883 г. (19, 2, 229). Действительно, переговоры о продаже «Голоса» велись А. Краевским, но не увенчались успехом. В ноябре 1883 г. Краевский передал право собственности на издание коллективу сотрудников, но и это не помогло газете выжить, последний и единственный после приостановки ее выхода номер вышел 7 февраля 1884 г.

³ Параллель «деятельность воблы» – «деятельность либеральной прессы» указал А. С. Бушмин [Бушмин 1976: 116], но не развил эту мысль.

⁴ В том, что газета и издатель отождествляются, нет ничего странного для ситуации второй половины XIX в., тогда облик частных изданий определялся издателем и его субъективные качества «в значительной степени влияли на формирование типа издания» [Сонина 2004: 109].

⁵ Статья не подписана, но, вероятнее всего, ее автором был издатель (и редактор до 1871 г.) А. А. Краевский.

⁶ К 15-летию «Голоса» была издана книга (Михневич В. О. Пятнадцатилетие газеты «Голос». СПб., 1878), где в главе «Идеалы и направление» излагается передовая статья первого номера, и такая книга в библиотеке сатирика могла быть.

⁷ Автором ее был, судя по псевдониму, А. А. Плещеев, сын известного поэта, близкого кругу «Современника».

⁸ Так, в январе 1865 г. автор фельетона пишет, что прессе полезно учиться у общества, это «избавило бы некоторую часть нашей прессы от водотолчения, которым она забавляется, путаясь в разных теориях...» [Голос. 1865. № 17: 1]. В 1878 г. в передовой статье новогоднего номера говорится, что по окончании войны «не будет уже места пустой игре в слова, в «охранительные» или «разрушительные» побрякушки, в застрачиванье или в пропаганду, в роль спасителей отечества или вожаков социализма. Россия будет нуждаться в деле (курсив «Голоса». – М. А.), в истинных рабочих силах, честно исполняющих свой долг» [Голос. 1878. № 1: 1]. В 1883 г. российская печать вновь осуждается «Голосом» за то, что «не касается насущных и практических вопросов» и «живет теориями, которые измышляются писателями и не имеют прямого отношения к нуждам и потребностям страны...» [Голос. 1883. № 15: 1].

⁹ «Краевский вообще был умный и энергичный человек; но ему были чужды, или, по крайней мере, занимали в его жизни второстепенное

место, те идеалистические стремления, а не практические соображения, которые волновали лучших людей в “сороковые” и “шестидесятые” годы» [РБС: 403].

¹⁰ «... Интеллектуальных зачинщиков и интеллектуальных руководителей в бунте против русской власти должно искать между поляками... За это говорит и то обстоятельство, что во главе оппозиционной печати стоит «Голос», выходящий под русским именем, но издаваемый поляком. Следует сделать поправку. Краевский не поляк, но газета его деятельно служит органом антирусского направления» [Катков 1881: 136–137].

¹¹ «Сии поучители российского общества <...> дошли до того предела, далее которого если и можно идти, то уж никак не в печати. <...> О чём спорили, в каких принципах не сходились, что разрабатывали, из-за какого вопроса бились, за какую идею копья ломали? Спросите у любого – ни один не ответит вам правды, потому что каждому совестно будет сознаться в своих истинных побуждениях. Грязь, грязь, и больше ничего!» [Голос. 1865. № 17: 1].

¹² «В произнесенных г. Некрасовым стихах выставлены заслуги графа, которому теперь вся Россия “бьет челом”. <...> Г. Некрасов, бесспорно, обладает поэтическим талантом. Он пробовал свои силы в различных родах поэзии, но, нам кажется, ни на одном из них не имел такого успеха, как на том, на который он ступил теперь... Мы можем пожалеть только, что Некрасов не попал несколько ранее на эту торную и верную дорогу, вместо того чтобы идти по просёлочным скользким тропинкам, как он это делал до сих пор. От всей души желаем ему успеха на этом новом поприще и вполне уверены, что если он займётся разработкой его, то, конечно, оставит далеко за собою всех теперешних своих конкурентов» [Голос. 1866. № 112: 1].

¹³ «Почему беспомощными и безоружными захватило нас это внезапное брожение, как дозволила русская жизнь этой наносной гнили и рже проникнуть до самой сердцевины своей, забраться под самые заветные свои устои – вопросы, для обсуждения и разрешения которых не достало бы места на столбцах летучего листа. Прежний критерий распознавания добра и зла, должного и не должного, похвального и преступного был разбит вдребезги, втопан в грязь – и над обломками его, в бешеной свистопляске заголосили “новые люди” о “новых началах” – неслышанной амальгаме непроходимого невежества, утопий самого ребяческого свойства, безнравственности и безначалия, вознесенных на степень догмата, в значение закона и пророков» [Голос. 1877. № 52: 1].

¹⁴ Для понимания этой части сказки, также написанной эзоповым языком, необходимо привлечение в качестве комментария очерков из параллельных по времени публицистических циклов сатирика: «Недоконченных бесед» (глав 7–8); «Пошехонских рассказов» (глав 5–6); «Пестрых писем» (глава 9). К сожалению, объем статьи не позволяет в полной мере развернуть литературный контекст сказки.

¹⁵ К. М. Салтыков писал: «К террористическим выступлениям отец вообще относился отрицательно. Относился он также отрицательно и к системам репрессий, выражавшихся в повешении людей, в заточении их в крепости и ссылке на долгие годы в Сибирь или куда бы то ни было» [Салтыков К. М. 1923: 26].

¹⁶ Ценой «величайших жертв и усилий», как скажет автобиографический герой «Круглого года» (13, 459).

¹⁷ Представляется, что можно провести аналогию между рассказом о гибели воблы и главой «Фантастическое отрезвление» «Пошехонских рассказов», где излагается история убийства Ивана Рыжего «отрезвившейся» толпой, которую подначивает газетчик Скоморохов (Катков. – М. А.). Глава эта была написана практически одновременно с «Вяленой воблой».

Список литературы

- Баскаков В. Н.* Комментарии: М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки // Салтыков-Щедрин М. Е. Собрание сочинений: в 20 т. М.: Худ. лит., 1974. Т. 16. Кн. 1. С. 456–459.
- Бушмин А. С.* Сказки Салтыкова-Щедрина. Л.: Худ. лит., 1976. 275 с.
- Волошина С. М.* Власть и журналистика: Николай I, Андрей Краевский и другие. М.: Дело, 2022. 661 с.
- Гин М. М.* Мир и жанр щедринской сказки // Жанр и композиция литературного произведения: межвуз. сб. Петрозаводск, 1988. С. 70–102.
- Голос: газета политическая и литературная: ежедневное издание. СПб., 1863–1884.
- Достоевский Ф. М.* Каламбуры в жизни и литературе // Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. М.: Наука, 1980. Т. 21. С. 137–147.
- Катков М. Н.* Собрание передовых статей «Московских ведомостей» в 25 кн. М.: Изд-во С. П. Катковой, 1897–1898. 1881. 632 с.; 1882. 688 с.
- Краевский Андрей Александрович // Русский биографический словарь в 25 т. Издан под наблюдением председателя Императорского Русского Исторического Общества Половцева. СПб.: типография И. Н. Скороходова. 1896–1918. Т. 9. 1903. С. 400–404.

Луночкин А. В. Газета «Голос» и режим М. Т. Лорис-Меликова // Вестник Волгоградского университета. Серия 4: История, философия. Вып. 1. 1996. С. 49–56.

Макашин С. А. Салтыков-Щедрин. Последние годы. М.: Худ. лит., 1989. 526 с.

Некрасов Н. А. Легенда о некоем покающемся старце // Полное собрание сочинений и писем: в 15 т. Л.: Наука, 1981. Т. 2. 447 с.

Салтыков К. М. Интимный Щедрин. М.; Пг.: Гос. изд-во, 1923. 79 с.

Салтыков-Щедрин М. Е. Собрание сочинений: в 20 т. М.: Худ. лит., 1965–1977.

Сонина Е. С. Петербургская универсальная газета конца XIX века. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2004. 356 с.

Типы современных газет. «Голос» // Слово. 1879. № 9. С. 168–182.

References

Baskakov V. N. Kommentarii: M. E. Saltykov-Shchedrin. Skazki [Commentaries: M. E. Saltykov-Shchedrin. Fairy tales]. Saltykov-Shchedrin M. E. *Sobranie sochineniy v 20 t.* [Collected works in 20 vol.]. Moscow, Khudozhestvennaya literatura Publ., 1974, vol. 16, book 1, pp. 456–459. (In Russ.)

Bushmin A. S. *Skazki Saltykova-Shchedrina* [Fairy Tales of Saltykov-Shchedrin]. Leningrad, Khudozhestvennaya literatura Publ., 1976. 275 p. (In Russ.)

Voloshina S. M. *Vlast' i zhurnalistika: Nikolay I, Andrey Kraevskiy i drugie* [Power and Journalism: Nicholas I, Andrey Krayevsky, and others]. Moscow, Delo Publ., 2022. 661 p. (In Russ.)

Gin M. M. *Mir i zhanr shchedrinskoy skazki* [The world and genre of Shchedrin's fairy tale]. *Zhanr i kompozitsiya literaturnogo proizvedeniya* [The Genre and Composition of a Literary Work]: an interuniversity collection. Petrozavodsk, 1988, pp. 70–102. (In Russ.)

Golos: gazeta politicheskaya i literaturnaya [Voice: Political and Literary Newspaper]: a daily publication. St. Petersburg, 1863–1884. (In Russ.)

Dostoevsky F. M. *Kalambury v zhizni i literature* [Puns in life and literature]. Dostoevsky F. M.

Polnoe sobranie sochineniy v 30 t. [Complete Works in 30 vols.]. Moscow, Nauka Publ., 1980, vol. 21, pp. 137–147. (In Russ.)

Katkov M. N. *Sobranie peredovykh statey 'Moskovskikh vedomostey' v 25 kn.* [Collection of Editorials from the 'Moscow News' in 25 vols.]. Moscow, Publishing House of S. P. Katkova, 1897–1898; 1881, 632 p.; 1882, 688 p. (In Russ.)

Krayevsky Andrey Aleksandrovich. *Russkiy biograficheskiy slovar' v 25 t.* [Russian Biographical Dictionary in 25 vols.]. St. Petersburg, Publishing House of I. N. Skorokhodov, 1896–1918, vol. 9. 1903, pp. 400–404. (In Russ.)

Lunochkin A. V. Gazeta 'Golos' i rezhim M. T. Loris-Melikova [The newspaper 'Voice' and the regime of M. T. Loris-Melikov]. *Vestnik Volgogradskogo universiteta. Seriya 4: Istoriya, filosofiya* [Science Journal of Volgograd State University. Series 4: History, Philosophy], 1996, issue 1, pp. 49–56. (In Russ.)

Makashin S. A. *Saltykov-Shchedrin. Poslednie gody* [Saltykov-Shchedrin. Last Years]. Moscow, Khudozhestvennaya literatura Publ., 1989. 526 p. (In Russ.)

Nekrasov N. A. Legenda o nekoem pokayavshemsya startse [The legend of a repentant elder]. *Polnoe sobranie sochineniy i pisem* [Complete Works and Letters]: in 15 vols. Leningrad, Nauka Publ., 1981, vol. 2. 447 p. (In Russ.)

Saltykov K. M. *Intimnyy Shchedrin* [Private Shchedrin]. Moscow, Petrograd, Gosudarstvennoe izdatel'stvo Publ., 1923. 79 p. (In Russ.)

Saltykov-Shchedrin M. E. *Sobranie sochineniy v 20 t.* [Collected works in 20 vols.]. Moscow, Khudozhestvennaya literatura Publ., 1965–1977. (In Russ.)

Sonina E. S. *Peterburgskaya universal'naya gazeta kontsa XIX veka* [Petersburg universal newspaper of the late 19th century]. St. Petersburg, St. Petersburg University Press, 2004. 356 p. (In Russ.)

Tipy sovremennykh gazet. 'Golos' [Types of modern newspapers. 'Voice']. *Slovo* [Word], 1879, issue 9, pp. 168–182. (In Russ.)

Allegory and Allusion in the Fairy Tale ‘Dried Vobla’ by Mikhail Saltykov-Shchedrin

Marina A. Alyakrinskaya

Associate Professor in the Department of Journalism and Media Communications

North-West Institute of Management of the Russian Presidential Academy

of National Economy and Public Administration

6, Chernyakhovskogo st., St. Petersburg, 191119, Russian Federation. alyakrinskaya-ma@ranepa.ru

SPIN-code: 1967-4160

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6581-2988>

ResearcherID: JNE-6859-2023

Submitted 22 Nov 2023

Revised 22 Feb 2024

Accepted 10 Mar 2024

For citation

Alyakrinskaya M. A. Inoskazanie i tekstovye allyuzii v skazke M. E. Saltykova-Shchedrina «Vyalenaya vobla» [Allegory and Allusion in the Fairy Tale ‘Dried Vobla’ by Mikhail Saltykov-Shchedrin]. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2024, vol. 16, issue 3, pp. 120–129. doi 10.17072/2073-6681-2024-3-120-129 (In Russ.)

Abstract. The article explores M. E. Saltykov-Shchedrin’s fairy tale *Dried Vobla*, which is traditionally considered as a manifesto against liberalism and philosophy of ‘moderation and accuracy’. According to Vladimir Lenin’s estimation, the main character of the fairy tale represents the cultural and historical context of the ‘small deeds’ theory used by the right Narodniks as well as ‘liberalism betrayals’ of the 1880s.

The author of the paper regards existing estimations as speculative in their nature due to the complexity of the text of the fairy tale: it uses allegories and Aesopian language, has a complicated composition structure. The paper considers the fairy tale as an allegory of the history of the political and literary newspaper *Golos* (Saint Petersburg, 1863–1884) as well as of the biography of its publisher and editor Andrey Krayevsky. This theory is proved by the closeness of the main character’s views to the policy of the newspaper as well as by the plot of the tale (where the vobla, though firstly being successful, is eventually eaten by ‘slanderers’) that replicates the history of the newspaper (which was a semi-official organ of press of the Loris-Melnikov’s government, closed after the assassination of Alexander II due to the conservative media persecution headed by Mikhail Katkov’s *Moskovskie Vedomosti*). The historico-philosophical concept of the tale is mainly explained in digressions (which are contextually similar to the writer’s journalist series, mainly *Poshehonsky Stories*, *Unfinished Talks*, and *Motley Letters*, where is discussed the danger of public indifference, the ‘motley man’ (‘weathervane man’), and the features of national sobering, inevitably resulting in a bloodbath. The study of the tale in the cultural and historical context of the time and through the lens of the writer’s journalist series of the 1880s makes it possible to regard the tale not only as ‘condemning’ some certain ideological trends (movements) but also as a complex story covering social, historical, and existentialism problems.

Key words: Mikhail Saltykov-Shchedrin; Fairy Tales; Dried Vobla; *Golos* newspaper; Andrey Krayevsky; Mikhail Katkov.

УДК 821.161.1(1-87)-3
doi 10.17072/2073-6681-2024-3-130-137
<https://elibrary.ru/ymxtbc>

EDN YMXTBC



Художник-шпион в рассказе В. Набокова «Ассистент режиссера»: репрезентация сенсорного и эстетического опыта

*Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-78-01025,
<https://rscf.ru/project/23-78-01025/>*

Дроздова Анастасия Олеговна

**к. филол. н., старший преподаватель кафедры языкознания и литературоведения
Тюменский государственный университет**

625003, Россия, г. Тюмень, ул. Володарского, 6. a.o.drozdova@utmn.ru

SPIN-код: 3926-1781

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5728-142X>

ResearcherID: D-3770-2019

Статья поступила в редакцию 16.08.2023

Одобрена после рецензирования 22.02.2024

Принята к публикации 10.03.2024

Информация для цитирования

Дроздова А. О. Художник-шпион в рассказе В. Набокова «Ассистент режиссера»: репрезентация сенсорного и эстетического опыта // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2024. Т. 16, вып. 3. С. 130–137. doi 10.17072/2073-6681-2024-3-130-137

Аннотация. В исследовании рассматривается, как в первом англоязычном рассказе “The Assistant Producer” («Ассистент режиссера») В. Набоков осмысляет проблему репрезентации авторской идентичности в инокультурной читательской аудитории. С помощью структурно-семиотического и интертекстуального анализа выявляются приемы, организующие интригу рассказа – облачение рассказчика-художника. Фокусировка рассказчика на гротескных оптических и звуковых эффектах кинематографа, на иностранном акценте героев свидетельствует о его сенсорной и языковой чувствительности. Трансформируются клише массовой культуры: пространство псевдодокументального фильма расширяется за счет аллюзий на «разиновский текст» русской литературы и поэзию русского зарубежья, экфрасиса (отсылки на полотна импрессионистов и постимпрессионистов). Миробразующую роль играют образы с семантикой аберрации восприятия и не поддающиеся точной вербализации ощущения осязания, обоняния; немотивированные аллитерации; аллюзии, дешифровка которых вызовет у иностранного читателя затруднение. Посредством перцептивных образов и литературных аллюзий, отсылок к полемике писателей русского зарубежья создается сюжет о коммуникативной ошибке. В восприятии рассказчика пошлый мир кинематографа недостоверно передает быт эмиграции, однако подчеркивает тривиальность замыслов героя-палача. Продолжая писательскую карьеру в Америке, В. Набоков развивает мысль о том, что гениальный писатель способен передать уникальный сенсорный, эстетический и языковой опыт в обход коммуникативных ограничений.

Ключевые слова: В. Набоков; американские годы; “The Assistant Producer”; перцептивная образность; межкультурная коммуникация; писательская идентичность; интертекст.

Переход на английский язык, смена читательской среды – ключевой мотив творческой биографии В. Набокова, определяющий его имидж писателя-классика двух литератур. Ученые приходят к выводу, что в американские годы В. Набоков продолжает совершенствовать свою художественную систему: экспериментирует с пространственно-временной структурой произведений [Heard 2016: 151], сопоставляет национальные литературные традиции [Meuer 1988: 4]. Как отмечает О. Воронина, диалог с англоязычной читательской аудиторией требует от писателя больших усилий по преодолению коммуникативного барьера [Voronina 2017: 46].

В свете изучения художественных экспериментов В. Набокова, его стратегий коммуникации с американским читателем научную проблему представляет интерпретация первого англоязычного рассказа «Ассистент режиссера» (1943).

Литературоведы подчеркивают особый статус рассказа в творчестве писателя: это единственное произведение В. Набокова, где в основе сюжета лежит исторический факт – арест популярной певицы Надежды Плевицкой за шпионаж. В. Набоков создает гротескный образ мира русских эмигрантов и впервые на английском языке исследует тему пошлости [Quinn 2002: 77–78]: история разоблачения тройного агента Голубкова и его жены Славски представлена как сюжет тривиального шпионского фильма. Как американский кинематограф не способен передать реальность прошлого [Parker 2022: 184], так и материальные артефакты памяти – фотография героини, вычурная медаль, брошь, аметистовая статуэтка – не способны зафиксировать живые воспоминания о России. Мир дешевой мелодрамы и пространство воспоминания передаются через 1) совмещение режимов восприятия – условно-достоверного, опирающегося на воспоминания, и кинематографического, 2) «размывание границ между повествовательными инстанциями» [Романова 2005: 22].

Цель работы – рассмотреть, как в первом рассказе В. Набокова, написанном в Америке, решается проблема репрезентации индивидуального эстетического и чувственного опыта. Согласно нашей гипотезе, воспроизводя в рассказе недостоверную, ограниченную сенсорику, писатель подчеркивает художественную значимость коммуникативной и перцептивной ошибки. Стратегию диалога писателя с американской читательской аудиторией характеризует ориентация на незавершенность, неполноту коммуникации.

Актуальность исследования определяется также тем, что рассказ, где совмещаются исторические факты и топосы шпионских фильмов, соответствует медийному образу Набокова, вы-

строенному им самим и его потомками в эпитектах [Каракуц-Бородина 2022]: рассказ встраивается в современный контекст «паранабоковедческих» биографий писателя-шпиона (Н. Елисеев, Д. Галковский).

Исследуя коммуникативные стратегии В. Набокова в его первом рассказе на английском языке, мы обращаемся к структурно-семиотическому методу: предметом исследования являются перцептивные образы, организующие в рассказе пространство псевдодокументального фильма и характеризующие кругозор рассказчика. Посредством интертекстуального анализа рассматривается, как в эстетико-философской системе В. Набокова естественные механизмы перцепции участвуют в процессе художественного восприятия. Доказывается, что на сенсорику рассказчика влияет его читательская и зрительская память.

Особенностью чувственной образности в рассказе является двойственность ее семантики. С одной стороны, перцептивные образы порождены кинематографическими клише, с другой – они характеризуют процесс непосредственного наблюдения и воспоминания. Восприятие героев и рассказчика столь же недостоверно, сколь и механическая оптика кинематографа.

Пространство рассказа организовано по принципу рекурсии: вымышленный мир фильма и зрительный зал, утраченная родина и условно реальная чужбина сопоставляются с «зеркальным застенком» [Набоков 2015: 592] – “a prison of mirrors” [Nabokov 1943: 71] (здесь и далее фрагменты из рассказа и их перевод цитируются по источнику и переводу Г. Барабтарло, указанным в списке литературы). Для того чтобы передать призрачность мира русской эмиграции, рассказчик использует палитру колоризованных черно-белых фильмов 1920-х гг. Воспроизводится аддитивная цветовая модель: из хроматических цветов упоминаются красный (башмаки, багровоносый “clochard”), зеленый (дверь), оттенки синего (синее окно, лазурные штаны аккомпаниатора и волны цвета “sickly blue” [71] – «изсиня-тошный цвет» [592]), желтый (“the honey-colored haze of a crowded Russian church” [71] – «медовое марево» [594]).

Двойственность восприятия передается через смену повествовательного режима: от имитации всеведущего повествователя при описании воспоминаний к точке зрения личного рассказчика, наблюдающего за героями в настоящем времени. Этот прием используется в экспозиции, где жемчужины на кокошнике Славски обращаются в снежинки на плечах, обшлагах и усах зрителей, ожидающих открытия билетной кассы вместе с рассказчиком: «В уборной Шаляпина висел ее

фотографический портрет: кокошник с жемчугами, рука, подпирающая щеку, сверкающие меж пухлых губ зубы, – и крупным, корявым подчерком, наискось: “Тебе, Федюша”. Звездообразные снежинки, обнаруживая, перед тем как подтаять по краям, свою сложную симметрию...» [585]. Смена режима повествования подчеркивает, что временная и пространственная дистанция не влияет на оптику рассказчика, который отчетливо видит и надпись на обороте фотографии, и зрителей в кинотеатре, и пространство дешевой мелодрамы.

Если иллюзорность зрительных ощущений – результат забвения или кинематографического искажения, то недостоверность аудиального восприятия связана с особенностями телесности рассказчика, его невосприимчивостью к аудиальным ощущениям. В частности, повторяются образы, имеющие физиологическую коннотацию: “throwing her head back with a throaty laugh” [69] («откидывающая голову с грудным смехом» [587]), “physical splendor of her prodigious voice” [68] («физическую роскошь ее необычайного голоса» [585]), “he gave of reaching her vocal climax, the anatomy of her mouth fully displayed in a last passionate cry” [71] («в последнем страстном вопле выставляя напоказ анатомию своего рта» [594]). Описание голоса базируется на наблюдениях за устройством чужого тела или на субъективной оценке исполнительской манеры Славски (“Her artistic taste was nowhere, her technique haphazard, her general style atrocious” [71] – «художественного вкуса у нее не было никакого, техника расхлябанная, манера исполнения ужасающая» [593]). Качественные характеристики звука представлены образами, передающими громкий или внезапный звук, то есть не требующие чуткого слуха: они дополняют визуальный образ (“with a voice of thunder and a head like a cannon ball” [69] – «с громоподобным голосом и с головой, похожей на пушечное ядро» [589]), подчеркивают контраст между тишиной и музыкой (“pat comes a mighty burst of music” [69] – «мощный раскат музыки» [587]), акцентируют интенсивность звука (“the tremendous sonorities of her voice” [71] – «в сильных перебивах ее голоса» [593]).

Низшие модусы перцепции представлены как дополнительные по отношению к визуальным и звуковым образам: запах (“the honey-colored haze of a crowded Russian church” [71] – «медовое марево» [594]); осязательные ощущения (“rough grayness” [72] – «серую шероховатость» [596]) вводятся через обозначение цвета или формы (“outstretched jellycold arms” [72] – «студенисто-холодные руки» [595]). Образы низших модусов перцепции, не имеющие синестетическую (визуальную или звуковую) семантику, представлены

единично – один ольфакторный и четыре осязательных образа. Запах сигарет (“prune-flavored Kapstens” [70] – «черносливом пахнущие “капстены”» [591]) указывает на характерологическую деталь – папиросницу (“an old roomy cigarette case of black leather” [70] – «старой просторной папироснице черной кожи» [591]), которая позволяет рассказчику распознать шпиона среди других зрителей. В финале вводится осязательно-вкусовой образ сигарет: “this tangible cigarette will be very refreshing” [74] («эта осязаемая папироска будет очень кстати» [601]) – единственное указание на ощущение, не связанное с миром фильма. Местоимение *we* указывает на коллективный опыт перцепции и на то, что чужое восприятие – Голубкова, Славской, других зрителей – является вымыслом рассказчика. В финале рассказа фантазийные образы начинают жить автономно от своего создателя: “See, the thin dapper man walking in front of us lights up too” [74] – «смотрите, идущий впереди нас худой, щеголеватый мужчина тоже закуривает» [601].

В фантазии рассказчика вымышленный мир оказывается правдивее, чем «документальная» история, как это было представлено уже в «Машеньке». Чувственно достоверными являются не образы основных модусов перцепции (зрение, слух), а едва уловимые ощущения обоняния и осязания, которые сложно артикулировать.

Хотя рассказчик выдает себя за священника (“in the days when I was a priest” [73] – «во дни, когда я еще был священником» [597]), он оценивает поступки героев с точки зрения художника (“I consider that, artistically, he overstressed his effacement” [70] – «я считаю, что с художественной точки зрения он переигрывал» [591]). По своей наблюдательности рассказчик близок поэту Федору Годунову-Чердынцеву из романа «Дар» (1937–1938), который слышит в кашле пассажира троллейбуса «русские интонации» (ср.: в рассказе герои именуют знакомого священника Федором). Как и герой «Дара», рассказчик чувствителен к семантической и фонетической стороне языка.

Оценочная точка зрения рассказчика представлена с помощью фонетических средств выразительности. Механистически повторяющиеся звуки характеризуют убийство как банальное, тривиальное действие (ономатопея: “the conditional ra-ta-ta reflex of machine-gunnery” [68], аллитерация, передающая звуки всхлипывания: “sobbing side by side with the wife or widow” [71]). Идеологически обусловленное мировидение передается через искажение синтаксической валентности: слова связаны не по смыслу, а фонетически (аллитерация: “by the fact that scraps of information about forts and factories” [70]). В мире

палачей и пошляков смысл слов утрачивается, остается их фонетическая «оболочка».

Немотивированные аллитерации используются в эпизодах, где визуальный образ представлен как расплывчатый – в результате кинематографического искажения (повторение звонких [g], [l], [m] и глухого [s]: “a gloomy glimpse of ravens, or crows” [69]) или абберации памяти (повторение смычных взрывных звуков [d], [p], [g]: “dapper and daring djighit Golubkov” [68–69]). Художник также способен понимать чужую речь и распознавать ее фонетические особенности: “Kapstens,” as he pronounced it” [70] – ««капстенны» (в его произношении)» [591], “he wanted it velly velly badly” [70] – в переводе Г. Барабтарло используется сниженная лексика: «хотелось дозарезу» [589]. Рассказчик оценивает собственную и чужую слепоту и глухоту как проявление гротескного устройства мира.

В процессе эстетического восприятия рассказчик фиксирует семантические несоответствия между знаком и референтом. Так, в создании образов шпионов участвуют неточно переведенные русские пословицы (“Russian humor being a wee bird satisfied with a crumb” [72] – «русский юмор что пичужка: и крошкой сыта бывает» [595]). Высказывание “here are only two things that really exist – one’s death and one’s conscience” [73] («всега двое и есть – смерть да совесть» [597]) – реминисценция к пословице «Стыд та же смерть» и реплике Андрея Болконского: «Я знаю в жизни только два действительные несчастья: угрызение совести и болезнь» [Толстой 1938: 110]. Вымышленная пословица подчеркивает эстетическое значение совести: возможность художника видеть мир с чужой точки зрения, в том числе видеть самого себя со стороны.

Фразеологическая окказиональность и игра с произносительными нормами выдает в рассказчике художника, осмысляющего пошлость как языковую инертность и редукцию смысла. Трансформация клише (см. подробнее: [Полищук 1997: 811]) является принципом, организующим художественное пространство рассказа: совмещаются образы массового кинематографа и произведений русского и европейского искусства.

Жесты Славски (“her fist at her cheek” [p. 70], “her kid-gloved hands” [p. 71]) отсылают к импрессионистским портретам певиц и, в частности, к картине Анри де Тулуз-Лотрека «Певица Иветт Гильбер в момент исполнения песни» (1894): в композиционном центре картины находятся сцепленные руки певицы в черных перчатках. В американских романах В. Набокова картины Тулуз-Лотрека характеризуются как пример рекламной пошлости «гнусных плакатов»

(«Ада») [Набоков 2006: 444], как атрибут неуютного жилища («Пнин») [Набоков 2004: 61]. Другой живописный источник образа Славски – портреты Эдгара Дега «Певица с перчаткой» (1878), «Ария собаки» (1876–1877). И на картинах, и в рассказе в деталях изображается рот певицы: “the anatomy of her mouth fully displayed in a last passionate cry” [71] – «в последнем страстном вопле выставляя напоказ анатомию своего рта» [594]. С помощью живописного экфрасиса пространство зала, где собираются сентиментальные слушатели-эмигранты, наделяется свойствами вульгарного кафешантана.

Смысловые возможности ходульного мелодраматического сюжета расширяются за счет обращения к «разиновскому тексту» русской литературы. Славска, исполняющая песню «Из-за острова на стрежень...», сопоставляется с персидской княжной из цикла А. С. Пушкина «Песни о Стеньке Разине». И в рассказе, и в цикле зеленое дерево – тополь и дуб – являются предвестниками смерти. Афиша фильма, на которой акцентируется деталь – красные башмаки (“red-booted romance” [74]), – отсылает к стихотворению М. Цветаевой «Стенька Разин»: «В небе-то – ясно, / Темно – на дне. / Красный один / Башмачок на корме» [Цветаева 1994: 345]. В советских произведениях по мотивам истории о Разине появляется близкий рассказу В. Набокова мотив «смены идентичности» (см., к примеру, рассказ А. М. Соболя «Княжна», где героиня оказывается шпионкой) [Симонова 2021: 99].

Обращаясь к «разиновскому тексту», В. Набоков актуализирует проблему поэтической интерпретации исторического материала. В инкультурной среде писатель создает собственную вариацию образа Разина как абсурдного героя-властолюбца, вынужденного менять личины.

В область билингвального эстетического эксперимента попадает и современная В. Набокову лирика русского изгнания. Как отмечают О. Ронен и Г. Барабтарло, одним из источников образа “Green Lady” является Наталья Поплавская, автор «Стихов зеленой дамы» [Записки... 2013]. Лирике Н. Поплавской свойственно типичное для писателей русского зарубежья 1920-х гг. «сближение эмигрантского мировосприятия с кинематографическими моделями реальности» [Янгиров 2006: 408]: «простились банально и просто / как прощаются в кинодрамах» [Поплавская 2017: 7]. Образ «зеленой дамы» и в лирике Н. Поплавской, и в рассказе В. Набокова строится посредством кинематографических клише: «были губы бесстыдно ярки» [Поплавская 2017: 7] – “her rich painted lips” [71], «обнаженные плечи / холодели от взгляда слепого» [Поплавская 2017: 7] – “outstretched jellycold arms” [72].

Художественная реальность фильма не является герметичной. В процессе восприятия участвует читательская и зрительская память рассказчика, индивидуализирующая формулы массового искусства и прецедентные образы классической и современной литературы.

Эстетическая и сенсорная чувствительность имеют общую природу: они апеллируют к индивидуальной памяти наблюдателя. Атрибуция этого опыта – главная интрига рассказа. Тайна агента Голубкова представлена как секрет Полишинеля, поскольку даже жертва догадывается о личности убийцы. Раскрытие личности рассказчика, напротив, – нетривиальная задача, требующая проверки трех версий: рассказчиком может выступать один из эмигрантов-зрителей, сам Голубков или поэт, обладающий способностью перенимать чужую точку зрения.

Последняя версия указывает на имплементацию значимой для Набокова темы лингвистического перехода. В первом рассказе на английском языке писатель уподобляет художника, пишущего на неродном языке, шпиону, который должен внедриться в инокультурную среду и поменять ее. Именно формирование идеологически верной точки зрения на события является главной шпионской задачей Голубкова, работающего на правительство Германии и СССР. Рассказчик уточняет, что Голубков является «тройным агентом» (“a triple agent to be exact” [69]), где третья сторона представлена таинственным главным начальником (“arch-boss”), выносящим приговор герою в каламбурах: “I am afraid, my friend, you are not needed any more” [74].

В русских переводах реплика господина Пуппенмейстера отсылает к Иосифу Сталину как историческому прототипу: «Боюсь, друг мой, что вы нам более не нужны» (пер. Г. Барабтарло [Набоков 2015: 601]), «извещен с легким грузинским акцентом»: «Боюсь, дарагой, вы нам больше не понадобятся» (пер. Д. Чекалов [Набоков 2001: 43]). В переводе С. Ильина образ Пуппенмейстера редуцируется: не переданы акцент и каламбуры («Боюсь, друг мой, вы больше нам не нужны» [Набоков 2004: 204]). В такой интерпретации Голубков ошибочно предстает не тройным, а двойным агентом – секретные сведения он добывает только для СССР и Германии, тогда как Пуппенмейстер не принадлежит ни одной из этих сторон.

Еще одной атрибутирующей деталью является манера речи «начальника»: “slight foreign accent and special brand of blandness” [74]. Легкий иностранный акцент указывает на владение несколькими европейскими языками, каждый из которых не является для Пуппенмейстера родным. Характеристика интонации отсылает к за-

мечаниям критиков В. Набокова: «его стилистический холодок» (Г. Адамович [Классик... 2000: 73]), «холодный блеск – не в русском духе» (М. Осоргин [там же: 104]), «растворяет действительную жизнь в нереальную, пронзенную ветрами и холодом, в мертвый театр марионеток» (Н. Андреев [там же: 189]). Идентифицировать личность начальника может только читатель русскоязычных произведений писателя, знакомый с эстетической полемикой русской эмиграции.

Попытка определить реальный прототип Пуппенмейстера среди существовавших исторических личностей ведет к наивно-реалистической интерпретации произведения. В сложной субъектной структуре рассказа интегрирующим началом выступает не документальный факт, а фантазия художника: образу Пуппенмейстера соответствует гротескный образ автора-персонажа. Современные исследователи отмечают, что образ кукловода используется В. Набоковым для осмысления собственной поэтики [Белоусова 2021: 213].

Таким образом, интерпретация образной структуры первого рассказа В. Набокова на английском языке требует от американского читателя не только эрудиции или навыков дешифровки, а со-творческого чтения. В философско-эстетической системе писателя лингвистическая и перцептивная чувствительность оказываются явлениями одного порядка, они участвуют в создании и рецепции вымышленных миров.

Проблема вербальной и визуальной репрезентации восприятия значима для В. Набокова в связи с переводом индивидуальной художественной системы на английский язык. Перцептивные ощущения, указывающие на механистичность кино съемки, в действительности объясняются свойствами естественного восприятия рассказчика: абберациями памяти, нечувствительностью к звуку, читательскими и зрительскими ассоциациями. Минималистичность аудиального пространства рассказа контрастирует с многообразием фонетических средств выразительности. Внимание писателя к звуковой стороне английского языка может оцениваться как форма его творческой адаптации в иноязычной среде.

Коммуникативная стратегия В. Набокова в начале его американской карьеры заключается в сознательном отказе от 1) редукции собственного стиля и, в частности, перцептивной поэтики как стилиобразующего фактора, 2) адаптации интертекстуальной и образной системы текста. Необходимость сохранения констант писательской идентичности («гения») отличает и набоковский переводческий метод в начале 1940-х гг.: “A true artist may disappear, but no true artist can

ever become invisible" [Shvabrin 2019: 203] («Настоящий художник может исчезнуть, но ни один настоящий художник не способен стать невидимым»). В рецепции В. Набокова гений маскировки – и шпион, и художник – в чужой языковой среде неизбежно раскрывает свою личность.

Список литературы

Белоусова Е. Г. Волшебник и фокусник в эстетической и художественной системе В. Набокова (на материале рассказов 1920–1930-х гг.) // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2021. № 69. С. 209–226. doi 10.17223/19986645/69/10

Записки из одного угла. Из писем Омри Ронена к Геннадию Барабтарло. Публикация, вступительная заметка и примечания Геннадий Барабтарло // Звезда. 2013. № 5. URL: <https://magazines.gorky.media/zvezda/2013/5/zapiski-iz-odnogo-ugla-iz-pisem-omri-ronena-k-gennadiyu-barabtarlo.html> (дата обращения: 14.06.2023)

Каракуц-Бородина Л. А. Набоков в рекламе: исследователь, копирайтер, продюсер // Вестник ПГУ им. Шолом-Алейхема. 2022. № 2(47). С. 82–101. doi 10.24412/2227-1384-2022-247-82-101

Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве Владимира Набокова: Критические отзывы, эссе, пародии / под общ. ред. Н. Г. Мельникова. М.: Новое литературное обозрение, 2000. 688 с.

Набоков В. В. Американский период. Собрание сочинений: в 5 т. СПб.: Симпозиум, 2004, 2006. Т. 3, 4. 702 с.; 672 с.

Набоков В. В. Полное собрание рассказов. СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2015. 752 с.

Набоков В. В. Со дна коробки: Рассказы. М.: Независимая Газета, 2001. 192 с.

Полищук В. Жизнь приема у Набокова // В. В. Набоков: pro et contra. Личность и творчество Владимира Набокова в оценке русских и зарубежных мыслителей и исследователей. Т. 1. СПб.: Изд-во РХГИ, 1997. С. 809–822.

Поплавская Н. Ю. Стихи зеленой дамы: 1914–1916. Б.м.: Salamandra P.V.V., 2017. 120 с.

Романова Г. Р. Философско-эстетическая система Владимира Набокова и ее художественная реализация: период американской эмиграции: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Владивосток, 2005. 38 с.

Симонова О. В. Разинский мотив утопления княжны в литературе о Гражданской войне («Княжна» А. М. Соболя и «Повольники» А. С. Яковлева) // Сибирский филологический журнал. 2021. № 4. С. 97–109. doi 10.17223/18137083/77/8

Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. Война и мир. Т. 2. М.: Худ. лит., 1938. Т. 10. 429 с.

Цветаева М. И. Собрание сочинений: в 7 т. М.: Эллис Лак, 1994. Т. 1. 640 с.

Янгиров Р. «Чувство фильма»: заметки о кинематографическом контексте в литературе русского зарубежья 1920–1930-х гг. // Империя Н. Набоков и наследники: сб. ст. М.: Новое литературное обозрение, 2006. С. 399–426.

Heard F. C. Time Travelers: Narrative Space-Time and the Logic of Return in Nabokov's American Fiction // Texas Studies in Literature and Language. 2016. Vol. 58, № 2. P. 144–164.

Meyer P. Find What the Sailor Has Hidden: Vladimir Nabokov's "Pale Fire". Middletown, Connecticut: Wesleyan University Press, 1988. 276 p.

Nabokov V. V. The Assistant Producer // The Atlantic Monthly. May 1943. P. 68–74.

Parker L. Nabokov Noir: Cinematic Culture and the Art of Exile. Ithaca, London: Cornell University Press, 2022. 272 p.

Quinn B. Nabokov's Nostalgic Farewell to Europe in His First English Short Story "The Assistant Producer" // Studies in English Language and Literature. Vol. 52. Kyushu: The English Language and Literature Society, 2002. P. 69–86.

Shvabrin S. Between Rhyme and Reason. Vladimir Nabokov, Translation, and Dialogue. Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press, 2019. 419 p.

Voronina O. "They Are All Too Foreign and Unfamiliar...": Nabokov's Journey to the American Reader // Metacritic Journal for Comparative Studies and Theory. 2017. Vol. 3, № 2. P. 25–51.

References

Belousova E. G. Volshebnik i fokusnik v esteticheskoy i khudozhestvennoy sisteme V. Nabokova (na materiale rasskazov 1920–1930-kh gg.) [The magician and the juggler in Nabokov's aesthetic and artistic frame (based on stories of the 1920s and the 1930s)]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya* [Tomsk State University Journal of Philology], 2021, issue 69, pp. 209–226. doi 10.17223/19986645/69/10. (In Russ.)

Zapiski iz odnogo ugla. Iz pisem Omri Ronena k Gennadiyu Barabtarlo [Notes from one corner. From the letters of Omri Ronen to Gennady Barabtarlo]. Publication, introductory article and notes by Gennady Barabtarlo. *Zvezda* [Star], 2013, issue 5. Available at: <https://magazines.gorky.media/zvezda/2013/5/zapiski-iz-odnogo-ugla-iz-pisem-omri-ronena-k-gennadiyu-barabtarlo.html> (accessed 14 Jun 2023). (In Russ.)

Karakuts-Borodina L. A. Nabokov v reklame: issledovatel', kopirayter, prodyuser [Nabokov in advertising: Researcher, copywriter, producer]. *Vestnik PGU im. Sholom-Aleikheima* [Sholom-Aleichem Priamursky State University Bulletin], 2022, is-

sue 2(47), pp. 82–101. doi 10.24412/2227-1384-2022-247-82-101. (In Russ.)

Klassik bez retushi. Literaturnyy mir o tvorchestve Vladimira Nabokova: Kriticheskie otzvy, esse, parodii [A Classic without Retouching. The Literary World about the Works of Vladimir Nabokov: Critical Reviews, Essays, Parodies]. Ed. by N. G. Mel'nikov. Moscow, New Literary Observer Publ., 2000. 688 p. (In Russ.)

Nabokov V. V. *Amerikanskiy period. Sobranie sochineniy: v 5 t.* [American Period. Collected Works in 5 vols.]. St. Petersburg, Simposium Publ., 2004, 2006, vols. 3, 4. 702 p., 672 p. (In Russ.)

Nabokov V. V. *Polnoe sobranie rasskazov* [Complete Short Stories]. St. Petersburg, Azbuka: Azbuka-Attikus Publ., 2015. 752 p. (In Russ.)

Nabokov V. V. *So dna korobki* [From the Bottom of the Box]: short stories. Moscow, Nezavisimaya Gazeta Publ., 2001. 192 p. (In Russ.)

Polishchuk V. Zhizn' priema u Nabokova [The life of Nabokov's method]. *V. V. Nabokov: pro et contra. Lichnost' i tvorchestvo Vladimira Nabokova v otsenke russkikh i zarubezhnykh mysliteley i issledovateley* [V. V. Nabokov: Pro et Contra. Vladimir Nabokov's Personality and Works as Assessed by Russian and Foreign Thinkers and Researchers]. St. Petersburg, Davletkildeev Republican Art Boarding School Publ., 1997, vol. 1, pp. 809–822. (In Russ.)

Poplavskaya N. Yu. *Stikhi zelenoy damy: 1914–1916* [Poems of the Green Lady: 1914–1916]. No place, Salamandra P.V.V. Publ., 2017. 120 p. (In Russ.)

Romanova G. R. *Filosofsko-esteticheskaya sistema Vladimira Nabokova i ee khudozhestvennaya realizatsiya: period amerikanskoy emigratsii*. Avtoreferat diss. d-ra. filol. nauk [V. Nabokov's philosophical and aesthetic system and its literary implementation: The period of American emigration. Abstract of Dr. sci. philol. diss.]. Vladivostok, 2005. 38 p. (In Russ.)

Simonova O. V. Razinskiy motiv utopeniya knyazhny v literature o Grazhdanskoy voyne ('Knyazhna' A. M. Sobolya i 'Povol'niki' A. S. Yakovleva) [Razin's motif of the princess's drowning in the literature about the Russian civil war ('Princess' by

Andrey Sobol and 'Povolniki' by Alexander Yakovlev)]. *Sibirskiy filologicheskiy zhurnal* [Siberian Journal of Philology], 2021, issue 4, pp. 97–109. doi 10.17223/18137083/77/8. (In Russ.)

Tolstoy L. N. *Polnoe sobranie sochineniy. Voyna i mir. T. 2* [Complete Works. War and Peace. Vol. 2]. Moscow, Khudozhestvennaya literatura Publ., 1938, vol. 10. 429 p. (In Russ.)

Tsvetaeva M. I. *Sobranie sochineniy* [Collected Works]: in 7 vols. Moscow, Ellis Lak Publ., 1994, vol. 1. 640 p. (In Russ.)

Yangirov R. 'Chuvstvo fil'ma': zametki o kinematograficheskom kontekste v literature russkogo zarubezh'ya 1920–1930-kh gg. ['The sense of the film': Notes on the cinematic context In Russian literature abroad in the 1920s and 1930s]. *Imperiya N. Nabokov i nasledniki* [The Empire N. Nabokov and Heirs]: collected articles. Moscow, New Literary Observer Publ., 2006, pp. 399–426. (In Russ.)

Heard F. C. Time travelers: Narrative space-time and the logic of return in Nabokov's American fiction. *Texas Studies in Literature and Language*, 2016, vol. 58, issue 2, pp. 144–164. (In Eng.)

Meyer P. *Find What the Sailor Has Hidden: Vladimir Nabokov's 'Pale Fire'*. Middletown, Connecticut, Wesleyan University Press, 1988. 276 p. (In Eng.)

Nabokov V. V. The Assistant Producer. *The Atlantic Monthly*, May 1943, pp. 68–74. (In Eng.)

Parker L. *Nabokov Noir: Cinematic Culture and the Art of Exile*. Ithaca, London, Cornell University Press, 2022. 272 p. (In Eng.)

Quinn B. Nabokov's nostalgic farewell to Europe in his first English short story 'The Assistant Producer'. *Studies In English Language and Literature*. Kyushu, The English Language and Literature Society, 2002, vol. 52, pp. 69–86. (In Eng.)

Shvabrin S. *Between Rhyme and Reason. Vladimir Nabokov, Translation, and Dialogue*. Toronto, Buffalo, London, University of Toronto Press, 2019. 419 p. (In Eng.)

Voronina O. 'They are all too foreign and unfamiliar...': Nabokov's journey to the American reader. *Metacritic Journal for Comparative Studies and Theory*, 2017, vol. 3, issue 2, pp. 25–51. (In Eng.)

The Artist-Spy in V. Nabokov's Short Story 'The Assistant Producer': the Representation of Sensorial and Aesthetic Experience

*The study was funded by a grant from the Russian Science Foundation, project No. 23-78-01025,
<https://rscf.ru/en/project/23-78-01025/>*

Anastasiia O. Drozdova

Senior Lecturer in the Department of Linguistics and Literature Studies

University of Tyumen

6, Volodarskogo st., Tyumen, 625003, Russian Federation. a.o.drozdova@utmn.ru

SPIN-code: 3926-1781

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5728-142X>

ResearcherID: D-3770-2019

Submitted 16 Aug 2023

Revised 22 Feb 2024

Accepted 10 Mar 2024

For citation

Drozdova A. O. Khudozhnik-shpion v rasskaze V. Nabokova 'Assistent rezhissera': reprezentatsiya sensornogo i esteticheskogo opyta [The Artist-Spy in V. Nabokov's Short Story 'The Assistant Producer': the Representation of Sensorial and Aesthetic Experience]. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2024, vol. 16, issue 3, pp. 130–137. doi 10.17072/2073-6681-2024-3-130-137 (In Russ.)

Abstract. The article is devoted to the analysis of *The Assistant Producer*, Vladimir Nabokov's first short story in English. The study explores how V. Nabokov interprets the problem of the author's identity in foreign readers' audience. The structural-semiotic and intertextual methods are used in the paper to identify the narrative techniques organizing the intrigue in the short story: the exposure of the character as a triple agent and the narrator as an artist. The narrator focuses on the optical and sound effects of cinema as well as on the foreign accent in other characters' speech. These peculiarities of the narrator's perception show his perceptive and language sensitiveness inherent in an artist. The pseudo-documental cinema world includes the legends of Stepan Razin, portraits by impressionists and post-impressionists, and emigre literature. The artistic world is constructed through the images conveying the aberrations of perception, smells and the senses of touch, which are difficult to verbalize, unmotivated alliterations, allusions that are hard to interpret for foreign readers. Perceptive images and literary allusions construct the plot about the communicative mistake: from the narrator's point of view, the cinema shows the world of Russian emigre inaccurately, but it reveals the banality of the intentions of the character-executioner. V. Nabokov assesses incompleteness as a key characteristic of intercultural communication, motivated by the differences in recipients' sensorial and reading experience. V. Nabokov's strategy is to highlight the inexpressible characteristics of his sensorial and creative (reading and writing) experience. Communicative mistakes inspire co-creative reading. At the beginning of his American career, V. Nabokov develops the idea that a genius writer can convey his sensorial, aesthetic, and language experience despite the communicative borders.

Key words: V. Nabokov; American years; *The Assistant Producer*; perceptive imagery; intercultural communication; writer's identity; intertext.

УДК 82-312.1(73):140
doi 10.17072/2073-6681-2024-3-138-146
<https://elibrary.ru/nxxfuq>

EDN NNXFUQ



Философские идеи С. Кьеркегора и Г. Марселя в романе Уокера Перси «Любитель кино»

Никулина Алла Константиновна

к. филол. н., доцент кафедры английского языка

Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы

450008, Россия, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 3-а. alla_nikoulina@mail.ru

SPIN-код: 3695-5593

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6016-1795>

ResearcherID: AAV-4746-2020

Статья поступила в редакцию 10.12.2023

Одобрена после рецензирования 01.03.2024

Принята к публикации 25.03.2024

Информация для цитирования

Никулина А. К. Философские идеи С. Кьеркегора и Г. Марселя в романе Уокера Перси «Любитель кино» // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2024. Т. 16, вып. 3. С. 138–146. doi 10.17072/2073-6681-2024-3-138-146

Аннотация. В статье анализируется философский аспект романа Уокера Перси «Любитель кино», созданного под воздействием идей европейских экзистенциалистов. Если формальные аспекты организации произведения были заимствованы писателем у Сартра и Камю, то в содержательном плане принципиальное значение в формировании художественного замысла имело знакомство писателя с идеями Кьеркегора и Марселя. Главной темой романа становится преодоление отчаяния и открытие веры как источника гармонии человека с собой и окружающим миром. Понимание Кьеркегором свободы как основы духовной самореализации противопоставляется в романе атеистическому восприятию свободы у Сартра, демонстрируется невозможность обретения счастья в ситуации отказа от признания божественной реальности. Художественный образ центрального персонажа романа выстраивается писателем с сознательной ориентацией на базовые понятия философии Кьеркегора, его трактовку стадий жизненного пути человека, оппозицию отчаяния и веры. Но если внимание Кьеркегора сосредоточено на прыжке веры, совершаемом в ситуации отказа от рациональности, то Перси больше привлекает идея движения от одной духовной высоты к другой как результат размышления и сознательного выбора, что сближает его взгляды с философской позицией Марселя. Для Перси значимой также оказывается мысль Марселя о том, что приближение человека к принятию Бога может совершиться только через предшествующее ему обнаружение значимости другого человека. В отличие от Кьеркегора, человек веры у Марселя и Перси обретает как внутренний покой, так и способность успешно взаимодействовать с внешним миром. Идеи Кьеркегора, таким образом, в значительной степени определяют замысел романа, однако философская позиция Марселя в конечном итоге оказывается доминирующей в художественном мире произведения Перси.

Ключевые слова: Уокер Перси; философский роман; Кьеркегор; Сартр; Марсель.

Уокер Перси известен в американской литературе как автор философских романов – произведений, в которых, согласно определению В. А. Лукова, «основными героями... становятся

не персонажи, а идеи» [Луков 2006: 433]. Писатель считал себя «наследником французских экзистенциалистов, а не американских романистов»¹ [Conversations... 1985: 5]. Хотя тема аме-

риканского Юга играет важную роль в его творчестве, он не относит себя к «южной школе» в литературе США: «Я жил в ста милях от Уильяма Фолкнера, но он значил для меня меньше, чем Альбер Камю», – признавался он в интервью [Conversations... 1985: 146]. Перси всегда привлекали универсальные проблемы, определяющие суть человеческого существования, а американская действительность выступала лишь необходимым фоном для развертывания сюжета.

В нашей стране творчество У. Перси остается малоизвестным и практически не изученным, в то время как в США ему посвящено немало монографий и сборников статей. Так, например, Р. Коулз в своем исследовании подробно рассматривает путь персонажей Перси, философскую проблематику его творчества [Coles 1978]. К. Куинлан сосредоточивает внимание в первую очередь на проблеме веры как одной из центральных тем в творчестве писателя [Quinlan 1996]. Изучению экзистенциалистских мотивов в романах Перси посвящены работы У. Р. Аллена [Allen 1986] и Дж. Э. Харди [Hardy 1987]. Писатель сам подталкивает критиков к размышлениям над философскими аспектами в его произведениях, подробно рассказывая в интервью о своих увлечениях, авторах и книгах, которые произвели на него наиболее глубокое впечатление. Однако тот факт, что исследователи по-разному оценивают степень влияния того или иного философа на творческую позицию Перси, неоднозначно интерпретируют ключевые моменты его романов, свидетельствует о том, что изучение его творчества еще далеко не закончено, но, напротив, оно представляет обширный материал для дальнейшего анализа.

Уокер Перси выступает автором шести романов, однако именно первый – «Любитель кино» (“The Moviegoer”, 1961) – по-прежнему остается самым популярным у читателей. Именно его исследованию будет посвящена данная статья. Произведение не переведено на русский язык, и, вероятно, поэтому в отечественной критике о нем написано крайне мало. О. Ю. Анцыферова отмечает, что роман «несет в себе заряд философичности» [Анцыферова 2004], но в своей работе сосредоточивается преимущественно на характеристике психологических аспектов самопознания героя. О. Ю. Панова указывает на связь рассказчика с «подпольным человеком» Ф. М. Достоевского, однако не предлагает детального анализа проблематики данного произведения [Панова 2021]. Мы же в рамках данной статьи намереваемся уделить внимание философской составляющей романа, продемонстрировав с помощью сравнительно-сопоставительного анализа воздействие на замысел писателя идей С. Кьер-

кегора и Г. Марселя и формирование под их влиянием уникального художественного образа центрального персонажа, раскрывающего при обращении к целостной интерпретации текста романа философские приоритеты Перси.

Роман «Любитель кино» принес писателю известность сразу после публикации. «Этот роман ни в коем случае не вызовет злобных нападок критики, поскольку сегодня увидеть произведение, настолько захватывающее читателя каждой своей строчкой, – это поистине редкость», – писала Дж. К. Оутс [Critical essays 1989: 39]. По сравнению с более поздними произведениями писателя, этот роман, характеризующийся небольшим набором персонажей и ограниченными пространственно-временными рамками, выглядит более камерным: речь в нем идет, по словам автора, «не столько о проблемах общества, сколько об отношениях двух людей» [More conversations... 1993: 4]. Однако в романе уже отчетливо видны все основные мотивы, которые впоследствии будут доминировать в произведениях Перси, определяя их интеллектуальную направленность. Не случайно критика сразу охарактеризовала произведение как философский роман [Critical essays 1989: 93], указав на преобладание в нем экзистенциалистских мотивов. Главного героя сравнивали с «подпольными» персонажами Ф. М. Достоевского и Р. Эллисона [Allen 1986: 25], хотя в действительности объединяет их только изначальный факт испытываемого отчуждения как универсальной человеческой ситуации. Особенность же героев Перси состоит в том, что они оказываются способны найти возможности преодоления данной ситуации.

Главная тема всех художественных произведений Перси – открытие веры как источника гармонии человека с самим собой и окружающим миром. Писатель полагает, что картезианская модель философствования искусственным образом развела душу и тело, которые с тех пор продолжают существовать обособленно друг от друга, заставляя человека испытывать постоянный внутренний дискомфорт. Следствием раздельного функционирования души и тела становится то, что социально благополучный человек часто оказывается внутренне несчастен, а человек, живущий насыщенной внутренней жизнью, нередко воспринимается как социально неуспешный. Философия экзистенциализма, с которой Перси познакомился в молодые годы, стала для него подлинным открытием: в ней он увидел источник обретения человеком утраченной целостности. По его мнению, экзистенциализм оказывается особенно близок духу его одинокого соотечественника, потерянного в «американском городе как месте полного от-

чуждения» [Conversations... 1985: 13]; но в то же время американец имеет преимущество перед представителями ряда других наций, поскольку, формально не принадлежа ни к одной конфессии, но будучи воспитанным в атмосфере общей христианской культуры, он интуитивно чувствует направление, на котором может обрести спасение: «отчуждение, по большому счету, оказывается ни больше, ни меньше, чем понятием древней классической христианской доктрины» [ibid.: 28].

Перси изучил труды всех ведущих теоретиков экзистенциализма, но наиболее глубокое впечатление на него произвели сочинения Кьеркегора и Марселя. Поворот в сознании писателя, по его признанию, произошел после знакомства с работами Кьеркегора: «Я по-прежнему предан науке, – говорил он в одном из ранних интервью. – Просто я осознал некоторые ее недостатки, и этим я обязан Кьеркегору» [ibid.: 11]. Чтение Кьеркегора определило переход Перси от светского гуманизма к религиозному сознанию и оказалось философской основой большинства его художественных произведений. В мировидении датского философа Перси привлекает стремление противостоять абстракциям любого вида. Кьеркегор, как известно, подвергал острой критике людей, подменяющих жизнь теорией жизни: «они заботятся только о случайном, о всемирно-историческом итоге, вместо того, чтобы заботиться о существенном, о самом внутреннем, о свободе» [Кьеркегор 2005: 149]. Перси разделяет не только интерес Кьеркегора к жизненно важному и чувственно ощутимому, но и понимание философом веры как «наивысшей страсти в человеке» [Кьеркегор 1993: 111]: «...тот, кто любил самого себя, стал велик через себя, и тот, кто любил других людей, стал велик через свою преданность, но тот, кто любил Бога, стал самым великим из всех» [там же: 23]. При этом если внимание Кьеркегора было сосредоточено в первую очередь на самом акте обретения веры, прыжке, совершаемом в определенный момент силой абсурда, то Перси гораздо больше привлекает идея пути, движения от одной духовной высоты к другой как результат размышления и сознательного выбора. В этом, как он сам осознает, Перси оказывается, скорее, последователем Габриэля Марселя и его концепции “homo viator” – человека в пути [Conversations... 1985: 137]. Католический экзистенциализм Марселя, его идея преодоления тотального отчуждения через поиск внутреннего пути к Богу были близки Перси-католику. Писатель также полностью разделяет понимание интересубъективности как значимого условия приближения к познанию высшей духовной реальности, изложенное Марселем в ра-

боте «Быть и иметь»: «Я обладаю существованием лишь постольку, поскольку рассматриваю себя как другого, в отношении к другому; следовательно, поскольку я признаю, что ухожу от самого себя» [Марсель 1994: 89].

Перси осознанно стремился объединить философию и литературу по образцу французских экзистенциалистов, создать «форму, через которую читатель сможет увидеть идею» [Conversations... 1985: 9]. Роман «Любитель кино» был задуман им как программный экзистенциалистский роман, история «восстания двух людей» [ibid.: 3] против бессмысленности действительности. Романная форма для писателя становится возможностью соединить теорию и жизнь, проверить действенность идеи в конкретной ситуации.

Данное произведение, по утверждению автора, изначально базировалось на кьеркегоровском определении отчаяния как «болезни к смерти» [ibid.: 6]. Проблема отчаяния, причем в его худшем виде – как отчаяния, не сознающего себя таковым, возникает уже в эпиграфе к роману и с самого начала сосредоточивает внимание читателя на ситуации главного персонажа.

Джек «Бинкс» Боллинг гордится своим положением идеального представителя среднего класса: «Я образцовый квартиросъемщик и образцовый гражданин, мне доставляет удовольствие поступать так, как от меня ожидают» [Percy 1980: 13]. Но в то же время он чувствует себя «аутсайдером», посторонним среди других людей [Conversations... 1985: 7]. Он стремится уйти в мир кино, иллюзии, поскольку его что-то глубоко не устраивает в окружающей действительности, но до определенного времени он не осознает, что именно. Ощущение неподлинности существования, возможного присутствия в жизни смысла, скрывающегося за убаюкивающей сознание повседневной рутинной, периодически возникает на периферии его сознания, но не приводит к попыткам кардинально изменить взаимоотношения с миром. Предпосылкой серьезных внутренних изменений, как считает Перси, часто оказывается «травматический опыт», заставляющий человека переосмыслить прежнее существование [ibid.: 81]. В биографии Бинкса такой опыт имел место во время военных действий в Корее: «Только один раз за всю мою жизнь хватка повседневности, сжимающая меня, ослабла: когда я лежал в канаве, истекая кровью» [Percy 1980: 118]. В тот момент, как ему кажется, он приблизился к открытию чего-то существенно важного, но забыл обо всем, как только излечился и вернулся в Америку. И всё же он подсознательно продолжает поиск. Он внимательнее, чем другие, приглядывается к миру, замечает детали, обнаруживает способность чувствовать красоту

повседневности, пребывая «в одиночестве и восхищении, восхищаясь дни и ночи напролет, ни минуты без восхищения» [Percy 1980: 39]. По его собственному определению, в последнее время он изменил «вертикальный» тип поиска на «горизонтальный»: «До недавнего времени я читал только “фундаментальные” книги, то есть важные сочинения на важные темы... Но теперь я предпринял другой тип исследования – горизонтальный. В результате, то, что происходит в моей комнате, кажется мне теперь менее важным. По-настоящему же важно то, что я вижу, когда выхожу из комнаты и брожу по округе. Прежде я выходил побродить для того, чтобы отвлечься. Теперь я брожу с сознанием серьезности происходящего, а сижу дома и читаю для того, чтобы отвлечься» [ibid.: 60]. Бинкс больше не занимается абстракциями, он живо реагирует на окружающий мир. «Как и его отец, он посторонний, – характеризует главного героя М. Уэбб. – Но, в отличие от отца, он не мечтает принять романтическую смерть... Он хочет жить, чутко прислушиваясь к миру и восхищаясь им» [Webb 1979: 10]. Бинкс понимает, что главная экзистенциальная опасность для человека – оказаться «никем и нигде» [Percy 1980: 70], и всеми силами старается избежать этого.

Р. Коулз видит в главном персонаже романа хайдеггеровский тип «абсолютно независимого» героя, жаждущего практически реализовать собственную свободу [Coles 1978: 163]. Но всё же в первую очередь, по замыслу автора, Бинкс должен был предстать перед читателем в качестве кьеркегоровского эстетика: человека, уже не являющегося бездуховным обывателем, но при этом находящегося на нижней ступени духовного развития. Герой периодически иронизирует по поводу своих попыток духовного поиска, однако в другие моменты не скрывает искреннего желания обнаружить смысл происходящего: «Авраам увидел божественные знамения и уверовал. Сегодня единственным знамением оказывается то, что все знамения в мире не несут никакого смысла. Не в этом ли заключается ироническая месть Бога? Но я обязательно отыщу его» [Percy 1980: 119]. Перси характеризует проблематику романа как соединение описанных Кьеркегором мотивов чередования и повторения с центральным вопросом Паскаля: «Для чего я здесь?» [More conversations... 1993: 72], который и выводит героя на путь целенаправленного поиска. Чередование и повторение, определяющие жизнь эстетика у Кьеркегора, способны дать человеку временное облегчение, создав иллюзию осмысленности повседневной жизни, однако в длительной перспективе оказываются абсолютным тупиком, поскольку не позволяют выйти за пре-

делы эмпирического опыта. Повторение обращается в порочный круг, если человек не найдет в себе силы разорвать его неожиданными поступками и нетривиальными наблюдениями. По мнению Кьеркегора, даже наблюдение за пауком способно дать человеку обильную пищу для размышлений, главное – научиться внимательно смотреть на окружающий мир. Вероятно, описание жука, которого Бинкс увлеченно рассматривает после серьезного ранения на войне, сознательно вводится в роман автором как аллюзия, отсылающая к рассуждениям Кьеркегора. Бинкс-эстетик в романе уже готов к тому, чтобы преодолеть зависимость от чувственных удовольствий незаинтересованного наблюдения и шагнуть дальше. Главным шагом, необходимым для перехода на новую ступень, в художественном мире романа становится открытие героем значимости другого человека.

Экзистенциалистская этика, сформулированная Перси, базируется на убеждении, что обнаружение человеком Бога может совершиться только через предшествующее ему обнаружение важности присутствия рядом другого человеческого существа: «Начинается все всегда с одиночества, потом происходит поиск в духе Кьеркегора и Паскаля, потом возникает связь между двумя людьми, общение между ними и открытие Бога через эту связь» [ibid.: 75]. «Другой» у Перси, как справедливо отмечает Р. Коулз, – это никогда не «другой» Ж.-П. Сартра – «критически настроенный, сардонический, агрессивный» [Coles 1978: 84]. Это марселевская концепция другого как значимой части самого себя: «Существо, которое я люблю, не есть для меня третье лицо. Оно способно раскрывать мне меня самого» [Марсель 2004: 28]. Человек, осознавший важность другого человека, потенциально готов к принятию главного «другого» – Бога: «...верить – это всегда верить в *ты*, то есть в личную или сверхличную реальность, к которой можно обращаться с призывом и которая располагается по ту сторону всякого суждения, выносимого относительно какой-то объективной данности» [там же: 133].

В начале романа Бинкс совершенно одинок, причем одиночество он выбирает сознательно, считая подобное положение наиболее комфортным. Друзей в его жизни не было как минимум восемь лет, по его собственному признанию. Любимой девушки у него тоже нет, он вполне доволен ни к чему не обязывающими отношениями с периодически меняющимися секретаршами. Единственная искренняя привязанность героя – его тяжело больной сводный брат Лонни. Бинкс не задумывается над особым характером этих отношений, но читатель видит, с какой теп-

лотой и заботой он относится к мальчику, старается его поддержать, и сам в его присутствии чувствует себя спокойным и счастливым. С Лонни он естественен, становится самим собой.

Но главной эмоциональной связью, трансформирующей Бинкса, становятся его отношения с Кейт. Она, по определению Перси, «располагается, вероятно, на довольно низкой невротической ступени, так и не покидая сферы, названной Кьеркегором эстетической» [Conversations... 1985: 6]. «Она боится какой-то всеобщей катастрофы», – характеризует ее мать [Percy 1980: 29]. Кейт, как и Бинкс, находится в состоянии внутреннего поиска, но ищет она не Бога, а себя, что всегда вызывало ироническую насмешку у Перси: «Я полагаю, что значительную часть написанного мной можно назвать сатирой на так называемые поиски себя», – говорил он в интервью [Conversations... 1985: 49]. Кейт отчаянно стремится обрести свободу, но это свобода, понимаемая в сартровской манере. Кейт тяготится другими людьми. Как писал Сартр: «В то время как я пытаюсь освободиться от захвата со стороны другого, другой пытается освободиться от моего; в то время как я стремлюсь поработить другого, другой стремится поработить меня» [Сартр 2020: 645]. Кейт признается, что ощутила прилив счастья, когда погиб ее первый жених. Сейчас, накануне новой помолвки, она опять впадает в необъяснимую депрессию. Желая почувствовать вкус жизни, она ищет его в намеренном приближении к смерти: выпивает большую, но не смертельную дозу снотворного, чтобы встряхнуться, испытать острые ощущения. Однако этот эксперимент ей не помогает, потому что с самого начала является искусственной симуляцией, то есть той самой теоретической абстракцией, против которой восставал Перси. Однажды ночью Кейт приезжает к Бинксу, спеша поделиться с ним своим внезапным открытием свободы: «Я поняла, что человек вовсе не обязан быть одним или другим и вообще не обязан быть кем-то, даже собой. Человек свободен» [Percy 1980: 94]. Заявление Кейт намеренно уподобляется автором постулату Сартра: «Человек совсем не является *вначале*, чтобы *потом* быть свободным, но нет различия между бытием человека и его “свободным-бытием”» [Сартр 2020: 102]. Но уже к утру уверенность Кейт исчезает, потому что абсолютная свобода – не более чем пустота, наводящая ужас: «Склонившись вперед, она охватывает себя руками. – “Что случилось?” – “Ох, – выдыхает Кейт. Кейт снова стала собой. – Мне так страшно”» [Percy 1980: 95]. Сартр, по утверждению Перси, сыграл важную роль в его философском становлении: именно у него молодой писатель впервые нашел яркое и убедитель-

ное воплощение идеи экзистенциального отчуждения [Conversations... 1985: 275], а роман «Тошнота» стал «искрой», побудившей его к созданию «Любителя кино» [More conversations... 1993: 142]. Однако сходство двух произведений обнаруживается лишь на уровне формы, в то время как идеи французского философа Перси не разделяет. Образ Кейт в данном романе демонстрирует полемику автора с ключевыми идеями Сартра, показывает невозможность обретения счастья в ситуации отказа от признания божественной реальности. Читатель наблюдает метания Кейт от попыток обретения абсолютной свободы к признанию абсолютной зависимости от другого – обе крайности в поведении человека Перси считает неверными. Кейт подсознательно хочет, чтобы ей руководили. «Я религиозна», – заявляет она Бинксу, имея в виду свое необычное понимание религиозности: «Я хочу уверовать в кого-нибудь целиком и дальше делать то, что он мне велит». «Я не знаю, люблю ли тебя, но я верю в тебя и буду делать все, что ты скажешь» [Percy 1980: 157]. Она жаждет обрести духовную опору, которая могла бы излечить ее от ужаса перед миром, но изначально ищет ее не там, где следует, по мнению автора. Не имея подлинной веры, она хочет, чтобы Бинкс заменил ей Бога. Гротескный образ воображаемого счастливого будущего Кейт, в котором она охотно следует всем указаниям Бинкса, теряя собственную волю, становится пародией на открытие «другого» у Марселя.

Бинкс понимает всё, происходящее с Кейт, видит не только ее внутренние невротические метания, но и скрытую под ними истинную натуру прагматичной горожанки: «Прежде я никогда не замечал, какой находчивой и прижимистой она может быть – настоящая креолка» [ibid.: 164]. Однако в его восприятии Кейт предстает прежде всего слабым, незащищенным существом, которое нуждается в любви и заботе. Он никогда не планировал связывать с ней свою жизнь, но ее спонтанное предложение заключить брак, за которое она хватается, как утопающая за соломинку, находит отклик в его душе, и, в результате, он сознательно и добровольно принимает на себя ответственность за нее и ее будущее. Для Бинкса это становится решающим действием, его своеобразным «актом веры», совершенно марселевским по духу: принятием «ты» как залогом принятия Бога. В этот момент, по мнению Перси, пользующегося терминологией Кьеркегора, герой «совершает прыжок от эстетической стадии, минуя этическую, сразу к религиозной» [Conversations... 1985: 66].

Данный поворот в развитии сюжета романа оценили не все читатели и критики, хотя его зна-

чимость для реализации философского замысла писателя не вызывает сомнений. Так, К. Куинлан полагает, что герой достигает здесь именно этической стадии [Quinlan 1996: 96]. М. Уэбб утверждает, что перед лицом молчащего Бога Бинкс сам принимает его функции, когда берет на себя ответственность за Кейт [Webb 1979: 20]. Дж. Э. Харди указывает на общую неудовлетворительность финала романа: по его мнению, Бинкс отступает от своего поиска, отдается рутине, остается эгоистом [Hardy 1987: 55]. Но с точки зрения Перси, финал «очень прост, очень оптимистичен» [Conversations... 1985: 89]. Писатель называет Бинкса «пилигримом» [ibid.: 48]: он изначально находится в конфликте и с южным стоицизмом тети, и с ортодоксальным католичеством матери, для которой буква церковного учения стоит превыше внутренней сути; он ищет свой путь и находит его в экзистенциалистском понимании веры как свободном внутреннем выборе. При этом Бинкс не является абсурдистским героем, наподобие персонажей Сартра и Камю: он изначально верит в возможность обретения смысла, именно это и подвигает его на путь поиска. В отличие от Мерсо Камю, он не безразличен к окружающему: он живо реагирует на краски мира и поведение других людей, ищет вокруг знаки осмысленности происходящего. Именно это дает ему возможность конечного обретения внутреннего смысла.

«Намек на итог поисков Бинкса дается в простом предложении в конце романа, состоящем всего из четырех слов», – утверждает Перси [More conversations... 1993: 146]. «Когда Господь повелит нам восстать из мертвых, Лонни будет там в своем инвалидной кресле или он будет, как все мы?» – спрашивает Бинкса маленький брат Лонни, опечаленный его смертью. «Он будет, как вы», – твердо отвечает Бинкс [Percy 1980: 190]. Этим простым предложением он однозначно определяет свою позицию человека веры. По убеждению писателя, будучи искренним и цельным человеком, он не говорил бы с детьми о Боге, если бы не верил в него [Conversations... 1985: 66].

При этом в вопросах веры и поведения религиозного человека Перси оказывается менее категоричен, чем Кьеркегор. Индивидуализм датского философа вызывает у него отторжение. Бинкс в романе не становится одиноким рыцарем веры в кьеркегоровском смысле. Вера у Перси не абсурдна. «Бог не хочет, чтобы мы любили его вопреки своим убеждениям», – писал Г. Марсель [Марсель 1994: 116], и эта мысль оказывается намного ближе Перси, чем требование абсолютного самоотречения у Кьеркегора. Писатель не принимает идею «прыжка веры» как формы от-

каза от логики: «религия – это форма знания», утверждает он [Conversations 1985: 204], и к ней человек должен прийти вполне сознательно, понимая последствия данного выбора для себя и других. Вероятно, поэтому тема страдания и мученичества после обретения веры, занимающая важное место в размышлениях Кьеркегора, у Перси полностью отсутствует. Человек, обретший веру, в произведениях писателя обретает и абсолютную гармонию, внутреннюю и внешнюю. Роман «Любитель кино» завершается осознанным решением персонажа, в духе философии Марселя, сделать шаг от себя в сторону другого человека, утвердить ценность жизни как таковой через признание ценности другого. Показательно, что вера Бинкса не заставляет его двигаться прочь от забот повседневной жизни: напротив, он полностью принимает мир таким, какой он есть, и видит в нем красоту божественного замысла. В этом заключается принципиальное отличие персонажа Перси от кьеркегоровского Авраама, рыцаря «бесконечного самоотречения» [Кьеркегор 1993: 45], выпадающего из человеческого мира и слышащего после обращения только призыв Бога: «Истинный рыцарь веры всегда пребывает в абсолютной изоляции» [там же: 45]; он «...в своем вселенском одиночестве никогда даже не слышит человеческого голоса» [там же: 76]. Прыжок веры в финале романа Перси в этом отношении представляет собой практическую реализацию концепции Марселя: отдаться повседневной жизни как истинному плану Бога, принять окружающую действительность с радостью, признать ценность других людей, отдать себя им и только через них – Богу.

Показательной с точки зрения реализации философской идеи оказывается рамка романа: произведение открывается и завершается тематически сходными эпизодами смерти ребенка и изображением реакции главного героя на эти события. В начале романа тетя сообщала маленькому Бинксу о смерти его брата и объясняла, что в этой ситуации он «должен вести себя, как солдат» [Percy 1980: 11]. Вести себя подобным образом он мог, но уже в том возрасте сомневался, действительно ли весь смысл заключается только в соблюдении определенного кодекса поведения и не скрывается ли за внешними требованиями нечто большее и непонятное ему. В финале произведения взрослый Бинкс сознательно отказывается разделять взгляды тети, принимать ее стоическую идеологию противостояния бессмысленному миру: подобная позиция, с его точки зрения, выглядит достаточно благородно, но духовно разрушает человека. По мнению Перси, нормативная этика исчерпала себя, и экзистен-

циалистский путь видится ему единственной возможностью самореализации. Бинкс в романе идет этим путем. Внешне с ним не происходит больших перемен в конце романа: он работает в той же фирме, регулярно бывает в гостях у тети, не теряет чувства юмора. Но его свободно сделанный выбор, принятая ответственность и забота о других – Кейт, сводных братьях и сестрах – проявляется в новой линии поведения. Он терпеливо помогает Кейт, теперь его жене, адаптироваться к пугающему ее миру. Но главным индикатором его нового мировидения становится поведение перед лицом смерти: когда умирает его горячо любимый брат Лонни. Кейт оказывается удивлена и возмущена его «бесчувственностью» у постели умирающего. Она не понимает, как он может оставаться спокойным при виде угасающего на глазах ребенка, а после того, как они покидают больничную палату, говорить с ней о любви. Но для Бинкса в этом нет ничего противоречивого: жизнь и смерть в его новом восприятии предстают двумя сторонами одного явления, смерть для верующего человека не становится концом, но, напротив, открывает новые перспективы. Спокойное и жизнеутверждающее поведение Бинкса в финальной сцене является намеренным контрастом напыщенно-трагической речи тети в начале повествования. В этом произведении, как и во всех философских романах Перси, что мы показали в недавней статье [Никулина 2023], манера речи персонажа и изменения, происходящие в ней, выступают важным показателем изменений в его экзистенциальном положении, приближения к познанию смысла жизни. Выйдя из больницы, Бинкс обращается к младшим братьям и сестрам, с утра оставленным матерью и одиноко сидящим в машине, с простыми, но искренними словами. Он не скрывает того, что их брат умирает, однако не обращает происходящее в трагедию: «Он умрет? – Да. ...Но он не хочет, чтобы вы огорчились из-за этого. Он просил меня поцеловать вас и сказать, что любит вас» [Percy 1980: 189]. Поведение Бинкса в финальной сцене демонстрирует итог проделанного им внутреннего пути «от кино к жизни», как однажды охарактеризовал изображенное сам Перси [More conversations... 1993: 217]. Главная проблема персонажа изначально заключалась в том, что «кино казалось ему более настоящим, чем окружающие люди» [ibid.], однако к концу произведения его взгляды претерпевают существенные изменения. При отсутствии кардинальных внешних изменений в образе жизни, он проделывает значительный внутренний путь, выражающийся в обретении новых духовных ориентиров.

«Если кратко, то эта книга является скромной попыткой еще раз воплотить иудейско-христианскую идею о том, что человек – больше чем просто тело в естественной среде, больше чем сложно организованная личность, больше даже чем сложившаяся творческая индивидуальность, как принято говорить. Он – вечный странник и пилигрим», – обобщал Перси идею романа [Quinlan 1996: 90], и эта идея оказывается созвучна с центральным положением философии Марселя. Речь идет о пути веры, который приводит не к высотам абстрактной духовности, уводящей от мира, а, наоборот, в сам мир. Бинкс не рассуждает в романе о вере, но действует по ней. «Я верю в любовь. Я верю и в ненависть тоже. <...> Я верю в веру. Вот в это я верю», – заявляет он [Percy 1980: 90]. Коулз отмечает неудовлетворенность многих читателей финалами романов Перси, в которых герой как будто отказывается от своего творческого поиска и личности ради семьи, жены, дома, повседневности [Coles 1978: 208]. Но именно это и становится его своеобразным «прыжком веры», по замыслу писателя. Это не «прыжок веры» Кьеркегора, после совершения которого человек внешне остается в пределах земного, но духовно пребывает в абсолютном одиночестве и в любой момент оказывается готов покинуть человеческий мир, презрев его нормы и обычаи, ради иного пути, на который его призывает Бог. Это путь Марселя, на котором истинная преданность Богу проявляется как преданность людям и реализуется через полную отдачу себя другому человеку, осознание божественной красоты и значимости повседневной земной действительности.

Таким образом, художественный образ Бинкса, центрального персонажа романа У. Перси «Любитель кино», выстраивается автором с сознательной ориентацией на базовые понятия философии С. Кьеркегора: его трактовку основных стадий жизненного пути человека, оппозицию отчаяния и веры. Но при этом преодоление отчаяния и переход к религиозной стадии происходит в романе не силой абсурда, а через осознанный выбор, стремление помочь другому человеку, спасти в первую очередь его, но это, парадоксальным образом, приводит к спасению самого героя, обретению им веры и смысла жизни. Последнее указывает на несомненное воздействие идей Г. Марселя на писателя, и именно они, в конечном итоге, оказываются доминирующими в художественном мире философского романа Уокера Перси.

Примечание

¹ Здесь и далее цитаты из англоязычных источников приводятся в переводе автора статьи.

Список литературы

Анцыферова О. Ю. Южный миф vs киномиф в романе Уокера Перси «Любитель кинематографа» // Вестник Ивановского государственного университета. 2004. № 1. С. 42–48.

Кьеркегор С. Заключительное ненаучное послесловие к «Философским крохам» / пер. с дат. Н. Исаевой и С. Исаева. СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. 680 с.

Кьеркегор С. Страх и трепет: пер. с дат. М.: Республика, 1993. 383 с.

Луков В. А. История литературы. Зарубежная литература от истоков до наших дней. М.: Академия, 2006. 512 с.

Марсель Г. Быть и иметь / пер. с фр. И. Н. Полонской. Новочеркасск: Сагуна, 1994. 159 с.

Марсель Г. Опыт конкретной философии / пер. с фр. М.: Республика, 2004. 224 с.

Никulina A. K. Философская проблема языка в романах Уокера Перси // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2023. Т. 16, вып. 11. С. 3689–3695. doi 10.30853/phil20230567

Панова О. Ю. Американский «подпольный дух»: повесть Ф. М. Достоевского «Записки из подполья» и литература США второй половины XX века // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Филология. Журналистика. 2021. Т. 21, вып. 4. С. 412–419. doi 10.18500/1817-7115-2021-21-4-412-419

Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии / пер. с фр. В. И. Колядко. М.: Изд-во АСТ, 2020. 1072 с.

Allen W. R. Walker Percy, a southern wayfarer. Jackson: University Press of Mississippi, 1986. 160 p.

Coles R. Walker Percy: an American search. Boston: Little, Brown, 1978. 250 p.

Conversations with Walker Percy / ed. by L. A. Lawson and V. A. Kramer. Jackson: University Press of Mississippi, 1985. 325 p.

Critical essays on Walker Percy / ed. by J. D. Crowley and S. M. Crowley. Boston: G. K. Hall & Co., 1989. 294 p.

Hardy J. E. The fiction of Walker Percy. Urbana: University of Illinois Press, 1987. 317 p.

More conversations with Walker Percy / ed. by L. A. Lawson and V. A. Kramer. Jackson: University Press of Mississippi, 1993. 248 p.

Percy W. The moviegoer. New York: Avon Books, 1980. 192 p.

Quinlan K. Walker Percy: the last Catholic novelist. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1996. 242 p.

Webb M. Binx Bolling's New Orleans: movie-going, southern writing, and father Abraham //

The art of Walker Percy: stratagems for being / ed. by P. Reid. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1979. P. 1–23.

References

Antsyferova O. Yu. Yuzhnyy mif vs. kinomif v romane Uokera Persi 'Lyubitel' kinematografa' [The southern myth vs. movie myth in the novel 'The Moviegoer' by Walker Percy]. *Vestnik Ivanovskogo gosudarstvennogo universiteta* [Ivanovo State University Bulletin], 2004, issue 1, pp. 42–48. (In Russ.)

Kierkegaard S. *Zakhluchitel'noe nenauchnoe posleslovie k 'Filosofskim krokham'* [Concluding Unscientific Postscript to the Philosophical Fragments]. Transl. from Danish by N. Isaeva and S. Isaev. St. Petersburg, St. Petersburg University Press, 2005. 680 p. (In Russ.)

Kierkegaard S. *Strakh i trepet* [Fear and Trembling]. Transl. from Danish by N. Isaeva and S. Isaev. Moscow, Respublika Publ., 1993. 383 p. (In Russ.)

Lukov V. A. *Istoriya literatury. Zarubezhnaya literatura ot istokov do nashikh dney* [The History of Literature. Foreign Literature from the Origins to the Present Day]. Moscow, Academia Publ., 2006. 512 p. (In Russ.)

Marcel G. *Byt' i imet'* [Being and Having]. Transl. from French by I. N. Polonskaya. Novocherchassk, Saguna Publ., 1994. 159 p. (In Russ.)

Marcel G. *Opyt konkretnoy filosofii* [An Outline of Concrete Philosophy]. Transl. from French by V. P. Bolshakov and V. P. Vizgin. Moscow, Respublika Publ., 2004. 224 p. (In Russ.)

Nikulina A. K. *Filosofskaya problema yazyka v romanakh Uokera Persi* [The philosophical problem of language in the novels by Walker Percy]. *Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki* [Philology. Theory & Practice], 2023, vol. 16, issue 11, pp. 3689–3695. doi 10.30853/phil20230567. (In Russ.)

Panova O. Yu. *Amerikanskiy 'podpol'nyy dukh': povest' F. M. Dostoevskogo 'Zapiski iz podpol'ya' i literatura SShA vtoroy poloviny XX veka* [American 'underground spirit': Dostoevsky's 'Notes From Underground' and the 20th century USA literature]. *Izvestiya Saratovskogo universiteta. Novaya seriya. Filologiya. Zhurnalistika* [Izvestiya of Saratov University. Philology. Journalism], 2021, vol. 21, issue 4, pp. 412–419. doi 10.18500/1817-7115-2021-21-4-412-419. (In Russ.)

Sartre J. P. *Bytie i nichto: opyt fenomenologicheskoy ontologii* [Being and Nothingness: An Essay on Phenomenological Ontology]. Transl. from French by V. I. Kolyadko. Moscow, AST Publ., 2020. 1072 p. (In Russ.)

Allen W. R. *Walker Percy, a Southern Wayfarer*. Jackson, University Press of Mississippi, 1986. 160 p. (In Eng.)

Coles R. *Walker Percy: An American Search*. Boston, Little, Brown, 1978. 250 p. (In Eng.)

Conversations with Walker Percy. Ed. by L. A. Lawson and V. A. Kramer. Jackson, University Press of Mississippi, 1985. 325 p. (In Eng.)

Critical Essays on Walker Percy. Ed. by J. D. Crowley and S. M. Crowley. Boston, G. K. Hall & Co., 1989. 294 p. (In Eng.)

Hardy J. E. *The Fiction of Walker Percy*. Urbana, University of Illinois Press, 1987. 317 p. (In Eng.)

More Conversations with Walker Percy. Ed. by L. A. Lawson and V. A. Kramer. Jackson, University Press of Mississippi, 1993. 248 p. (In Eng.)

Percy W. *The Moviegoer*. New York, Avon Books, 1980. 192 p. (In Eng.)

Quinlan K. *Walker Percy: The Last Catholic Novelist*. Baton Rouge, Louisiana State University Press, 1996. 242 p. (In Eng.)

Webb M. Binx Bolling's New Orleans: movie-going, southern writing, and father Abraham. *The Art of Walker Percy: Stratagems for Being*. Ed. by P. Reid. Baton Rouge, Louisiana State University Press, 1979, pp. 1–23. (In Eng.)

The Philosophical Ideas of Søren Kierkegaard and Gabriel Marcel in Walker Percy's Novel 'The Moviegoer'

Alla K. Nikulina

Associate Professor in the Department of English Language

Bashkir State Pedagogical University named after M. Akmulla

3-a, Oktyabrskoy revolyutsii st., Ufa, 450008, Russian Federation. alla_nikulina@mail.ru

SPIN-code: 3695-5593

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6016-1795>

ResearcherID: AAV-4746-2020

Submitted 10 Dec 2023

Revised 01 Mar 2024

Accepted 25 Mar 2024

For citation

Nikulina A. K. Filosofskie idei S. K'ergegora i G. Marselya v romane Uokera Persi «Lyubitel' kino» [The Philosophical Ideas of Søren Kierkegaard and Gabriel Marcel in Walker Percy's Novel 'The Moviegoer']. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2024, vol. 16, issue 3, pp. 138–146. doi 10.17072/2073-6681-2024-3-138-146 (In Russ.)

Abstract. The article analyzes the philosophical aspect of Walker Percy's novel *The Moviegoer*, created under the influence of European existentialist ideas. The formal aspects of the text organization were borrowed by the writer from Sartre and Camus, while the idea of the novel was shaped under the influence of Kierkegaard's and Marcel's philosophy. The central theme of the novel is the overcoming of despair and discovery of faith as a source of both personal happiness and social well-being. Kierkegaard's concept of freedom as the necessary basis for spiritual self-realization is contrasted in the novel with Sartre's atheistic perception of freedom, demonstrating the impossibility of discovering one's own identity in a godless world. The image of the central character in the novel is consciously based by the writer on Kierkegaard's philosophical ideas, his interpretation of the main stages of human life, the opposition between faith and despair. But while Kierkegaard's attention is focused on the act of gaining faith through the irrational leap, Percy is more attracted to the idea of a path that helps the character to move from one spiritual level of existence to another as a result of reflection and deliberate moral choice. This fact demonstrates the affinity between Percy's and Marcel's philosophical views. Percy also shares Marcel's belief that the discovery of God cannot take place prior to the acknowledgement of a human person's significance. Unlike Kierkegaard, the knight of faith in Percy's and Marcel's writings gains both the inner peace of mind and the ability to interact with the outside world quite successfully. The research demonstrates that while Kierkegaard's ideas largely determine the initial situation in the novel, Marcel's views eventually turn out to be dominant in Percy's literary creation.

Key words: Walker Percy; philosophical novel; Kierkegaard; Sartre; Gabriel Marcel.

УДК *21.111-392

doi 10.17072/2073-6681-2024-3-147-157

<https://elibrary.ru/whwdza>

EDN WHWDZA



Как победить дракона, или Медицинские источники лапидарно-гербарных мотивов в рыцарском романе Дж. Метэма «Аморий и Клеопа» (1449)

Семёнов Вадим Борисович**к. филол. н., доцент кафедры теории литературы****Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова**119234, Россия, г. Москва, Ленинские горы, 1. vadsemionov@mail.ru

SPIN-код: 8165-1918

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2532-5381>

ResearcherID: JBS-3951-2023

*Статья поступила в редакцию 11.01.2024**Одобрена после рецензирования 24.04.2024**Принята к публикации 12.05.2024*

Информация для цитирования

Семёнов В. Б. Как победить дракона, или Медицинские источники лапидарно-гербарных мотивов в рыцарском романе Дж. Метэма «Аморий и Клеопа» (1449) // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2024. Т. 16, вып. 3. С. 147–157. doi 10.17072/2073-6681-2024-3-147-157

Аннотация. Предметом исследования в данной статье являются мотивы средневековых описательных научных сочинений, прежде всего в жанрах лапидария и гербария, а материалом – средневековый английский рыцарский роман “Amoryus and Cleopes”, недооцененный как англоязычными, так и иноязычными литературоведами. В начале и в конце XX в. этот роман был издан на среднеанглийском языке для узкопрофильных филологов-медиевистов, однако даже в Англии статьи о нем по сей день исчисляются единицами, а его текст не переведен не только на зарубежные языки, но даже на современный английский. Эти обстоятельства делают актуальным любое исследование, в фокусе которого находится данный роман. Не существует также и специалистов по творчеству его автора, писателя и ученого середины XV в. Джона Метэма, хотя у указанного столетия установилась репутация «бесплодной эпохи» и имена английских писателей этого времени малочисленны. Между тем Метэм – автор нескольких трактатов, которые в период Средневековья считались научными, а потому полезно было бы обратить внимание на факты отражения его научных представлений в художественной ткани его сочинения. Объектом исследования в данной статье стали мотивы, заимствованные поэтом-ученым из широкого круга научных сочинений: гербариев, лапидариев, медицинских трактатов, энциклопедий. В ходе работы мы сосредоточились на анализе одного структурно важного эпизода – «энциклопедической» лекции, которую Клеопа читает Аморию, герою романа. Нашей задачей было выявить связь в описании драгоценных камней и трав с установившимися традициями научных жанров, а также определить функцию научных мотивов в художественном тексте.

Ключевые слова: Джон Метэм; Аморий и Клеопа; рыцарский роман; лапидарий; гербарий; энциклопедия.

Стихотворные рыцарские романы, вопреки обыденным представлениям, писали порой и ученые мужи. Так, в 1449 г. свой образец популярного жанра создал кембриджский ученый

Джон Метэм. Это обрамленная его «научными» описаниями по хиромантии и физиогномике в единственной сохранившейся их рукописи *Princeton University Library, MS Garrett 141* эпическая

поэма «Аморий и Клеопа» (“Amoryus and Cleopes”).

На первый взгляд, она интересна тем, что ее сюжет является переработкой истории Пирама и Фисбы из Книги IV «Метаморфоз» Овидия. Еще в конце XIV в. эта история вошла в английскую поэзию в пересказах Дж. Чосера в «Легенде о достойных женщинах» (1388), а потом Дж. Гауэра в «Исповеди влюбленного» (1393). Но важно помнить, что упомянутые произведения явились примерами близкого к первоисточнику пересказа. Между тем сочинение Метэма содержит явное творческое переосмысление трагической любовной истории – переосмысление, которое снимает с острой сцены двойного самоубийства влюбленных ореол трагедии. Метэм достиг этого переключением жанровых регистров и вывел известную историю к счастливой развязке, смешав овидиев материал с мотивами агиографического и сказочного жанров.

На второй взгляд, видна суть авторского замысла Метэма: он создает полижанровую композицию, в которой находят свое место не только сцены из античного источника, но и мотивы из самых разнообразных сочинений, не обязательно художественных. Его рыцарский роман содержит несколько эпизодов, содержание которых связано с материалом средневековых научных трактатов разных типов. В частности, среди них есть те, в рамках которых писатель привлек сведения легендарно-астрологического характера (таковы сцена обращения к созвездиям-богам Паламедона, отца героя Амория, и сцена создания некромантом по приказу Дида, отца Клеопы, волшебной небесной сферы, отражающей строение мира). Есть и один особенный эпизод, в котором героиня излагает сведения энциклопедического характера (средневековые энциклопедии часто суммировали содержание разных естественно-научных трактатов – бестиариев, лапидариев, гербариев и др.). Этот «энциклопедиче-

ский» эпизод (стихи 1241–1338) предшествует битве Амория с драконом и следующей за ней овидиевой сцене двойного самоубийства.

Появление эпизода в тексте романа объяснимо не только желанием ученого поэта насытить полезными естественно-научными сведениями свой развлекательный сюжет. Метэм пытается придать сюжетный вес фигурам своих героев: читателям, добравшимся до овидиевой трагической сцены, следует сопереживать Аморию не просто так, а как идеальному рыцарю и влюбленному (полюбил Клеопу с первого взгляда, в ее честь победил на рыцарском турнире и избавил жителей соседнего города от ужаснейшего из драконов), а Клеопе – как девушке, заслуживающей любви рыцаря не только по причине красоты, но и по причине широких, «энциклопедических» знаний (эти знания показаны имеющими для рыцаря практическую пользу, так как в сумме представляют некую действенную методику, ведущую к победе над драконом). Отношения Амория и Клеопы, если их выразить в терминах спорта, – это отношения атлета и его тренера или прикрепленного личного врача.

В начале эпизода Клеопа стремится поразить возлюбленного знаниями, связанными с тем, как в бестиариях представлены типы змеев, или драконов (чья змеиная природа подчеркнута тем, что они разят людей не огнем, но ядом). В результате последовательных описаний этих типов (они построены, как обычно строились описания в бестиарии: название существа, потом указание на его особые свойства) Клеопа помогает Аморию понять, с каким драконом ему предстоит биться, и тогда он соглашается прислушаться ко всем ее советам (далее текст цитируется по изданию: Metham J. Amoryus and Cleopes / ed. by S. F. Page. Kalamazoo: Medieval Institute Publications, 1999; в оригинальных строфах курсив и сопутствующий им поэтический перевод наш. – В. С.).

“Yys, lady,” quod he, “noght only in thyngys prosperus
Redy Y am to obey, but eke, thow they were to me contrary,
At yowre commaundement in chauncys ryght aventurus
My lyfe for yow in juberté to put; qwy schuld I vary?”
“Wele,” quod sche, “undyr this forme than do ryght thus,
As I schal teche yow; and for no fere yt forgete,
For yf ye do, ye schal ther yowre lyfe lete”.

(Ст. 1302–1309: «Да, леди, – молвил ей Аморий, – Я готов / Воспринимать любой совет, что Вами дан, / Каким бы ни был он, и каждое из слов / Пытаться воплотить как наилучший план». / «Что ж, – изрекла она, – Не наломать как дров, / Тебя я научу. О страхе позабыв, / Поступишь, как скажу, – останешься ты жив».)

Далее в тексте романа Метэма развернута речь героини в виде лекции о камнях и травах. Если драконов включали в бестиарии, но по причине легендарного характера сведений о них не описывали слишком подробно, то совсем по-иному средневековые натуралисты относились к камням и травам, сталкиваясь с которыми приходилось часто (те и другие активно применялись в медицине). И сказывалось это на пространности описаний в лапидариях, гербариях и включавших в себя соответствующие разделы энциклопедических трудах типа «Этимологий» Исихора Севильского. В них оказывалось куда больше реализма, поскольку и особенные свойства зачастую носили приземленный, бытовой характер. Легенды, связанные с действием отдельных камней и трав, проникали из античности и с Востока, в этом случае к ним относились как к полученным из авторитетных источников и упоминали их со ссылками на конкретных философов-натуралистов и врачей древности. Поскольку в данном романе идет речь о ядовитых драконах, то и упоминаемые героиней камни и травы связаны с темой ядов и противоядий. Эта тема вообще была одной из заметных, не сказать

популярных, в медицинских справочниках Средних веков. Как отметила К. Уолкер-Микл, «к концу тринадцатого века хирурги и врачи с университетским образованием в Западной Европе располагали множеством авторитетных источников греко-римской и арабской традиции, к которым можно было обращаться при лечении змеиных укусов. Ядовитым животным уделяется наибольшая доля внимания в литературе, посвященной укусам животных» [Walker-Meikle 2014: 85].

Поэтому следует отнестись к авторским упоминаниям в поэме камней и трав как к следствию знакомства Метэма с признанными научными источниками. Едва ли возможно свести эти упоминания к мотивам из какого-либо единственного памятника (это затруднительно уже потому, что многие уважаемые средневековые книжники друг друга обильно цитировали и пересказывали), но можно описать приблизительный круг образцов научной литературы в лапидарном и гербарном жанрах, чтобы стало ясно, где писатель ссылается на установленное авторитетное мнение, а где свободно фантазирует. Это и будет нашей задачей при комментировании следующих строф произведения.

“In the begynnyg, loke that yowre harnes be sure for onything,
And abovyn alle curyd wyth rede.
And on sted of yowr helme, set a bugyl gapyng;
A bryght *carbunkyl* loke ther be set in the forhed.
And in yowr hand, halde that ylke ryng
Wyth the *smaraged* that I here delyveryd yow this odyr day.
Loke that the stone be toward hys eyen alwey”.

(Ст. 1310–1316: «Проверь, насколько запас полезностей велик. / В одежде красный цвет ты должен соблюсти. / Наверху шлема пусть бегущий будет бык, / А в мощный лоб его Карбункул помести. / И также нужно, чтоб ты направлять при-
вык / С Смарагдом перстень тот, что был подарен мной, / Врагу прямо в глаза, пока ведешь с ним бой».)

Итак, первыми названы *Карбункул* (рубин) и *Смарагд* (изумруд), важнейшие для Средневековья камни, поскольку оба входят в дюжину Камней Откровения (то есть тех, что упомянуты в «Откровении» св. Иоанна). О смарагде написал в трактате “De Lapidum Virtutibus” («О свойствах камней», по Западной Европе имел хождение латинский перевод) византиец Михаил Пселл в XI в.: «Ежели пьется с водой, то сдерживает истечение крови» [В геммах... 1994: 57]. А Хильдегарда Бингенская в XII в. добавила, что этот камень «имеет силу против всех немощей человека» [там же: 59]. О карбункуле писал гексаметрами в лапидарии “De Lapidibus” («О камнях») Марбод Реннский (XI–XII вв.): «Камни блестящие все превосходит собою карбункул /

<...> Этого камня сиянье и тьма погасить не сумеет. / Мало того, он, сверкая, бьет блеском смотрящему в очи» [Медицина в поэзии... 1987: 92]. На иное важное свойство камня в XIII в. указывал обладавший широкой известностью германский энциклопедист Альберт Великий в трактате “De Mineralibus” («О минералах»): «Его особый эффект заключается в рассеивании яда в воздухе или паре» [Albertus Magnus 1967: 77]. Станный, на первый взгляд, совет Клеопы герою в свете утверждений этих средневековых авторитетов обретает смысл: вставить карбункул в наверху шлема, обращенное к дракону, – это поможет и обезопасить себя от окружающих противника ядовитых испарений, и, ослепив его, помешать его нападению.

Заметим, что камни и травы (в первую очередь это касается камней) проявляли разные *virtues* ('особенные свойства'): предполагалось использовать их как для магического нападения, так и магической и лечебно-профилактической защиты, а также для лечения после нанесенного здоровью вреда (в частном случае как антидот, но во многих различных ситуациях как общеукрепляющее средство, оказывающее комплексное положительное воздействие на организм больного). Поэтому у камней могло быть не одно свойство, а несколько. К таким камням относился и *Гиацинт* (*jacinth*, *hyacinthus*), еще один из Камней Откровения. Он в речи Клеопы упоминается чуть раньше, в ст. 1283–84: "Qwerfore, men this profytabyl gyse / Use: a drynk of jacyntys and orygaun" («Вот оттого и пьют, в бальзам соединя, / Толченый гиацинт и дикий майоран»). Полезные, как считали, камни были растираемы до состояния пудры, и эту драгоценную пыль проваривали с полезными травами, получая лечебное снадобье. Существовали два вида гиацинта, и пыль каждого использовалась в таких напитках, поскольку, как указал Марбод, «все, как считают, они укрепляющей славятся силой» [Медицина в поэзии... 1987: 89]. А признанный энциклопедист первой половины XIII в. Винсент де Бове в Книге VIII трактата "Speculum Naturale Vin-

centii" («Зерцало Природы») приписывал камням гиацинта свойство, подобное свойству карбункула, – рассеивать ядовитые пары [Vincent de Beauvais 1494: 88r]. Альберт Великий уточнял, что гиацинт «бывает двух видов, а именно *aquaticus* (водяной камень) и *saphirinus* (сапфир). <...> Говорят, что сапфир обладает особым свойством, и оно в его силе против яда» [Wyckoff 1967: 97]. Фламандский энциклопедист середины того же века Фома из Кантимпре (Thomas Cantimpratensis, Thomas Brabantinus) в Книге XIV "De Lapidibus Preciosis" («О драгоценных камнях») трактата "De Natura Rerum" («О природе вещей») пишет, что гиацинт «действенен против змеиного яда» [Evans 1922: 231]. Латинский труд фламандца также знали в Англии, он сохранился в рукописи *Oxford, Bodleian Library, MS Rawlinson D. 358*. А в XVI в. итальянский философ и личный врач папы Сикста V Андреа Баччи в трактате о противоядиях укажет как на общеизвестный факт на то, что и гиацинт, и смарагд являются природными антидотами [Bacci 1586: 60].

Всё свидетельствует в пользу того, что названные камни появились в романе Метэма далеко не случайно, здесь не было никакого творческого произвола. И это касается, за одним исключением, следующих камней из списка, который оглашает герою его начитанная возлюбленная:

"And at the begynnyng of your bateyl, loke that ye drynk
Thyse erbys wyth wyne and the poudyr of thise stonys.
Thus thei be namyd – loke that ye upon them thynke:
The fyrst ston *orytes* namyd ys;
The secunde, *lyguryus*; the third, *demonius*; the fourth, *agapys*;
The fifth, *acates*; and that ye schal noght fayl of thise same,
Send to Walter jwellere be this tokyn in my name".

(Ст. 1317–1323: «Тобой перед битвою обязан быть испит / Отвар из трав с вином и прахом тех камней, / Что ныне назову: сперва ищи Орит, / За ним Лигурий и Агапий, иль верней / Акат, и, наконец, Демоний. Много дней / Сих драгоценностей чтоб поиск не вести, / Их Вальтер, ювелир, поможет обрести».)

Из этих камней первым закономерно назван *Орит* (*orites*, *oristes*): на него обратили внимание еще в Античности. Грек Дамигерон (II в. до н. э.), автор трактата «О камнях» (под латинским заглавием "De lapidibus" и на латыни трактат на рубеже XI–XII вв. стал известен в Англии и вскоре был записан в рукопись *Oxford, Bodleian Library, MS Hatton 76*), описывал орит как «подходящий для лечения укусов животных» и подчеркивал его волшебные свойства: «Если он есть у человека при себе, он отбивает все нападения зверей. С ним маги путешествуют по дикой местности и не подвергаются преследованиям со

стороны диких животных» [Damigeron 1881: 176]. Отталкиваясь от других строк Дамигерона, Альберт Великий заявлял: «Его состав, говорят, таков, что, если его натереть розовым маслом, он предохраняет владельца от несчастий и от вредных укусов рептилий» [Albertus Magnus 1967: 110]. До него от Дамигерона отталкивался в гексаметрическом описании камня Марбод: «Черный и круглый орит смертоносные зверя укусы, / Что или рогом своим, или зубом свирепым нанес он, / Смешанный с розовым маслом лечить превосходно умеет. / Путь совершающих свой средь зверья по безлюдным пустыням / Он неведимо

хранит, тех зверей отвращая укусы» [Медицина в поэзии... 1987: 98]. Таким образом, орит представлялся средством как превентивной защиты от укусов, так и лечебным, применяемым к месту укуса. Во втором случае его, как гиацинт, следовало растолочь в пудру.

Лигурий (*ligurius*) изначально называли *линкурием* (*lingurius*, *linkurius*), поскольку считали, что он получается из затвердевшей и принявшей форму шара мочи рыси, которая этот шар прячет в песок. Дамигерон кратко пишет об этом камне как о «лучшей защите в доме», не упоминая о какой-либо его связи с антидотами [Damigeron 1881: 187]. Марбод пишет о связи линкурия с рысью и также приписывает ему общеоздоровительные свойства [Медицина в поэзии... 1987: 92]. Ему вторят Фома из Кантимпре [Evans 1922: 231] и Винсент де Бове (последний – со ссылками на Плиния Старшего и Исидора Севильского) [Vincent de Beauvais 1494: 88v]. Остается непонятным, почему Метэм связал лигурий с лечением ядов. Не исключено, что были какие-то малоизвестные местные источники, доступные ученому поэту, в которых эта связь существовала. В противном случае следует полагать, что лигурий – еще один «общезащитный» камень, без узкой спецификации.

Название камня *Демоний* (*demonius*) появляется только у Винсента де Бове, который характеризует его как антидот [Vincent de Beauvais 1494: 87r]. Однако соответствующая глава его трактата (“LXIV De Demonio et Dracontide”) посвящена и другому, очевидно родственному, камню – *Драконтиду*. Это название также встречается только у Винсента. Не исключено, что имена *демоний* и *драконтид* относились к одному и тому же легендарному камню. Еще в VII в. св. Альдхельм Мальмсберийский, которого считают первым латинским писателем Англии, в сборнике “Aenigmata” («Загадки») описал дракон-камень: в загадке № 24 речь идет о камне, добываемом из головы дракона, который утратит свои волшебные свойства, если дракон умрет прежде, чем камень будет добыт [Aldhelm of Malmesbury 2015: 14–15]. П. Китсон обратил внимание на то, что «более поздние древнеанглийские глоссарии, основанные в значительной степени на трудах Альдхельма, почти полностью лишены камней Откровения, хотя в них есть пресловутый новичок – широко распространенная *dracontia*» [Kitson 1978: 29]. Становится понятно, что *демоний* у Метэма – это тот же *драконтид*, точнее *драконит* (*draconites*), когда мы обнаруживаем у Альберта Великого следующее описание: «Драконит (змеиный камень) – камень, добываемый из головы большой змеи, привозят его с Востока, где обитает множество

крупных змей. Его сила, как и сила жабяего камня, эффективна только в том случае, если его извлечь, пока змея жива и трепещет. <...> Говорят, что [змеиный камень] рассеивает яды, особенно те, которые вызваны нападением ядовитых животных; и говорят, что это также приносит победу» [Albertus Magnus 1967: 86–87]. Камень, вырванный из головы змеи, годится для антидота так же, как мясо ядовитой змеи, обязательно включавшееся как компонент при приготовлении *териака* (панацеи).

Четвертым и пятым в списке Клеопы названы *Аган* (*agapis*) и *Акат* (*acates*, *achates*, *agathen*). Это, разумеется, камень агат, «удвоившийся» в лапидариях еще в древности. Так, формально не различая, по сути, разделял описание камней *agathen/achates* и *agapis* Дамигерон (см.: fols. 131v–132r в MS Hatton 76): в главке про акат он описывал камень, который «подобен цветом львиной шкуре», «действенен против укусов скорпионов» и «лечит укус гадюки»; а главку про агап начинал с названия «агап, или акат» – и повторял информацию про цвет львиной шкуры, противодействие яду скорпионов и про то, что камень «измельченным и посыпанным на рану или замешанным в вино в качестве снадобья излечивает укус гадюки». Марбод кратко повторяет за Дамигероном про *акат*: «Яд скорпиона он гонит и тот, что вливает гадюка» [Медицина в поэзии... 1987: 83]. Винсент де Бове, описывая акат как «действенный против отравы, отравывыводящий», в другой главке переходит к *агану*: «Аган обладает великой силой, цветом львиной шкуре подобен, от укусов скорпиона действенен. <...> Растолочь и присыпать раны или дать запить вином. Лечит укус гадюки»; при этом Винсент ссылается как на античный авторитет на писавшего на латыни Диоскорида, но, как видим, точно следует за Дамигероном [Vincent de Beauvais 1494: 85r–85v]. На рубеже XIII–XIV вв. Джон Мирфельд, священник лондонской церкви св. Варфоломея, в глоссарии “Sinonoma Bartholomei” также сводил вместе *agam* и *agan*, да еще отмечал эти названия в качестве синонимов к *иудейскому камню* (*lapis judaicus*), см.: Oxford, Bodleian Library, MS Pembroke College 2, fol. 346r. Такое же неразличение камней зафиксировано в анонимном «Лапидарии из Петерборо», сохранившемся в рукописи *Peterborough, Dean and Chapter Library, MS 33*: «Agatten is a stone, & it is lik þe skyn of a lion. Some clepiþ it agapis» («Агат – это камень, и он подобен шкуре льва. Некоторые называют его агапом») [Young 2016: 7]. Между тем Альберт Великий в “Liber Secretorum” («Книга тайн») пишет только про акат и не в связи с ядами: у него камень «делает человека сильным, приятным, прелестным и помогает

против невзгод» [Albertus Magnus 2000: 32]. Двум традициям – придавать акаду силу либо антидота, либо общеукрепляющего средства – следует Фома из Кантимпре: «Отталкивает яд. <...> Укрепляет здоровье» [Evans 1922: 225]. Наконец, стоит упомянуть и о древней англосаксонской традиции. Рукопись *London, British Museum, Royal MS 12 D. XVII* (1-я половина X в.) сохранила для нас текст “Læse Boc”, более известный как “Bald's Leechbook” («Лечебник Бальда»), названный по имени ее владельца, отметившего себя в латинском колофоне [Cameron 1993: 30]. Среди прочего тут описаны восемь достоинств камня акада, в числе которых и такие: «Третье достоинство состоит в том, что никакой яд не может поразить человека, у которого при себе есть камень. <...> Восьмое достоинство камня состоит в том, что ни один укус какой-либо змеи не причинит вреда тому, кто попробует камень в составе жидкости» (см.: fols. 108a–108b). Но Метэм как ученый ориентировался на традицию, допускающую присутствие и различие в лапидариях двух камней, следовательно,

мы можем предположить, что агап и акат попали в текст романа из трактата Винсента де Бове.

Но обратившийся к большой эпической форме Метэм должен был знать и поэтов-предшественников. Благоклонно упомянутый им в романе Джон Лидгейт, на протяжении 1410-х гг. создававший «Книгу о Трое», в ее Первой части изложил историю кольца с *акатом*, подаренного Медеей Ясону: “A riche ring, where-in was sette a stoon / Bat vertu hadde al venym to distroye” (ст. 3020–3021: ‘Богато украшенное кольцо, в которое был вставлен камень / Который обладал достоинством уничтожать любой яд’), “Pe whiche stoon wyse clerkis calle / Achates, moost vertuous of alle” (ст. 3031–3032: ‘Тот самый камень, который мудрые клирики называют / Акатом, обладающий большинством достоинств среди всех камней’) (Lydgate, 101).

Можно заключить, что все камни упомянуты неслучайно, поскольку они, за исключением общепольного лигурия, имеют свойства антидота. Такие же свойства имеют и травы из следующего списка Клеопы:

“And thise be the erbys, be schort conclusyon:
Modyrwort, rwe, red malwys, and calamynt mownteyn,
Orygannum, fenel, and dragannys; thus be opyn demonstracion,
This confection of erbys and stonys, for certyn,
So sure maketh a man - as thei that have prevyd yt seyn –
That alle venymmus thyng fleyth fro her breth
In so myche that the water of ther mowth scorpyonnys sleth”.

(Ст. 1324–1330: «А этот список трав – еще один совет: / В нем Рута, Майоран, Драконник и Полынь, / И Мята горная, и Красной Мальвы цвет, / И Фенхель. Ты с камней помолом все их кинь / В вино, нагрей и пей, сомнения отринь: / Кто пили, говорят, что запах изо рта / Такой, что змеи прочь, у прочих – тошнота».)

“And yf a man were bytyn so that he schuld dye
Of dragon or serpent, or poysunnyd yf he were,
And onys a sponful of this confection he myght occupy,
Yt schuld porge hym that never yt schuld hym dere.
Therefore loke that ye use this, and I dar sey savely
That ye schal come hole and sound wyth victory;
And aftyr qwyl ye lyve, be had the more in reputacion.
Thys ys the fulle sentens of my counsel and conclusion”.

(Ст. 1331–1338: «И коль укушен был кто так, что смерть близка, / Драконом, змеем ли, и коль отравлен был, / Тогда достаточно бывало и глотка, / Чтобы от смерти спас отвар и защитил. / И вот поэтому возьми его с собой, / Чтоб целым ты пришел, победой кончив бой; / Заботься о себе и свой готовь успех. / Вот полный перечень моих советов всех».)

О травах позднее Средневековье знало, возможно, больше, чем о камнях. Это было связано с тем, что сведения о них наполняли не только сочинения в жанре гербария, но и любые медицин-

ские трактаты. А уж в тех недостатка не было, поскольку «тысячи научных и медицинских текстов были переведены или написаны на английском языке в четырнадцатом и пятнадцатом ве-

ках» [Voigts 2013: 192]. И практически ни о каких травах, за редчайшим исключением, ученые средневековья не были склонны фантазировать, привязывая их к легендарным сюжетам.

Первая трава из гербарного списка Клеопы – *Полынь* (modyrwort, то есть mugwort, или лат. *artemisia vulgaris*). Она упоминается в качестве одной из магических лечебных трав еще в англосаксонском “Nigon Wyrta Galdor” («Заговор девяти трав», X в.), входящем в анонимный трактат “Lacnunga” («Лекарства»; сохранился в рукописи Oxford, Bodleian Library, MS Harley 585, fols. 130r-193r): “Gemyne ðu, Mucgwyrt hwæt þu ameldodest, / hwæt þu renadest æt Regenmelde” («Помни, Полынь, что ты раскрыла, / Что ты приготовила в Регенмельде») [Pettit 1996: 209].

Вторая трава – *Рута* (rwe, rue, или лат. *ruta*). Скорее всего, речь идет о *руте душистой* (лат. *ruta graveolens*) или *руте стенной* (лат. *ruta montana*). Эта трава была наиболее часто упоминаемой как компонент противоядий или отдельный антидот. Квинт Серен Самоник в трактате “De Medicina Praecepta” («Наставление в медицине», III в. н. э.) упоминал о листьях руты в составе «Митридатова противоядия» [Валафрид Страбон 2000: 95]. О руте-антидоте писал Валафрид Страбон в гексаметрическом трактате “Nortulus” («Садик», IX в.): «Слышно, от тайного яда она – наилучшее средство, / Ибо из тела у нас вредоносную гонит отраву» [там же: 9]. К концу X в. относят время создания анонимного «Староанглийского гербария», который дошел к нам в четырех рукописях X–XI вв. В нем главка о *ди-кой руте* (так была названа *ruta montana*) сообщает: «При укусе змеи, прозываемой Скорпиус (то есть при укусе скорпиона – *B. C.*), возьмите семена растения *rute siluaticae*, разотрите их в вине и дайте выпить. Это облегчит боль» [Artsdall 2023: 177]. В XI в. в Западной Европе получил распространение компилятивный латинский трактат “Medicina Plinii” («Медицина Плиния»), в котором сведения из «Естественной истории» Плиния Старшего были соединены с рецептами медиков Цельса и Diosкорида (начальную компиляцию относят к IV в.). Руту мы там встречаем дважды. В главке X «При укусе бешеной собаки» нам сообщают: «Выпивают пятнадцать денариев сока руты с вином. К ране прикладывают листья руты, растертые с медом и солью...» [Медицина в памятниках... 1966: 54]. А в главке XXXIII «Против ядов» нас ожидает точное повторение рецепта «Митридатова противоядия» из гексаметров Самоника: «Нужно растолочь вместе два грецких ореха, две сухие смоквы, двадцать листьев руты, одну крупинку соли и проглотить натошак» [там же: 65]. В том же веке Арнольд из

Виллановы, представлявший знаменитую медицинскую школу Салерно, создал, как предполагают, для Вильгельма Завоевателя или одного из его потомков стихотворный трактат “Regimen Sanitatis Salernitanum” («Салернский кодекс здоровья»), и руту он упомянул в общем ряду проверенных противоядий: “Allia, nux, ruta, pyra, raphanus et theriaca / Haec sunt antidotum, contra lethale venenum” («Чеснок, орех, груша, редис, да териак, да и рута – / Противоядие вот против смертельной отравы») [Arnaldus Villanovanus 1871: 56].

Третья трава – *Мальва* (malwis, mallow, или лат. *malva*). Поскольку указана какая-то мальва с красными цветами, а виды *гибискуса* с ярко-красными цветами (он относится к семейству *Malvaceae*) появились в Англии позднее, при жизни травознатца Уильяма Тернера, можно предположить, что автор «Амория и Клеопы» имеет в виду *мальву лесную* (лат. *malva silvestris*). Именно она упоминается в «Староанглийском гербарии» как эффективное средство заживления ран [Artsdall 2023: 149]. В «Медицине Плиния» мальва упомянута как средство против «морской ядовитой рыбы»: «Варят мальву вместе с корнем и сок ее дают для питья» [Медицина в памятниках... 1966: 66]. О мальве как средстве от яда упомянула и Хильдегарда Бингенская [Hildegard von Bingen 1903: 196].

Четвертая трава списка Клеопы – *Каламинт* (в рус. яз. – Каламинта, от лат. *Calamintha*). За этим названием могут скрываться несколько родов трав подсемейства *Котовниковые* (*Nepetoideae*): каламинта, клиноподиум, мята и др. Но, по-видимому, речь идет о *душевице котовниковом* (лат. *calamintha nepeta*), так как это преимущественно горная трава. Diosкорид (I в. н. э.) указывал, что при змеиных укусах траву или заваривают и дают выпить укушенному, или прикладывают к месту укуса [Dioscorides 2000: 412]. За Diosкоридом это точно повторит Тернер [Turner 1551: 42].

Пятая трава – *Майоран*, или *душица* (*Origanum*, или лат. *Origanum*). Тот же Diosкорид сообщал о *ди-ком майоране* (лат. *origanum sylvestre*): «Листья и цветки (приготовленные в виде снадобья с вином) эффективно помогают тем, кто укушен змеями» [Dioscorides 2000: 403]. А в «Медицине Плиния» был предложен совет «против укусов змей»: «К ране прикладывают также <...> соль с душицей и иссопом на меду» [Медицина в памятниках... 1966: 67].

Шестая трава – *Фенхель обыкновенный* (fennel, finul, или лат. *foeniculum vulgare*), который, подобно руте, издревле снискал признание травников. Diosкорид сообщал, что заваренный

фенхель следует пить тем, кого укусили змеи [Osbaldeston 2000: 456]. В упомянутом англосаксонском заговоре “Nigon Wyrta Galdor” фенхель занимает почетное место среди волшебных трав: “Fille and Finule, felamihtigu twa: / <...> Stond heo wið wærcce, stunað heo wið attre” («Кервель (?) и Фенхель, очень могучая пара, / <...> Она противостоит боли, она противостоит яду») [Pettit 1996: 212]. В «Староанглийском гербарии» этой траве приписывают разные лечебные свойства, лечение при воздействии яда не упомянуто, однако в гербарии есть отдельная глава, посвященная *Кабаньему фенхелю*, то есть *горичнику лекарственному* (лат. *peucedanum officinale*), и о нем сказано, что его запах способен отгонять змей, а сам он используется в качестве компонента мази, применяемой к месту змеиного укуса [Arsdall 2023: 149, 171]. О фенхеле как антидоте сообщали и арабские источники: в распространенном по Европе в XIV в. трактате “Tasuinum Sanitatis in Medicina” (латинская переработка «Таквим ас-Сиха», «Поддержание здоровья», трактата XI в., написанного Ибн Бутланом из Багдада) фенхель упомянут как средство от укусов змей [Bayard 1997: 20].

Наконец, последняя в списке – это *Дракон-трава*, известная сегодня как *эстрагон*, или *тархун* (*dragannis*, *dragonwort*, лат. *dracotea*, или совр. лат. *dracunculus vulgaris*). В главе CXXVII анонимного «Латинского гербария», изданного в 1485 г. в брабантском Лувене, она названа *draguntea* и, на французский манер, *serpentaria*, а самой траве приписаны способности как заклинать змей, так и предотвращать змеиные укусы [Herbarius Latinus 1485: n/p]. В данном случае название травы, корень которой считали похожим на фигурку дракона, провоцировало легендаризацию. В «Староанглийском гербарии» сказано: «Об этом растении <...> говорят, что его следует выращивать в крови дракона». А по существу гербарий сообщает: «При всех типах укусов змей возьмите корни растения *dracotea*, разотрите с вином, нагрейте и дайте выпить. Это выведет весь яд» [Arsdall 2023: 136–137]. О драконьей кровожадности напоминало и свойство травы копировать цвет и запах гниющего мяса (и тем привлекать насекомых для опыления) [Health and Healing 2008: 238].

Средневековые медики выстроили типологию живых существ и растений, пользуясь двумя парами противопоставленных признаков: «горячий/холодный» и «сухой/мокрый». Благодаря научному педантизму натуралиста Тернера мы знаем, какими из этих признаков, по мнению средневековых книжников, обладали те или иные растения. В связи с тем, что Тернер указал

традиционные свойства каждого упомянутого им растения, выясняется интересный факт: в списке героини романа Метэма оказались лишь те растения, которые век спустя будут отнесены Тернером к «горячим» и «сухим» [Turner 1881: 16, 22, 34, 38, 50, 57, 69]. В этом видится некая концепция Метэма-ученого, очевидно, связанная с тем, какие признаки приписывали драконам бестиариев. Если учесть, что Аморий должен сражаться с самым большим драконом, Рогатой Серрой, а Серра средневековых бестиариев – это морское существо, подозрительно похожее на кита, то можно заключить, что Серра Рогатая должна быть «холодной» и «мокрой».

Свою концепцию автор-ученый переадресует героине. Клеопа выглядит не просто заядлой потребительницей продукции мудрых книжников – она сама походит на ученую даму, и такой тип героини, конечно, нов для стандартных жанровых ролей персонажей в рыцарском романе. Языковед Калверт Уоткинс, автор научного труда с ненаучным названием «Как убить дракона», был исследователем того, что можно было бы назвать «лингвистикой мифа». И он не рассматривал миф как сюжет, его интересовала только лингвистическая, а именно формульная (вспомним теорию «устной поэзии» Перри – Лорда), оболочка драконоборческого мифа. Он работал с базовой формулой HERO SLAY SERPENT («герой» + «убить» + «змей»), а также ее вариациями, например: SLAY SERPENT with WEAPON («убить» + «змей» + «с помощью оружия») и SLAY SERPENT with COMPANION («убить» + «змей» + «с помощью помощника») [Watkins 1995: 301–302]. Но если смотреть на формулу мифа именно как на формулу сюжета, то формула сюжета рыцарского романа «Аморий и Клеопа» будет выглядеть как SLAY SERPENT with SCIENTIFIC KNOWLEDGE («убить» + «змей» + «с помощью научных знаний»). При этом Клеопа оказывается участницей подвига Амория. Действительно, она его знаниями вооружила; камни и травы проявят свои разные свойства: одни камни будут ослеплять бестию, другие рассеивать ядовитые испарения и оказывать профилактическую помощь, предотвращая возможное отравление, третьи будут укреплять организм, одни травы замораживают змея и не подпускают к герою, другие запахом понудят его спастись бегством, все средства вместе оградят Амория от опасности. Дракон будет желать спастись бегством – и не сможет этого достичь. Кажется, в прочитанной герою лекции Клеопа предложила план, в котором всё учтено для благополучного достижения им победы над врагом. Тем и удивляет роман Джона Метэма: молодой ученый,

шагнувший из жанровой области научного письма в область художественного творчества, при этом на ниву популярного жанра с его давно установившимися законами, не мог просто показать эпическую схватку со змеем и победу над ним, а привнес в свой сюжет такую совокупность взаимосвязанных знаний, которая оказалась не менее чем настоящей научной методикой «Как победить дракона».

Список источников

Lydgate J. Troy Book, Part I / ed. by H. Bergen. London: The Early English Text Society, 1906. 428 p.

Metham J. Amoryus and Cleopes / ed. by S. F. Page. Kalamazoo: Medieval Institute Publications, 1999. 142 p.

Список литературы

Валаффрид Страбон. Вандальберт Прюмский. Марбод Реннский / сост. и пер. с лат. Ю. Ф. Шульца. М.: Наука, 2000. 170 с.

В геммах великая сила: легенды и были о минералах / сост. и пер. с лат. Ю. Ф. Шульца. М.: Квартет, 1994. 79 с.

Медицина в памятниках латинской и греческой литературы / сост. и пер. с лат. Ю. Ф. Шульца. М.: 2-й МГМИ им. Н.И. Пирогова, 1966. 271 с.

Медицина в поэзии греков и римлян / сост. и пер. с лат. Ю. Ф. Шульца. М.: Медицина, 1987. 118 с.

Albertus Magnus. The Book of Minerals / ed. and trans. by D. Wyckoff. Oxford: Clarendon Press, 1967. 309 p.

Albertus Magnus. The Book of Secrets of Albertus Magnus of the Virtues of Herbs, Stones, and Certain Beasts, Also a Book of the Marvels of the World / ed. by M. R. Best & F. H. Brightman. Newburyport, MA: Weiser Books, 2000. 128 p.

Aldhelm of Malmesbury. Saint Aldhelm's "Riddles" / ed. and trans. by A. M. Juster. Toronto: Univ. of Toronto Press, 2015. 173 p.

Arnaldus Villanovanus. Regimen sanitatis salernitanum / ed. and trans. by J. Ordonaux. Philadelphia: J. B. Lippincott & Co, 1871. 167 p.

Arsdall A. van. Medieval Herbal Remedies: The Old English Herbarium and Early-Medieval Medicine. New York: Routledge, 2023. 245 p.

Bacci A. De venenis, et antidotis prolegomena, seu communia praecepta ad humanam vitam tuendam saluberrima. Rome: 1586. 83 p.

Bayard T. Sweet herbs and sundry flowers: Medieval gardens and the gardens of the Cloisters. New York: Metropolitan Museum of Art, 1997. 97 p.

Cameron M. L. Anglo-Saxon Medicine. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. 211 p.

Damigeron. Orphei Lithica, accedit Damigeron De Lapidibus / ed. by E. Abel. Berlin, 1881. 198 p.

Dioscorides. De Materia Medica / ed. by T. A. Osbaldeston. Johannesburg: Ibidis Press, 2000. 927 p.

Evans J. Magical Jewels of the Middle Ages and the Renaissance, Particularly in England. Oxford: Clarendon Press, 1922. 264 p.

Health and Healing from the Medieval Garden: a book of essays / ed. by P. Dendle & A. Touwaide. Woodbridge: The Boydell Press, 2008. 256 p.

Herbarius Latinus / ed. by J. Veldener. Louvain: 1485. n/p.

Hildegard von Bingen. Hildegardis Causae et Curae / ed. by P. Kaiser. Leipzig: B.G. Teubner, 1903. 254 p.

Kitson P. Lapidary traditions in Anglo-Saxon England: part I, the background; the Old English Lapidary // Anglo-Saxon England. 1978. Vol. 7. P. 9–60.

Pettit E. T. A critical edition of the Anglo-Saxon Lacnunga in BL MS Harley 585. Submitted for the degree of PhD. London: King's College, 1996. 1020 p.

Turner W. A new Herball, wherin are conteyned the names of Herbes in Greke, Latin, Englysh, Duch, Frenche, and in the Potecaries and Herbaries Latin. London: 1551. 172 fols.

Turner W. The Names of Herbes. By William Turner. A. D. 1548. / ed. by J. Britten. London: N. Trübner & Co., 1881. 134 p.

Vincent de Beauvais. Speculum Naturale Vincentii. Venetijs: Hermann Liechtenstein Coloniensis, 1494. 424 fols.

Voigts L. E. Multitudes of Middle English Medical Manuscripts, or the Englishing of Science and Medicine // Manuscript Sources of Medieval Medicine: A Book of Essays / ed. by M. R. Schleissner. New York: Routledge, 2013. P. 183–195.

Walker-Meikle K. F. Toxicology and treatment: Medical authorities and snake-bite in the Middle Ages // Korot: The Israel Journal of the History of Medicine and Science. 2014. № 22. P. 85–104.

Watkins C. How to kill a Dragon: Aspects of Indo-European Poetics. Oxford: Oxford University Press, 1995. 613 p.

Young F. A Medieval Book of Magical Stones: The Peterborough Lapidary. Cambridge: Texts in Early Modern Magic, 2016. 152 p.

References

Valafrid Strabon. Vandal'bert Pryumskiy. Marbod Rennskiy [Walafrid Strabo. Wandalbertus Prumiensis. Marbodus Redonensis]. Comp. and transl. from Latin by Yu. F. Schults. Moscow, Nauka Publ., 2000. 170 p. (In Russ.)

V gemmakh velikaya sila: legendy i byli o mineralakh [There is Great Power in Gems: Legends and

True Stories about Minerals]. Comp. and transl. from Latin by Yu. F. Schultz. Moscow, Kvartet Publ., 1994. 79 p. (In Russ.)

Meditasya v pamyatnikakh latinskoy i grecheskoy literatury [Medicine in the Monuments of Latin and Greek Literature]. Ed. and transl. by Yu. F. Schultz. Moscow, Pirogov 2nd Moscow State Medical School Press, 1966. 271 p. (In Russ.)

Meditasya v poezii grekov i rimlyan [Medicine in the Poetry of the Greeks and Romans]. Comp. and transl. from Latin by Yu. F. Schultz. Moscow, Meditsina Publ., 1987. 118 p. (In Russ.)

Albertus Magnus. *The Book of Minerals*. Ed. and transl. by D. Wyckoff. Oxford, Clarendon Press, 1967. 309 p. (In Lat. & Eng.)

Albertus Magnus. *The Book of Secrets of Albertus Magnus of the Virtues of Herbs, Stones, and Certain Beasts, Also a Book of the Marvels of the World*. Ed. by M. R. Best & F. H. Brightman. Newburyport, MA, Weiser Books, 2000. 128 p. (In Lat.)

Aldhelm of Malmesbury. *Saint Aldhelm's 'Riddles'*. Ed. and transl. by A. M. Juster. Toronto, University of Toronto Press, 2015. 173 p. (In Lat. & Eng.)

Arnaldus Villanovanus. *Regimen Sanitatis Salernitanum*. Ed. and transl. by J. Ordronaux. Philadelphia, J. B. Lippincott & Co, 1871. 167 p. (In Lat.)

Arsdall A. van. *Medieval Herbal Remedies: The Old English Herbarium and Early-Medieval Medicine*. New York, Routledge, 2023. 245 p. (In Eng.)

Bacci A. *De Venenis, et Antidotis Prolegomena, seu Communia Praecepta ad Humanam Vitam Tuendam Saluberrima*. Rome, 1586. 83 p. (In Lat.)

Bayard T. *Sweet Herbs and Sundry Flowers: Medieval Gardens and the Gardens of the Cloisters*. New York, Metropolitan Museum of Art, 1997. 97 p. (In Eng.)

Cameron M. L. *Anglo-Saxon Medicine*. Cambridge, Cambridge University Press, 1993. 211 p. (In Eng.)

Damigeron. *Orphei Lithica, accedit Damigeron De Lapidibus*. Ed. by E. Abel. Berlin, 1881. 198 p. (In Lat.)

Dioscorides. *De Materia Medica*. Ed. by T. A. Osbaldeston. Johannesburg, Ibidis Press, 2000. 927 p. (In Lat.)

Evans J. *Magical Jewels of the Middle Ages and the Renaissance, Particularly in England*. Oxford, Clarendon Press, 1922. 264 p. (In Eng.)

Health and Healing from the Medieval Garden: A Book of Essays. Ed. by P. Dendle & A. Touwaide. Woodbridge, The Boydell Press, 2008. 256 p. (In Eng.)

Herbarius Latinus. Ed. by J. Veldener. Louvain, 1485. n. p. (In Lat.)

Hildegard von Bingen. *Hildegardis Causae et Curae*. Ed. by P. Kaiser. Leipzig, B. G. Teubner, 1903. 254 p. (In Lat.)

Kitson P. Lapidary traditions in Anglo-Saxon England: part I, the background; the Old English Lapidary. *Anglo-Saxon England*, 1978, vol. 7, pp. 9–60. (In Eng.)

Pettit E. T. *A Critical Edition of the Anglo-Saxon Lacnunga in BL MS Harley 585*. Submitted for the degree of PhD. London, King's College, 1996. 1020 p. (In Lat. & Eng.)

Turner W. *A New Herball, wherein are Conteyned the Names of Herbes in Greke, Latin, Englysh, Duch, Frenche, and in the Potecaries and Herbaries Latin*. London, 1551. 172 fols. (In Eng.)

Turner W. *The Names of Herbes. By William Turner. A. D. 1548*. Ed. by J. Britten. London, N. Trübner & Co., 1881. 134 p. (In Eng.)

Vincent de Beauvais. *Speculum Naturale Vincentii*. Venetijs, Hermann Liechtenstein Coloniensis, 1494. 424 fols. (In Lat.)

Voigts L. E. Multitudes of Middle English medical manuscripts, or the Englishing of science and medicine. *Manuscript Sources of Medieval Medicine: A Book of Essays*. Ed. by M. R. Schleissner. New York, Routledge, 2013, pp. 183–195. (In Eng.)

Walker-Meikle K. F. Toxicology and treatment: Medical authorities and snake-bite in the Middle Ages. *Korot: The Israel Journal of the History of Medicine and Science*, 2014, issue 22, pp. 85–104. (In Eng.)

Watkins C. *How to Kill a Dragon: Aspects of Indo-European Poetics*. Oxford, Oxford University Press, 1995. 613 p. (In Eng.)

Young F. *A Medieval Book of Magical Stones: The Peterborough Lapidary*. Cambridge, Texts in Early Modern Magic, 2016. 152 p. (In Eng.)

How to Defeat a Dragon, or Medical Sources of Lapidary and Herbarium Motifs in J. Metham's Chivalric Romance 'Amoryus and Cleopes' (1449)

Vadim B. Semyonov

Associate Professor in the Department of Theory of Literature

Lomonosov Moscow State University

1, Leninskie Gory, Moscow, 119991, Russian Federation. vadsemonov@mail.ru

SPIN-code: 8165-1918

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2532-5381>

ResearcherID: JBS-3951-2023

Submitted 11 Jan 2023

Revised 24 Apr 2024

Accepted 12 May 2024

For citation

Semyonov V. B. Kak pobedit' drakona, ili Meditsinskie istochniki lapidarno-gerbarnykh motivov v rytsarskom romane Dzh. Metema «Amoriy i Kleopa» (1449) [How to Defeat a Dragon, or Medical Sources of Lapidary and Herbarium Motifs in J. Metham's Chivalric Romance 'Amoryus and Cleopes' (1449)]. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2024, vol. 16, issue 3, pp. 147–157. doi 10.17072/2073-6681-2024-3-147-157 (In Russ.)

Abstract. The subject of research in this article is the motifs of medieval descriptive scientific works, primarily in the genres of lapidary and herbarium; the material of the study is the medieval English chivalric romance *Amoryus and Cleopes*, underestimated by both English-speaking and foreign-language literary scholars. At the beginning and at the end of the 20th century this romance was published in Middle English for a narrow circle of medievalist philologists, but even in England there have been written only a few articles about it to this day, and its text has not been translated into any foreign languages and even into modern English. These circumstances make any research that focuses on this romance relevant. There are also no specialists on the works of its author, John Metham, a writer and scientist of the mid-15th century, although the century in question has a reputation as a 'barren age' and the names of English writers of that time are few in number. Meanwhile, Metham is the author of several treatises that were considered scientific during the Middle Ages, and therefore it would be useful to pay attention to how his scientific ideas are reflected in the literary work. The object of study in this article is the motifs borrowed by the poet-scientist from a wide range of scientific works: herbariums, lapidaries, medical treatises, encyclopedias. In the process of research, we focused on the analysis of one structurally important episode, the 'encyclopedic' lecture that Cleopes reads to Amoryus, the hero of the romance. Our task was to identify in the description of precious stones and herbs mentioned by the poet the connection with the established traditions of scientific genres, as well as to determine the function of scientific motifs in the literary text.

Key words: John Metham; Amoryus and Cleopes; chivalric romance; lapidary; herbarium; encyclopedia.

УДК 821.133.1-2

doi 10.17072/2073-6681-2024-3-158-168

<https://elibrary.ru/tjdosj>

EDN TJDOSJ



Пьеса на исторический сюжет «Кризанта» (1639) Ж. де Ротру: поиск новой трагедийности

Симонова Лариса Алексеевна**к. филол. н., старший научный сотрудник****Библиотека-читальня им. А. С. Пушкина**105066, Россия, г. Москва, ул. Спартаковская, 9. mouette37@yandex.ru

SPIN-код: 1540-6320

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7019-0215>*Статья поступила в редакцию 01.11.2023**Одобрена после рецензирования 29.11.2023**Принята к публикации 05.02.2024*

Информация для цитирования

Симонова Л. А. Пьеса на исторический сюжет «Кризанта» (1639) Ж. де Ротру: поиск новой трагедийности // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2024. Т. 16, вып. 3. С. 158–168. doi 10.17072/2073-6681-2024-3-158-168

Аннотация. Цель статьи – рассмотреть особенности трагедийного конфликта и характер построения дискурсивно-риторической структуры первой пьесы Ротру на исторический сюжет «Кризанта», определив ее место в становлении французской классицистической трагедии. Главной проблемой выступает выявление парадигмы драматургического мышления классицизма, под которой понимается принцип выстраивания в трагедии конфликтной картины исторического мира. В качестве ведущего используется структурно-семиотический подход: прослеживается функционирование знаково-смысловой системы, где организующая роль принадлежит абсолютному смыслу – Власти (связанной с фигурой правителя, образом государства, политическим интересом, законами, официально-ролевой заданностью поведения и т. д.). Несмотря на архаические черты, связанные в первую очередь с пониманием трагического как ужасного, кровавого (насилие, череда самоубийств), Ротру через обращение к исторической теме и актуализации противоречия между разумной системой общего и индивидуальным произволом выходит к политической проблематике, открывая тем самым путь театру Корнеля. Ротру одним из первых среди пишущих для театра авторов первой половины XVII в. обнаруживает продуктивность драматизации проблемы власти за счет семантически активизируемого образа Рима как образца идеальной государственности и включенной в этот порядок и осмысляющей себя относительно него личности, а также делает проблему «римского» двигателем драматического высказывания. Вызванное страстью преступление и расплата за него дискурсивно-риторически разворачиваются как подрыв и последующая реставрация разумно оправданного порядка. Однако этот найденный новый принцип трагедийной конфликтности Ротру не смог распространить на всё действие пьесы: фигура царя Коринфа Антиоха (IV и V акт) выпадает из историко-политического контекста, открыто противоречит героической семантике первых трех актов, так что финал утверждает торжество насилия, жестокости и произвола. Ротру возвращается к заданной влиянием эстетики театра XVI в. индивидуальной трагедии страстей, которая закрепляет за каждым роль жертвы или палача. Всё это свидетельствует о невозможности для Ротру без влияния Корнеля создания политической трагедии.

Ключевые слова: трагедия; классицизм; исторический сюжет; трагическое; Рим.

Жан де Ротру (*Jean de Rotrou*, 1609–1650) принадлежит к поколению авторов (Ж. Мерэ, Ф. Тристан Лермит, Ж. де Сюдери, П. Корнель), с творчеством которых связано преодоление кризиса трагедийного жанра, который, вытесняемый трагикомедией, к концу 20-х гг. XVII в. практически исчезает с парижской сцены¹. Отдавая дань трагикомедийному жанру как «современному»², Ротру с середины 30-х гг. начинает разрабатывать и жанр трагедии. В данном случае нас интересует вопрос о том, как под пером Ротру зарождается классицистическая трагедия с новыми, по сравнению с предшествующим периодом, поэтологическими основаниями (иной характер конфликта, дискурсивной стилистики, идейной проблематики и т. д.), однако еще сохраняющая связь с гуманистической драмой. «Кризанта» (1639) наряду с «Умиравшим Гераклом» (1634), «Антигоной» (1637) и «Ифигенией» (1640) принадлежит к раннему периоду трагедийного творчества Ротру. Все перечисленные трагедии, за исключением «Кризанты», написаны на мифологический сюжет и обнаруживают зависимость драматического письма Ротру от структурно-смысловой модели мифа, как и от античных пьес; в них современная проблематика, как и новые принципы построения дискурсивно-риторической структуры трагедии прослеживаются довольно неотчетливо. «Кризанта» же, несмотря на многие архаические черты, благодаря проблематизированной через столкновение разумной системы и личного произвола идее государственности перспективно выводит к поздним шедеврам Ротру (трагедиям «Венцеслав» (1647) и «Хосров» (1648)) и в определенной степени предваряет театр Корнеля, хотя и не содержит еще того механизма трагедийного конфликта, который будет принят за образец дорасиновской классицистической (в сущности политической) драматургии³. Для того чтобы понять, в какой степени Ротру предопределяет дальнейшее развитие трагедии, указать на конфликт (столкновение интересов, характеров, идей) будет недостаточно. Нужно понять сам принцип драматургического мышления, под которым мы понимаем выстраивание неразрешимо конфликтной картины исторического мира посредством определенного характера разворачивания трагедийного текста как подвижной дискурсивно-риторической системы. Эта система у трагедийного автора первой половины XVII в. в каждой конкретной пьесе в большей или меньшей степени скреплена организующим все уровни (сюжет, композиция, система персонажей, дискурсы, конфликт) сверхсмыслом – «власть», которая может быть прямо проявлена в фигуре пра-

вителя, образе государства, политическом интересе, законах и т. д.

«Кризанта» – первая трагедия Ротру, написанная на исторический сюжет (драматург воспользовался текстом Плутарха из «Моралий», где рассказывалось о мести жены вождя одного из племени галатов, которая была взята в плен римлянами и изнасилована пленившимся ее красотой центурионом). Ротру как трагедийного автора заинтересовал сам факт насилия и решительная расправа женщины над поправшим ее честь воином – эти события и определяют драматическую интригу, которая строится по принципу акцентирования абсолютного – не предполагающего для главных героев иного выхода, чем смерть – трагизма, нагнетания ужаса (конец третьего и четвертый акт представляют собой череду кровавых сцен – на глазах у публики закалывается насильник Кассий, после чего Кризанта предстает перед мужем с отрубленной головой своего обидчика в руках, затем, обвинив мужа, царя Коринфа Антиоха, в недостойном их любви подозрении ее в измене, героиня убивает себя, вслед за чем умирает раскаявшийся в своем недоверии Антиох)⁴. Разрабатывая рассчитанный в первую очередь на эффект кровавого сюжета, Ротру оказался перед серьезным затруднением: насилие над женщиной и отмщение за бесчестие как таковые уже не могли составить основу серьезной трагедии (подобный образно-событийный план был исчерпан А. Арди [Cavaillé 2016; Federic 1974; Louvat-Molozay 2014]), к тому же стилистика «страшного» как усиление мучительных ощущений, безнадежного кошмара, в который погружается герой, к этому времени перестает составлять ядро трагедийной риторики. Ротру осознает необходимость как создания исторического контекста (в данном случае довольно условного – выражающегося в завоевательных войнах Римской империи и лишенного какой бы то ни было политической подоплеки как конфликта вокруг власти), так и привлечения уже укрепляющегося в классицистической трагедии героического дискурса (например, «Софонисба» (1634) Ж. Мерэ). Основу трагедийной структуры «Кризанты» составляет не преступность насилия как таковая, то есть неконтролируемое своеволие, обращенное на желаемый, но запретный объект и его сопротивление, но дискредитация абсолютного Авторитета как направляющей, принимаемой всеми за безусловную ценность силы. Отступление от этого рационально оправданного смысла, всегда оказывающегося значительнее индивидуальной интенции, и будет составлять конфликтное напряжение, определяющее разворачивание трагедийной структу-

ры. Главный вопрос заключается в том, насколько драматическому письму Ротру удастся установиться в этом доминирующем смысле, расширяя его, задавая динамику его движения, и развернуть исходя из него дискурсивное взаимодействие в его активном противоречии. Трагедийное действие открывается не ситуацией столкновения нарастающей бесконтрольной силы и потенциальной жертвы, но (совершенно в духе гуманистической трагедии) предваряющим это столкновение прологом, а именно репликой военачальника римской армии Манилия, провозглашающего полную победу римского войска над Коринфом. Смысловым центром его обращения к приближенным выступает Рим – для французской трагедии образ достаточно традиционный (у Ротру – «Рим всегда остается Римом»), с той лишь разницей, что наряду с хорошо узнаваемой, устойчивой символичностью (*Urbi et Orbi*) в нем усилены ценностно-моральные значения. В открывающем трагедию высказывании Манилия Рим представлен центром мира, обладающим абсолютным могуществом, закономерно возвышающимся над всеми народами и государствами. Такое исключительное положение Рима находит оправдание в беспрецедентном торжестве законности и совершенного политического порядка, гарантом которых в мире он выступает. Созданная Римом система управления и организации общества отвечает заветам богов, в ней нет никаких нарушений, несоответствий, искажений – того, что могло бы подорвать к ней доверие, заставить усомниться в ее идеальности. В речи Манилия превосходство Рима оттеняется сравнением с другими государствами, чье непослушание характеризуется как преступление против идеального, санкционированного самими высшими силами порядка – правление Рима абсолютно оправдывается, тогда как сопротивление его власти безапелляционно осуждается. Так, противостояние Риму Коринфа определяется как «бунт», «мятеж», то есть нечто стихийное, разрушительное, неразумное – то, что закономерно должно быть пресечено, исправлено, возвращено к безупречному состоянию.

Для дальнейшего разворачивания риторической структуры трагедии чрезвычайно важно, что концепт Рима как образцовой государственности обладает внутренней подвижностью: с одной стороны, это непротиворечивая, устойчивая целостность, представленная властью Августа, с другой – это взаимосвязь, сопринадлежность всех ее членов – от каждого ее представителя требуется безупречное соблюдение морально-этических принципов, то есть полное совпадение

с установленным совершенным законопорядком (заметим, что гуманистическая трагедия, откуда Ротру заимствует образ Рима, такой подвижности не знала). На каждом римлянине лежит ответственность, совершенный государственный порядок требует личностного усилия: речь Манилия начинается не с превознесения Рима, но с восхваления активности солдат – их «мужества», «сил», «стараний», «желаний». Римские солдаты – представители и активные строители системы, без примерного служения и строгой морали каждого из них идеальная государственность невозможна, на каждом лежит ответственность за торжество Закона. Только в случае морально-этической безупречности каждого воина гарантировано прочное положение Рима и оправдана его власть над другими народами. Каждый должен быть достоин Рима, и наоборот, Рим укрепляется делами каждого. Получается, что этот совершенный образец нельзя превзойти, но его можно ослабить, доверие к нему можно подорвать. Если действия каждого солдата рациональны и гуманны, Рим имеет право подчинять другие народы, устанавливать над ними свою власть, распространять на них свой закон – даже вопреки их сопротивлению. Эта активность семантического взаимодействия индивидуального и целого и определяет конфликтность смыслов, обуславливающую разворачивание дискурсивно-риторической структуры в ее внутреннем напряженном противоречии. «Целое», позитивно устойчивое находит подкрепление сразу в двух дискурсивных линиях: судьбоносности (сопротивляться власти Рима так же бесполезно, как спорить с судьбой) и военной героики (гиперболизированный образ римского войска определяется традиционной торжественно-победной риторикой – «доблесть», «победа», «слава», – которая, наряду с уже закрепленной прославленной законностью, оправдывает жестокость вооруженного насилия). Однако очень быстро (в той же первой сцене первого действия) обнаруживается то, что этой целостности противостоит: женская красота, которая становится испытанием «Рима», «римского». Воплощением женской красоты выступает Кризанта – жена царя Коринфа Антиоха, оказавшаяся в плену у римлян и удерживаемая с целью получения выкупа. Архетипический мотив побежденного победителя здесь присутствует, однако заметно приглушен. Обращает на себя внимание уже перемещение, взаимовлияние, взаимоподмена двух планов: общего и частного. Кризанта – не просто обладающая неотразимым обаянием женщина, привлекающая, соблазняющая героев, она – вызов Риму. Помимо исключительной красоты, в ее характе-

ристике выделены «целомудрие», «чистота», «верность», «достоинство». Подобные качества, составляющие образ Кризанты, соотносятся с образом Рима как воплощением закона и порядка, подкрепленных разумными основаниями. В образно-символическом отношении Кризанта вырастает до самого Рима, становится ценностно равнозначной ему. Неприкосновенность Кризанты равноценна величию Рима, поскольку прилагаемый к ней этический принцип есть оправдание римской экспансии, подтверждение правоты Рима, доказательство морально-этических законов, на которых держится, которыми укрепляется Империя. Опасность заключается в возбуждающей страсти красоте Кризанты: любовь внерациональна, она может выйти из-под контроля разума, подорвав тем самым принципы, на которых держится Рим. Своей зависимостью и слабостью Кризанта обязывает окружающих ее воинов демонстрировать сдержанность, побеждать свою страсть, в противном случае будет исключено доверие к Риму как абсолютной системе. Таким образом, с самого начала драматического текста намечен конфликт, который будет семантически разворачиваться в двух планах: Рим как закон и обладатель и Кризанта как выражение зависимости и достоинства; в этом происходит их совпадение, устанавливается равновесие между ними. Вместе с этим равновесие нарушает красота, пробуждающая страсть и провоцирующая на неконтролируемую агрессию. Чтобы задать драматический конфликт, страсть должна быть передана какому-либо персонажу. Таким персонажем является Кассий, на примере которого и испытывается «римское». Рим есть синоним абсолютной силы, разума, порядка; перенесенное на отдельную личность «римское» начинает означать победу над страстью, как и всяким произвольным желанием, которое есть разрушение порядка, иначе говоря, власть судьбы, хаоса, а не разумной воли. Политическое, историческое как таковое, то есть связанное с властью, государственностью, выстраивающимися в их перспективном развитии, в трагедийном тексте Ротру невозможно. Рим используется как символ, который втягивает в свое поле отдельное, человеческое, который может как ослаблять, так и укреплять его смысловую устойчивость, упрочивающую всю риторическую структуру трагедии. Главные герои – Манилий, Кассий, Кризанта – не просто отрицают страсть или уступают ей, они доказывают своей волей/высказыванием справедливость и неотъемлемость закона Рима. «Только Рим укрощает страсти» (*Rome seulement dompte les passions*), «он умеет распространить свою власть на самого

себя» (*elle sait sur soi-même étendre son empire*) (193)⁵ – этот догматизм подчиняющего, контролирующего всё и всех и вместе с этим поддерживаемого, гарантируемого каждым к нему причастным порядка и проверяется на прочность. Манилий, Кассий, Кризанта своим дискурсом в той или иной степени реставрируют этот образ, даже обнаруживая его слабые стороны. Завязка как нарушение равновесия заключается здесь в выпадении из этой рационализированной системы (равновесие возможно, и на это указывают высказывания Манилия: притягательность красоты уравнивается достоинством, честью Кризанты), и не только. Этот риторический принцип устойчивости ослабляется галантной стилистикой дискурса Кассия, который начинает преобладать уже во второй сцене первого акта – в тот момент, когда Манилий покидает расположение римских войск и оставляет Кризанту на попечение центуриона. Сигналом распространения галантной стилистики становится подмена власти: на время отсутствия Манилия всей полнотой власти в расположенных в Антиохии римских войсках, как и в самой подчиненной области, обладает Кассий. Он представляет собой власть, которая подрывает свои собственные основания, это дискредитированная государственность. Героико-политическая лексика подменяется лексикой любовной страсти: «приятное поручение» (*douce commission*), «мое чувство» (*mon affection*), «красавица» (*cette belle*), «покорять сердце» (*asservir le cœur*), «мольбы» (*prières*), «желания» (*vœux*), «волновать» (*émouvoir*), «горячо любить» (*aimer avec trop d'ardeur*), «пылкая страсть» (*flamme si forte*), «приятное иго» (*joug doux*), «бесконечные наслаждения» (*plaisirs infinis*), «ее (Кризанты – С. Л.) взгляды – огонь, ее глаза проникают в самую душу» (*ses regards sont la flamme, et ses yeux sont les arcs qui portent jusqu'à l'âme*), «ее бесконечное очарование» (*ses charmes infinis*), «приятная пытка» (*ce doux tourment*) (194–197). Кассий является единственным носителем галантного высказывания, однако, поскольку он располагает всей полнотой власти, этот характер дискурса начинает довольно быстро преобладать. Доверие авторитету закона Рима ставится в прямую зависимость от поведения Кассия: покушаясь на честь Кризанты, он совершает преступление против Рима. Здесь вышедшая из-под контроля страсть разрушает идеальный образ государства, являясь опровержением представляемых им совершенного порядка и справедливости. «Что?! Всякая верность бесполезна, и слава Рима утратит свой великий блеск ради интересов человека!» (*Quoi?! Tout respect est vain et la gloire de Rome perdre ce grand éclat*

pour l'intérêt d'un homme!) (196) – восклицает друг Кассия Клеодор. С преступлением Кассия Рим утрачивает свой Авторитет, прерогативы господствующей власти, иначе говоря, свое право управлять другими народами. Авторитет Рима начинается с твердости этических принципов каждого римлянина, в том числе Кассия. Страсть становится критикой власти, ее провалом; те, кто не способен руководить собой, не могут управлять другими. Поведение Кассия лишает Рим его преимущества перед другими народами, исключает его избранность, ставит его в зависимость от случайности истории. Только твердость этических законов Рима делает его исключительным, вырывает из того беспорядка истории, которому подчинены другие государства. Сцепление утверждающих и отрицающих смыслообразов – от абсолютного могущества, санкционированного личной волей каждого, до вызывающей сомнение непроявленности Порядка – в этом движении привязанных друг к другу Рима и Кассия и выстраивается риторика трагедии первых трех актов. Рим может быть ниспровергнут изменой его этическим принципам одного из воинов. Именно эта привязка делает смысловое ядро Рима изменчивым, неустойчивым, препятствуя его канонизации как Авторитета. Укажем, что Кассий не совершает никакого выбора, к началу действия он уже решился на преступление, ему осталось только исполнить задуманное. Кассий знает, что покушается не только на Кризанту, но и на порядки Рима, ставит свое желание выше закона («Даже если я оскорбляю государство и даже если это грозит гибелью Рима, я последую своему намерению...») (*Que j'offense l'état, et que Rome périclite, je suivrai mon dessein*) (197)). Таким образом, «Кризанта» – это трагедия желания страсти как подрыва идеальной государственности.

Главной героине принадлежит особая, довольно сложная роль в общем синтетическом построении трагедийной структуры. Ее образ проявлен в столкновении с Кассием как ее притеснителем, врагом. В развитии интриги Кассий и Кризанта противопоставлены друг другу, их отношения строятся по принципу: насилие – и последующая месть жертвы. Однако в дискурсивно-риторическом плане Кассий и Кризанта оказываются сближены: в высказываниях и тот, и другая движутся от разрушения к реставрации образа Рима; к тому же их неоднозначная связь наблюдается и в стиле – дискурс обоих героев в определенной степени изначально питает галантно-прециозная лексика, которая за счет вторжения заметно теснящей ее брутальной тоналности ослабляется, перестраивается в агрес-

сивную с одной стороны и страдательно-протестующую – с другой. Кассий уже принял решение, и многословная галантность только скрывает его намерение, изысканная комплиментарность есть завуалированное движение к насилию. Однако в противовес дискурсу страсти как бесконтрольному желанию обладания снова начинает проявлять себя с явным политическим оттенком семантика справедливости и порядка как акцентировка временного «помутнения рассудка» героя, то есть его последующего прозрения и возвращения к должному, а в плане общей риторической структуры – возможности реставрации образа Рима как гаранта законности и ответственности каждого идеальной норме. Разворачивание риторической структуры трагедии определяется именно восстановлением образа справедливой системы, в отдельный сценический отрезок открыто, полнозначно не присутствующего, но лишь подразумеваемого, обнаруживаемого за счет отдельных смыслов личностного порядка («честь», «верность», «слава», «закон» и т. д.), которые периодически при их раскрытии включаются в глобальную историко-политическую целостность, проявляющую себя на всех уровнях – частном и государственном. Ситуация зависимости и насилия дискурсивно-риторически представлена как временная, случайная, как «нелогичное» выпадение из системы, которая, как ожидается всеми говорящими (даже Кассием, который предвидит, что за его преступлением последует расплата), в ближайшем будущем будет восстановлена. Совсем не случайно дискурс, который кардинальным образом переворачивает смыслы, опустошает направляющие ценности, оказывается категорично вытеснен из текста, а его носитель исключен из сценического действия, иначе говоря, уничтожен. Это покушение на понятийное смешение, ставящее под вопрос функционирование всей системы, совершается, помимо Кассия, служанкой Кризанты Орантой. Пытаясь спасти госпожу, она предлагает ей уступить домогательствам Кассия, настаивая на незначительности моральных ориентиров в ситуации угрозы для жизни: «...в этой ситуации нет порока и бесчестие ничего не значит» (*le vice perd son nom, et le deshonneur cesse*) (212). Разрушение иерархии ценностных смыслов, подрывающее веру как в мораль, так и в историческую справедливость, вызывает гнев в Кризанте, которая закалывает свою служанку, «сворачивающую» ее своими речами, иначе говоря, выбивающую ее из ее ценностно-смыслового пространства, оставляющую ее без чести, положения, веры в осуществляемый людскими усилиями высший закон.

Кассий, решивший посягнуть на честь Кризанты, дискурсивно всё же участвует в закреплении этических истин, двигаясь от определения должного в себе (на первый взгляд лицемерного, рассчитанного на привлекательность позы) к укреплению своих обязательств перед Римом. Признания Кассия в какой-то степени дублируют просьбы-наставления Кризанты и Манилия, закрепляя основополагающий для структуры семантический код – «разум», противостоящий страсти и господствующий над ней, ясность рассудка, не допускающего неуправляемой порывистости желания: «Мое сердце пожирает огонь, но в этих муках мой разум еще сохраняет свою власть; он может сдерживать эти беспорядочные порывы, мои глаза ослеплены светом, но еще способны видеть...» (216) (это отчасти предвосхищает убедительное раскаяние Кассия после совершенного им насилия). Непосредственно перед осуществлением героем преступного замысла в его дискурсе выстраивается два образно-семантических ряда: один – относительно страсти, другой – относительно его социального статуса и связи с Римом, притом что второй значительно перевешивает. Кассий осуждает себя за то, что предает свою «доблесть», порочит свою «честь», добытую ценой многочисленных подвигов. Подчеркнем, что позиция Кассия как воина ценностно не замыкается на нем самом, в его высказывании устанавливается прочная взаимосвязь между его действиями и Римом, образ которого разрастается и укрепляется не только за счет семантики воинского мужества и доброго имени, но и за счет отношения к роду (слава предков) и включенности в иерархическую социальную систему, а именно непосредственного подчинения Цезарю, который в данном контексте выступает гарантом порядка и равнозначен Риму, смысловой заменой которого он является. Всё это и служит подтверждением того, что Кассий, уступая своей страсти, совершает преступление непосредственно против Рима, разрушая его политический престиж, отнимая веру в него («...моей подлостью будет запятнан Рим, и Цезарь будет краснеть за преступление Кассия» (*de mes lachetés Rome sera noircie, et César rougira des crimes de Cassie*) (219)). Решаясь на насилие, Кассий знает, что его измена Риму носит временный характер, и после того, как минует ослепление страсти, он вернется к его ценностям. После того как Кассий совершил насилие над Кризантой, он не только выговаривает терзающие его муки совести, но и старается заново определить себя в человеческом и статусном – ему важно снова встроить себя в ту смысловую систему, из которой он в ослеплении страсти вы-

пал. Кто он и на что может опираться – вот вопросы, на которые пытается ответить Кассий. В этом поиске опять-таки участвует концепт Рима: Кассий может решить, кто он, только определив свое отношение к Риму. В начале покаянного монолога этого сделать не удастся, напротив, Кассий устанавливает его непричастность Риму. «...Было ли у меня в этом ослеплении что-нибудь римское или просто человеческое?» (*...parus-je en cet aveuglement, avoir rien de Romain, ni d'homme seulement?*) (224). Заметим, что в данном контексте «римское» и «человеческое» предельно сближены, одно определяется другим: «человеческое» в моральном и этическом значении равнозначно законному в политическом смысле, то есть измеряется им, ему соответствует. Перестав быть «римлянином», Кассий перестает быть «человеком», и наоборот. Ни по личностному, ни по статусному признаку его определять нельзя – ни одна из характеристик к нему неприменима («Поступок, недостойный человека, недостойный Кассия и того, кто рожден Римом!» (*Indigne acte d'un homme, indigne de Cassie et d'un enfant de Rome!*) (224)). Это катастрофическое отсутствие себя, ненахождение себя ни в чем – ни в индивидуальном, ни в публичном – и приводит Кассия к решению выдать себя как преступника, нарушившего как политические, так и бытийные законы. Таким образом, дискурсивно-риторически трагедия заключается в отпадении от «римского» и возвращении к нему, подтверждении «римского» как воплощенной в историческом высшей справедливости.

Итак, своим поступком и высказыванием Кассий подрывает идеальную модель Рима. Однако эта модель, несмотря на ее ослабление, не перестает питать трагедийный дискурс и обеспечивать устойчивость и семантическую весомость общей риторической структуры. Без возвращения дискурса к концепту гарантирующего порядок государства месть Кризанты – ее жалоба возвратившемуся в расположение войск Манилию, принятие тем решения о наказании центуриона, самоубийство Кассия – была бы невозможна. В конце третьего акта в пересечении дискурсов названных героев происходит восстановление и вместе с этим ценностно-смысловое уплотнение образа Рима. Сам факт насилия отражен только в одной короткой реплике Кризанты, в остальных же высказываниях героев, предшествующих казни Кассия и совпадающих с ней, направляющей выступает семантика Рима и римского. Акцент переносится с частного на общегосударственное – преступление Кассия измеряется не виной перед Кризантой, но его виной

перед Римом. Нарушение принимаемых за совершенные законов ставит самого Кассия вне закона, он становится позором Рима, а значит, его врагом. К плахе Кассия приводит дискурсивно-риторическое вытеснение его в качестве «чужого», «преступного» из гарантируемого государством мирового законопорядка. Небесное и земное в устремленности к «правде» нерасторжимы и в этой неразрывности покрываются символом Рима. Высказывания строятся по принципу взаимосвязи составляющих иерархическую систему ценностей, скрепленных понятием «римского». Так, обращенную к Манилию жалобу, переходящую в требование правосудия, Кризанта начинает с упоминания о божественной справедливости. Затем героиня обращается к Манилию как тому, кто обеспечивает осуществление этой высшей справедливости на земле и делает это в качестве того, кто наделен властью Римом, он – римский военачальник и его долг – гарантировать провозглашаемую Римом законность. Кассий же сразу дискурсивно отсекается от «римского», объявляется нарушителем священного порядка, «неримлянином»: «Чудовище, недостойный, стыд Рима» (*Monstre, indigne objet, honte du nom romain*) (232). Это обвинение Кризанты подхватывает Манилий, согласно которому Кассий посягнул на сам Рим, запятнав его честь и честь всех, кто к нему принадлежит, совершил преступление против самого Цезаря, опозорив, унизив политическую власть. Для того чтобы вернуть веру в Рим, восстановить гарантируемую им справедливость, необходимо наказать Кассия, что Манилий и делает, отдавая приказ о его публичной казни. Как следствие этого, в дискурсе Кризанты происходит резкая смена ее статуса: из заложницы, для которой римляне были врагами, завоевавшими ее народ и разрушившими Антиохию, она вдруг становится верной подданной Рима, заинтересованной в укреплении его власти, функционировании устанавливаемой им политической системы. Рим и Цезарь видятся ей воплощением безусловного Авторитета, их могущество и безупречность равны божественным. Чем убедительнее защищает Кризанта престиж Рима, тем более обоснованна ее надежда на правосудие. Славословие Риму безусловно, тогда как логика укрепления ценностной системы, где каждое звено прочно сцеплено с другим, безукоризненна. Весомость и упорядоченность аргументов делают невозможным какое-либо сомнение, нельзя поставить под вопрос ни одного утверждения, каждое из которых к тому же перекликалось с утверждениями Манилия как представителя власти. Чем прочнее связь между ценностными аргументами, чем безупречнее вы-

страиваемая относительно Рима как смыслового центра система значений, тем неопровержимее победа Кризанты над ее врагом и, следовательно, вернее поражение Кассия. В определенный момент Кризанта как страдающая, униженная вытесняется, заслоняясь «римским» как абсолютным принципом – это не на ней, но на Цезаре лежит печать оскорбления. Отдельное несопоставимо с общим, последнее начинает преобладать, однако характер общего всегда зависит от конкретного поступка, определяется не как замкнутое и обособленное семантическое поле, но через отношение, где конфликтность страсти подрывает систему, которая, однако, сохраняет свои ценностно-смысловые основания, чтобы затем заново быть реконструируемой, притом что ослабленные звенья замещаются другими. Преступление одного порочит честь всех римлян, бросает тень на их подвиги, очерняет их славу: «Что?! Преступлением одного человека будет очернен блеск стольких подвигов и славы Рима? И о людях, высокая честь которых известна во всем мире, только из-за одного из них скажут как о порочных?» При этом «подвиги» (*exploits*), «слава» (*gloire*), «честь» (*honneur*) не теряют своего ценностного смысла, они начинают снова риторически укрепляться и распространяться в тексте, однако не просто как признаки «римского», но как семантическая конструкция, которая подвешена в неопределенности до того момента, пока она не будет подкреплена или опровергнута в конкретном отношении к ней (поступке одного из действующих лиц в качестве представителя Рима). Наказание Кассия определяется соизмерением его заслуг и преступлений перед Римом: тяжесть вины, подрывающей доверие к государству, перевешивает его подвиги, совершенные во славу Империи. Однако это устанавливается не сразу: по сравнению с другими сценами, в сцене суда над Кассием звучат больше всего голосов. Обвиняющему голосу Кризанты противопоставлены голоса друга Кассия Клеодора и двух солдат. В их высказываниях акцентированы те качества Кассия, которые подтверждают его гражданский статус, открыты всеобщему взгляду и неопровержимы; в этом случае о нем судят не как о частном человеке, но как о римлянине, то есть опять же оценивается его соответствие должному относительно Рима. Образ Кассия-солдата, посвятившего жизнь служению Империи, должен заслонить собой, скрыть образ преступного Кассия. Не разумная воля и ослепляющая страсть как критерии морального, но именно отношение Кассия к Риму – его совпадение с идеалами того или же измена им – решает судьбу героя. Здесь Ротру намечает

две риторические перспективы: образ Рима должен быть непротиворечиво воссоздан без всякого ущерба для его обобщающего и превосходящего смысла, который и должен заслонить, скрыть Кассия с его проступком как частный, «случайный» смысл; второй возможный вектор – образ Рима должен быть реставрирован через личностное усилие, с его отступлением и обратным движением к примирению. В первом случае образ Рима в его неподвижности, абсолютной полноте покрыл бы героя, который в смысловом отношении остался бы в положении изоляции, непричастности (как это было в гуманистической трагедии). Такая перспектива наиболее отчетливо проявлена в высказываниях Клеодора и двух солдат, для которых требуемая Римской империей доблесть и слава воина остаются неизменными. Возможность и весомость такого отношения подтверждается и Манилием, который в итоге не решается вынести Кассию приговор именем римского императора. Здесь исторический ракурс оказывается заслонен человеческим, но человеческим, участвующим в восполнении им же подорванной политической целостности. Это находит подтверждение в том факте, что последнее слово на суде над Кассием принадлежит ему самому. Герой сам закалывает себя, тем самым признавая за собой вину. Кассий убивает себя как преступника, нанесшего урон чести Рима, он мстит самому себе за подорванный престиж Империи. Итог суда над Кассием выражен в характеристике его гибели одним из солдат – «благородная смерть» (*mort trop généreuse*) (237), это значит, что в суде над Кассием восторжествовала справедливость Рима, был восстановлен его славный образ.

Слабость этой трагедии Ротру во многом объясняется тем, что образ Рима и характеристика «римского», которые питают и укрепляют риторическую структуру пьесы, слишком быстро оказываются исчерпаны, не покрывают всего драматического текста, истощаясь уже к концу третьего акта (так что просматривается явное несоответствие, расхождение между событийным действием и дискурсивно-риторическим построением). Истощение, обрыв идейно-смыслового поля «римского» имеет своим следствием как «провисание» целых сцен, так и слабость дискурсивного проявления персонажей. Наиболее яркий пример последнего – Антиох, чье дискурсивное проявление свидетельствует о его негероичности и, более того, несостоятельности как действующего лица. Антиох оказывается самым слабым персонажем: в его дискурсе отсутствуют семантика власти, отчетливые атрибуты его статусности, он почти не проявляет себя как царь. Антиох принимает свое поражение, без со-

противления и заметных колебаний отдавая себя и свое царство (связи с которым в его высказываниях почти нет, как нет и сожалений об утрате им власти) в распоряжение римлян. Антиох как говорящий лишает самого себя характеристик военной силы и политического положения, надевая ими Рим, и только в таком дискурсивном проявлении (неразвернутом – всего две реплики) он непротиворечиво включен в общую риторическую структуру трагедии (Антиох приписывает римлянам «победу», «славу», «гордость», оставляя себе только поражение и обреченность на бездействие). В основном же Антиох выпадает из историко-политического семантического поля, он проявляет себя главным образом как страдающий супруг, сначала переживающий разлуку с женой, затем – ее мнимую измену и, наконец, ее гибель. Его царское достоинство поставлено в зависимость от его супружеской чести, всё, что, как представляется Антиоху, не имеет связи с предавшей его Кризантой, оставляется без внимания как не имеющее смысла, таким образом вся политическая семантика оказывается ослаблена. Согласно высказыванию его приближенного Кратея, лишенному власти Антиоху остается только «побеждать себя», то есть проявлять стоическую твердость в ситуации поражения и униженности. Получается, что власть Антиоха как царя – это его воля, обращенная им на самого себя, иначе говоря, он представлен не в политическом, но в сугубо человеческом; его образ строится по принципу отсутствия, лишения: все относящиеся к Риму характеристики – «слава», «закон», «могущество» – отсутствуют в случае Антиоха. Даже формула Кратея с ее сугубо личным смыслом – «побеждать себя – самое достойное усилие царей» (*se vaincre est l'action la plus noble des rois*) (241) – неприменима к Антиоху, который необходимой для этого силой и мудростью не обладает. Текст показывает «выброшенность» Антиоха из исторического, герой не имеет связи с Римом и римским, иначе говоря, на него никоим образом не распространяется образность и семантика героики, справедливости и рационально оправданной упорядоченности. Наоборот, Антиох полностью подчинен хаосу – заблуждению, ревности, отчаянию, что и приводит его к смерти. Дискурс Антиоха не может составить устойчивой, прочной риторической системы подобно дискурсу других персонажей, имеющему своим основанием концепт Рима и «римского». Дискурс Антиоха «бесформенный», он лишен твердых ценностных оснований. По существу, всей своей дискурсивной позицией Антиох представляет им самим провозглашенную формулу: «Тому, кто низвергнут с трона,

стыдно жить» (*A qui tombe d'un trône il est honteux de vivre*) (243). «Стыдно» – это слово как нельзя более точно определяет слабость, ценностную опустошенность образа Антиоха. Если по мере разворачивания риторической структуры испытываемый на прочность образ Рима устойчивее, яснее обрисовывался, устанавливался, то фигура Антиоха неизбежно сдвигалась к небытию, с первого появления героя акцентировано его призрачное, «тенивое» существование – переживающий измену Антиох избегает даже показываться солнцу, потому как видит себя никем, согласно его высказываниям, он умер еще до своей фактической смерти. Поскольку подобным образом истощенный дискурс Антиоха в заключительном четвертом акте является преобладающим, риторическая структура ослабляется и в конечном итоге ее развитие быстро обрывается, действие же, лишенное дискурсивно-риторического потенциала, останавливается. Последние высказывания лишают себя жизни Антиоха носят антиримский характер – он проклинает Рим как виновника всех его бед, что противоречит всей идейно-смысловой системе, выстраиваемой в первых трех актах трагедии. Антиох (и четвертый акт в целом) подрывает образно-смысловую основу, на которой держалась дискурсивно-риторическая структура трагедии. По существу, Антиох накладывает на Рим печать его беспомощности, опустошения. Предшествующий смерти монолог Антиоха – это абсолютное опровержение отчетливо проявленного ранее принципа построения риторической структуры трагедии. Антиох осуждает власть империи, его фразы представляют «другой» Рим, как бы Рим наоборот: это ничем не сдерживаемое торжество насилия, жестокости, произвола, иначе говоря, отсутствие закрепляемого на протяжении всего текста трагедии образца справедливости и порядка. Таким образом, развязка пьесы – смерть Кризанты, а затем Антиоха – является подтверждением не только исчерпанности образа Рима, но и нефункциональности связанной с ним структуроопределяющей идеи относительно драматического действия в целом (четвертому акту «Кризанты» она уже не соответствует). Итак, драматическое действие «Кризанты» полностью не совпадает с идейно-политической системой смыслов (как это будет у Корнеля). Историко-политический образ Рима не покрывает всего драматического действия (хотя отчетливо прослеживается стремление к его абсолютизации и выделению его в качестве определяющего в дискурсивно-риторической структуре), он лишь частично накладывается на «страшную», «кровавую» интригу, притом что каждый персонаж вы-

нужден определять себя относительно этого – им же дискурсивно укрепляемого или ослабляемого – смысла. В «Кризанте» происходит механическое совмещение исторической, рационализированной, упорядоченной, в своей основе справедливой системы – и индивидуальной трагедии страстей, определяющей каждому роль жертвы или палача, отношения между которыми лишь косвенно скорректированы идеей справедливого порядка. «Кризанта» является доказательством поиска новой трагедийности и вместе с тем невозможности создания в границах драматического письма Ротру без влияния Корнеля, которое будет очевидно после постановки его трагедий 40-х гг. (от «Горация» до «Родогуны»), исторической, политической трагедии.

Примечания

¹ О причинах непопулярности трагедии и вытеснении ее трагикомедией во французском театре в первую треть XVII в. говорят Э. Баби [Baby 2001] и Ж. Форестье [Forestier 1998].

² Перу Ротру принадлежат семнадцать трагикомедий, некоторые пьесы создавались им на стыке трагедии и трагикомедии (проблема жанровой дифференциации пьес Ротру подробно рассматривается Б. Лува-Молозе [Louvât-Molozay 2007] и С. Беррегар [Berregard 2007]).

³ Проблема сходства и взаимовлияния драматургии Ротру и Корнеля раскрывается в работах Гарапона [Garapon 1950] и Юбера [Hubert 1958].

⁴ Некоторые литературоведы связывают это с преобладанием черт барочной эстетики в драматургии Ротру (такой точки зрения придерживаются Масэ [Macé, Vialleton 2007], Морель [Morel 2005], Вуймен [Vuillemin 1990, 1994]), нам же близка точка зрения Мортга-Лонге, который, рассматривая трагедии Ротру в рамках классицизма, видит в нем предшественника Корнеля, что, по его мнению, позволяет приблизиться к осмыслению идентичности Ротру как драматического автора [Mortgat-Longuet 2007].

⁵ Rotrou J. de. Théâtre complet. T. 4. P.: Classiques Garnier, 1999. Далее текст трагедии цитируется по данному изданию в переводе автора, в скобках указывается страница.

Список литературы

- Baby H. La tragi-comédie de Corneille à Quinault. P.: Klincksieck, 2001. 306 p.
- Berregard S. La mixité des genres dramatiques dans le théâtre de Rotrou // Littératures classiques. 2007. № 2. P. 97–106.
- Cavaillé F. Alexandre Hardy et le théâtre de ville français au début du XVII-e siècle. P.: Classique Garnier, 2016. 489 p.

Federic C. *Réalisme et dramaturgie. Étude de quatre écrivains: Garnier, Hardy, Rotrou, Corneille*. P.: Nizet, 1974. 276 p.

Forestier G. *Politique et tragédie chez Corneille, ou de la «broderie» // Littératures classiques*. 1998. № 32. P. 63–74.

Garapon R. *Rotrou et Corneille // Revue d'Histoire littéraire de la France*. 1950. № 3. P. 385–394.

Hubert J. *Le réelle et l'illusoire dans le théâtre de Corneille et de Rotrou // Revue des Sciences Humaines*. 1958. № 4. P. 333–350.

Louvat-Molozay B. *L'«enfance de la tragédie». Pratiques tragiques françaises de Hardy à Corneille*. P.: Presses de l'université Paris-Sorbonne, 2014. 310 p.

Louvat-Molozay B. *La tragédie de Rotrou au carrefour des genres dramatiques // Littératures classiques*. 2007. № 2. P. 61–70.

Macé St., Vialleton J.-I. *Rotrou, dramaturge de l'ingéniosité*. P.: PUF, 2007. 154 p.

Morel J. *Rotrou dramaturge de l'ambiguïté*. P.: Klincksieck, 2005. 368 p.

Mortgat-Longuet Em. *Images de Rotrou dans l'historiographie du théâtre français (1674–1750) // Littératures classiques*. 2007. № 2. P. 285–300.

Rotrou J. de. *Théâtre complet*. T. 4. P.: Classiques Garnier, 1999. 397 p.

Vuillemin J.-Cl. *Baroquisme et théâtralité. Le théâtre de Jean Rotrou*. Tübingen: G. Narr, 1994. 341 p.

Vuillemin J.-Cl. *Reception critique d'une dramaturgie baroque. Le théâtre de Rotrou // Revue d'Histoire du Théâtre*. 1990. № 3. P. 242–259.

References

Baby H. *La tragi-comédie de Corneille à Quinault [The Tragicomedy of Corneille in Quinault]*. Paris, Klincksieck, 2001. 306 p. (In Fr.)

Berregard S. *La mixité des genres dramatiques dans le théâtre de Rotrou [The mix of dramatic genres in the Rotrou's theater]*. *Littératures classiques* [Classical Literature], 2007, issue 2, pp. 97–106. (In Fr.)

Cavaillé F. *Alexandre Hardy et le théâtre de ville français au début du XVII-e siècle [Alexandre Hardy and the French City Theater at the Beginning of the 17th Century]*. Paris, Classique Garnier, 2016. 489 p. (In Fr.)

Federic C. *Réalisme et dramaturgie. Étude de quatre écrivains: Garnier, Hardy, Rotrou, Corneille*

[Realism and Dramaturgy. The Study of Four Writers: Garnier, Hardy, Rotrou, Corneille]. Paris, Nizet, 1974. 276 p. (In Fr.)

Forestier G. *Politique et tragédie chez Corneille, ou de la 'broderie' [Politics and tragedy in Corneille, or 'broderie']*. *Littératures classiques* [Classical Literature], 1998, issue 32, pp. 63–74. (In Fr.)

Garapon R. *Rotrou et Corneille [Rotrou and Corneille]*. *Revue d'Histoire littéraire de la France* [Journal of Literary History of France], 1950, issue 3, pp. 385–394. (In Fr.)

Hubert J. *Le réelle et l'illusoire dans le théâtre de Corneille et de Rotrou [The real and the illusory in the theater of Corneille and Rotrou]*. *Revue des Sciences Humaines* [Journal of Humanities], 1958, issue 4, pp. 333–350. (In Fr.)

Louvat-Molozay B. *L'«enfance de la tragédie». Pratiques tragiques françaises de Hardy à Corneille [The 'childhood of tragedy'. French tragic practices from Hardy to Corneille]*. Paris, Presses de l'université Paris-Sorbonne, 2014. 310 p. (In Fr.)

Louvat-Molozay B. *La tragédie de Rotrou au carrefour des genres dramatiques [The tragedy of Rotrou at the crossroads of dramatic genres]*. *Littératures classiques*. [Classical Literature], 2007, issue 2, pp. 61–70. (In Fr.)

Macé St., Vialleton J.-I. *Rotrou, dramaturge de l'ingéniosité [Rotrou, Playwright of Ingenuity]*. Paris, PUF, 2007. 154 p. (In Fr.)

Morel J. *Rotrou dramaturge de l'ambiguïté [Rotrou's Playwright of Ambiguity]*. Paris, Klincksieck, 2005. 368 p. (In Fr.)

Mortgat-Longuet Em. *Images de Rotrou dans l'historiographie du théâtre français (1674–1750) [Images of Rotrou in the Historiography of French Theater (1674–1750)]*. *Littératures classiques* [Classical Literature], 2007, issue 2, pp. 285–300. (In Fr.)

Rotrou J. de. *Théâtre complet [Complete Plays]*. Paris, Classiques Garnier, 1999, vol. 4. 397 p. (In Fr.)

Vuillemin J.-Cl. *Baroquisme et théâtralité. Le théâtre de Jean Rotrou [Baroquism and Theatricality. Jean Rotrou's Theater]*. Tübingen, G. Narr, 1994. 341 p. (In Fr.)

Vuillemin J.-Cl. *Reception critique d'une dramaturgie baroque. Le théâtre de Rotrou [Critical reception of baroque dramaturgy. The Rotrou's theater]*. *Revue d'Histoire du Théâtre* [Theater History Review], 1990, issue 3, pp. 242–259. (In Fr.)

‘Crisante’ (1639) by J. de Rotrou, a Play Based on a Historical Plot: The Search for a New Tragedy

Larisa A. Simonova

Senior Researcher

A. S. Pushkin Library

9, Spartakovskaya st., Moscow, 105066, Russian Federation. mouette37@yandex.ru

SPIN-code: 1540-6320

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7019-0215>

Submitted 01 Nov 2023

Revised 29 Nov 2023

Accepted 05 Feb 2024

For citation

Simonova L. A. P'esa na istoricheskiy syuzhet «Krizanta» (1639) Zh. de Rotru: poisk novoy tragediynosti ['Crisante' (1639) by J. de Rotrou, a Play Based on a Historical Plot: The Search for a New Tragedy]. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2024, vol. 16, issue 3, pp. 158–168. doi 10.17072/2073-6681-2024-3-158-168 (In Russ.)

Abstract. The article deals with the features of the tragic conflict and the nature of the construction of the discursive-rhetorical structure of *Crisante*, Rotrou's first play on a historical plot, while determining the place of this play in the genesis of the French classic tragedy. The main problem is identifying the paradigm of dramatic thinking of classicism, which is understood as the principle of building a conflict picture of the historical world in the tragedy. The structural-semiotic approach is used in the study as the major one: it helps trace the functioning of the sign-semantic structure, the organizing role in which belongs to the absolute meaning – Power (associated with the figure of the ruler, the image of the state, political interest, laws, behavior being determined by official roles, etc.). Despite the archaic features, primarily related to the understanding of the tragic as terrible, bloody (violence, a series of suicides), Rotrou, through turning to the historical theme and highlighting the contradiction between the rational system of the general and individual arbitrariness, raises political issues, thereby opening the way to Corneille's theater. Among the authors writing for the theater of the first half of the 17th century, Rotrou was one of the first to discover the productivity of dramatizing the problem of power due to the semantically activated image of Rome as an example of ideal statehood and a person included in this order and comprehending himself in relation to it, as well as to make the problem of the 'Roman' the driver of a dramatic statement. The crime caused by passion and the retribution for it discursively and rhetorically unfold as the undermining and as subsequent restoration of a reasonably justified order. However, Rotrou could not extend this new principle of tragic conflict to the entire action of the play: the figure of Antiochus, the king of Corinth (acts IV and V), falls out of the historical and political context, explicitly contradicts the heroic semantics of the first three acts, so the finale affirms the triumph of violence, cruelty, and arbitrariness. Rotrou returns to the individual tragedy of passions, determined by the influence of the aesthetics of the 16th-century theater, which assigns everyone the role of victim or executioner. All this indicates the impossibility for Rotrou to create a political tragedy without the influence of Corneille.

Key words: tragedy; classicism; historical plot; tragic; Rome.

УДК 821.161.1(091)(09)
doi 10.17072/2073-6681-2024-3-169-178
<https://elibrary.ru/yyhfft>

EDN YYHFTT



«Слово Даниила Заточника»: проблемы изучения и пути их решения

Сыромятников Олег Иванович

д. филол. н., профессор кафедры русской литературы

Пермский государственный национальный исследовательский университет

614068, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15. pani_perm@list.ru

SPIN-код: 9651-1120

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4826-3857>

Статья поступила в редакцию 01.04.2024

Одобрена после рецензирования 05.09.2024

Принята к публикации 07.09.2024

Информация для цитирования

Сыромятников О. И. «Слово Даниила Заточника»: проблемы изучения и пути их решения // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2024. Т. 16, вып. 3. С. 169–178. doi 10.17072/2073-6681-2024-3-169-178

Аннотация. В статье исследуются основные проблемы изучения памятника русской литературы конца XII – начала XIII века – «Слова Даниила Заточника». Его следует отличать от близкого по содержанию «Моления Даниила Заточника», которое принято считать поздней переработкой «Слова». Вплоть до XVI в. оба памятника пользовались большой популярностью и были распространены во множестве списков.

Изучение «Слова» началось в XIX в., и тогда же был выявлен ряд проблем: невозможно однозначно установить, где и когда оно написано, кем были его автор и адресат. Важную проблему образуют многочисленные смысловые противоречия, при которых одно суждение отменяется другим. Принято считать, что причиной этих противоречий являются поздние вставки в первоначальный текст. Неизвестно, кем, когда и зачем они делались, однако благодаря им есть все основания говорить о том, что у известного нам варианта «Слова» был не один, а минимум два автора – первый написал послание князю, а второй его отредактировал. Особую проблему образует нехарактерное для эпохи «Слова» совмещение цитат из Священного Писания с фольклорными элементами и открытое противопоставление некоторых идей автора христианскому учению.

По мнению автора статьи, вставки имели комментирующий характер и делались с целью подчеркнуть такие черты автора протографа «Слова», как гордость, тщеславие и рационализм. При этом редактор протографа относился к его автору не как к частному лицу, а как к представителю зарождающегося духовно-нравственного типа, существенно отличающегося от норм христианской жизни. Для решения выявленных проблем автор статьи предлагает использовать ресурсы фидеистического литературоведения, что позволит рассмотреть «Слово» в религиозно-социальном аспекте, а также проследить его связи с другими памятниками литературы указанного периода.

Ключевые слова: русская литература XII–XIII вв.; «Слово/Моление Даниила Заточника»; Священное Писание; фидеистическое литературоведение; проблема автора; духовно-нравственный тип.

«Слово Даниила Заточника» является одним из самых сложных для изучения памятников древнерусской литературы как в силу своей уникальности, так и по причине отсутствия сведений, указывающих на его автора, адресата, время и место создания. Еще больше проблем создает множество ярких, бросающихся в глаза противоречий, относящихся и к форме, и к содержанию «Слова». Достоверно известно лишь то, что это произведение домонгольского периода, распространенное на Руси с XIII по XVI в. во множестве списков. Они имели разные названия («Слово», «Моление», «Послание», «Написание»), в которых иногда упоминалось имя некоего «Даниила». Наиболее известны «Слово», адресованное, предположительно, новгородскому князю Ярославу Владимировичу (кн. с 1182 по 1199 г.), и «Моление», адресованное, также предположительно, переяславскому князю Ярославу Всеволодовичу (кн. с 1213 по 1236 г.)» [О, Русская земля! 1982: 336]. Их содержание различается настолько, что позволяет одним исследователям относиться к «Слову» и к «Молению» как к двум редакциям одного текста [Обнорский 1946: 125–129], а другим – утверждать, что они принадлежат «различным авторам и различным эпохам» [Тихомиров 1968: 163]. По словам Л. В. Соколовой, «спорным является также вопрос о взаимоотношении и датировке “Слова” и “Моления”. Одни ученые считают первичным “Слово”, датируя его XII в., другие – “Моление”, датируя его XIII в.» [Соколова 1997: 635]. Таким образом, «несмотря на обширную литературу с аргументацией обеих точек зрения, вопрос, что первично – “Слово” или “Моление”, остается открытым. Решение этого вопроса затрудняется тем, что все списки произведения (в настоящее время их известно 19) сильно варьируют текст памятника: каждый переписчик вносил в переписываемый текст свои изменения и дополнения» [История... 1985: 137].

О большой популярности «Слова» говорит то, замечают исследователи, что «некоторые афоризмы Заточника вошли в древнерусскую книжность, в частности, в сборники сентений, известные под названием “Пчела”. Само “Моление” помещалось нередко в сборники учительного характера наряду с творениями признанных авторитетов» [Громов, Козлов 1990: 90]. Отражения этого произведения можно найти и в летописании последующих веков. Так, в Троицкой летописи XV в., в Московском летописном своде конца XV в., а также в Никоновской и Семеновской летописях XVI в. говорится о священнике, которого сослали в заточение на озеро Лача, «идѣ же бѣ Данило Заточеникъ» [Московский летописный свод 1949: 200]. А. Н. Ужанков за-

мечает, что в Семеновском летописце под 1379 г. содержится цитата из «Слова»: «Добро есть надеяться на Бога, нежели надеяться на князя» [Ужанков 2024]. По мнению Д. С. Лихачева, «упоминание имени Даниила в летописи восходит к “Слову” или “Молению” и свидетельствует лишь о популярности данного произведения в Др. Руси» [История... 1985: 137]. А. Н. Ужанков указывает также, что Даниил Заточник был известен и в народных преданиях под именем «Даниила Бесчастного», не заслужившего у князя «ни хлеба мягкого, ни слова сладкого» [Ужанков 2024].

Полагаем, широкая известность «Слова» была обусловлена не только яркой образностью и эмоциональностью языка, его близостью к живой народной речи, но и проблематикой – поднимаемые в нем вопросы были близки и понятны многим читателям XIII–XVI вв. Народное сознание этого времени было христианским, православным, следовательно, и письменность, порожденная этим сознанием, была христианской по содержанию, то есть выражала идеи и образы христианства понятным читателю языком. Об основной цели христианской письменности ясно сказал митр. Иларион Киевский: «...како въ челоуѣцѣхъ сихъ ново познавшихъ Господа законъ уставити» [Слово о законе и благодати 1997: 48] – то есть научить людей, принявших крещение, жить по-христиански.

Это создает важную методологическую проблему – исследователь подобных артефактов должен знать христианское вероучение и владеть навыками исследования христианской литературы, основанными на экзегетических принципах изучения текстов Священного Писания и святоотеческой письменности. Речь идет о синергичном взаимодействии филологических и богословских ресурсов изучения текста – фидеистического (а применительно к нашей теме – православного) литературоведения¹.

Для современного исследователя проблемой является и то, что в текстах домонгольского периода слова не отделялись друг от друга пробелами, а церковнославянская лексика (имена Бога, Христа, Богородицы, ангелов и замещающие их местоимения) не выделялась прописными буквами. Не было и деления на абзацы (строфы), как это сделано в поздних списках и переводах «Слова», когда переводчик по собственному разумению определял семантические границы тех или иных фрагментов текста.

И наконец, важнейшую проблему создает характерная особенность «Слова», выделяющая его среди других памятников древнерусской письменности, – огромное количество противоречий, относящихся к содержанию: логических и идей-

ных, мягких и антагонистичных. Не имея возможности проанализировать каждое из них, остановимся лишь на наиболее ярких, имеющих, на наш взгляд, явно демонстративный характер.

Первое противоречие связано с видимой (внешней) идеей «Слова»: некто, названный в заглавии Даниилом, обращается к некоему князю с просьбой избавить его от нищеты, однако не называет себя по имени, не определяет своего социального статуса и места жительства, не сообщает о причинах своего бедственного положения и никак не конкретизирует свою просьбу, по форме напоминающую не столько обычную челобитную холопа князю, сколько молитву (отсюда и название некоторых списков – «Моление»): «Помилуй мя, сыне великаго царя Владимира», «Княже мой, господине! Избави мя от нищеты сея» (Слово...: 272) и т. д. Для достижения своей цели Даниил нередко прибегает к открытой, грубой лести: «Княже мой, господине! Яви ми зракъ лица своего, Яко гласъ твой сладокъ, и образ твой красенъ; Мед истачають устнѣ твои, и послание твое – аки рай с плодом» (Слово...: 274) и т. д. И вдруг после этого заявляет: «Не имѣй собѣ двора близъ царева двора И не дрѣжи села близъ княжа села: Тивунъ бо его – аки огонь, трепетицею накладенъ, И рядовичи его – аки искры. Аще от огня устережешися, Но от искоръ не можеша устережися. И сождения портъ» (там же: 276).

Несомненно, что подобный пассаж мог лишь разгневать князя, который сразу узнал в словах Даниила то, что постоянно слышал во время богослужений в храме – слова из 143-го псалма, поющиеся на втором антифоне литургии св. Иоанна Златоуста: «Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения» (Пс. 143,3). Еще большее его раздражение должен был вызвать следующий совет Даниила: «...княже, не въздержи злата, ни сребра, Но раздавай людям» (Слово...: 274), ведь если бы он воспользовался этим советом, то поменялся бы с Даниилом местами, став нищим. Так возникает противоречие, неоднократно отмеченное исследователями: Даниил относится к князю, от которого, казалось бы, зависит его будущее, без какого-либо уважения, а порой и снисходительно-небрежно, явно считая его глупее себя. Очевидно, что подобным образом Даниил не только не смог бы решить своих проблем, но еще больше усугубил бы их.

Учитывая религиозный характер эпохи, в которой создавалось «Слово», остановимся более подробно на противоречиях, касающихся христианской идеологии. Д. С. Лихачев пишет: «Слово “господин” заменило “Господа” псалмов здесь (в зачале. – О. С.) и во многих других слу-

чаях в “Молении” Даниила: “Тем, господине, приклони ухо твое во глаголы уст моих и от всех скорбей моих избави мя”, “Княже мой, господине! Не возри на внешняя моя, но возри внутреняя моя”. Даниил пародирует даже слова разбойника ко Христу. Он пишет: “Княже мой, господине! Помяни мя во княжении своем”. Церковное значение слова “раб” (в смысле “раб Божий”) Даниил обращает в буквальное юридическое понятие “раба” – холопа. Он пишет: “Яко аз раб твой и сын рабы твоя”, переиначивая слова псалма 65, стих 7: “О господи, аз раб Твой, и сын рабыни Твоея”. Библейские образы постоянно употребляются Даниилом всё с тем же оттенком легкой пародии» [Лихачев 1979: 253].

Обратим внимание еще на один весьма значимый фрагмент. Даниил пишет: «Мнози бо дружатся со мною, погнѣтающе руку со мною в солило, А при напасти аки врази обрѣтаются И паки помагающе подразити нози мои; Очима бо плачются со мною, а сердцемъ смѣются ми ся» (Слово...: 270). Эти слова являются явной аллюзией к евангельскому сюжету о Тайной вечере: «Когда же настал вечер, Он возлег с двенадцатью учениками; и когда они ели, сказал: истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня. Они весьма опечалились, и начали говорить Ему, каждый из них: не я ли, Господи? Он же сказал в ответ: опустивший со Мною руку в блюдо, этот предаст Меня» (Мф. 26:20-23). С точки зрения христианского вероучения подобное неправомерное сближение является абсолютно недопустимым.

Христианство считает всех людей (без различия национальности, возраста и социального статуса) детьми одного Небесного Отца, поэтому сам Христос, апостолы и христиане всех последующих веков называли и называют друг друга братьями. Они помнят главный завет своего Учителя: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22:37-39). Однако Даниил провозглашает нечто прямо противоположное: «Не ими другу вѣры, ни надѣйся на брата» («Слово...: 270), а затем нарушает еще одну важнейшую заповедь Христа, сказавшего: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такую и вам будут мерить» (Мф. 7:1-2). Даниил же не просто осуждает своих ближних, а желает им зла и даже проклинает: «Аще который муж смотреть на красоту жены своея и на ея ласковая словеса и льстива, а дѣлѣ ея не испытаетъ, то дай Богъ ему трясцею болѣти, да будетъ проклят» (Слово...: 280).

Говоря об искажениях в «Слове» текстов Священного Писания, Н. Н. Бедина пишет: «В книжной культуре Древней Руси сакральные тексты <...> не были неприкосновенны, однако все изменения, вносимые древнерусскими книжниками в лексическую или стилистическую ткань оригинала, ни в коей мере не касались его смыслового уровня. В “Слове...” же содержание оригинала цитирования (в цитатах как абсолютных, так и неточных) диаметрально противоположно содержанию произведения псевдо-Даниила» [Бедина 2019: 103]. Более того, замечает А. Н. Василенко, в тексте «происходит своеобразная подмена смысла, образов», подтверждением чего «являются и многочисленные прямые сравнения князя с Творцом: “Возри на птица небесная, Яко тии не орють, ни съють, но уповают на милость Божию; Тако и мы, господине, желаем милости твоея”. <...> Дар князя Даниила сопоставляет с “плодом райским”. Особенно очевидным сравнением является переложение 41-го псалма Давида: “Имже образом желает елень источника водного: сице желает душа моя к Тебе, Боже” (Пс.: 41), который у Даниила Заточника звучит как “Токмо аз един жадаю милости твоея, аки елень источника водного”» [Василенко 2011: 6]. Подобные примеры можно продолжать и далее. В своей совокупности они обнаруживают религиозный нигилизм Даниила, приспособляющего идеи и образы Священного Писания к своим целям.

Яркие, бросающиеся в глаза противоречия привлекали внимание и требовали объяснений, в поисках которых исследователи обращались к личности автора «Слова». Основные подходы к ее пониманию еще в 1932 г. собрал Н. Н. Зарубин [Зарубин 1932: II]. Обобщая их и новые научные данные, Д. С. Лихачев писал: «Неясна <...> и сама личность Даниила: одни из исследователей считают его дворянином, другие – дружинником князя, третьи – холопом, четвертые – ремесленником. Говорилось и о том, что Даниил вообще не имел устойчивого социального положения» [Лихачев 1980: 688]. Сегодня к этим вариантам можно добавить и другие: Даниил был «членом младшей княжеской дружины» [Модестов 1880: 178]; сыном княжеской рабыни, вероятно, дворянином, удаленным от князя [Буслаев 1861: 94]; «вором» [Шевырев 1846: 213]; мастером золотых и серебряных дел [Тихомиров 1954: 19]; «мелким землевладельцем, разоренным княжескими рядовичами» [Рыбаков 1984: 159]; «струсившим во время битвы воином» [Гуссов 1949: 413]; «любимым княжеским шутком – скоморохом» [Воронин 1967: 71] или «только учился у скоморохов, на сам скоморохом не был» [Лихачев 1954: 118], «принадлежал к младшей

княжеской дружине или был членом княжеской канцелярии» [Семенюк 2015: 18] и т. д. По словам Д. С. Лихачева, «не решен вопрос и о том, был ли Даниил заключен, был ли Даниил один или было двое Даниилов; наконец, есть и такая точка зрения, что за произведением этим вообще нет реальной основы, что Даниил – это чисто литературный образ» [Лихачев 1980: 688]. Говорится также, что «неясно и само слово “заточник”: оно может иметь значение и “заключенный” и “заложившийся”» [История... 1985: 137].

Многие исследователи склоняются к мысли о том, что причиной появления указанных противоречий являются поздние вставки и «редакторские» правки протографа «Слова». Так, Л. В. Соколова утверждает, что «Даниил Заточник создавал свое произведение по всем правилам эпистолярного жанра», тщательно продумывая композицию и все элементы текста [Соколова 1993: 231]. По ее словам, «в дошедшем до нас виде “Слова” первоначальный текст, как это часто бывало в рукописной традиции, значительно расширен позднейшими вставками... <...> В результате вставок была утрачена композиционная стройность и стилистическая однородность текста, нарушена его ритмико-строфическая организация, наряду с книжной лексикой появилась бытовая лексика “мирских притч”, скоморошин. Текст перестал быть посланием, превратившись в произведение другого жанра» [Соколова 1997: 635–636].

Вставки, вероятно, были², но важно понять, зачем (и тогда станет ясно – кем) они делались. М. О. Скрипиль видит причину их появления «в механической ошибке переписчика протографа списков “Слова”» [Скрипиль 1955: 80]. Однако так можно объяснить одну-две, но никак не *систему* противоречий, наличествующих в «Слове». Полагаем, следует согласиться с мыслью Н. Н. Бединой о том, что необходимо «говорить о сознательном *составлении* (курсив наш. – О. С.) текста “Слова”...» [Бедина 2019: 104]. Действительно, невозможно представить, чтобы вставки делались «просто так», безо всякой цели или для того, чтобы ухудшить, испортить первоначальный текст. Это было невозможно по ряду причин: во-первых, произведения древнерусской литературы не были актами самовыражения, а создавались по благословению епископа или князя. Во-вторых, для древнерусского книжника ложь, «открытый вымысел» был абсолютно недопустим [Лихачев 1986: 8]. В-третьих, материал для письма стоил очень дорого, как дорого обходились переписчикам и допущенные ими ошибки. Скорее, можно предположить, что причиной поздних вставок было желание уточнить какие-либо упоминавшиеся в первоначальном тексте

события на основании новых сведений о них, а также выразить свое отношение к ним.

Очевидно одно – нагромождение противоречий, некоторые из которых имеют явно демонстративный, привлекающий внимание характер, лишает обращение Даниила к князю какого-либо смысла и указывает на существование в окончательном тексте «Слова» некой внутренней идеи, намеренно привнесенной в него неизвестным «редактором». Впервые об этом зашла речь, указывает М. О. Скрипиль, в исследованиях конца XIX в., когда «складывается мнение о произведении Даниила не как о личном “послании” или “молении”, а как о литературном произведении, автор которого высказал определенные взгляды...» [Скрипиль 1955: 92]. О существовании в этом произведении «второй семантики» (Хализев) говорили и другие исследователи. Так, по словам Л. В. Соколовой, «чтобы в полном объеме уяснить содержание сочинения Даниила Заточника, необходимо не только выявить второй, скрытый смысл цитат, имеющий непосредственное отношение к судьбе Даниила, но также раскрыть смысл иносказательных метафоро-символических выражений» [Соколова 1993: 231].

По нашему мнению, само наличие вставок дает основание говорить о том, что у этого произведения было минимум два автора – один написал послание к князю, а другой сопровождал его своими комментариями (вставками) и придавал законченную художественную форму. Л. В. Соколова замечает, что подобные «фиктивные, литературные письма не были редкостью» в Византии [там же: 241]. Более того, утверждают Х. Бирнбаум и Р. Романчук, «если снять весь слой цитат (допускаем, что здесь есть и до сих пор неизвестные источники), возможно, что никакой “литературной личности” и не осталось бы». Исследователи полагают, что «Даниила» – «фиктивное имя» [Бирнбаум, Романчук 1996: 584, 593], однако, на наш взгляд, более правильно считать его нарицательным, не называющим конкретного человека, а обозначающим представителя определенного духовно-нравственного типа.

Единое православное мировоззрение позволило переписчикам «Слова» сохранить идею, привнесенную в него неизвестным «редактором»³, придавая ей актуальность и злободневность в соответствии с новыми историческими реалиями путем частичного изменения формы. Д. С. Лихачев писал об этом: «“Моление” не только читалось и переписывалось – оно постоянно перерабатывалось, дополнялось, из него делались выборки, оно жило, творилось в течение ряда веков. При этом удивительно следующее: всякий из его соавторов умел попадать в стиль “Моления” и не расходиться с его идеологией. Вновь

дописанное или переработанное почти не отличалось по своему характеру от основной части, точно стиль, в котором было написано “Моление”, был хорошо знаком всем, кто так или иначе „вмешивался” в работу автора этого произведения. “Моление” ценилось и за свою идейную направленность, и за свой стиль. Во всех редакциях оно оставалось тем же самым, отличалось выработанностью, устойчивостью формы. При чтении “Моления” остается такое ощущение, точно оно написано в хорошо знакомой в Древней Руси манере, продолжает какую-то традицию, тесно связанную с русской жизнью. Безвестные соавторы и “редакторы” “Моления” отлично ощущали тот стиль, ту манеру, ту идейную направленность, в которой было оно написано, ценили их и стремились их не нарушить» [Лихачев 1954: 106]. С этим согласен и современный исследователь, утверждающий, что в Средневековье «архаическое творчество зиждется на традиции, каноне, прецеденте, поэтике “готового слова”, а ретроспективная историческая аналогия – один из важнейших принципов культуры эпохи. Словом, закономерное тут почти не оставляет места случайному» [Пауткин 2014: 57]. Понять «традицию», «идейную направленность», «идеологию» литературного произведения – важнейшая задача филологического исследования, но решить ее можно, лишь глубоко погрузившись в религиозный и социальный контекст эпохи его создания.

Необходимо обратить внимание на некоторые особенности формы «Слова». Его композиция традиционна для многих памятников древнерусской литературы: *зачало* и *завершение*, принадлежащие настоящему автору, а также *основная часть*, состоящая из оригинального послания Даниила и позднейших вставок. Все элементы текста выверены и «работают» на максимально полное раскрытие идеи настоящего автора, но основное значение имеет *зачало*. По словам М. О. Скрипиля, оно «является ключом ко всему “Слову”». <...> Через авторскую самохарактеристику, данную в нем, мы проникаем во внутренний мир писателя...» [Скрипиль 1955: 80]. *Зачало* состоит из нескольких частей, выражающих наиболее важные для автора мысли. В первой части он определяет свою методологию и тем самым действительно дает читателю ключ к пониманию всего, сказанного ниже: «Въструбимъ, яко во златокovanja трубы, в разумъ ума своего И начнемъ бити в сребренныя органы возвития мудрости своеа» (Слово...: 268).

Настоящий автор призывает читателей («въструбимъ») использовать *разум* как средство деятельности *ума*, привлекая для этого все достижения («возвития») своей *мудрости*. Заме-

тим, что семантическое разделение этих интеллектуальных понятий было существенным для русской литературы вплоть до конца XIX в. В словаре В. И. Даля читаем: «Разум – духовная сила, могущая помнить (постигать, познавать), судить (соображать, применять, сравнивать) и заключать (решать, выводить следствие); способность верного последовательного сцепления мыслей, от причины, следствий ее и до цели, конца. <...> Дух человека двуполовинчат: *ум* и *воля*; *ум* – самое общее, а в первом значении самое высокое значение первой половины духа, способное к отвлеченным понятиям; *разум*, которому можно подчинить: понимание, память, соображение, рассудок, разумение, суждение, заключение и пр. ближе подходит к *смыслу*, *рассудку*, применяясь к обиходному и насущному» [Даль 1996. Т. IV: 53]. Под мудростью там же понимается «соединение истины и блага, высшая правда, слияние любви и истины, высшее состояние умственного и нравственного совершенства» [Даль 1996. Т. II: 355]. Это значит, что «Слово» отнюдь не является шуточным, скоморошеским, развлекательным произведением. Напротив, оно представляет собой интеллектуальное сочинение, требующее от читателей немалых мыслительных усилий.

Далее настоящий автор предупреждает, что будет выражать свои мысли не прямо, а особым образом: «Да разверзу въ притчах гадания моя» (Слово...: 268). Подобный способ изложения использовался в Священном Писании, христианской литературе и фольклоре в тех случаях, когда автору было необходимо провести свою мысль через эстетическую сферу личности реципиента, чтобы заставить его прочувствовать, пережить ее. В результате мысль принимала форму яркого эмоционального образа, который легко ассимилировался сознанием и воспринимался уже почти как свой собственный.

Призыв «вострубим в трубы» и «начнем бить в органы (то есть в инструменты. – О. С.)» напоминает тревогу, набат. «Этим началом, – пишет Д. С. Лихачев, – автор как бы зазывает к себе слушателей – именно слушателей, так как в его произведении отчетливо чувствуется непосредственное к ним обращение» [Лихачев 1979: 247]. Более того, по наблюдению Х. Бирнбаума и Р. Романчука, «автор на самом деле обращается к группе людей, к которой и сам принадлежит» [Бирнбаум, Романчук 1996: 579], то есть к христианам, и потому обращался к хорошо знакомым им идеям и образам Священного Писания. Он хочет обратить внимание христианского сообщества на какую-то насущную проблему, призывая привлечь для ее решения не только средства *разума* и *ума*, но всё богатство духовной

мудрости. А поскольку, замечает А. А. Пауткин, «всякая последовательность творческих актов в средние века не личностна, а корпоративна» [Пауткин 2014: 57], то автор старается мобилизовать и весь свой талант: «Въстани, слава моя, въстани въ псалтыри и в гуслех!» (Слово...: 268).

Древнерусский книжник и вообще любой христианин относился к таланту не как к своей собственности, а как к поручению Бога, которое нужно исполнить наилучшим образом. Настоящий автор знает, что у него есть талант: «Бысть языкъ мой – трость книжника-скорописца, И увѣтлива уста, аки рѣчная быстрость» (Слово...: 268). Поэтому он решается сказать о давно наболевшем «и навсегда освободиться от того, что тяготит и гнетет его» [Соколова 1997: 636]. Для этого он использует известный образ из 136-го псалма: «Сего ради покушахся написати всякъ съузъ сердца моего И разбих злѣ, аки древняя – младенца о камень» (Слово...: 268). По этому поводу М. О. Скрипиль замечает: «...автора побудило написать “Слово” твердое желание освободиться от чувств и мыслей, волновавших его, <...> внутреннее побуждение, определенный строй идей и чувств». Самое главное для него «в том, чтобы отстоять волнующие его мысли...», потому что он «хотел написать обо всем том, что стесняло, отягощало его сердце...» [Скрипиль 1955: 77, 78, 80].

О том, что им двигал не какой-то личный мотив, а общественная необходимость, говорит один из вариантов позднейшей редакции: «Въструбимъ <...>, да въсплещем вас, душеполезныя помыслы»⁴. На духовный характер поднимаемой проблемы указывает то, что автор решительно становится рядом с царем Давидом, и, подобно тому, как тот обращался к Богу под звучание Псалтири в руках, берет в руки гусли: «Востану рано, исповѣмъ Ти ся» (Слово...: 268). Настоящий автор намекает, что поднимаемая им проблема касается не только русского, но и других христианских народов: «И провѣщаю въ языцѣх славу мою» (там же).

Однако, начиная работу, он всё же не уверен, что сможет исполнить ее достаточно хорошо: «Но боюся, Господине, похуления Твоего на мя» (Слово...: 268). Это опасение связано с трудностью, с которой сталкиваются все писатели, решающиеся говорить о духовных явлениях или предметах, – в обычном человеческом языке нет средств для их описания. Пожалуй, одним из первых об этом сказал ап. Павел: «Знаю человека во Христе, который назад тому четырнадцать лет (в теле ли – не знаю, вне ли тела – не знаю: Бог знает) восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке (только не знаю – в теле, или вне тела: Бог знает), что он был восхищен в рай и

слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать» (2 Кор. 12:2-4). По мнению А. М. Камчатнова, «мир в сознании древнерусского автора раздваивается: одна его сторона видима (воплощена), другая невидима (безобразна). Невидимый мир также двупостасен. На первом уровне находится то, что можно “отвлечь” и “схватить” при помощи мысли и выразить в понятии. Ко второму, высочайшему, относятся сущности потаенные. Ими наш ум не в силах овладеть. Смысл их не созерцается, а прозревается, угадывается в символах» [Камчатнов 1995: 39]. Кроме придания обычным речевым средствам символического значения есть и другой путь – использование приточного, иносказательного языка. Его и избрал настоящий автор «Слова».

Несомненно, что перед началом работы он исполнил всё, что требовалось христианской традицией, – попостился, исповедался, причастился и получил благословение. Однако ему кажется, что он еще не достиг необходимого для работы духовного состояния: «Азъ бо есмь аки она смоковница проклятая: Не имѣю плода покаянiю» (Слово...: 268). Поэтому он продолжает каяться, обращаясь к небесному Владыке: «Имѣю бо сердце – аки лице безъ очию, И бысть умъ мой – аки ночный вранъ на нырищи. Забдѣх – и распысая животь мой, аки ханаонскыи царь, буестию; И покры мя нишета, аки Чермное море фараона» (там же). В смиренном осознании своего недостойнства настоящий автор в какой-то момент даже готов отказаться от задуманного: «Се же бѣ написах, бѣжа от лица художества⁵ моего, Аки Агарь рабыни от Сарры, госпожа своя» (там же). Но в конце концов он всё же решается начать работу, обратившись за духовной помощью к Господу: «Но видих, Господине, Твое добросердие к собѣ И притекох къ обычной Твоей любви. Глаголетъ бо въ Писании: Просящему у тебе дай, толкущему отверзи, Да не лишень будещи Царствия Небеснаго» (Слово...: 268, 270). Упованием на помощь Бога и оканчивается зачало: «Писано бо есть: Возверзи на Господа печаль свою, И Той тя препитаеть въ вѣки» (Слово...: 270).

Главный вопрос, на который следует найти ответ, – какая «печаль», долгое время остававшаяся «узами сердца», заставила автора взяться за его труд. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо: во-первых, погрузиться в религиозный и социальный контекст эпохи создания «Слова»; во-вторых, увидеть интертекстуальные связи этого произведения с другими памятниками древнерусской словесности; в-третьих, следуя характеру вставок, определить их цель; в-четвертых, на основании текста и данных, полученных на предварительных этапах исследования,

предпринять литературно-историческую реконструкцию, позволяющую в целостности представить цель и процесс создания окончательного текста «Слова».

Примечания

¹ Его основные принципы изложены нами в работе: [Сыромятников 2022: 383–420].

² Л. В. Соколова обнаружила «девять вставок в <...> первоначальный текст» [Соколова 1993: 242]. На наш взгляд, их намного больше.

³ В дальнейшем мы будем называть его «настоящим автором».

⁴ Цит. по: [Бирнбаум, Романчук 1996: 580].

⁵ Это слово переводчики переводят по-разному: Д. С. Лихачев: «бедность», Л. В. Соколова: «убожество», А. Н. Ужанков: «проступок». Мы присоединяемся к мнению М. О. Скрипиля, утверждающего, что «...здесь речь идет об его л и т е р а т у р н о м труде, – его “художестве”» [Скрипиль 1955: 79].

Список источников

Слово Даниила Заточника // Библиотека литературы Древней Руси. СПб.: Наука. 1997. Т. 4. С. 268–284.

Список литературы

Бедина Н. Н. Книжная пародия как факт средневековой культуры («Слово Даниила Заточника») // Культура и цивилизация. 2019. Т. 9, № 1-1. С. 99–109.

Бирнбаум Х., Романчук Р. Кем был загадочный Даниил Заточник? (К вопросу о культуре чтения в Древней Руси) // Труды Отдела древнерусской литературы / Российская академия наук. Ин-т рус. литературы (Пушкинский Дом). СПб.: Дмитрий Буланин, 1996. Т. 50. С. 576–602.

Буслаев Ф. И. Исторические очерки русской народной словесности и искусства: Т. 1–2 // Соч. Ф. Буслаева. СПб.: Д. Е. Кожанчиков, 1861. Т. 1. 643 с.

Василенко А. Н. Можно ли считать исповедью «Моление Даниила заточника?» // Вестник РУДН. Серия: Литературоведение. Журналистика. 2011. № 1. С. 5–9.

Воронин Н. Н. Даниил Заточник // Древнерусская литература и ее связи с Новым временем. Исследования и материалы по древнерусской литературе. М.: Наука, 1967. С. 54–101.

Громов М. Н., Козлов Н. С. Русская философская мысль X–XVII веков. М.: МГУ, 1990. 288 с.

Гуссов В. М. Историческая основа Моления Даниила Заточника // Труды Отдела древнерусской литературы / АН СССР. Ин-т рус. лит-ры (Пушкинский Дом). М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. Т. VII. С. 410–419.

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. СПб.: Диамант, 1996.

Зарубин Н. Н. Слово Даниила Заточника по редакциям XII и XIII вв. и их переделкам. Л.: Изд-во АН СССР, 1932. 201 с.

История русской литературы XI–XVII веков: учебник / под ред. Д. С. Лихачева. 2-е изд., дораб. М.: Просвещение, 1985. 432 с.

Камчатнов А. М. Лингвистическая герменевтика. М.: Прометей, 1995. 165 с.

Лихачев Д. С. Социальные основы стиля «Моления» Даниила Заточника // Труды Отдела древнерусской литературы / АН СССР. Ин-т рус. лит-ры (Пушкинский Дом). М.; Л., 1954. Т. X. С. 106–120.

Лихачев Д. С. «Моление» Даниила Заточника // Великое наследие. 2-е изд., доп. М.: Современник, 1979. С. 241–258.

Лихачев Д. С. Моление Даниила Заточника: комментарий // Памятники литературы Древней Руси. XII век. М.: Худ. лит., 1980. С. 688–690.

Лихачев Д. С. Литература Древней Руси // Изборник: Повести Древней Руси / Предисловие. М.: Худ. лит., 1986. С. 3–23.

Модестов Е. О послании Даниила Заточника // Журнал Министерства народного просвещения. 1880. Ч. 212, № 11. С. 165–196.

Московский летописный свод конца XV в. // Полное собрание русских летописей. М.; Л., 1949. Т. XXV. 464 с.

Обнорский С. П. Очерки по истории русского литературного языка старшего периода. М.; Л.: АН СССР, 1946. 199 с.

О, Русская земля! / сост., предисл. и примеч. В. А. Грихина. М.: Сов. Россия, 1982. 368 с.

Пауткин А. А. Древнерусская книжность: историко-литературные альтернативы // Stephanos. 2014. № 6(8). С. 55–60.

Рыбаков Б. А. Даниил Заточник и Владимирское летописание конца XII века // Из истории культуры Древней Руси М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. 240 с.

Семенюк О. О. Кто был загадочный Даниил Заточник? // Образование. Наука. Научные кадры. 2015. № 5. С. 18–21.

Скрипиль М. О. «Слово» Даниила Заточника // Труды Отдела древнерусской литературы / АН СССР. Ин-т рус. лит-ры (Пушкинский Дом). М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1955. Т. 11. С. 72–95.

Слово о законе и благодати митрополита Киевского Илариона // Библиотека литературы Древней Руси. СПб.: Наука, 1997. Т. 1. С. 26–62.

Соколова Л. В. К характеристике «Слова» Даниила Заточника (Реконструкция и интерпретация первоначального текста) // Труды Отдела древнерусской литературы. Изд-во Дмитрий Булавин. 1993. Т. 46. С. 229–255.

Соколова Л. В. Слово Даниила Заточника: Комментарий // Библиотека литературы Древней Руси. СПб.: Наука, 1997. Т. 4. С. 634–639.

Сыромятников О. И. «И слово плоть бысть...». Вопросы православной поэтики. СПб.: Алетейя, 2022. 436 с.

Тихомиров М. Н. «Написание» Даниила Заточника // Труды Отдела древнерусской литературы. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1954. Т. X. С. 269–280.

Тихомиров М. Н. Русская культура X–XIII веков. М.: Наука, 1968. 447 с.

Ужанков А. Н. Моление Даниила Заточника. URL: <https://predanie.ru/uzhankov-aleksandr-nikolaevich/lekci-po-istorii-russkoy-literatury-prochitannye-v-kulturno-prosvetitel'skom-centre-vo-imya-ioanna-zlatoust/slushat/?play=1&ysclid=lnbs4aotg8131290646> (дата обращения: 20.03.2024).

Шевырев С. История русской словесности. М., 1846. Т. I, ч. II. С. 210–213.

References

Bedina N. N. Knizhnaya parodiya kak fakt srednevekovoy kul'tury ('Slovo Daniila Zatochnika') [Book parody as a fact of medieval culture ('The Word of Daniil Zatochnik')]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 2019, vol. 9, issue 1-1, pp. 99–109. (In Russ.)

Birnbaum H., Romanchuk R. Kem byl zagadochnyy Daniil Zatochnik? (K voprosu o kul'ture chteniya v Drevney Rusi) [Who was the mysterious Daniil Zatochnik? (on the issue of reading culture in Ancient Rus)]. *Trudy Otdela drevnerusskoy literatury* [Works of the Department of Old Russian Literature]. St. Petersburg, Dmitriy Bulanin Publ., 1996, vol. 50, pp. 576–602. (In Russ.)

Buslaev F. I. Istoricheskie ocherki russkoy narodnoy slovesnosti i iskusstva. [Historical essays on Russian folk literature and art]. Vols. 1-2. *Sochine-niya F. Buslaeva* [Works by F. Buslaev]. St. Petersburg, D. E. Kozhanchikov Publ., 1861, vol. 1. 643 p. (In Russ.)

Vasilenko A. N. Mozhno li schitat' ispoved'yu 'Molenie Daniila zatochnika?' [Can Supplication by Daniel the Exile be considered the confession?]. *Vestnik RUDN, seriya Literaturovedenie. Zhurnalistsika* [RUDN Journal of Studies in Literature and Journalism], 2011, issue 1, pp. 5–9. (In Russ.)

Voronin N. N. Daniil Zatochnik. *Drevnerusskaya literatura i ee svyazi s Novym vremenem. Issledovaniya i materialy po drevnerusskoy literature* [Old Russian Literature and Its Connections with the New Time. Research and Materials on Old Russian Literature]. Moscow, Nauka Publ., 1967, pp. 54–101. (In Russ.)

Gromov M. N., Kozlov N. S. *Russkaya filosofskaya mysl' X–XVII vekov* [Russian Philosophical

Thought of the 10th–17th Centuries]. Moscow, Lomonosov Moscow State University Press, 1990. 288 p. (In Russ.)

Gussov V. M. Istoricheskaya osnova Moleniya Daniila Zatochnika [The historical basis of The Prayer of Daniil Zatochnik]. *Trudy Otdela drevnerusskoy literatury* [Works of the Department of Old Russian Literature]. Moscow, Leningrad, Academy of Sciences of the Soviet Union Publ., 1949, vol. VII, pp. 410–419. (In Russ.)

Dal V. I. *Tolkovyy slovar' zhivogo velikorusskogo yazyka* [Explanatory Dictionary of the Living Great Russian Language]: in 4 vols. St. Petersburg, Diamant Publ., 1996. (In Russ.)

Zarubin N. N. *Slovo Daniila Zatochnika po redaktsiyam XII i XIII vv. i ikh peredelkam* [The Word of Daniil Zatochnik According to Editions of the 12th and 13th Centuries and Their Alterations]. Leningrad, Academy of Sciences of the Soviet Union Publ., 1932. 201 p. (In Russ.)

Istoriya russkoy literatury XI–XVII vekov [The History of Russian Literature of the 11th–17th Centuries]. Ed. by D. S. Likhachev. 2nd rev. ed. Moscow, Prosveshchenie Publ., 1985. 432 p. (In Russ.)

Kamchatnov A. M. *Lingvisticheskaya germenevtika* [Linguistic Hermeneutics]. Moscow, Prometey Publ., 1995. 165 p. (In Russ.)

Likhachev D. S. Sotsial'nye osnovy stilya 'Moleniya' Daniila Zatochnika [Social foundations of the style of 'The Prayer' by Daniil Zatochnik]. *Trudy Otdela drevnerusskoy literatury* [Works of the Department of Old Russian Literature]. Moscow, Leningrad, 1954, vol. X, pp. 106–120. (In Russ.)

Likhachev D. S. 'Molenie' Daniila Zatochnika ['The Prayer' by Daniil Zatochnik]. *Velikoe nasledie* [Great Heritage]. 2nd rev. and enl. ed. Moscow, Sovremennik Publ., 1979, pp. 241–258. (In Russ.)

Likhachev D. S. Molenie Daniila Zatochnika: kommentariy [The Prayer of Daniil Zatochnik: Commentary]. *Pamyatniki literatury Drevney Rusi. XII vek* [The Monuments of Literature of Ancient Rus. The 12th Century]. Moscow, Khudozhestvennaya literatura Publ., 1980, pp. 688–690. (In Russ.)

Likhachev D. S. Literatura Drevney Rusi [The literature of Ancient Rus]. *Izbornik: Povesti Drevney Rusi* [A Collection: Tales of Ancient Rus]. Preface. Moscow, Khudozhestvennaya literatura Publ., 1986, pp. 3–23. (In Russ.)

Modestov E. O poslanii Daniila Zatochnika [About the message of Daniil Zatochnik]. *Zhurnal Ministerstva narodnogo prosveshcheniya* [Journal of the Ministry of Public Education], 1880, pt. 212, issue 11, pp. 165–196. (In Russ.)

Moskovskiy letopisnyy svod kontsa XV v. [Moscow Chronicle of the Late 15th Century.] *Polnoe sobranie russkikh letopisey* [The Complete Collec-

tion of Russian Chronicles]. Moscow, Leningrad, 1949, vol. XXV. 464 p. (In Russ.)

Obnorskiy S. P. *Ocherki po istorii russkogo literaturnogo yazyka starshego perioda* [Essays on the History of the Russian Literary Language of the Older Period]. Moscow, Leningrad, Academy of Sciences of the Soviet Union Publ., 1946. 199 p. (In Russ.)

O, Russkaya zemlya! [Oh, Russian Land!]. Comp., pref., footnotes by V. A. Grikin. Moscow, Sovetskaya Rossiya Publ., 1982. 368 p. (In Russ.)

Pautkin A. A. Drevnerusskaya knizhnost': istoriko-literaturnye al'ternativy [Ancient Russian bookishness: Historical-literary alternatives]. *Stephanos*, 2014, issue 6(8), pp. 55–60. (In Russ.)

Rybakov B. A. *Daniil Zatochnik i Vladimirskoe letopisanie kontsa XII veka* [Daniil Zatochnik and chronicle writing in Vladimir of the late 12th century]. *Iz istorii kul'tury Drevney Rusi* [From the History of Culture of Ancient Rus]. Moscow, Lomonosov Moscow State University Press, 1984. 240 p. (In Russ.)

Semenyuk O. O. Kto byl zagadochnyy Daniil Zatochnik? [Who was the mysterious Daniil Zatochnik?]. *Obrazovanie. Nauka. Nauchnye kadry* [Education. Science. Scientific Personnel], 2015, issue 5, pp. 18–21. (In Russ.)

Skripil' M. O. 'Slovo' Daniila Zatochnika [The 'Word' of Daniil Zatochnik]. *Trudy Otdela drevnerusskoy literatury* [Works of the Department of Old Russian Literature]. Moscow, Leningrad, Academy of Sciences of the Soviet Union Publ., 1955, vol. 11, pp. 72–95. (In Russ.)

Slovo o zakone i blagodati mitropolita Kievskogo Ilariona [The Sermon on Law and Grace by Metropolitan Hilarion of Kiev]. *Biblioteka literatury Drevney Rusi* [Library of Literature of Ancient Rus]. St. Petersburg, Nauka Publ., 1997, vol. 1, pp. 26–62. (In Russ.)

Sokolova L. V. K kharakteristike 'Slova' Daniila Zatochnika (Rekonstruktsiya i interpretatsiya pervonachal'nogo teksta) [On the characteristics of the 'Word' of Daniil Zatochnik (Reconstruction and interpretation of the original text)]. *Trudy Otdela drevnerusskoy literatury* [Works of the Department of Old Russian Literature]. St. Petersburg, Dmitriy Bulavin Publ., 1993, vol. 46, pp. 229–255. (In Russ.)

Sokolova L. V. Slovo Daniila Zatochnika: Kommentariy [The Word of Daniil Zatochnik: Commentary]. *Biblioteka literatury Drevney Rusi* [Library of Literature of Ancient Rus]. St. Petersburg, Nauka Publ., 1997, vol. 4, pp. 634–639. (In Russ.)

Syromyatnikov O. I. 'I slovo plot' byst'...'. *Voprosy pravoslavnoy poetiki* ['And the word became a body...'. Issues of Orthodox Poetics]. St. Petersburg, Aleteyya Publ., 2022. 436 p. (In Russ.)

Tikhomirov M. N. 'Napisanie' Daniila Zatochnika ['Writing' by Daniil Zatochnik]. *Trudy Otdela drevnerusskoy literatury* [Works of the Department

of Old Russian Literature]. Moscow, Leningrad, Academy of Sciences of the Soviet Union Publ., 1954, vol. X, pp. 269–280. (In Russ.)

Tikhomirov M. N. *Russkaya kul'tura X–XIII vekov* [Russian Culture of the 10th–13th Centuries]. Moscow, Nauka Publ., 1968. 447 p. (In Russ.)

Uzhankov A. N. *Molenie Daniila Zatochnika* [Prayer of Daniil Zatochnik]. Available at:

<https://predanie.ru/uzhankov-aleksandr-nikolaevich/lekcii-po-istorii-russkoy-literatury-prochitannye-v-kulturno-prosvetitel'skom-centre-vo-imya-ioanna-zlatoustaslushat/?play=1&ysclid=lnbs4aotg8131290646> (accessed 20 Mar 2024). (In Russ.)

Shevyrev S. *Istoriya russkoy slovesnosti* [History of Russian Literature]. Moscow, 1846, vol. I, pt. II, pp. 210–213. (In Russ.)

‘The Word of Daniil Zatochnik’: Problems of Studying and Ways to Solve Them

Oleg I. Syromyatnikov

Professor in the Department of Russian Literature

Perm State University

15, Bukireva st., Perm, 614068, Russian Federation. pani-perm@list.ru

SPIN-code: 9651-1120

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4826-3857>

Submitted 01 Apr 2024

Revised 05 Sep 2024

Accepted 07 Sept 2024

For citation

Syromyatnikov O. I. «Slovo Daniila Zatochnika»: problemy izucheniya i puti ikh resheniya [‘The Word of Daniil Zatochnik’: Problems of Studying and Ways to Solve Them]. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2024, vol. 16, issue 3, pp. 169–178. doi 10.17072/2073-6681-2024-3-169-178 (In Russ.)

Abstract. The article examines the main problems of studying the monument of Russian literature of the late 12th – early 13th centuries *The Word of Daniil Zatochnik*. It should be distinguished from the closely related *The Prayer of Daniil Zatochnik*, which is considered to be a late revision of *The Word*. Until the 16th century, both monuments were very popular and were distributed in numerous copies.

The study of *The Word* began in the 19th century, and a number of problems were identified at that period: it was impossible to unambiguously establish where and when it was written, who its author and addressee were. A considerable problem lies in numerous semantic contradictions, where one judgment is canceled by another. It is generally believed that the reason behind these contradictions is late inserts into the original text. It is not known by whom, when, and why they were made, but thanks to them there is every reason to say that the version of *The Word* known to us had not one, but at least two authors – one wrote the message to the prince, while the other edited it. A separate problem is the combination of quotations from the Holy Scriptures and folklore elements, which is not typical of the period when *The Word* was written, and also the open opposition between some of the author's ideas and the Christian teaching.

According to the author of the article, the inserts were commenting in nature and were made in order to emphasize the traits of *The Word* protograph's author such as pride, vanity, and rationalism. At the same time, the editor of the protograph treated its author not as a private person, but as a representative of an emerging spiritual and moral type that significantly departed from the norms of Christian life. To solve the identified problems, the author of the article suggests using the resources of fideistic literary criticism, making it possible to look at *The Word* from a religious-and-social perspective, as well as to trace its connections with other literary monuments of the period in question.

Key words: Russian literature of the 12–13th centuries; ‘The Word/Prayer of Daniil Zatochnik’; Holy Scripture; fideistic literary criticism; the problem of the author; spiritual and moral type.

УДК 821.111
doi 10.17072/2073-6681-2024-3-179-186
<https://elibrary.ru/btivrd>

EDN BTIVRD



Имплицитный автор в древнеанглийских поэмах «школы Кэдмона» и «школы Кюневульфа»

Яценко Мария Вадимовна

д. филол. н., профессор кафедры иностранных языков

Санкт-Петербургский государственный университет

телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича

193232, Россия, г. Санкт-Петербург, просп. Большевиков, 22, корп. 1. maria.yatsenkol@yandex.ru

профессор кафедры сопоставительного изучения языков и культур

Санкт-Петербургский государственный университет

199034, Россия, г. Санкт-Петербург, Университетская наб., 7/9

SPIN-код: 9871-2512

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6714-7128>

ResearcherID: 186122

Статья поступила в редакцию 07.12.2023

Одобрена после рецензирования 02.02.2024

Принята к публикации 05.02.2024

Информация для цитирования

Яценко М. В. Имплицитный автор в древнеанглийских поэмах «школы Кэдмона» и «школы Кюневульфа» // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2024. Т. 16, вып. 3. С. 179–186. doi 10.17072/2073-6681-2024-3-179-186

Аннотация. В статье рассматривается проблема определения авторского присутствия в древнеанглийской поэтической словесности. Автор статьи сравнивает основные случаи использования повествования от лица авторского «я» в древнеанглийских поэмах, приписываемых Кэдмону или «школе Кэдмона» («Бытие», «Исход», «Даниил», «Христос и Сатана»), а также Кюневульфу или «школе Кюневульфа» («Елена», «Судьбы апостолов», «Юлиана» и др.). Поскольку границы между данными «школами» определены недостаточно четко, в статье предпринимается попытка сравнительного анализа входящих в каждую группу произведений. Автор статьи существенно дополняет имеющиеся сравнения данных поэм на содержательном уровне, проводя последовательный анализ эпизодов, где повествование ведется от первого лица. Изучение данных фрагментов показывает использование в поэмах Кэдмона традиционной для героического эпоса ссылки на авторитет традиции устного сказительства (формула «как я слышал») и письменных источников (формула «как книжники сказали», «как я из книг узнал»). В результате анализа делается вывод о том, что в поэмах кэдмоновского цикла нельзя говорить о четко сформированной фигуре нарратора. В них не выражена определенная точка зрения, повествователь часто самоустраняется, передавая рассказ в уста героев. Коллективное «мы» в эпилоге поэмы «Исход» рассматривается как наиболее яркий в поэмах Кэдмона риторический пример непосредственного обращения к аудитории. В поэмах, приписываемых Кюневульфу, эпилоги представляют собой повествование от лица авторского «я» и посвящены переживаниям и размышлениям. В них более проявлено авторское присутствие (имплицитный автор), которое в статье предлагается рассматривать как один из маркеров «школы Кюневульфа».

Ключевые слова: «школа Кэдмона»; «школа Кюневульфа»; древнеанглийский христианский эпос; Кодекс Юниуса; имплицитный автор.

Автор и авторское присутствие в средневековом творчестве, особенно в эпических текстах, исследованы недостаточно широко. Наиболее логичный взгляд на проблему разработан в теории неосознанного авторства М. И. Стеблин-Каменского. Останавливаясь на проблеме самоосмысления автора и его отношения к создаваемому произведению, исследователь отмечает, что может существовать авторская активность, которая не осознается автором как его собственная¹. Создатель дошедшего до нас текста саги или эпоса воспринимал себя лишь как переписчик, воспроизводящий имеющуюся традицию. Эта теория, разработанная на древнеисландском материале, не затрагивает автора биографического, а также имплитное присутствие автора в художественном тексте². Древнеанглийский материал, напротив, практически не описывает самоосмысление автора, но дает возможность проследить принципы создания образов авторов-поэтов. При этом третий аспект авторства: проявление имплитного автора, авторского присутствия и использование повествования от первого лица – остается малоизученным. Именно он и будет рассмотрен в данной работе на материале текстов христианского эпоса.

Большая часть сохранившихся в рукописном наследии произведений древнеанглийской поэзии представляет собой переложения библейских или агиографических сюжетов. С точки зрения стилистических средств эта традиция кажется достаточно гомогенной, поскольку во всех произведениях используются одни и те же формульные выражения и приемы построения текста. Попытки выделения отдельных групп текстов в корпусе библейских переложений нельзя назвать достаточно обоснованными. Они связаны главным образом с фигурами двух поэтов: Кэдмона и Кюневульфа.

Зарождение древнеанглийской поэзии на библейские темы связано с именем полупоэтического поэта Кэдмона, который во сне получил дар слагать стихи во славу христианского Бога. Относительная датировка этого события – не позднее 680 г. Рассказ о нем содержится в главе 24 главы IV книги «Церковной истории народа англов» Беда Досточтимого. Представленный историком рассказ выглядит как легендарный или полупоэтический: Кэдмон получает дар стихосложения во сне чудесным образом, причем его стихи во славу христианского Бога признаются советом ученых мужей богодухновенными. А сам Кэдмон остался в монастыре и, как сообщает Беда, излагал в форме прекрасных стихов события Священной истории Ветхого и Нового Заветов. Древнеанглийский перевод латинского текста Беда (выполненный в 871–879 гг.) добав-

ляет, что ученые мужи записывали за Кэдмоном его сочинения. Ознакомившись с рассказом о Кэдмоне, антиквар Фр. Юниус в 1655 г. издал под заглавием «Парафразы монаха Кэдмона» четыре произведения («Бытие», «Исход», «Даниил», «Христос и Сатана»), которые сохранились в рукописи, известной теперь как Кодекс Юниуса (Codex Junius XI), другое название – Кодекс Кэдмона. Предположение Фр. Юниуса об авторстве Кэдмона нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть, поскольку ничто в рукописи, кроме ее тематики, не дает оснований прямо соотносить ее с именем Кэдмона. Подробные исследования рассказа Беда заставили ученых сомневаться в реальности существования главного персонажа. Позже уточнение датировки Кодекса Юниуса (конец X в.) и соотнесение ее с предполагаемым временем жизни Кэдмона (середина – конец VII в.) опровергли возможность такой атрибуции. Отвергая непосредственное авторство Кэдмона, ученые предполагают наличие так называемой «школы Кэдмона», то есть ряда поэтов – последователей Кэдмона, которые в устной или письменной форме могли воспроизводить сочинения Кэдмона, дополняя и редактируя их (обычная для традиции неосознанного авторства практика).

Другая группа древнеанглийских поэм на христианские темы, содержащая переложения житийной литературы и Нового Завета, известна под авторством Кюневульфа. О людях с таким именем сохранились лишь весьма отрывочные сведения. Однако в текстах самих поэм «Христос», «Юлиана», «Судьбы апостолов», «Елена» содержатся своеобразные подписи: в последних строках некоторые буквы заменены на рунические знаки, которые при прочтении вместе образуют собой имя Кюневульф (в форме Cynwulf или Cynewulf).

Исследователи древнеанглийской поэзии, признавая невозможность точного установления авторства, как правило, говорят о наличии двух своеобразных поэтических традиций – «школы Кэдмона» и «школы Кюневульфа» [Wrenn 1967]. Различия между ними находят в меньшей степени «учености» поэм Кэдмона. Действительно, поэмы Кодекса Юниуса по большей части повествовательные. Они не разъясняют серьезных богословских понятий, в отличие от поэм Кюневульфа, излагающих, например, спор о законе и благодати и ряд других догматических аспектов. По словам Н. Ю. Гвоздецкой: «Слово кэдмоновского типа обращено к “оглашенным”, слово Кюневульфа – к “верным”» [Гвоздецкая 2013: 29]. Однако подробный анализ поэм Кэдмона показывает, что их автор или авторы были знакомы не только с самым общим содержанием, но

и с целым рядом толкований излагаемых в них библейских событий. Таким образом, не только степень «учености» авторов можно назвать отличительной чертой двух «школ». Мы постараемся показать различия между ними на материале анализа повествования от первого лица, которое так или иначе отражает присутствие имплицитного автора в произведениях, соотносимых с этими двумя «школами».

Вслед за Аристотелем большинство исследователей определяют эпос как род литературы, где преобладает повествование от третьего лица, в отличие от лирики и драмы. Рассказчик эпоса, как кажется, встает на позицию максимальной объективности³. При более подробном рассмотрении оказывается, что для повествования в эпосе характерно «не просто сочетание, а именно *взаимоосвещение авторского и чужого слова с помощью сочетания внешней и внутренней языковых точек зрения*» (выделение в цитате авторское. – М. Я.) [Тамарченко 2003: 227]. Однако понятия чужого слова и точки зрения в эпосе как жанре требует ряда уточнений.

В германской эпической традиции широко использовалась прямая речь персонажей, которая могла преобладать над речью авторской (в особенности это относится к песням «Старшей Эдды»). Проблема статуса речевых эпизодов в германском эпосе поднимается на древнесаксонском и отчасти на древнеанглийском материале⁴. Исследования последнего осложнены тем фактом, что прямая речь персонажей практически не использовалась для их личностной характеристики [Klaeber 1950: LV], в отличие от эпики более позднего времени. Достаточно подробно изучены речевые эпизоды в «Беовульфе», в качестве материала для сравнения с которыми привлекались некоторые тексты христианского эпоса. Мы предлагаем последовательно рассмотреть высказывания от первого лица в поэмах Кодекса Кэдмона («Бытие», «Исход», «Даниил», «Христос и Сатана»), а также сопоставить их с поэмами Кюневульфа («Елена», «Юлиана» и др.).

В древнеанглийском эпосе авторское «я» было весьма условным и стандартным и возникало в формулах с общим значением «мне сообщили», «я услышал»⁵, появление которых было обусловлено необходимостью подтвердить истинность изложенного события через сообщение о том, что сказитель сам о нем слышал [Гвоздецкая 2000: 194]. В «Беовульфе» использование «я» повествователя часто возникает при рассказе о неких удивительных предметах (описание корабля (Beo 38⁶), ожерелья (Beo 1196, 1197) и др.) и событиях. Подобного рода употребление встречается и в речи персонажа, например, когда Беовульф рассказывает о своих подвигах (Beo

575 и др.). В «Беовульфе» речь героев и авторская речь не противопоставлялись [там же].

Поэмы Кодекса Юниуса при всем сходстве их тематики структурно являются весьма неоднородными. Наименее выражено авторское «я» в поэме «Христос и Сатана». В ней выделяют три смысловые части, которые рассматривались исследователями как отдельные произведения. Первая часть (Ch&S 1–364⁷) повествует о страдании падших ангелов в аду, вторая (Ch&S 365–662) – о Сошествии Христа в ад и третья (Ch&S 663–729) – об искушении Христа в пустыне. Все три части содержат в себе ряд речевых эпизодов, которые имеют разных адресатов. В этой поэме лишь дважды использована формула *þa get ic furðor gefregen* – «как я затем узнал» (Ch&S 225 и Ch&S 526) для подтверждения истинности повествования. Поскольку сведения о пребывании падших ангелов в аду, Сошествии Христа в ад до Воскресения не подтверждаются ссылкой на авторитет, Р. Финнеган даже предположил, что рассказчиком в заключительной поэме Кодекса Юниуса является Сам Христос [Finnegan 1994]. Н. Д. Исаакс назвал именно цитирование речей основным конструктивным элементом поэмы, отмечая, однако, несовершенство поэта в использовании этого приема [Isaacs 1968: 128]. На наш взгляд, здесь имеет место лишь максимальная объективация повествования, свойственная эпосу, при этом значительная часть рассказа как бы передана главным героям и развертывается в их речах, за счет чего повествование значительно драматизируется. Авторская точка зрения минимизирована, а персонажи становятся полноценными рассказчиками.

В поэме «Даниил» также присутствует большое количество диалогов и монологов. От первого лица в данной поэме высказываются чаще всего царь Навуходоносор и пророк Даниил. Поэма содержит весьма драматичные диалоги между царем и прорицателями, царем и Даниилом. Помимо этого, прямая речь вавилонских отроков представлена двумя песнопениями. Песнь Азарии построена от лица всего народа, Песнь трех отроков обращена к силам природы, ее заключительная часть являет собой повествование от лица всех трех отроков. Песнопения, таким образом, исполняются от лица коллективного «мы».

«Я» сказителя в «Данииле» употребляется в контекстах, схожих с поэмой «Беовульф», для подтверждения истинности описываемых событий. Автор либо узнает о событиях из жизни израильского народа: *þa ic... gefrægn* – «то/ тогда я узнал» (Dan 458⁸) и аналогичные высказывания (Dan 57, 738), – либо говорит, что сам их видел (Dan 22). При этом конструкция *ic gefrægn* – «я узнал/услышал» оказывается тесно связанной

с основным предложением. В нее могут вставляться не только обстоятельства времени и места, но и глаголы, а в одном случае – и наречие: *Dam wæs on gaste/ godes cræft micel, // to þam ic georne gefrægn/ gyfum ceapian// burhge weardas/ þæt he him bocstafas// arædde and arehte, / hwæt seo run bude* – «У него была в душе/ Господа сила великая, // о том узнал я с радостью (вар. – охотно), / что дары сулили// градохранители/ за то, чтобы он им письменна// изъяснил и рассказал, / что та тайна значила» (Dan 737–740). Этот же фрагмент может иметь и другой перевод: «о том я узнал, что с охотой/ дары сулили// градохранители...» (Dan 738–739). В силу относительной свободы расположения членов предложения в поэтической речи, наречие может относиться как к действиям героев рассказа, так и к рассказчику, к его радости по поводу того, что пророк обладал благодатью Святого Духа и отказался от предложенных ему даров. Данный эпизод можно рассматривать как пример расширения традиционной формулы, где использование своеобразного авторского «я», возможно, содержит оценку рассказчиком моральных смыслов происходящих событий.

Поэма «Бытие» отличается от всех поэм Кодекса в плане использования авторского «я». Здесь герои высказываются от первого лица чаще, а в авторском повествовании используется только местоимение «мы». Авторские ремарки преимущественно указывают на авторитет письменных источников. Это формулы со значением «как нам книги говорят»: *þe us secgað bec* (Gen 227, 1723⁹), *Us cyað bec* (Gen 969), *þæs þe bec cweðaþ* (Gen 1239), *Us gewritu secgeað, // godcunde bec* (Gen 2612–1213). Все они призваны подтвердить истинность слов сказителя, которые касаются чудесных явлений или ряда фактов биографии героев Библии. Функция их остается аналогичной функции подобных формул в «Беовульфе» (подтверждение авторитета источника), однако они указывают на письменный, а не на устный источник. Едва ли можно говорить, что со сменой источника меняется положение сказителя. Отчасти такие «интертекстуальные маркеры» в первой поэме Кодекса соотносимы с историей поэта Кэдмона, который изучал Священную историю со слов книжников. Возможно, столь частое упоминание книжников именно в первой поэме Кодекса могло не только относиться к этому тексту, но и указывать на письменный источник всей рукописи в целом.

В поэме «Исход» использование традиционной формулы с авторским «я» повествователя минимально. В эпизоде, где описываются облачный и огненный столпы, ведущие израильскую армию по пустыне, рассказчик говорит и том,

что он сам об этом узнал (Ex 98). Здесь для большей достоверности автор использует и обстоятельство времени, как бы подтверждая собственное участие в описываемых событиях. Аналогичная формула появляется в «Беовульфе» (строка «Исхода» совпадает со строкой «Беовульфа»: *þa ic on morgne gefrægn* – «как я на утро узнал» или «я узнал, что наутро...» (Beo 2484, Ex 98)). С похожей конструкцией (только в пассивной форме *mine gefræge* – «мне сообщили» (Ex 368)) встречаемся в строках о Ноевом ковчеге. Как и в «Беовульфе», использование своеобразных авторских ремарок в «Исходе» привлекает внимание и подтверждает истинность событий, которые описываются с чьих-то слов.

Повествование в «Исходе» строится как максимально объективное, рассказчик как бы самоустраняется и только описывает события, не подвергая их какой бы то ни было оценке. При этом речь персонажей также сведена к минимуму¹⁰ и представлена только речами Моисея и речью ангела, обращенной к Аврааму (речь ангела не содержит местоимений первого лица). Это позволяет особым образом выделить речи Моисея (за счет наличия авторского «я»).

В речах Моисея авторское «я» служит, с одной стороны, привлечению внимания и необходимо для актуального воздействия на слушателей: *Eow is lar Godes// abroden of breostum./ Ic on beteran ræd, // þæt ge gewurðien/ wuldres Aldor, // – «Вот вам Божий завет, // принесенный из сердца./ Я [вам] больше совет [дам], // чтоб вы почитали/ Властителя славы...» (Ex 268–270¹¹); *Hwæt, ge nu eagum/ on lociað, // folca leofost, / færwundra sum, // hu ic sylfa sloh/ and þeos swiðre hand// grene tacne/ garsecges deop! – «Истинно! Вы сейчас очами/ [своими] узрите, // народ возлюбленный, / чудо невиданное, // то, как я сам ударил/ и эта десница могучая// зеленым жезлом/ морскую бездну!» (Ex 278–281); *Ic wat soð gere// þæt eow mihtig God/ miltse gecyðde// eorlas ærglade! – «Я ведаю истину верно, // что вам Могучий Господь/ милость оказал, // эрлы долгоудачливые» (Ex 291–293). С другой стороны, подобно эпическому сказителю, Моисей воспринимается как авторитет, посвященный в тайны мироздания (*þa ic ær ne gefrægn// ofer middangeard/ men geferan, // fage feldas* – «не слышал я прежде// во граде срединном, / чтоб люди ступали// по сияющим долам, //» (Ex 285–287)).***

Дважды местоимение «я» (*ic*) соседствует с обозначением времени *ær* («прежде», «раньше» (Ex 285)) или его производным: *ærglade* – «долгоудачливые» (Ex 293). Эти отсылки к прошлому можно рассматривать как своеобразное указание на авторитет слов пророка. Их наличие отчасти соотносится с некоторыми речами героев

«Старшей Эдды», излагающими сюжеты мифологического прошлого. Так, в «Прорицании вёльвы» пророчица вспоминает то, что было при сотворении мира, но одновременно видит и будущее – его конец. В «Речах Вафтруднира» мифологическое прошлое излагается в форме диалога между Одним и Вафтрудниром, в котором также повествуется о прошлом и будущем мира. Использование в речах Моисея конструкций с повествованием от первого лица предполагало, что пророк Моисей мог восприниматься как носитель знаний об историческом прошлом. И хотя в поэме он и не излагает историю сотворения мира, речи укрепляют его авторитет в глазах аудитории и обладают перформативным воздействием.

В нарративной структуре поэмы «Исход» существенным является использование авторского «мы» (Ex 1, 572–573), которое может быть воспринято как обращение к аудитории в целом. В зачине оно служит привлечению внимания (*HWÆT, WE FEOR AND NEAH/ gefrigen hab[b]að* «Истинно! Далеко ли близко ли/ мы слышали о...» (Ex 1)), что уподобляет его традиционному эпическому зачину. В конце поэмы это обращение становится еще и призывом послушать рассказы ученых мужей: *þæt we gesne ne syn/ Godes þeodscipes, // Metoddes miltsa./ He us ma onlyhð, // nu us boceras/ beteran secgað // lengran lifwynna.* – «что мы лишенными не будем/ Бога власти, // Господа благодатей./ Он нам больше подарит, // теперь нам ученые мужи/ [об этом] лучше расскажут // о более долгих радостях жизни» (Ex 571–574). При этом авторское «мы» соотносится одновременно не только с израильянами, но и с автором и его аудиторией, что позволяет воспринимать данный момент как обращение ко всему человечеству в целом. Заключительные строки поэмы «Исход» представляют собой своеобразный эпилог – размышление христианина о конце света. Эпилог этот предполагает продолжение в виде проповеди (так как есть указание на книжников, которые должны лучше рассказать об этом).

Схожие размышления о человеческой участи есть в произведениях древнеанглийской поэзии разных форм и жанров: в кратком песнопении «Предсмертная песнь Беды», поэмах «Морестранник» и «Скиталец», которые принято называть элегиями, а также в «Беовульфе» и развернутых эпических поэмах, приписываемых Кюневульфу. Во всех этих текстах разная субъектная организация. Так, «Предсмертная песнь Беды» сообщает о любом человеке, который собирается предстать перед Божьим судом. В элегиях «Скиталец» и «Морестранник» размышления о человеке вообще перемежаются с повествованием от первого лица.

Наибольший интерес представляют поэмы «Елена» и «Юлиана», содержащие «подпись» Кюневульфа в конце лирических эпилогов. В этих текстах помимо развернутых эпических нарративов содержатся важные «драматические» эпизоды, представляющие собой диалоги, в которых раскрываются важные аспекты догматики (царица Елена разговаривает с книжниками, Иуда и Юлиана – с дьяволом). Такая насыщенность диалогами предполагает передачу нити повествования его героям, что, как мы уже отмечали, свойственно германскому эпосу («Старшая Эдда»). В древнеанглийской поэзии этот прием приобретает иное значение. Передача повествования героям присутствует в поэмах Кэдмона («Бытие» и «Христос и Сатана»), однако диалоги там по большей части – необходимая часть сюжета. Диалоги же в поэмах «Елена» и «Юлиана» излагают догматический материал и в определенном смысле «перевешивают» повествовательную часть.

В структуре повествования в поэмах Кюневульфа помимо святых, интересующихся сотворением мира, жизнью ангелов и демонов, законом и благодатью, преимущественно проявлена авторская фигура. Здесь автор не скромный повествователь, «я» которого лишь изредка проскальзывает из-за описываемых им событий (как в поэмах Кэдмона), но вполне самостоятельная фигура. Н. Ю. Гвоздецкая пишет, что в «Елене» «я» повествователя обладает уже более или менее выраженными индивидуальными чертами и вписано в конкретную обстановку [Гвоздецкая 2017: 102]. Эта поэма содержит наиболее развернутый эпилог, изложенный от лица авторского «я». Он начинается так: «Стал я стар и устал, / смертный час мой настал, // в хоромине тесной / тку узор словесный, // ночи коротаю, / мысли сплетаю» (Ele 1236–1238) [Кюневульф 2015: 160]. Далее эпилог разворачивается в пространное размышление, включающее описание природы и эмоционального состояния, которое содержит не столько сочувствие об ушедшем земном прошлом, сколько ожидание небесного будущего [Гвоздецкая 2017: 102]. Подкрепляется эта мысль и просьбой молиться за поэта, имя которого вплетено в строки эпилога рунами.

Таким образом, разделение между поэмами «школы Кэдмона» и «школы Кюневульфа» можно провести не только в содержательном, но и в структурном плане. Авторская позиция повествователя в поэмах Кэдмона выражена непосредственно: он то сказитель, которому давно известно начало и конец описываемой истории, то участник происходящих событий. Связь с книжной традицией подтверждается отсылками на авторитет книг и книжников, которые появляются

ся в поэмах «Бытие» и «Исход». Традиции восприятия Слова Божия в христианстве и слова сказителя в эпосе предполагали тесную связь рассказчика с аудиторией. Это особенно наглядно проявлено в использовании авторского «мы» (финал поэмы «Исход», парафраза Песни трех отроков в «Данииле»). Внимание к судьбе народа в целом и авторская позиция в Кодексе Юниуса не предполагала еще индивидуальной оценки событий автором. В поэмах Кюневульфа, напротив, возникают не только ярко выраженные фигуры персонажей, но и самостоятельная фигура рассказчика, который осмеливается включить в эпический текст развернутое повествование от первого лица, лирическое по своей природе.

Примечания

¹ Как пишет М. И. Стеблин-Каменский, «в эдической поэзии, как и в эпической поэзии вообще, а также и в прозе, не было условий для относительной самостоятельности формы и для осознания формального мастерства» [Стеблин-Каменский 1979: 96].

² Мы ориентируемся на теоретические представления об авторе, изложенные В. В. Прозоровым, который выделяет три основных аспекта авторства: автор биографический, автор-творец и автор во внутритекстовом воплощении [Прозоров 2004: 68].

³ Говоря словами Г. Д. Гачева: «Эпос может (а потому ему всегда даже приходится) рядиться в позицию беспристрастного объективного наблюдателя, а не субъективного судьи» [Гачев 1968: 98].

⁴ Обзор этих работ приводится в монографии [Louvriot 2016].

⁵ Текстовые примеры данной формулы в древнеанглийских памятниках сравниваются в работе [Parks 1987: 63–66].

⁶ Здесь и далее текст поэмы «Беовульф» цитируется по изданию [Beowulf 1950] с указанием номера строки с сокращением Вео. Перевод на русский язык автора статьи.

⁷ Здесь и далее текст поэмы «Христос и Сатана» цитируется по изданию (Christ & Satan 1925) с указанием номера строки с сокращением Ch&S. Перевод на русский язык автора статьи.

⁸ Здесь и далее текст поэмы «Даниил» цитируется по изданию [Daniel & Azarias 1974] с указанием номера строки с сокращением Dan. Перевод на русский язык автора статьи.

⁹ Здесь и далее текст поэмы «Бытие» цитируется по изданию [Genesis 1931] с указанием номера строки с сокращением Gen. Перевод на русский язык автора статьи.

¹⁰ По подсчетам исследователей, прямая речь занимает в данной поэме 10 % от всего объема

текста. Это наименьший процент по сравнению с остальными древнеанглийскими поэмами [Louvriot 2016: 3].

¹¹ Здесь и далее текст поэмы «Исход» цитируется по изданию [Exodus 1953] с указанием номера строки с сокращением Ех. Перевод на русский язык автора статьи.

Список литературы

Гачев Г. Д. Содержательность художественных форм (Эпос. Лирика. Театр). М.: Просвещение, 1968. 302 с.

Гвоздецкая Н. Ю. Лирический эпилог к древнеанглийской поэме «Елена»: проблема жанра // Лирическая эволюция: к 70-летию Дарвина (Михаила Николаевича) / Рос. гос. гуманитар. ун-т, Ин-т филологии и истории. М.: РГГУ, 2017. С. 98–109.

Гвоздецкая Н. Ю. Поэтическое творчество и поэтический язык Древней Англии // Мир и человек в древнеанглийском поэтическом языке и тексте: опыт лингвокультурологического анализа / Н. Ю. Гвоздецкая, Е. А. Полякова, А. В. Вишневский, Е. Н. Пастухова, Е. А. Шилова. К 65-летию доктора филологических наук Н. Ю. Гвоздецкой. Иваново: Иванов. гос. ун-т, 2013. С. 8–39.

Гвоздецкая Н. Ю. Проблемы семантического описания древнеанглийского поэтического слова (опыт текстоцентрического анализа): дис. ... д-ра филол. наук. Иваново, 2000. 392 с.

Кюневульф. Поэма «Елена». Фрагмент: главы 11–15 (пер. с древнеангл. и коммент. Н. Ю. Гвоздецкой, Е. Н. Клеминой) // Cursor Mundi. Человек Античности, Средневековья и Возрождения: научный альманах, посвящ. проблемам исторической антропологии. Вып. 7. Иваново, 2015. С. 149–162.

Прозоров В. В. Автор // Введение в литературоведение: учеб. пособие для вузов по направлению и спец. «Филология» / под ред. Л. В. Чернец. М.: Высшая школа, 2004. С. 68–81.

Стеблин-Каменский М. И. Скальдическая поэзия // Поэзия скальдов / изд. подг. С. В. Петров, М. И. Стеблин-Каменский. Л.: Наука, 1979. С. 77–130.

Тамарченко Н. Д. Эпика // Теория литературы. Т. III. Роды и жанры (основные проблемы в историческом освещении). М.: ИМЛИ РАН, 2003. С. 219–244.

Beowulf & the Fight at Finnsburg. Ed. with Intr., Bibl., Notes, Glos. and App. by Klaeber F. Boston: Heath & Co., 1950. 412 p.

Christ and Satan. An Old English Poem. Ed. with Intr., Notes and Glos. By Clubb M. D. Connecticut: Yale University Press, 1925. 196 p.

Daniel and Azarias. Ed. with Intr., Notes and Glos. by Farrell R. T. London: Methuen, 1974. 139 p.

Exodus: Old English Exodus. Ed. with Intr., Notes and Glos. by Irving E. B. Jr. New Haven: Yale University Press, 1953. 134 p.

Finnegan R. E. Christ as Narrator in the Old English *Christ and Satan* // *English Studies*. 1994. Vol. 75, № 1. P. 2–16.

Genesis // *Anglo-Saxon Poetic Records*. A collective Edition. Vol. I. The Junius Manuscript / ed. by G. P. Krapp. London, New York, 1931. P. 1–87.

Isaacs N. D. *Structural Principles in Old English Poetry*. Knoxville, TN: University of Tennessee Press, 1968. 197 p.

Klaeber F. Introduction// *Beowulf & the Fight at Finnsburg*. Ed. with Intr., Bibl., Notes, Glos. and App. by F. Klaeber. Boston: Heath & Co., 1950. 412 p.

Louviot E. Direct Speech in *Beowulf* and Other Old English Narrative Poems. *Anglo-Saxon Studies*. Cambridge: Brewer, 2016. 286 p.

Parks W. The traditional Narrator and the “I heard” Formulas of Old English Poetry // *Anglo-Saxon England*. 1987. Vol. 16. Dec. P. 45–66.

Wrenn C. L. Caedmon and the Christian Revolution in Poetry // Wrenn C. L. *A Study of Old English Literature*. London: Harrap, 1967. P. 92–106.

References

Gachev G. D. *Soderzhatel'nost' khudozhestvennykh form* (Epos. Lirika. Teatr). [The Meaning of Artistic Forms (Epos. Lyrics. Theatre)]. Moscow, Prosveshchenie Publ., 1968. 302 p. (In Russ.)

Gvozdetskaya N. Yu. Liricheskiy epilog k drevneangliyskoy poeme ‘Elena’: problema zhanra [Lyrical epilogue to the old English poem ‘Elene’: The genre problem]. *Liricheskaya evolyutsiya: k 70-letiyu Darvina (Mikhaila Nikolaevicha)*. [The Evolution of Lyrics: On the Occasion of the 70th Birthday of Darvin (Mikhail Nikolaevich)]. Russian State University for the Humanities, Institute of Philology and History. Department of Theoretical and Historical Poetics. Moscow, 2017, pp. 98–109. (In Russ.)

Gvozdetskaya N. Yu. Poeticheskoe tvorchestvo i poeticheskiy yazyk Drevney Anglii [Poetic writing and poetic language of the old England]. *Mir i chelovek v drevneangliyskom poeticheskom yazyke i tekste: opyt lingvokul'turologicheskogo analiza. K 65-letiyu doktora filologicheskikh nauk N. Yu. Gvozdetskoy* [The World and the Man in Old English Poetic Language and Text: Experience of Linguocultural Analysis. On the Occasion of the 65th Birthday of Doctor of Philological Sciences N. Yu. Gvozdetskaya]. N. Yu. Gvozdetskaya, E. A. Polyakova, A. V. Vishnevskiy, E. N. Pastukhova, E. A. Shilova. Ivanovo, Ivanovo State University Press, 2013, pp. 8–39. (In Russ.)

Gvozdetskaya N. Yu. *Problemy semanticheskogo opisaniya drevneangliyskogo poeticheskogo slova (opyt tekstotsentricheskogo analiza)*. Diss. dokt. filol. nauk [The problems of semantic description of the old English poetic word (an attempt at textocentric analysis). Dr. philol. sci. diss.]. Ivanovo, 2000. 392 p. (In Russ.)

Cynwulf. Poema ‘Elena’. Fragment: glavy 11–15 [‘Elene’. Passage: Chapters 11–15]. Translated from Old English with Comments by N. Yu. Gvozdetskaya and E. N. Klemina. *Cursor Mundi. Chelovek Antichnosti, Srednevekov'ya i Vozrozhdeniya: nauchnyy al'manakh, posvyashchennyy problemam istoricheskoy antropologii* [Cursor Mundi. The Man of Antiquity, Middle Ages and Renaissance: Scientific Almanac on the Problems of Historical Anthropology]. Ivanovo, 2015, issue 7, pp. 149–162. (In Russ.)

Prozorov V. V. Avtor [Author]. *Vvedenie v literaturovedenie* [Introduction into Literary Studies]: a textbook for higher educational institutions for Philology specialty. Ed. by L. V. Chernets. Moscow, Vysshaya shkola Publ., 2004, pp. 68–81. (In Russ.)

Steblyn-Kamenskiy M. I. Skal'dicheskaya poeziya [Scaldic poetry]. *Poeziya skal'dov* [The Poetry of Scalds]. Ed. by S. V. Petrov, M. I. Steblin-Kamenskiy. Leningrad, Nauka Publ., 1979, pp. 77–130. (In Russ.)

Tamarchenko N. D. Epika [Epics]. *Teoriya literatury. T.III. Rody i zhanry (osnovnye problemy v istoricheskom osveshchenii)* [Theory of Literature. Vol. III. Types and Genres (Basic Issues in Historical Description)]. Moscow, IWL RAS Publ., 2003, pp. 219–244. (In Russ.)

‘Beowulf’ & ‘The Fight at Finnsburg’. Ed. with intr., bibl., notes, glos. and app. by F. Klaeber. Boston, Heath & Co., 1950. 412 p. (In Eng.)

‘Christ and Satan’. *An Old English Poem*. Ed. with intr., notes and glos. by M. D. Clubb. Connecticut, Yale University Press, 1925. 196 p. (In Eng.)

‘Daniel’ and ‘Azarias’. Ed. with intr., notes and glos. by R. T. Farrell. London, Methuen, 1974. 139 p. (In Eng.)

‘Exodus’. *Old English Exodus*. Ed. with intr., notes and glos. by E. B. Jr. Irving. New Haven, Yale University Press, 1953. 134 p. (In Eng.)

Finnegan R. E. Christ as narrator in the old English ‘Christ and Satan’. *English Studies*, 1994, vol. 75, issue 1, pp. 2–16. (In Eng.)

‘Genesis’. *Anglo-Saxon Poetic Records. A collective edition. Vol. I. The Junius Manuscript*. Ed. by G. P. Krapp. London, New York, 1931, pp. 1–87. (In Eng.)

Isaacs N. D. *Structural Principles in Old English Poetry*. Knoxville, TN, University of Tennessee Press, 1968. 197 p. (In Eng.)

Klaeber F. Introduction. 'Beowulf' & 'The Fight at Finnsburg'. Ed. with intr., bibl., notes, glos. and app. by F. Klaeber. Boston, Heath & Co., 1950. 412 p. (In Eng.)

Louviot E. *Direct Speech in 'Beowulf' and Other Old English Narrative Poems. Anglo-Saxon Studies*. Cambridge, Brewer, 2016. 286 p. (In Eng.)

Parks W. The traditional narrator and the 'I heard' formulas of old English poetry. *Anglo-Saxon England*, 1987, vol. 16, Dec., pp. 45–66. (In Eng.)

Wrenn C. L. Caedmon and the Christian Revolution in poetry. Wrenn C. L. *A Study of Old English Literature*. London, Harrap, 1967, pp. 92–106. (In Eng.)

The Implied Author in the Old English Poems of the 'School of Caedmon' and the 'School of Cynewulf'

Maria V. Yatsenko

Professor in the Department of Foreign Languages

Bonch-Bruевич Saint Petersburg State University of Telecommunications

22/1, prospekt Bolshevikov, Saint Petersburg 193232, Russian Federation. maria.yatsenko1@yandex.ru

Professor in the Department of Comparative Studies in Languages and Cultures

St. Petersburg State University

7/9, Universitetskaya Embankment, St. Petersburg, 199034, Russian Federation

SPIN-code: 9871-2512

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6714-7128>

ResearcherID: 186122

Submitted 07 Dec 2023

Revised 02 Feb 2024

Accepted 05 Feb 2024

For citation

Yatsenko M. V. Implitsitnyy avtor v drevneangliyskikh poemakh «shkoly Kedmona» i «shkoly Kyunevul'fa» [The Implied Author in the Old English Poems of the 'School of Caedmon' and the 'School of Cynewulf']. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2024, vol. 16, issue 3, pp. 179–186. doi 10.17072/2073-6681-2024-3-179-186 (In Russ.)

Abstract. The article deals with the problem of identifying the author's self-manifestation in Old English poetry. The problem of author and authorship is relevant for medieval literature and for Old English epic as well. The author of the article compares the main cases of the use of first-person narration in Old English poems attributed to Caedmon or the so-called 'school of Caedmon' (*Genesis, Exodus, Daniel, Christ and Satan*) and Cynewulf or the so-called 'school of Cynewulf' (*Elene, The Fates of the Apostles, Juliana*, etc.). As the borders between these 'schools' have not yet been distinctly determined, the article attempts at comparing the poems of both groups. The author of the article sheds fresh light on the widely used comparison of the contents of these poems with a detailed analysis of the episodes with first-person narration. The study of these passages shows the use of traditional oral epic reference to the authority of an oral singer (the 'I heard' formula) and that of the written sources ('as the books say' formula) in the poems attributed to Caedmon. It is concluded that the so-called Caedmonian poems (poems of the 'school of Caedmon') do not possess the fully articulated figure of the narrator. Their implied author does not exactly express his own point of view or present his personality, but mainly gives the narrative thread to the characters. The use of the collective 'we' in the epilogue of the poem *Exodus* is viewed as a rhetorical device of a direct appeal to the audience that is highly characteristic of the Caedmonian poems. The epilogues of the poems attributed to Cynewulf (or the 'school of Cynewulf') mainly contain first-person reflections and contemplations. The article proposes that the pronounced presence of the author (i.e., an implied author) in them should be viewed as a marker of the 'school of Cynewulf'.

Key words: 'school of Caedmon'; 'school of Cynewulf'; Old English Christian epic; Junius Manuscript; implied author.

Научный периодический журнал «Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология» (ISSN: 2073-6681; eISSN: 2658-6711) зарегистрирован в 2009 г. как самостоятельное издание, объединяющее две серии журнала «Вестник Пермского университета», издаваемого с 1994 г. («Филология» и «Иностранные языки и литературы»).

Цель журнала «Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология» – освещение новых результатов научной деятельности российского и зарубежного научного сообщества в области современной филологической науки; содействие развитию теоретических и практических исследований в области социогуманитарного знания; установление и укрепление научных связей между учеными из различных регионов России и других стран. Журнал публикует проблемные статьи и аналитические обзоры по актуальным вопросам современной филологической науки; результаты теоретических, экспериментальных и практических исследований в области языкознания, литературоведения, журналистики, методики преподавания языков и литератур; рецензии на научные публикации; хронику научных событий, сообщения о достижениях ведущих научных школ. Одна из задач журнала – формирование тематических научных площадок для обмена мнениями, предложениями и опытом в данных научных областях. Научный журнал «Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология» публикует качественные, оригинальные авторские исследования, ранее нигде не публиковавшиеся.

С 19.02.2010 журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук: с 01.02.2022 – 5.9.3. Теория литературы (филологические науки), 5.9.4. Фольклористика (филологические науки), 5.9.7. Классическая, византийская и новогреческая филология (филологические науки); с 21.02.2023 – 5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации (филологические науки), 5.9.2. Литературы народов мира (филологические науки), 5.9.5. Русский язык. Языки народов России (филологические науки), 5.9.6. Языки народов зарубежных стран (с указанием конкретного языка или группы языков) (филологические науки), 5.9.8. Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика (филологические науки), 5.9.9. Медиакоммуникации и журналистика (филологические науки), 5.12.3. Междисциплинарные исследования языка (филологические науки), 5.12.3. Междисциплинарные исследования языка (философские науки).

Полнотекстовая версия журнала выставляется на сайте <http://press.psu.ru/index.php/philology> и на сайте НЭБ Elibrary.ru.

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ

Оформленная в соответствии с требованиями журнала рукопись статьи направляется автором в редакцию в виде файла, сопровождается паспортом статьи. Письмо с вложенными файлами должно быть отправлено с адреса, указанного в сведениях об авторе, и сопровождаться текстом: «Передавая статью в научный журнал “Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология”, я гарантирую, что статья создана мной лично и не была ранее опубликована. Согласен на размещение статьи на сайте “Вестника Пермского университета. Российская и зарубежная филология” <http://press.psu.ru/index.php/philology/index>. беру на себя полную ответственность за соблюдение авторских прав в отношении используемых мной материалов» (в случае частичной публикации представляемой статьи здесь должны быть указаны сведения об уже опубликованном фрагменте и месте его публикации).

К рецензированию направленных для публикации в журнал рукописей статей привлекаются рецензенты из состава редакционного совета или редакционной коллегии журнала, а также российские и зарубежные специалисты в соответствующей области знания, имеющие опыт практической работы или публикации в течение последних 3 лет по тематике рецензируемых статей. Рецензентом не может выступать научный руководитель автора статьи. Решение о принятии рукописи к публикации, возвращении ее автору на доработку или отклонении от публикации принимается редколлегией на основании результатов рецензирования. Поступающие рецензии на рукопись статьи обрабатываются в редакции, отправляются автору в виде нескольких рецензий или одной итоговой рецензии без указания данных о рецензентах. Если необходима доработка статьи, то автор вносит исправления, выделяя измененные места цветом. Срок доработки статьи не ограничен. Члены редакционного совета или редколлегии даже при наличии положительной рецензии могут обратиться к главному редактору с предложением о дополнительном рецензировании статьи.

Рукописи рассматриваются в порядке их поступления в течение 1 дня – 6 месяцев. Окончательное решение о публикации статьи принимается редколлегией и главным редактором. Редакция издания направляет авторам представленных материалов копии рецензий или мотивированный отказ. Редакция не вступает в полемику и переписку с автором по содержанию его статьи. Плата за редакционную обработку и публикацию присланных рукописей, в том числе аспирантов, одобренных рецензентами и рекомендованных к печати, не взимается.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ И ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ

Рукопись объемом от 20 до 40 тыс. знаков, оформленная в соответствии с выложенной на сайте ФОРМОЙ, должна поступить вместе с ПАСПОРТОМ СТАТЬИ по электронному адресу langlit2009@mail.ru (попросите отправить подтверждение). Основной текст может быть написан на русском или английском языках. **Правила оформления рукописей помещены на сайте журнала в разделе «Руководство для авторов».**

Главный редактор – Ирина Александровна Новокрещенных. Зам. гл. редактора – Ирина Ивановна Русинова, Наталья Валерьевна Шутимова, администратор сайта – Алексей Васильевич Пустовалов, контент-редактор англоязычной версии сайта – Варвара Андреевна Бячкова.

По вопросам обращаться: 614068, г. Пермь, ул. Букирева, 15, ПГНИУ, корп. 5, ауд. 131, 133 (тел. (342)2396795), ауд. 172 (тел. (342)2396290).

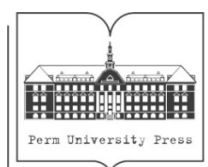
Научное издание

**Вестник Пермского университета
Российская и зарубежная филология**

Том 16. Выпуск 3 / 2024

Редакторы *Е. И. Герман, О. И. Кирьянова*
Корректор *Е. Г. Иванова*
Компьютерная верстка: *Л. С. Нечаева*
Макет обложки: *Т. А. Басова*

Подписано в печать 24.09.2024. Дата выхода в свет 30.09.2024
Формат 60×84/8. Усл. печ. л. 21,86. Тираж 500 экз. Заказ 119



Пермский государственный национальный исследовательский университет
Управление издательской деятельности
614068, г. Пермь, ул. Букирева, 15. Тел. (342) 239-66-36

Отпечатано в типографии ПГНИУ. Тел. (342) 239-65-47

Подписной индекс журнала
«Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология»
в онлайн-каталоге «Урал-Пресс» – 41008
https://www.ural-press.ru/catalog/97266/8650356/?sphrase_id=396135

Распространяется бесплатно и по подписке